



# ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1932 ГОДА

№ 12

1990 ГОД

Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

## В номере:

### ПРОЗА

ЮРИЙ СЛАЩИН. Во веки веков. Роман . . . . . 24

### ПОЭЗИЯ

ДЕГУК УГАЙ. Первый снег. Дорога и человек. Перевод с корейского В. Ляпунова. Солнечное затмение. Встреча весны. Перевод с корейского Н. Красильникова. . . . . 19

АБДУЛЛА ШЕР. «Разгорается саратан...». «Как мысль деревьев...». Рауфу Парфи. Романтика. Генерал Отелло. Дух. Перевод с узбекского К. Усманова. . . . . 21

СОФЬЯ ТАРБЕЕВА. «Деревья, птицы, воды, облака...». «Есть у осени странное право...» «И день, и час, и миг настанет...». «Ну что ты ропщешь на судьбу...». Саратан. «Кто ты, сын мой?...». «Я впадаю в кресло...». «Бывают ночи круглые...». «Я поссорилась с Временем...». «Странный вечер!..» . . . . . 108

АЛЕКСАНДР ФЕСЬКОВ. «Я бежал от рутинного...». «Сейчас мы нежно объяснимся...». Юрию Власову. Загон. Гипердума. Дорога к храму. Прощание с барьерным бегом. О, спорт, ты — мир... «Полуумные, полусытые...». Спрут . . . . . 121

### ПУБЛИЦИСТИКА

Грани аральской проблемы

ВАДИМ АНТОНОВ. Беды Арала — в чем они? . . . . . 3

АРУСТАН ЖОЛДАСОВ. Экология... минус этнос? . . . . . 9

РУСТАМ РАЗАКОВ. Что делать? . . . . . 16

### ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА

ЮРИЙ ЮРЧЕНКО. О человеке ветхозаветном и новом. Эссе . . . . . 112

### ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

ГАЛИНА КОЗЛОВСКАЯ. Восточный полдень Анны Ахматовой . . . . . 124

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Р. МАХМУДХАДЖАЕВ. Оживить историю . . . . . 142

Т. БОРОДАЕВА. Без восклицательных знаков . . . . . 143

В. ВАСИЛЬЕВ. Между ложью и правдой . . . . . 144

### К 80-ЛЕТИЮ А. ТВАРДОВСКОГО

ВИЛЬЯМ АЛЕКСАНДРОВ. Три встречи . . . . . 146

## ГЛОБУС

НИКОЛАЙ МОЙКИН. Королевство в океане . . . . . 150

## ПОИСКИ. ГИПОТЕЗЫ. НАХОДКИ

С. ВАРШАВСКИЙ, И. ЗМОЙРО. Еще о докторе Д. А. Введенском . . . . . 153

## КОРАН

Сура 19. Марйам . . . . . 155

Сура 20. Та ха . . . . . 158

Сура 21. Пророки . . . . . 161

Комментарии . . . . . 165

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

АРТУР КОНАН ДОЙЛ. Комната ужасов. Как это случилось. Р а с с к а з ы . . . . . 168

СТАНИСЛАВ КУЛИШ. Автомобильная леди. Хроника одного преступления, П о в е с т ь . . . 174

## К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Н. ЗИГАНШИНА. Однажды избранный путь . . . . . 197

## САТИРА. ЮМОР

Улыбки художников . . . . . 199

Содержание журнала «Звезда Востока» за 1990 год . . . . . 202

О наших авторах . . . . . 207

Главный редактор **С. П. ТАТУР.**

Редакционная коллегия: **В. А. АЛЕКСАНДРОВ, И. М. АЛЯБЬЕВА** (отв. секретарь), **А. Ф. БАУЭР, А. Р. БЕНДЕР** (зам. главного редактора), **Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, С. А. БРЫНСКИХ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, Н. К. ГАЦУНАЕВ, М. М. МИРЗАМУХАМЕДОВ, Ю. А. МОРИЦ, И. Ф. РОГОВ, Р. А. САФАРОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Ш. ХАЛМИРЗАЕВ, Н. ХУДАЙБЕРГАНОВ.**

© Звезда Востока, 1990 г.



## ГРАНИ АРАЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Вадим Антонов,  
генеральный директор  
объединения «Водпроект»

---

### БЕДЫ АРАЛА — В ЧЕМ ОНИ?

---

Природопользование, особенно потребление человечеством природных ресурсов, всегда было утилитарным, и распоряжался человек ими, не задумываясь о последствиях. С развитием общественного производства объем использования ресурсов возрастал и отрицательные последствия проявлялись все сильнее. Ситуация, сложившаяся в мире сегодня, стала уже критической.

Один из примеров — проблемы, связанные с неблагоприятной экологической и экономической обстановкой в бассейне Аральского моря. Я попытаюсь рассмотреть их, выделив главное: как это отражается на развитии орошаемого земледелия в регионе и какие реальные пути оздоровления обстановки могут быть предложены.

Развитие ирригации в бассейне Арала восходит к далекому прошлому. Земли под орошение начали осваивать здесь с тех пор, как человечество занялось земледелием. К началу нынешнего столетия орошаемая площадь составляла в регионе два миллиона гектаров, и около одной трети формирующегося в бассейне стока уже не доходило до моря. В среднем в Арал поступало тогда около 70 кубических километров в год.

В двадцатом столетии, до середины шестидесятых годов, темпы освоения новых земель хотя и усилились, но были все же невысокие. В среднем за десятилетие приток орошаемых площадей составлял 300 тысяч гектаров, тем не менее с 1965 года их общая площадь увеличилась довольно-таки существенно — в 2,5 раза, до 5,1 миллиона гектаров, а приток воды в море сократился до 50 кубических километров. Уровень моря несколько понизился, однако особой тревоги это еще не вызывало.

В начале 60-х годов, когда страну захватила идея «догнать и перегнать», причем в кратчайший срок, наиболее развитые страны мира, во всем начался «освоительный бум». Тогда же хлопок был объявлен «белым золотом», и появился лозунг: «Больше хлопка — богаче Родина!»

Быстро пошло освоение под хлопководство и продовольственные культуры крупных массивов целинных земель в Голодной, Каршинской степях, зоне Аму-Бухарского канала, Сурхан-Шерабадской долине Узбекистана, по Каракумскому каналу в Туркмении, на юге Казахстана, в долинах Таджикистана, Киргизии; интенсивно стало развиваться рисоводство в низовьях Сырдарьи и Амударьи.

«Давай, давай!» — призывали тогда с трибун. Ударные темпы работ радовали всех и усиленно поощрялись. И хотя далеко еще было до завершения строительства Каракумского канала, его создатели удостоились в 1965 году Ленинской премии. В 1972 году Ленинская премия вручается покорителям далеко еще не освоенной Голодной степи. Невиданными темпами поднималась целина в Каршинской степи. Щедро раздавали награды, не забывая при этом высокие партийные и государственные деятели и себя.

Тогда не замечали недостатков и не хотели думать о последствиях, а недоделки

откладывались «на потом». Это сейчас мы вопрошаем: «Кто виноват?», а в те годы такой вопрос никому и в голову не приходил.

Угрозу истощения водных ресурсов, впрочем, сознавали, о ней предупреждали проектировщики, но она никого не страшила. Уже разрабатывалось технико-экономическое обоснование переброски в бассейн Аральского моря части стока сибирских рек. Строились оптимистические расчеты на то, что сибирская вода придет в регион в 1990-м, ну, самое позднее, — в 1995 году. Когда же в решениях XXV съезда КПСС появилась запись о проведении проектных работ по переброске, все сомнения в скорой реализации этого проекта были отмечены.

В июне 1983 года Госплан СССР после двухлетней экспертизы одобрил представленное Минводхозом СССР технико-экономическое обоснование строительства канала Сибирь — Средняя Азия, и в том же году было получено разрешение приступить к подготовительным работам. Срок строительства первой очереди определялся в 12 лет.

Затрубили в фанфары. «Проект века» запускался на орбиту. И какими несерьезными казались в то время выступления писателей, протестующих против этого проекта. От них просто отмахивались. Бум вокруг проекта века разрастался. Однако одновременно крепчала и критика как в адрес проекта, так и Минводхоза вообще.

Два десятилетия (1965—1985 годы), которые, хотя и называют теперь «периодом застоя», в бассейне Арала кипела огромная стройка, шло крупномасштабное наступление на целину. И прирост орошаемых земель составил за эти годы 2,1 миллиона гектаров, а общая площадь орошения увеличилась до 7,2 миллиона гектаров.

Изъятие воды из источников возросло настолько, что сток в море сократился всего до нескольких кубических километров. В 1985 году он был уже нулевым. Уровень моря в 1985 году по сравнению с 1965 годом понизился на одиннадцать метров.

Осмысление происшедшего почему-то началось только в ходе перестройки, и, как обычно у нас бывает, все шарахнулись в другую сторону.

После 1985 года освоение новых земель в бассейне было резко остановлено — за пять последних лет орошаемая площадь увеличилась всего лишь на 0,1 миллиона, то есть достигла 7,3 миллиона гектаров.

В августе 1986 года под воздействием сформированного некоторыми писателями негативного общественного мнения, направленного против «антиприродной» деятельности Минводхоза СССР, директивными органами принимается постановление о прекращении работ по переброске в регион воды сибирских рек.

Как записано в постановлении, решение это принято, «исходя из необходимости дополнительного изучения экологических и экономических аспектов» данной проблемы. Ну что ж, вроде бы резонно, однако возникает вопрос: выходит, технико-экономическое обоснование, которое разрабатывалось силами почти 150 институтов на протяжении 13 лет и было одобрено Госпланом СССР, через три года после этого признается недостаточным?

Допускаю, что проблема в целом недостаточно изучена. Но тогда, следуя логике, изучение ее полагалось бы продолжить, не прекращая проектные проработки: рассмотреть варианты, смоделировать труднопрогнозируемые процессы. Нет, работа над проектом была в административном порядке просто запрещена.

И еще возникает вопрос: почему никто не выполняет содержащуюся в постановлении рекомендацию «продолжить изучение научных проблем, связанных с региональным перераспределением водных ресурсов...», а также глубоко проанализировать отечественный и зарубежный опыт в этом деле? Сейчас, наоборот, такие исследования у нас фактически прекращены.

Наша командно-административная система, которая продолжает активно действовать, вообще отличается своими запретительными санкциями. Если уж кому-то поручается что-нибудь прекратить или с чем-либо «усилить борьбу», то проявляется такое безудержное усердие, что оно достойно лучшего применения.

А как после принятых санкций активизировались противники «проекта века!» Вот уж где те писатели отыгались. Какими только эпитетами не награждался Минводхоз — и «чудовищное создание», «экологический преступник...» «Пользуясь тем, что умеют писать» (как сказали в одном из телевизионных представлений КВН), они явно перестарались. Вся кризисную экологическую ситуацию, сложившуюся в стране, в том числе в бассейне Арала, они связали напрямую с деятельностью Минводхоза и в конце концов добились того, что это министерство ликвидировали.

Сбитая с толку общественность, не разобравшись, что происходит, потребовала назвать конкретных виновников усыхания Арала и отдать их под суд. В этой критике состязались между собой газеты и толстые литературные журналы, многочисленные «круглые столы» и т.д.

Да, Минводхоз допустил немало ошибок. Сейчас признается, что освоение земель в регионе в период освоительного бума выполняли наспех, с недоделками, не соблюдали комплексность работ, недопустимо мало внимания уделяли природоохранитель-



ным мероприятиям. Уже неубедительно звучат оправдания, что у страны в то время не хватало денежных и материальных ресурсов, этими доводами нельзя, разумеется, оправдать просчеты, которые повлекли за собой крупные экологические нарушения.

Наша страна и сегодня не столь богата, что бы позволить себе реализацию крупномасштабных проектов. Именно это и послужило, я считаю, главной причиной принятия в 1986 году решения о прекращении работ по переброске части стока сибирских рек в бассейн Арала.

Но давайте спокойно разберемся, что же теперь делать.

В Средней Азии орошение и мелиорация земель испокон веков были основой сельскохозяйственного производства и жизнеобеспечения населения. Земель здесь орошается сегодня столько, на сколько хватает воды, и получают с них 97 процентов продукции. Без орошения у нас земледелие существовать просто не может, а профессия мираба, или управляющего водой, считается в народе самой уважаемой. Огромным авторитетом пользуются специалисты-водники. Поговорите с ними, и вы услышите однозначное мнение, что без дальнейшего развития орошения за счет пополнения Сырдарьи и Амударьи водой сибирских рек обойтись просто невозможно.

Без этого не решить в Средней Азии и сложные социально-экономические, межнациональные проблемы и не оздоровить неблагоприятную экологическую обстановку.

Вот о чем надо писать, чтобы общественность страны ясно представляла себе истинное положение дел и те беды, из которых нужно выводить местное население.

Приаралье названо зоной экологического бедствия. Именно такая оценка дана в принятом Верховным Советом СССР в ноябре 1989 года постановлении «О неотложных мерах экологического оздоровления страны».

Оценка эта в целом верная, но подразумевает она главным образом кризисное состояние природной среды — усыхание моря как природного объекта, прогрессирующее опустынивание речных дельт, химическое загрязнение водотоков и почв и другие подобные явления, которые появляются в результате необдуманной хозяйственной деятельности.

И постановлением намечается осуществить меры, направленные на восстановление экологического равновесия. Предусматривается даже создать постоянно действующую правительственную комиссию, которой поручается «обеспечить конкурсную разработку концепции восстановления Аральского моря и в 1990 году представить конкретные предложения по ее реализации».

Записанные в постановлении положения во многом совпадают с призывами, которые часто сейчас приходится читать и слышать, о том, что Арал надо спасать любой ценой, что необходимо восстановить (и только так!) изначальный уровень моря, естественный режим рек и вообще нарушенное природное равновесие во всех его первоначальных проявлениях.

При этом как-то получается, что из сферы экологической озабоченности выпадает главный «природный объект» — человек, живущий на рассматриваемой территории и в первую очередь нуждающийся в экологической защите.

Авторы подобных призывов почему-то не задумываются о судьбе быстро прирастающего населения региона, а это сегодня 36 миллионов человек, для которых места их исторического проживания не просто «окружающая среда», но и источник существования.

По сравнению с 1965 годом население Узбекистана увеличилось в два раза, и насчитывает сегодня более 20 миллионов человек. Прогнозируется, что в 2000 году в республике будет 27 миллионов, а в 2010-м — 35 миллионов человек. Общая же численность населения в бассейне Арала через двадцать лет может составить более 60 миллионов человек.

Как прокормить, как обеспечить всех работой, как создать все необходимые условия для такого количества людей? Разве не это должно стать главной заботой экологов?

Особенность коренного населения — очень слабая миграционная подвижность, поэтому условия для него нужно создавать только на месте, тем более, что для этого имеются прекрасные возможности: плодородные земли, благоприятный климат. Не хватает только воды. А вода — это жизнь. И каким бы потенциальным плодородием земля ни обладала, без искусственного орошения она здесь мертва.

В Узбекистане в сельскохозяйственном использовании находится сегодня 4,2 миллиона гектаров орошаемых земель. Их площадь по сравнению с 1965 годом увеличилась в 1,6 раза, а объем произведенной продукции сельского хозяйства возрос в 2,2 раза (значит, развитие шло не только экстенсивно), однако площадь, приходящаяся на душу населения, сократилась при этом с 0,25 до 0,21 гектара, а объем производства продукции на одного человека остался примерно на уровне 1965 года.

Возможностей дальнейшего расширения орошаемых земель в республике из-за дефицита водных ресурсов практически нет, и простой расчет показывает, что если мы эту проблему не решим, то в 2000 году на душу населения здесь будет приходится

в среднем 0,15, а в 2010-м — лишь 0,12 гектара. Между тем, подсчитано, что для нормального обеспечения населения региона собственным продовольствием на одну душу надо иметь 0,3 гектара.

Сегодня потребление населением мясо-молочной продукции, даже с учетом ее поставки из общесоюзного фонда, в Узбекистане почти в два раза, а картофеля в три раза ниже в общем-то невысокого среднесоюзного уровня. Еще хуже положение в сельской местности. Ничтожно потребление и рыбы. Парадоксален для Узбекистана факт, что даже плодов и овощей население потребляет примерно 70 процентов от нормы.

Думаю, что любому экономисту или экологу ясно, что без освоения под орошаемое земледелие в течение 1965—1985 годов 1,5 миллиона гектаров новых площадей республика не смогла бы обеспечить даже достигнутый сегодня уровень жизни народа.

А теперь давайте посмотрим как экологи на взаимосвязь размеров акватории усахающего моря с уровнем жизни населяющих его бассейн людей.

Да, уменьшился объем моря, увеличился ветровой вынос солей с обнаженной части дна, но разве это является причиной того, что сельское население Приаралья на 73-м году Советской власти не имеет водопровода и канализации, природного газа, пьет воду из открытых источников, мучается в глинобитных лачугах с земляными полами, без отопления, что до сих пор в Каракалпакии так отчаянно низок уровень гигиены и санитарной культуры населения, так отстают физическое развитие детей, а женщины страдают всевозможными болезнями, истощены и измучены частыми родами, люди здесь не знают, что такое баня, не хватает медицинских учреждений, школ, и дети вынуждены учиться в три смены в приспособленных помещениях, а какого качества образование они получают?

И такое положение не только в Каракалпакии. Президент Узбекской ССР, Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана И. А. Каримов огласил на всю страну, что сегодня около 9 миллионов человек в республике (или 45 процентов всего населения) имеют доход на человека менее 75 рублей в месяц, что не обеспечивает прожиточного минимума, и четверть трудоспособного населения вообще не работает.

Как же мы оказались в таком положении?

Вот где настоящая зона бедствия! И разве эти беды мы переживаем оттого, что высыхает Аральское море? Или «антиприродная» деятельность водников довела нас до такой жизни?

«Верните людям море, и жизнь их тут же нормализуется!» — призывают (неизвестно, однако, кого) те самые писатели. Но ведь дело-то в том, что в аральской трагедии, как в фокусе, отразились результаты экономических, социальных, политических и других допущенных нашей командно-административной системой ошибок и промахов, которые пока не получили должного освещения.

Арал стал как бы символом трагедии, того бедственного положения людей, истинные причины которого кроются в допуславшемся у нас десятилетиями государственном невежестве, игнорировании законов экономического развития региона с учетом его демографических и национальных особенностей и полного невнимания к социальной сфере.

Насколько же фальшивым и демагогическим был наш лозунг: «Все во имя человека, все для блага человека!»

Так что, будем выявлять виновников, чтобы отдать их под суд, или искать пути, как нам преодолеть эти беды?

Трудно, видимо, возразить против того, что главным объектом экологической защиты у нас должен стать человек, и все наши общественно-политические и социально-экономические программы должны быть направлены прежде всего на создание таких условий жизни, при которых, наряду со здоровой средой обитания, каждому человеку были бы обеспечены:

работа, которая соответствовала бы его наклонностям, способностям и являлась бы материальной основой его жизнедеятельности;

комфортное жилье со всеми необходимыми коммунально-бытовыми услугами, отвечающее санитарным нормам;

бездефицитный по основным продовольственным продуктам рацион питания; возможность свободно удовлетворять другие свои материальные и духовные запросы.

Нам сейчас жизненно необходима генеральная концепция развития Аральского региона на ближайшие 10—15 лет. Вместе с тем должны быть разработаны комплексные программы развития для каждой среднеазиатской республики и Казахстана с учетом их специфики.

Среду нашего обитания нельзя рассматривать как раз и навсегда данное, и к первобытному состоянию ее не вернуть. Она меняется под воздействием человеческой деятельности, меняется, если на то пошло, физическая карта мира в целом. Мы до-

лжны заботиться о том, чтобы среда нашего обитания была здоровой, а для этого надо сформулировать, какие же экологические требования мы к ней предъявляем.

Эти функции должны взять на себя Госплан СССР, Академия наук СССР, Минздрав СССР, на выполнение этих работ надо мобилизовать наши многочисленные научно-исследовательские институты.

Сейчас лишь один проектный институт упраздненного Минводхоза СССР работает над «Схемой комплексного использования и охраны водных и земельных ресурсов бассейна Аральского моря», что предусмотрено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятом в 1988 году, по улучшению экологической и санитарной обстановки в зоне Арала. Ни Академия наук СССР, и никакое другое «заинтересованное министерство или ведомство» участия в этой разработке не принимают.

Согласитесь, ситуация опять-таки странная и напоминает уже описанную мною в связи с принятием августовского постановления 1986 года. Картина та же: «заинтересованные исполнители» почему-то не выполняют ответственных поручений.

В результате авторы «Схемы» дать того, что требуется, то есть обоснованные предложения по распределению ограниченных водных ресурсов бассейна по республикам и отраслям народного хозяйства, просто не в силах, как не могут обосновать и критерии экологического оздоровления региона.

А вот водобалансовые расчеты этот институт провел, и они показали следующее: если сохранять орошаемую площадь в бассейне на современном уровне — 7,3 миллиона гектаров, занимаясь реконструкцией оросительных систем и внедрением водосберегающих технологий, то уровень моря будет дальше снижаться от нынешней отметки еще примерно на 10 метров;

если стабилизировать уровень моря на современной сниженной отметке, то орошаемую площадь в бассейне придется сократить на 1,4 миллиона гектаров. Соответственно придется увеличить поставки продовольствия республикам Средней Азии и Казахстану из других регионов страны. Реконструкцией и водоснабжением заниматься в этом случае также будет необходимо;

если же мы захотим восстановить уровень моря до отметки, которая была в 1965 году, то нам на двадцать предстоящих лет придется вывести из-под орошения 5,3 миллиона гектаров, а значит — обходиться в этот период орошаемой площадью всего в два миллиона гектаров. После 2010 года можно будет позволить себе орошать не более 3,6 миллиона гектаров. Поставки продовольствия в «зону экологического бедствия» придется, следовательно, многократно увеличивать.

Вот такие получаются варианты. Какой из них выбрать? Может быть, писатели нам посоветуют?

Почему же союзные ведомства не приступили до сих пор к выполнению поручений директивных органов страны по разработке концепции экономического и социального развития среднеазиатского региона в условиях резкого ухудшения водообеспеченности и постоянно усложняющейся демографической обстановки?

А такая концепция нужна как воздух, чтобы дать, наконец, людям, живущим в «зоне экологического бедствия», четкий ответ на то, что их ожидает, как будут обеспечиваться здесь необходимые условия жизни.

Фактом, от которого невозможно сегодня уйти, является то, что Арал продолжает усыхать и уровень его уже после 1985 года понизился еще на 3,5 метра. Процесс этот, к сожалению, пойдет и дальше. Море, конечно же, жалко, и нет человека, который смотрит на происходящее равнодушно.

Выдвигаются разные предложения, однако чаще всего нереальные. Приемлемые же сводятся к введению жесткого контроля за водопользованием, осуществлению тотальной реконструкции оросительных систем, переходу на капельное орошение.

Все это — чтобы увеличить попуски в море. Что же, заниматься этим надо, хотя и требуются миллиардные затраты, но, сев даже на самый жесткий режим экономии, регион, с его темпами прироста населения, сможет кое-как протянуть без сибирской воды ну еще лет десять, ну пятнадцать... А что потом?

Кстати, переориентация водохозяйственной политики на реконструкцию орошаемых площадей и водосбережение проводится в бассейне фактически уже с 1985 года, однако реальных результатов пока нет. Не увеличилось сколько-нибудь заметно за эти годы, несмотря на переход на подряд и аренду, и производство продовольствия.

Да и какие можно ожидать результаты?

Чтобы их получить — одной политики мало, надо вкладывать огромные средства и материальные ресурсы, но страна ими сейчас не располагает.

Специалистами подсчитано, что программа реконструкции орошаемого земледелия и экологического оздоровления Аральского региона требует около 100 миллиардов рублей капитальных вложений. Давайте честно скажем: сможем ли мы изыскать их в течение ближайших 10—15 лет?

Нет, не сможем. Поэтому реализация этой программы растянется не на один

десяток лет, и спасет положение только подача в регион не позже, чем к 2005 году сибирской воды.

Не противопоставляя строительство канала Сибирь — Средняя Азия работам по реконструкции, ибо я считаю, что заниматься с тем и другим необходимо параллельно, скажу только, что для строительства канала средств понадобится в пять раз меньше.

Наша оценка затрат на реконструкцию и экологическое оздоровление региона совпадает с оценкой, которую привел в своей статье, опубликованной в журнале «Мелиорация и водное хозяйство» №№ 5 и 6 за 1990 год доктор Филип П. Миклин — профессор Западно-Мичиганского университета (США). Вот что он написал: «Модернизация орошения в бассейне Аральского моря... — это дорогостоящее и долговременное дело. Стоимость комплексной программы может достичь 95 миллиардов рублей».

Необходимо иметь в виду и то, что в структуре и интенсивности использования орошаемых земель региона, являющихся главным водопотребителем, в ближайшем будущем должны произойти существенные изменения. Значительно уменьшатся площади под хлопчатником и увеличатся за счет этого посевы кормовых, зерно-бобовых культур, овощей, картофеля, бахчевых, посадки садов и виноградников, получит развитие производство овощей в защищенном грунте, где можно снимать по два-три урожая в год. Намного должны увеличиться площади орошаемых земель, выделяемых в индивидуальное пользование сельским семьям в качестве приусадебных участков, а также площади, используемые садово-огородными товариществами.

Потребность в воде в сельском хозяйстве в связи с этим сильно возрастает. Следует ожидать также повышения запросов на воду для питья и коммунально-бытовых нужд. Этого требует как рост населения, так и острая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.

Большие объемы воды понадобятся развивающейся промышленности и энергетике.

А сколько надо будет направить ее на поддержание Аральского моря (хотя бы с уменьшенной акваторией), на обводнение дельт Амударьи и Сырдарьи, на создание намеченных там искусственно регулируемых водоемов? Какими должны быть санитарные попуски в реки бассейна, сколько воды потребует намечаемая программа фитомелиорации на осушенном дне моря?

Не забыть еще водопотребление в таких отраслях народного хозяйства, как озеро-товарное и прудовое рыбководство, использование и охрана пастбищных угодий, лесоразведение.

Сколько же на все это потребуются воды в 1995-м, 2000-м, 2005-м годах?

Вот когда мы все это подсчитаем, то окончательно убедимся, что воды у нас в бассейне Арала нет и надо срочно что-то делать.

Пока канала Сибирь — Средняя Азия нет, придется отпускать воду по приоритетности, которая должна быть, очевидно, такой: 1) питьевое и коммунально-бытовое водоснабжение, 2) промышленность и энергетика, 3) попуски в реки и море для поддержания хотя бы удовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки, 4) орошаемое земледелие и другие отрасли хозяйства.

Площади орошения до тех пор, пока в регион не поступит сибирская вода, придется из года в год сокращать, а режим экономии все более и более ужесточать. Сколько продукции мы за счет этого недополучим? Чем будем кормить людей? Опять обещаниями? А как быть с суверенным развитием республик и международными проблемами?

Это непростые вопросы.

А что же показывает зарубежный опыт в использовании водных ресурсов и развитии орошаемого земледелия? О нем в нашей печати вы ничего не найдете. Анализом зарубежного опыта наши экологи не занимаются, в том числе, те, кому это было поручено в официальном порядке.

Между тем опыт этот показывает, что орошение за рубежом развивается и никакие природных катаклизмов у них от этого не происходит. Площадь орошаемых земель в мире с 1900 года возросла к настоящему времени в семь раз, занимая 18 процентов от клина всех пахотных земель. За 20 лет площади орошаемых земель увеличились в США в 1,5 раза, в Канаде в 1,7, в Бразилии в 2,8 раза. Индия ежегодно увеличивает орошаемую площадь на два миллиона гектаров.

Реализуется в зарубежных странах и региональное перераспределение водных ресурсов. Правда, это не называется там поворотом рек или проектами века и осуществляется как обычные стройки, не вызывая лишнего разговора и возмущения литературной общественности.

Например, в США для переброски части стока реки Сакраменто в Южную Калифорнию еще в 1961—1971 годах был построен канал протяженностью 1124 километра с 14 насосными станциями, 18 водохранилищами и пятью гидроэлектростанциями. Крупные переброски водных ресурсов внутри страны осуществляют сейчас Китайская

Народная Республика, Индия, где воды Ганга подаются на орошение земель в засушливые центральные штаты, Греция и Югославия реализуют совместный проект строительства канала Дунай — Эгейское море.

Повторяю, в отечественной печати об этом никакой информации нет, а она, я думаю, была бы небезынтересной нашей общественности, особенно тем писателям, усилиями которых наложено табу на канал Сибирь — Средняя Азия.

Запрет на проектирование будущего канала надо снять, а подготовительные работы к его строительству возобновить. Промедление же только усугубит обстановку. Мы уже опаздываем по меньшей мере на 15 лет.

Проектировать же канал Сибирь — Средняя Азия надо сегодня не на первую очередь строительства с отбором 27 кубических километров в год, а сразу на вторую — с отбором 60 кубических километров, чтобы радикальным образом помочь как дальнейшему развитию орошаемого земледелия и других водопотребляющих отраслей народного хозяйства в бассейне Арала, так и усыхающему морю. Альтернативы этому нет, и пора уже всем это понять.

Арустан Жолдасов,  
социолог

---

## ЭКОЛОГИЯ... МИНУС ЭТНОС?

---

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В ПРИАРАЛЬЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

До 1980-х годов формы, тенденции и динамику межнациональных противоречий в Каракалпакии и Южном Приаралье определяли экономические, демографические и социальные процессы, происходившие в Средней Азии. Взаимодействие этих факторов оказывало влияние на ресурсо- и продуктообмен в экологической системе Приаралья и тем самым способствовало тому, что здесь возник фактор определяющий — экологический. На Втором всесоюзном совещании по проблеме Арала он был признан катастрофическим. Действительно, именно этот фактор оказывает теперь все большее влияние на процессы, происходящие в регионе, в том числе и социальные. «Второй Чернобыль» — такое определение экологического бедствия в Приаралье прозвучало в прессе. Но особенность этого «второго Чернобыля» в том, что он не гаснет, а, напротив, лишь разгорается.

Экологическая катастрофа в Приаралье — это очередной на территории СССР глобального масштаба эксперимент, который человечество ставит не столько над природой, сколько над самим собой.

Экологические процессы, способные привести к катастрофе, отрицательно влияют на процессы, происходящие в этносоциальных сообществах, и на отношения между этими сообществами. От того, кто займет господствующее положение в экосистеме, зависит существование той или иной социальной общности, этносоциальной группы.

Объективного характера динамика демографических, экономических и экологических процессов, которые определяют развитие регионов Средней Азии, в ближайшие неблагоприятные гидрологические годы может, вслед за экологическими, сделать неуправляемыми и социальные процессы в Приаралье. До максимума возрастает плотность населения на единицу орошаемой земли. А это неизбежно ведет к обострению межличностных, межродовых и межнациональных противоречий. Таким образом, мы можем стать свидетелями того, как сугубо биологические факторы приведут этнические группы на территории Приаралья на грань деградации и последующего вырождения. Избежать или хотя бы отсрочить это можно лишь в том случае, если радикально изменить формы взаимодействия в экосистеме. Второй выход — массовое переселение части населения из региона. На принятие решений и на их осуществление природа отпустила нам не более чем 5—10 лет (прогнозная оценка).

Приаралье — это центр, фокус непосредственных интересов и противоречий Средней Азии в целом. В Южном Приаралье, например, в разных пропорциях представлены основные коренные национальности: узбеки, каракалпаки, казахи, туркмены. Соответственно, за ними стоят интересы республик — Узбекской, Казахской, Туркменской, автономной Каракалпакской и, опосредованно, Таджикской. Сплачиваясь на основе общих аральских проблем, эти республики используют их в том числе и для давления на союзные и международные органы с целью решения своих политических,

социально-экономических и экологических проблем. Аральское море, Амударья для Средней Азии всегда были таким же символом, почти тотемом, как Байкал и Волга для России. Несмотря на этот объединяющий, спланивающий фактор — общее желание спасти Аральское море, — нехватка воды, ее дефицит ведут к нарастанию конкуренции и противоречий между республиками Средней Азии. Поводом для этого служат объемы используемой воды из рек, протекающих по территории этих республик. В печати неоднократно писали о фактах насильственного захвата канала, речки жителями соседствующих селений, причем расположенных не только на территории одной республики, но и на землях соседствующих республик. На фоне всеобщего дефицита поливной и питьевой воды экологические противоречия в местах, где в силу соседства приходится тесно взаимодействовать разным национальностям, становятся по мере обострения противоречиями межнациональными, а следовательно, политическими.

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

В своей совокупности межнациональные противоречия сводятся, в конечном итоге, к формам территориальных претензий. Со стороны, например, каракалпакских общественных деятелей они основываются на следующих аргументах. Территория Каракалпакии с 1924 по 1930 годы находилась в составе Казахской АССР на правах автономной области, с 1930 по 1936 годы — в составе РСФСР, а с 1936 года — в составе Узбекской ССР на правах автономной республики. За период с 1943 по 1989 годы из состава КК АССР и юрисдикции органов власти КК АССР было изъято и передано в состав УзССР более 37 тысяч квадратных километров территории, на которой в 1950—1960-е годы выросли крупные промышленные центры добычи золота, урана и других ценных минералов. Позже были изъяты еще десятки тысяч гектаров орошаемых земель. Акты изъятия территорий не были представлены на рассмотрение и одобрение Верховных Советов ни УзССР, ни КК АССР.

Эти претензии встречают контраргументы — в частности о том, что вся левобережная Каракалпакия в свое время находилась в составе Хорезмской республики, поэтому всякие взаимные территориальные требования несостоятельны.

В ходе обсуждения поправок к Конституции УзССР и КК АССР в 1989 году для повышения суверенитета КК АССР депутаты Каракалпакии в Верховных Советах той и другой республики предложили ряд поправок и замечаний, но те были оставлены без внимания. Так, например, ни одно предложение депутата Верховного Совета УзССР, первого секретаря Каракалпакского обкома КП Узбекистана на сессии Верховного Совета УзССР не было принято. В числе его предложений были — предоставить Верховному Совету КК АССР право на решение вопросов своего административно-территориального устройства, право «вето» на решения Совета Министров КК АССР, право помилования.

В число прочих претензий, предъявляемых Каракалпакией к органам управления Туркменской и Узбекской ССР, входят и претензии по поводу объемов и эффективности использования воды, забираемой из Амударьи, а также качества воды, возвращаемой в реку (области Туркмении и Узбекистана лежат выше Каракалпакии по течению реки). Подобные же претензии предъявляются к органам управления Туркмении по поводу неэффективно используемой воды в Каракумском канале. Эти претензии поддерживают союзные научные организации. О реакции органов управления Туркменской ССР на эти претензии можно судить по тому факту, что на Втором всесоюзном совещании по проблемам Арала от Туркмении не присутствовало ни одного представителя. Налицо проявление отношений конфликтного характера — игнорирование совместного обсуждения общих проблем.

Здесь и далее автор намеренно избегает критиковать обоснованность взаимных претензий, так как в задачи исследования входит лишь фиксация наличия самих претензий.

В прессе и в среде каракалпакской интеллигенции старшего возраста звучат предложения о выходе КК АССР из состава УзССР и входе в состав РСФСР. Предложения основаны на стремлении обрести покровителя, который бы ускорил решение обостряющихся экологических и социально-экономических проблем республики. Предложения эти, кроме того, основаны на идеализируемом опыте развития Каракалпакии в 1930—1936 годах, когда она находилась в составе РСФСР и Дзержинский район Москвы оказывал шефскую помощь Каракалпакии.

В отличие от старшего поколения, в своем большинстве ориентированного «про-российски», у части студенческой молодежи большее признание встречают претензии некоторых представителей узбекистанской интеллигенции к центральным органам власти, воспринимаемым как российские органы управления. Эти претензии обусловлены, по их мнению, не изменившимися с прошлого века политико-экономическими

отношениями России и Средней Азии. Основывается это утверждение на следующих аргументах. Россия по-прежнему вывозит дешевое сырье для своих текстильных центров, взамен ввозя промышленную продукцию, неконкурентоспособную на мировом рынке. Цены на вывозимые и ввозимые товары устанавливаются монополично Москвой. Ориентированная «антироссийски, антиколониально», эта часть молодежи считает, что в условиях тоталитарного режима, с подачи и поддержки центральных органов власти, органы управления УзССР были вынуждены проводить политику «территориальной экспансии» и оттеснения Каракалпакии от природных ресурсов.

Следует отметить, что все межнациональные противоречия политического характера, как обоснованные, так и необоснованные, не идут в Каракалпакии, Южном Приаралье дальше выкриков, просьб и пожеланий, потому что не имеют пока под собой социальной базы, организованного совокупного общественного мнения достаточно активных политических групп.

Несмотря на все большее обострение экологических и социальных проблем в зоне экологической катастрофы, на непрекращающиеся попытки организации общественных экологических движений и обществ, в Каракалпакии до сих пор нет ни одной неформальной общественной организации «зеленых», нет даже отделений Комитетов по спасению Арала, которые действуют в Ташкенте и в Алма-Ате. Всякие попытки организации движений или обществ «зеленых» жестко пресекались партгосаппаратом. Как это ни странно, но первую попытку создания организации «зеленых» в Каракалпакии пресек К. Салыков, нынешний председатель Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рациональному использованию природных ресурсов, будучи в то время (1988 год) первым секретарем Каракалпакского обкома КП Узбекистана.

Сковывая демократические движения в регионе, аппарат власти подрывает свой авторитет, а значит, действенность и эффективность управленческих воздействий на социальные процессы внутри региона. Более того, аппарат лишается социальной базы для поддержки политических акций, которые предпринимает вне региона. Тем самым политические органы, запаздывая с решением общенациональных политических проблем, усугубляют их, подрывая свой авторитет лидерства и невольно готовя почву для асоциальных форм насильственного разрешения социальных, экологических, межэтнических противоречий и конфликтов.

Серьезную тревогу о стабильности и равновесии социальных процессов в регионе вызывает в своей совокупности многое: низкий уровень политической культуры и общественной политической активности всех основных социальных групп; отсутствие навыков демократических и конституционных форм разрешения социальных противоречий и конфликтов всякого рода; устойчивое нарастание социальных и экологических проблем в регионе. В качестве индикаторов были приняты низкая политическая активность в избирательных кампаниях и полное неучастие в обсуждении проектов законов (законотворчестве). Отсутствие (пока, может быть) политического и экономического выхода из экологического тупика — неизбежный результат отсутствия реальной и действенной демократии.

Отношения Каракалпакии с соседними республиками строятся на совместных идеолого-политических акциях, направленных на углубление межнациональных отношений кооперации, сотрудничества. Это обусловлено, отчасти, близким сходством языков и обычаев у населения этих республик, а также и прежде всего — наличием у них общих источников водозабора и общих проблем в Приаралье. В разговоре о политическом аспекте проблемы упоминание о воде не случайно. В Средней Азии вода всегда была предметом самой высокой политики в межнациональных и межгосударственных отношениях. Ведь известно, что вода — это жизнь, и значит сильнее тот, кто владеет ею, а с ней — жизнью и благополучием людей.

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Межнациональные противоречия в области экономических отношений взаимобусловлены противоречиями в политических отношениях, отношениях власти, или господства и подчинения. Волонтаристски, внешнеэкономическими методами устанавливались в регионе союзными и узбекистанскими органами управления:

- структура и пропорции производящейся в Каракалпакии сельскохозяйственной и промышленной продукции;
- закупочные цены на вывозимую и продажные цены на ввозимую продукцию;
- ограничения на формы собственности и на экономическую инициативу как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Это влекло за собой ответные, зачастую противоправные, аморальные экономические акции («хлопковые дела») по перераспределению совокупного дохода. Многочисленные выступления на эту тему были опубликованы в материалах съез-

дов Компартий республик Средней Азии, в союзных и республиканских органах печати. В последних по времени выступлениях звучали настойчивые просьбы о повышении закупочных цен на вывозимую из республик сельскохозяйственную продукцию и сырье, об отчислении части налога с оборота из республик, перерабатывающих сырье в конечную продукцию для реализации. Общность интересов Узбекистана и Каракалпакии в политических и экономических отношениях с другими республиками Союза основана на общности экономики и источников водозабора.

Всякие экономические противоречия — это прежде всего противоречия отношений собственности. В Каракалпакии 6,3 процента промышленных предприятий принадлежат союзным ведомствам, 86,7 процента — союзно-республиканским и лишь около 4 процентов принадлежит ведомствам непосредственно автономной республики.

Дефицит доходов в бюджете КК АССР пополняется ежегодной субвенцией в сумме 135 миллионов рублей из бюджета УзССР, которая, в свою очередь, получала из союзного бюджета 1,3 миллиарда, а теперь уже — 3 миллиарда рублей.

На страницах «Правды Востока» часто выдвигаются следующие аргументы. На внутреннем рынке тонна хлопкового волокна стоит около 1000 рублей, а выработанная из этой тонны продукция, завозимая из других республик, стоит до 30 тысяч рублей (на мировом рынке тонна хлопка стоит около 1500 долларов). Отсюда делаются выводы — благосостояние регионов и республик, перерабатывающих сырье, зиждется на неблагоприятии регионов и республик, это сырье поставляющих.

Создание собственной индустриальной базы Каракалпакии в 1970—1980 годах — текстильной промышленности, железной дороги и др. — сопровождалось взятками союзным и республиканским органам власти и управления за решения тех или иных производственных и экономических вопросов, в том числе и за воду из водохранилища. Основной источник воды для низовьев, т. е. Каракалпакии, это Туя-Муонское водохранилище, расположенное на территории Хорезмской области УзССР. В каракалпакской прессе появляются предложения о совместном, с участием Каракалпакии, управлении этим водохранилищем.

В немалой степени межнациональные противоречия обостряются посредническими союзными и узбекистанскими внешнеторговыми организациями, которые, закупив в Каракалпакии продукцию задешево, перепродают ее на внешнем рынке без переработки и даже перегрузки по гораздо более высоким ценам. Так, за корень лакрицы Каракалпакия по обязательным поставкам получает от союзных внешнеторговых организаций по 500 рублей за тонну, а за эту же тонну на внешнем рынке выручают около 1000 долларов. Немало претензий за аналогичные «услуги» предъявило правительство Каракалпакии внешнеторговому объединению «Узбекинторг».

Экономические проблемы республик Средней Азии, в том числе и комплекс проблем Каракалпакии, еще обостряются просчетами органов власти, к которым вполне применимо сказанное еще в прошлом веке Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге»: «...экономическая функция, которую вынуждены выполнять все азиатские правительства, а именно, функция организации публичных работ. Эта система искусственного оплодотворения почвы, зависевшая от центрального правительства и приходившая немедленно в упадок при нерадивом отношении этого правительства к ирригационным и осушительным работам, объясняет тот иначе необъяснимый факт, что мы видим теперь бесплодными и пустынными целые территории, бывшие прекрасно обработанными».

Громадные ресурсные и финансовые вложения в водохозяйственное строительство большей частью использовались неэффективно и расхищались организациями Минводхоза и госаппаратом, а экологические процессы тем временем вышли в Приаралье из-под контроля и превращаются в бездонную бочку, которую предостой еще долго заполнять человеческими страданиями и жизнями, прежде чем эта бочка будет наполнена водой. Бессмысленные затраты на строительство коллекторов вдоль течения Амударьи ведутся без проектно-сметной документации и обоснования, с массой грубых ошибок.

Концепция решения экологических и социально-экономических проблем, представленная в документах органов управления Каракалпакии, основана на иждивенческих упованиях (просьб о выделении ресурсов, фондов, дотаций) и слабо ориентирована на реальные в ближайшем будущем рыночные отношения при региональном и территориальном самофинансировании и хозрасчете. Иждивенческие отношения не способствуют равноправию наций и, следовательно, влекут за собой отношения зависимости и принуждения, что, в свою очередь, чревато межнациональными противоречиями и конфликтами.



Экологические процессы оказывают все большее воздействие на различного рода социальные процессы, главным образом миграционные, их лавинообразный характер в Приаралье. Неуправляемые и неконтролируемые миграционные процессы ведут к обострению межнациональных противоречий в социальной сфере в местах оседания мигрантов, в сфере их повседневного общения с коренным населением, и без того не избалованным социальными благами. Миграционные процессы в Приаралье подразделяются на внешние и внутренние. За пределы республики и региона по различным причинам социального и экологического характера (нет работы, низкий заработок, отсутствие медицинской помощи, отравленная и засоленная земля и пр.) выехали за период с 1970 по 1990 годы десятки тысяч людей, чьей родиной была Каракалпакия, в их числе и в первую очередь — самая квалифицированная часть населения. Приморские районы почти полностью покинули потомки уральских казаков — свыше 10 тысяч человек «уходцев» — старообрядцев, бежавших от царских «милостей и внимания» в 1874 году с Урала в пески Средней Азии. Особенно возросла миграция из региона в связи с выездом в последние годы из Казахстана и Узбекистана немцев, евреев, крымских татар, греков и представителей других национальностей на места их проживания до «великого переселения малых народов».

Из Каракалпакии выезжают русские, корейцы, казахи. Выборочные опросы показывают, что количество жителей Каракалпакии, задумывающихся о возможном выезде за пределы республики на постоянное жительство, растет. Практически все опрошенные в социологическом обследовании думали об этом. Очевидно, что независимо от количества мигрантов следует разработать программу организованного выезда и компактного, совместного расселения выехавших жителей Каракалпакии в других регионах по согласованию с их органами власти и управления.

Внутри региона нарастают миграционные процессы, определяемые и направляемые «рыбным синдромом» — вверх по реке, вслед за уходящей водой. Основной поток хлынул в города, расположенные вверх по течению реки от дельты и моря. (Море бежит от людей, люди — от моря.) В городах Кунград и Нукус население возросло за последние 30 лет в 5 и более раз. В других городах региона за эти же годы население возросло не более чем в три раза. Что влечет людей в города? Надежда на постоянный заработок, стабильное обеспечение питьевой водой и продуктами питания первой необходимости, гарантированное медицинское обслуживание (пусть самого низкого качества), «лотерейная» перспектива для детей на смену статуса в социальной иерархии. Конечно же, надежда — не всегда возможность.

Плотность населения в среднем по республике возросла за 30 лет на сто процентов, а в регионах, прилегающих к морю и дельте реки, — в одних осталась на прежнем уровне, в других упала в два раза, при ежегодном приросте населения республики на 3,3 процента от достигнутого.

Население южных районов Каракалпакии (преимущественно узбеки) в отличие от жителей северных районов Каракалпакии (каракалпаки и казахи) не получает коэффициента к заработной плате за маловодность, хотя, по их мнению, условия их труда ничем не отличаются. Разумеется, это обстоятельство вызывает недовольство, а с учетом национального состава жителей районов недовольство это приобретает характер межнациональных противоречий.

Несмотря на крайне низкий уровень индустриализации (в промышленности занято около 10 процентов населения), Каракалпакия — самый урбанизированный регион Узбекистана: около половины населения проживает в городах. Однако только один город из 9, да и тот лишь частично, имеет канализацию. При высоком уровне безработицы в регионе (18—20 процентов) и притоке вынужденных мигрантов из села на и без того убогую социальную инфраструктуру в городах оказывается все большее и большее давление.

К участвовавшим случаям женских самоубийств добавились самоубийства среди подростков и юношества, обусловленные безысходностью, крайней нуждой и непреодолимыми трудностями, ужесточающейся социальной конкуренцией в самом начале их жизни. Многочисленны семьи, в которых доход на члена семьи не превышает 20—30 рублей в месяц. Если раньше семью на селе кормила земля, то теперь земля покрыта солью в сантиметр толщиной. Растет детская преступность. Нередки случаи воровства: поесть разок досыта, купить тетрадь, ручку, рубаху себе или младшему брату, чтобы тот мог пойти в школу.

В сфере неформального межличностного общения национальных конфликтов не наблюдалось. Однако они не редкость по отношению к сезонным рабочим, приезжающим в Каракалпакцию на сельские стройки из других республик страны.

Межнациональные браки часты в среде казахов и каракалпаков. Реже — в среде узбеков, туркмен.

При выборе руководителей в коллективах и депутатов для выборщиков и избирателей важна не только национальная принадлежность кандидата, но и его родовые и племенные связи, которым уделяется большое внимание.

Рост национального самосознания на уровне осознания общенациональных интересов и открытого его выражения характерен только для интеллигенции и студенчества. Среди остальных социальных групп национальное самосознание проявляется более в форме родового, племенного сознания и интересов. Тем не менее, по мере обострения социальных и экологических проблем следует ожидать проявлений самоохранительного поведения в форме политизации «национализирующегося» сознания, в том числе и националистического.

## ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Коренные национальности представлены в Каракалпакии в примерно равных пропорциях и не чинят друг другу препятствий в удовлетворении духовных потребностей. Поэтому почвы для возникновения межнациональных противоречий в сфере духовной не было до принятия Закона о государственном языке, в котором в этом регионе не было никакой нужды и который вызвал недовольство большинства населения Каракалпакии (каракалпаков в КК АССР около 31 процента). Часть казахского населения Каракалпакии (около 26 процентов) высказывает пожелания о том, чтобы Каракалпакское телевидение выделило один канал для передач из Алма-Аты. Сейчас на территории Каракалпакии принимаются передачи Центрального, Ташкентского, Ашхабадского и Каракалпакского телевидения.

В свою очередь, каракалпаки отстаивают свое право на духовный суверенитет.

Несмотря на некоторые шероховатости в межнациональных отношениях, поводов для конфликтов в духовной сфере между народами Каракалпакии нет, что обусловлено общностью их традиций, обычаев, принадлежностью к тюркоязычной группе народов и общей конфессиональной почвой.

Однако по отношению к власти, представленной в сознании местных этнических групп как власть Москвы, преследующая мусульманство, существует ряд претензий конфликтного характера, обусловленных в недавнем прошлом:

- отождествлением властями национальных обычаев и традиций с религиозными;
- иррациональным характером вмешательства властей в конфессионально-национальные ритуалы и обряды;
- преследованием религиозных служителей и верующих;
- случаями уничтожения мечетей, мавзолеев, нестандартных надгробий;
- ограничениями на их посещение;
- вытеснением русским языком в сфере государственного управления языков местных национальностей;
- вызывающим национальным нигилизмом местной, национальной бюрократии.

Так, к примеру, бывший секретарь обкома партии К. Салыков требовал «осуществить программу преподавания в Нукусском университете, начиная с первого курса, только на русском языке везде, кроме специальных филологических дисциплин». И это в учебном заведении, где основной контингент студентов набран из села и не всякий преподаватель владеет разговорным русским языком. Он же в свое время оповестил, что за участие в религиозных обрядах исключены из партии десять коммунистов-пенсионеров. Широкая кампания преследования верующих, начатая бывшим секретарем ЦК КП Узбекистана Абдуллаевой, все еще продолжается. 12 января 1990 года в газете «Советская Каракалпакия» директор республиканского дома атеизма пообещал повысить уровень и эффективность атеистической работы... с помощью органов милиции, прокуратуры и суда.

Недоумение вызвала в среде интеллигенции статья И. Беляева «Ислам и политика» («Литературная газета», 20 мая, 1987 г.), в которой он рекомендует «добровольно» сменить топонимы и этнонимы с религиозной, мусульманской окраской, отказаться от обрядов и обычаев, которые ранее освящались священнослужителями. Если скалькировать его предложения на христиан — это то же самое, что предложить им отказаться от имени Богдан, праздника Пасхи, названия села Боголюбово, фамилии Вознесенский и пр. и пр., в том числе, как ни парадоксально, от слова «спасибо», происшедшего от «спаси бог».

В обострении межнациональных отношений в духовной сфере основную лепту вносят воинствующие госатеисты. Наши выборочные исследования показали, что религиозность населения Каракалпакии старше 16 лет в 1989 году составляла 21 процент (вера в бога или некую высшую силу вообще), а религиозность мусульманская (вера в Аллаха и пророка его Мухаммеда, знание вероисповедальной догмы ислама — «шахады» — главного условия конфессиональной принадлежности к исламу) равна

была трем процентам выборки (пятипроцентной). Кроме того, принадлежность к мусульманству опрошенными определялась как следование обычаям дедов и отцов (61 процент), следование законам шариата (14 процентов) или вера в Аллаха (19 процентов).

Сомнительные идеологические победы на почве государственного атеизма крайне вредят межнациональным отношениям, тем более когда этот атеизм воспринимается как следствие межконфессиональных противоречий на фоне «осторожного» ограничения ислама и широкой пропаганды по телевидению христианства.

В своей повседневной жизни народы Каракалпакии руководствуются не религиозными или идеологическими мифами, а обычным правом, социальными нормами, проверенными жизнью предыдущих поколений, социальными нормами (адатом), которые помогли малочисленным этносам сохраниться в водоворотах истории и превратиться в народы и нации.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ? НЕТ, НАЧАЛО!

Своевременный анализ межнациональных противоречий, возникающих, зреющих в сознании людей на уровне обыденных и теоретических представлений, устранение первопричин, оснований этих противоречий в жизни людей с одновременной коррекцией в их сознании отражения этих противоречий — вот путь предотвращения асоциальных форм разрядки межнациональных противоречий и конфликтов. Велика роль и вина нашей социологической науки, описывающей и исследующей межнациональные противоречия и конфликты постфактум. Вовремя высветить эти противоречия и возможные конфликты — наполовину предотвратить их асоциальные, насильственные формы. И, как показывает практика, ограниченной гласности в виде закрытых справок «закрытых» научных учреждений для столоначальника Какбычегоневышло явно недостаточно.

Каждый регион, каждая республика Союза ССР должны решать комплекс своих проблем, в том числе и национальных, опираясь в первую очередь на свои ресурсы, возможности и силы. Сейчас не найти в СССР региона с благополучной экологической, социально-экономической ситуацией. От иждивенческих настроений следует отказываться самым решительным образом. Дети Урала, старухи Вологодчины, женщины Туркмении, народности Севера и пр. и пр. находятся не в лучшем положении, нежели жители Приаралья, Каракалпакии. На днях в штаб-квартире программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) подписано соглашение между ЮНЕП и СССР о совместных мерах по восстановлению Аральского моря. Предусматривается в течение двух лет разработать с помощью зарубежных и советских специалистов программу спасения Арала и использовать лучший зарубежный опыт в данной области. Проект по спасению Арала, первый совместный проект ЮНЕП и СССР, может стать образцом решения сложных экологических проблем на международном уровне. Однако для осуществления проекта спасения Арала потребуются десятки и сотни миллиардов рублей. Где их взять у себя, в СССР, не нанося ущерба другим регионам страны? Нам думается, что первым шагом на пути решения проблемы должно стать предоставление Приаралья, и в частности, Каракалпакии, статуса свободной экономической зоны, которая своими природными ресурсами и дешевой избыточной рабочей силой вовлечет в этот регион инвестиции, независимо от их происхождения и источника, «капиталистического» или «социалистического». Политические, экономические, социальные, экологические процессы объективного характера требуют перевода экономических отношений Приаралья с миром от «колониальных» к «неоколониальным», от вывоза сырья и ввоза промышленной продукции — к ввозу и вывозу капитала. (Автор статьи просит читать слово «с миром» в обоих значениях, а слова «колониальных» и «неоколониальных» воспринимать без эмоций, поскольку для ученого «у природы нет плохой погоды», а есть климат, к которому следует приспосабливаться.)

Комплекс политических, социально-экономических и экологических проблем Приаралья неразрешим в принципе без решения аналогичного комплекса проблем всего Среднеазиатского региона, поскольку проблемы Приаралья — следствие, фокус и средоточие проблем Средней Азии. Решить проблемы Приаралья можно только на основе поэтапного и предварительного решения проблем политического и экономического суверенитета республик Средней Азии, проблем, которые пока стыдливо называют проблемами республиканского самоуправления и самофинансирования. К суверенитету республики Средней Азии должны прийти через систему конституционных, ненасильственных внешних и внутренних политико-экономических акций, предпринятых демократическими правительствами этих республик. При этом надо опираться на единую концепцию и программу поэтапных взаимосогласованных действий среднеазиатской группы депутатов СССР, впоследствии Средазпарламента, который должен

быть образован (по необходимости) в силу общности и единства проблем и, в первую очередь, проблем распределения и использования общих дефицитных водных ресурсов.

Следует помнить, что из-за своего стратегического (географического, экономического и политического) положения Приаралье — мост между Россией и Средней Азией, а «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того, в грядущих судьбах наших, может быть, Азия — и есть наш главный исход». Гений Ф. М. Достоевского сумел в XIX веке увидеть нерасторжимость взаимных интересов России и Средней Азии и в XX и XXI веке.

Будущее Приаралья, Каракалпакии находится в прямой зависимости от того, чем станет Приаралье для России и Средней Азии. Если «яблоком раздора», то это беда. Поскольку чем хуже ситуация в Приаралье, тем лучше для конкурентов: Приаралье становится удобным аргументом для взаимных политических, экономических и прочих претензий и счетов по типу: «Вы сами виноваты, воруете друг у друга воду, не можете ею эффективно распорядиться, и поэтому гибнет Приаралье», — или, с другой стороны: «Вы нас довели до ручки своим стремлением к хлопковой независимости, а теперь не хотите вернуть нам долги ни деньгами, ни северными реками, поэтому гибнет Приаралье». Такие полярные высказывания запальчиво звучали в прессе не однажды. Однако между этими крайними позициями, конечно же, не истина, а проблема.

Если Приаралье — это мост, связующее звено между Россией и Средней Азией, то за будущее Приаралья можно будет не беспокоиться: проблемы и международные противоречия будут взаимовыгодно решаться.

**Рустам Разаков,**  
директор научно-производственного  
хозрасчетного центра  
«Экология водного хозяйства»

---

## ЧТО ДЕЛАТЬ?

---

Представим, что горит дом, а люди бегают вокруг и кричат: «Кто виноват, кто виноват?..» И предлагают еще разные способы тушения пожара. Одни советуют съездить за водой в соседний кишлак, другие призывают всем дружно заплакать и собранными слезами залить огонь...

Воображаемый пожар мне очень напоминает ситуацию, сложившуюся вокруг Аральского моря. Разговор о его гибели идет много лет, а практических результатов по спасению нет. Море как усыхало, так и продолжает усыхать.

Кто-то требует перекачать образованные сбросными коллекторно-дренажными водами небольшие озера. Другие настаивают: надо спустить в Арал все водохранилища. Третьи носятся с проектом построить канал от Каспийского моря... Несерьезность этих рекомендаций обнаруживается при самых элементарных расчетах.

Но время не терпит. Так же, как не залить пожар слезами, так абсурдно надеяться, что ситуацию изменит вода сбросных озер или водохранилищ. Эти разовые порции влаги тут же испарятся с поверхности высыхающего Арала. (О миллионных убытках в связи с осуществлением этих проектов я уже не говорю!) Надо спасать то, что еще можно спасти. И в этом плане мне представляется реальной программа действий, рекомендованная группой институтов Алма-Аты, Ленинграда и Ташкента. Их научные идеи легли в основу технико-экономического доклада «О комплексе мероприятий по регулированию водного режима Аральского моря и предотвращению опустынивания дельт Амударьи и Сырдарьи».

Меры, разработанные учеными и инженерами-проектировщиками, предусматривают создание защитного зеленого барьера между орошаемой зоной Каракалпакии и южной частью Аральского моря. Этот зеленый пояс шириной в 50—60 километров протянется и вдоль восточного побережья, вплоть до города Аральска, служившего некогда портом.

Пояс ляжет, увы, по бывшему дну моря, где на наших глазах образуется новая пустыня. В составе зеленого пояса — ожерелье из неглубоких проточных водоемов — своеобразных польдеров. В отличие от известных нидерландских польдеров, аральские покроются зарослями тростника. Но, как и нидерландские, друг от друга и от моря они будут отделены дамбами. Высота валов — три-три с половиной метра. Их возведут из

местного грунта. В дамбах предусмотрены донные и поверхностные водопуски. Поэтому каждую секцию сооружения можно будет осушить независимо от соседних. Понадобится это, например, во время скашивания тростника. Общая площадь польдеров — 300 тысяч гектаров.

Между мелководным тростниковым кольцом, опоясывающим южную, восточную и северо-восточную акваторию Арала, и бывшим берегом проляжет зона соле- и засухоустойчивой растительности. Она будет здесь развиваться не только искусственно, но и естественным путем, ведь благодаря соседству польдеров для этого будут благоприятные условия. Уменьшится скорость ветра, а увлажнение подвижных песков будет способствовать развитию на них растительности и кустарников. Они-то и помогут закрепить 600 тысяч гектаров подвижных песков.

Сильно засоленные почвы между польдерами и новым берегом Арала намечено закрепить галофитами — устойчивыми к повышенной концентрации солей растениями.

В дельте рек 90 тысяч гектаров придется на зоны лиманного и регулярного орошения. Воду подадут и в высохшие озера. Водоемы предлагается создать и в четырех бывших заливах моря.

Не менее 600 тысяч гектаров намечено обводнить под пастбища.

Таковы масштабы будущих работ. Комплекс инженерных мероприятий, надо ожидать, окажется достаточно надежным. Эффективность входящих в него отдельных систем проверена на практике. Так, устройство польдеров изучалось в высохших заливах Джилтирбас и Муйнакский, на мелководном озере Судочье.

Многолетние широкомасштабные опыты на различных типах почв осушенного дна моря провели сотрудники Среднеазиатского научно-исследовательского института лесного хозяйства. Исследования позволили выработать отдельные технологические приемы фитомелиорации бывшего дна моря и подобрать для конкретных почвенных условий соответствующие пустынные растения. На рыхлых подвижных песках рекомендовано выращивать кандым, черкез Рихтера и Палецкого; на песчаных, супесчаных, суглинистых равнинах — черный саксаул и опять же черкез Рихтера, приживающиеся при содержании в почве до двух процентов солей. При однопроцентном их присутствии хорошо растет кандым. Он так же успешно развивается на обедненных гумусом крупнозернистых песках, где все другие культуры чувствуют себя угнетенно и дают незначительный прирост. При большом засолении верхнего слоя грунта хорошо рекомендовал себя тамариск.

Исследователи для предотвращения выдувания на подвижных барханах семян, всходов семян и черенков рекомендовали использовать механические и химические покрытия. Последние весьма эффективны, при больших объемах работ могут быть механизированы.

Защитный зеленый пояс предотвратит дальнейшее опустынивание и засоление земель, частично компенсирует ущерб, нанесенный народному хозяйству быстрым падением уровня Арала.

Заросли камыша с водной полосой позволят остановить перемещение барханных песков на дельты рек, а также на орошаемые земли. Уменьшатся запыленность воздуха и вынос ветром на плантации солей. Эксперименты подтвердили, что сила ветра за зеленым барьером падает в два-три раза, а влажность воздуха увеличивается до 40 процентов.

Польдеры, расположенные близ авандельты Амударьи, будут использоваться и для рыбоводства. А заросли тростника, травы и кустарники, остановив подвижные пески, станут ощутимым кормовым резервом для развития в Приаралье животноводства. Тростник, весьма ценный зеленый корм, его можно скашивать дважды за вегетацию.

Польдерные участки в какой-то мере компенсируют утраченные из-за прекращения разливов Амударьи и Сырдарьи прежние заросли этого растения. К месту заметить, что тростник и прекрасный строительный материал — из него получают легкие плиты для перегородок.

Новые зеленые массивы тростника создадут благоприятные условия для разведения в Приаралье ондатры, нутрии, птицы.

Комплекс предлагаемых работ предотвратит дальнейшую деградацию плодородных почв дельты Амударьи, остановит врезку реки в собственное дно, поможет возродить часть тугайной растительности. Но самое главное — заметно оздоровится природная среда Приаралья, а люди смогут найти приложение своим трудовым рукам.

Для осуществления этих природоохранных мер потребуется вода. Всего 9—10 кубометров. Это — в пределах реальных возможностей Среднеазиатского региона. Такое количество не так уж трудно набрать за счет санитарных попусков по рекам, экономии на поливе и коллекторно-дренажных сбросов.

Последние целесообразно направить к Аралу из прилегающей к морю зоны орошения. Транспортировка таких вод по мощным магистральным каналам с районов орошения в средней части Амударьи, на мой взгляд, себя не оправдывает. Реализация такого проекта окажется чрезвычайно сложным и дорогим делом, так как трасса кана-

ла должна пройти через высокие барханные пески, в которых потери воды на фильтрацию очень большие. На строительство этого тракта потребуется около десяти лет, а затраты составят 1,2—1,4 миллиарда рублей. И это для того, чтобы привести в Арал каких-то полтора — два кубокилометра воды, загрязненной к тому же пестицидами и другими ядовитыми веществами. Проблемы Арала такой дорогостоящий канал не решит.

Я считаю, что в верховьях и среднем течении Амударьи целесообразно все коллекторно-дренажные воды тщательно очищать на месте и снова сбрасывать в реку. Эффективные технологии очистки этих вод предлагает наш научно-производственный хозрасчетный центр «Экология водного хозяйства» при Госкомприроде Узбекской ССР.

Мы также занимаемся проектами «солнечных» прудов. Это — водоемы, заполненные соляными растворами различной концентрации. Самый плотный и тяжелый слой расположен у дна. Он больше всех и нагревается. Температура воды в нем достигает почти точки кипения. Сквозь водоем пропускается система труб, по которым течет холодная вода или легкокипящая жидкость, например, фреон, для тепловых машин.

«Солнечные» пруды обогреют дома, снабдят их горячей водой, помогут кондиционировать воздух. В комплексе с абсорбционной холодильной машиной такие пруды позволят вырабатывать даже лед. Но самое главное для Приаралья — они дадут энергию на опреснение воды. Конечно, реализация этой идеи потребует времени на опытно-конструкторские разработки. Однако затраты на них, думаю, окупятся с лихвой.

А какое будущее ожидает само Аральское море?

Очертание моря в последнее время быстро меняется. В маловодные годы его уровень падает на 80—110 сантиметров, в многоводные — на 40—70 сантиметров. К началу будущего века водоем из округлого примет форму подковы. Ее составят Большое и Малое моря. Их разделит полуостров, образованный из нынешних островов в центре Арала.

При осуществлении предложенного выше проекта природоохранных мер стабилизировать уровень Арала удастся на отметке 29—30 метров абсолютной высоты, то есть он по сравнению с началом 1960-х годов упадет более чем на двадцать метров.

Уровень водного зеркала в море заметно колебался и раньше. Это подтверждается анализом донных отложений. Особенно сильно Арал усыхал 3—3,5 тысячи и тысячу лет назад. На этот раз природе помог человек. Прямо скажем — перестарался. Теперь его задача исправить свои ошибки, помочь природе восстановить равновесие.



Дегук Угай

### *Первый снег*

Скитаться надоело в небесах.  
И первый снег, преодолая страх,  
На землю опускается порошей.  
И осторожно падает, кружась,  
Ведь он и в небе жил, к земле стремясь.  
Как к матери родимой и хорошей.

Одна снежинка села на пион.  
Вторая опустилась на балкон,  
А третья на тропинку опустилась.  
Балкон стал белым. Побледнел пион.  
Земля, в преддверии иных времен,  
Как Мать, прощаясь с летом, прослезилась.

### *Дорога и человек*

Дорога, пусть даже отличной пребудет,  
Но если пуста и не служит людям,  
На ней сквозь асфальт прорастает трава.  
Что делает время с дорогой железной,  
Годами ржавеющей бесполезно,  
Мы знаем и, значит, излишни слова.

У каждого есть две дороги на свете.  
Две. Те, что ведут род людской по планете.  
Но верную выбрать умеют не все.  
Путь легкий, где роскошь и всякие льготы,  
Где можно по жизни кружить без заботы,  
Путь белки в вращающемся колесе.

Вопрос вразумительный возникает:  
Куда приведет нас дорога такая?  
В ораву грабителей. В стаю волков.  
Мы мир жаждем видеть разумней и краше.  
Поэтому учимся, строим и пашем.  
И значит наш жизненный путь не таков.

Перевод с корейского Виктора Ляпунова.

## *Солнечное затмение*

Красавица ночи — девица луна —  
Всегда перед солнцем бывает бледна,  
Когда оно, яростно брызнув лучами,  
С рассветом покажется вдруг над горами.

Вот так уж однажды меж ними случилось,  
К светилу луна на часок прислонилась.  
И солнце от ласки красавицы этой  
Растаяло вмиг на виду у планеты.

Померкли все краски тотчас на земле,  
И лес потемнел, и поляны во мгле.  
И небо веселое мрачным предстало,  
Повсюду как будто бы похолодало.

Застыли прохожие в недоуменье:  
— А где ж наше солнце? Да это ж затмение!  
Увидев, что в грусть вся земля погрузилась,  
Очнулась луна и за тучкою скрылась.

Лучи озарили мир радостью снова,  
Земля же о ревности к солнцу — ни слова.  
Не зная печали родимой земли,  
Цветы еще ярче в тот полдень цвели.

## *Встреча весны*

Разбудили милую сторонку  
Шалые весенние ветра.  
В синем небе — песня жаворонка,  
А в полях бескрайних — трактора.

И весне повсюду нынче рады,  
Каждый встретить с радостью готов...  
Тополя — серебряным нарядом,  
А луга — букетами цветов.

— Приходи! — весну мы приглашаем,  
Открываем ей свои сердца.  
Пустоцвет ты или с урожаем —  
Осень все отмерит до конца.

Перевод с корейского Николая Красильникова.





## Абдулла Шер

. . .  
Разгорается саратан, от зноя спасенья нет.  
Раскаляется, жарко дышит Большой Минарет.  
Лишь одна душа с саратаном борьбу ведет,  
Огненному дождю подставляя крылья,  
  как зонт.  
Аист прикрывает собою своих аистят.  
В затененном гнезде, прижавшись друг к другу,  
  птенцы его крепко спят.  
И шепнуло мне сердце: зорче смотри!  
Да ведь это картина бессмертия Бухары!

. . .  
Как вечность и судьба,  
Течет вода...

(Айбек)

Как мысль деревьев, в лучах голубых,  
В лунных лучах раскрываются почки.  
Как символ вечности и судьбы,  
Река цвета меди клокочет.

Я знаю: я уйду, а ты  
С моста на воду смотришь печально  
И ночью сличаешь мои следы  
С мелодией темной над берегом дальним.

Зачем покоя тебе не дает  
Мой след в мешанине следов непрочных?  
Ведь все равно этот круглый свод  
Наши шаги сведет в одну точку.

Ведь век человеческий над шпалами дат,  
Как поезд, летит с перестуком нервным.  
Но Вечности мост над бездной разъят,  
И поезд всегда крушение терпит.

И вновь, без нас — в лучах голубых,  
Как дерева мысль, раскрываются почки.  
Как символ вечности и судьбы,  
Река цвета меди клокочет...

# *Рауфу Парфи*

## I

В самопознании-самонезнаны  
Мы появляемся из тишины.  
В самонезнании-самопознаны  
Мы рокот бури полюбить должны.

И мы слепым становимся самумом,  
Тревожным криком, рвущимся вперед.  
Не беркуты мы. Почему же безумно  
Стремимся мы в несбыточный полет?

Не воплотившись, не найдя ответа,  
Мы вновь и вновь сольемся с тишиной.  
Без нас — чужие радости и беды  
Придут, и солнце сменится луной.

Но, может быть, чтоб насладиться вестью  
О новых поколениях людей,  
Чтобы беззвучную измыслить песню  
Родной неугасающей звезде —

Из тишины мы вырвемся на время  
На белых лошадях и в белизне  
Одежд. И скорбно содрогнется стремя  
Под бременем надежд, которых нет.

И в ночь Лайлатулкадр прорвем мы небо,  
Пересечем надменный горизонт  
И в спешке скачки, за полночным гребнем  
Мы вновь уйдем в рассветный белый сон.

## II

Пускай ты уцелел, в грядущее бегун,  
И залегла вдали громада гор угрюмых,  
Пусть ты обрел покой на мирном берегу,  
И жажда позади, и позади самумы —

Но старое вино все так же множит боль,  
За мигом миг влачит и обновляет память.  
Те годы протекли. Жестокий длился бой.  
На бранном поле ты — над павшими  
мечтами.

## *Романтика*

Нет, мимо этой хижины простой  
Пройти я не смогу.  
Попутчик, ты не смейся надо мной —  
Я лампу там зажгу.

Седой старик там стонет: «Света нет.  
И жизнь темна».  
Тоскует дочь его. А ей шестнадцать лет,  
И лик ее — луна.

Старик тот сыном назовет меня,  
Дочь скажет: «Милый мой!»  
И хорошо нам будет у огня  
В той хижине простой.

## Генерал Отелло

Генерал! Я вам желаю блага!  
Кипра властелин! Не верьте! Ложь!..  
Этот вечер — лучший вечер Яго.  
Этот вечер коронует Зло.

Подозрения мавра безрассудны.  
Неотвязный грязен шепоток.  
Генерал Отелло! Позабудьте  
Слово беспощадное: «Платок!»

Прочь ступайте из ночных покоев...  
Чтоб не видеть, сам я уйду,  
Но, увы! мои лопатки ноют,  
Ощущая этой ночи жуть.

Да, на белой шее лебединой  
Сжались черные тиски в тоске.

Вы слова последние любимой  
Пригвоздите к гробовой доске.

Только к гробу вам не сделать шага,  
Нет его!.. Вы — тень, ваш свет погас.  
Ваша доля — нож в злодея Яго  
И про турка бедного рассказ.

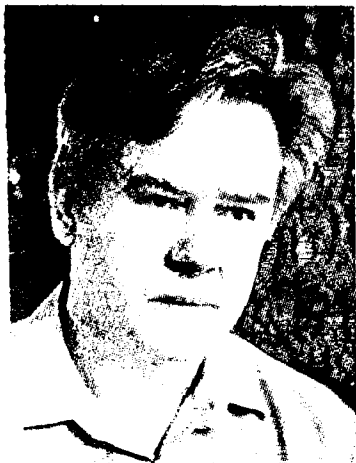
Белый дух с печалью чернолицей...  
Счастье, ревность? Нет, они мертвы.  
Вы — доверие-самоубийца,  
А не траур умершей любви.

Приговор ваш — скорбное бессмертье,  
Чести он не запятнал.  
Именем Властительного Сердца:  
Следуйте за мною, генерал.

## Дух

Когда родился, я плакал —  
От радости вы смеялись, смеялись всласть.  
Теперь замолчал я —  
Что ж катятся слезы из ваших глаз?  
Немое тело, бездушное тело, щек белизна.  
Саван белый, не нужно мне лучшего чапана.  
Подо мною покоя вечного качается колыбель.  
Вы в доме без двери, без окон стелете мне постель.  
Мне все равно теперь, был я последним, иль был я перв.  
С пустыми руками я уйду, словно Искандер.  
Но эти люди — зачем так поспешно несут свой груз?  
Гнев усмиряю.  
Терпению вечному я учусь.  
Ах, эти женские вопли, конца им нет!  
Обычаем погребальным — тысяча лет.  
Друзей бесчисленных речи, все они — от души.  
Слава бездушному телу!  
Ораторы хороши!  
Прошу лишь, в земле могильной чтоб не бывать  
камням.  
Достаточно и при жизни летело камней в меня.  
Как каменные осколки, слезы ложатся в грунт...  
Расходятся...  
Что ж, спасибо всем за прощальный труд.  
Останусь зыбкою тенью с полночью наедине.  
Теперь лишь в глаза потомков можно глядеться мне.  
Пусть они судят, прожил жизнь я или мираж.  
Призрачно свечою  
Светится карандаш.  
Пусть моего покоя не солоня соль.  
Знаю:  
У них, мятежных, радость моя и боль.  
Вновь слух обрету я чуткий, когда побелеет ночь.  
Последнее из пристанищ лишь на заре найду.  
Примет земля в ладони падающую звезду.  
С духом сольется, вспыхнет звезда та.  
Последнему из пристанищ я прошепчу:  
— Да...

Перевод с узбекского К. Усманова.



Юрий Слащенин

## ВО ВЕКИ ВЕКОВ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

После тюрьмы и лагерей Гаврила Матвеевич заимел привычку сидеть на полу, привалясь спиной к бревенчатому простенку между двух окон избы. Говорил, здесь зорче видать, копошась с немудрящим делом. Но родных не проведешь: все приметили и поняли, а сговорясь, не трогали вопросами — чего, мол, сидишь на полу, когда табуретки есть, — пусть отмякает как сам знает. А он — лукаво-синеглазый да по-разбойничьи бородатый, неукладный, как медный идол, — все жался под стенку, чтоб не привлекать к себе внимания непокорной статью, не накликать новых бед на свою родню — знал, соглядатаев больше всего злит петушиный вид. Потому и прятался от людей в сторонку, пропадал в лесу, а когда работал, то все больше в одиночку, особняком, с краю, в простенке на полу, как сейчас.

Оно-то, это сидение на полу между распахнутыми окнами, имело свои удобства: не выглядывая на улицу, он слышал и словно бы видел село. Вот босоногая стайка ребятишек на прутьях, как на конях, проскакала в МТС глядеть комбайны, а вот приблизился рокот сенокосилки Петьки Сапожкова, косившего луга за речкой. Там дальше, за лугом, когда-то были их десятины, и в эту пору поспевавшая пшеница уже вовсю гуляла на ветру волнами, словно готовая отхлынуть дальше в степь, в жаркое марево, и наполняла его душу радостью скорой страды. Но теперь нельзя вспоминать о своем. И он стал думать про Петьку Сапожкова, который, видать, проспал утренний разбор лошадей, впряг ленивого Лысака и хлещет его теперь почему зря: чужое.

А проспал — потому что с Сашкой колобродил до утра, подумал Гаврила Матвеевич, набивая трубку самосадам. Прощаются дружки. Сегодня еще гульнут на проводах, напляшутся до упаду, поозоруют и разойдутся по свету кто куда. Будут думать, на время расстались, а выйдет — на всю жизнь.

В большом доме, поставленном по ту сторону двора, готовилась гулянка. Через распахнутые окна доносилось погромыхивание противней, бряканье посуды и озорной смех Василисы, пытавшейся узнать у брата, кого он выбрал в невесты. Гаврила Матвеевич тоже помогал там, разливая медовуху по графинам, вроде бы невзначай тяпнул кружечку, да на второй поймался глазастыми. Теперь ждал, когда Сашку прогонят или сам он прибежит к нему от гомона. Знал, в последний денек захочет посидеть с дедом и подымить его самосадам.

Со двора донеслись голоса:

— Саш?

— Хватит, мама?

По звукам Гаврила Матвеевич догадался, что внук вышел во двор раздуть самовар, и теперь невестка взялась за сына:

— Да как же хватит. Сам сказывал, командир приказал без жены не вертаться.

А Надюха любит тебя.

— Если б только одна...

— Чуб-то надеру сейчас... Ишь, блудливый какой стал. Весь в деда.

— Ой, больно!.. Не буду... — притворно стонал и смеялся Сашка.

Гаврила Матвеевич горделиво заулыбался и гоготнул так, что смех его услышали во дворе.

— Смеешься, старый кот, — выговаривала теперь невестка в окна избенки. — Как бы плакать не пришлось. То Зацепины в сватья набивались, а теперь и Петрушины, и Самохваловы. Соберутся да оторвут женилку твоему любимчику, чтоб девчат не портил.

— Не трусь, Сашка. Резвого жеребца и волк не дерет, — крикнул дед в оконце и увидел, на дворе что-то изменилось. Сашка побежал к избенке и стукнул дверь в сенцах, а невестка вышла к воротам, певуче приговаривая:

— С возвращением, Ольга Сергеевна. Как съездили?

Гаврила Матвеевич услышал знакомое имя и засуетился, как юнец. Схватился за трубку да потянул с ней и бороду. Седую. Лохматую. И как плеткой стегануло: стар! Оставалось разве лишь глаз порадовать. Осторожно глянул в окно. По деревенской улице шла неторопливо директор школы Ольга Сергеевна Морозова, плыла лебедушкой гордой в белоснежной кофточке, спрятав печальные глаза за льдинками очков. Волосы на голове гладко зачесаны и увязаны в узел — как у деревенских баб; в руке кошелка. А городская стать еще видна: по траве шагает, как по мостовой, и глядит, и разговаривает по-столичному.

— Спасибо, Галина Петровна. Устала в поезде, не дождусь, когда домой дойду. Как там у меня?

— В обед Иринку видела. Ольга Сергеевна, проводы у нас. Вы уж приходите с Ириночкой обязательно. Саша к вам раз пять ходил приглашать, а сейчас спрятался — застеснялся без рубашки показываться.

Гаврила Матвеевич отодвинулся от окна, принялся выколачивать погасшую трубку. Вздохнул: дал бы бог помолодеть — знал бы, как состариться. Упустил ведь лебедь белую, проворонил. На час ума не хватило, теперь век кайся, трусливый дурак. Тьфу!

С Ольгой Сергеевной Гаврила Матвеевич познакомился в тот год, когда сам вернулся о т т у д а. Ездил на станцию встречать новую учительницу. Скорый поезд приостановился на момент, из вагона сошла тонкая женщина в узком пальто из светлой материи и светлой шляпке, быстрым взглядом окинула пустой перрон, одинокую фигуру в мокром брезентовом плаще, понурую лошадь, залитые дождем колеи дороги, и в глазах ее мелькнул испуг, как у зайчонка, увидевшего ствол ружья. Так же, как зайчонок, она прытко развернулась к вагону, но оттуда веселенькие военные уже выносили ей чемоданы, помогли сойти дочке — такой же большеглазой, как мать, — и, запрыгнув опять на ступени отъезжающего вагона, кричали напутствия.

Женщина тоже махала платочком; махнет и приложит его к лицу. Поезд укатился, скрылся за водокачкой последний вагон, а она все смотрела в сторону закрывшегося семафора с красным зрачком, не отнимая от лица платка.

Гаврила Матвеевич пригляделся к ней и сразу понял — неволя забросила ее к ним, сердешную. Потом посоображал, как бы это подойти к ним легко, чтоб дух поднять. Заметил, что дочке годов шестнадцать. Обходительная: мерзнет под дождем, а мать не тербит, дает прийти в себя.

— Мама, может быть, бабушка за нами? — Девочка осторожно тронула ее за рукав, увидев направившегося к ним Гаврилу Матвеевича.

— За вами. С приездом... Милости просим к нам. А ну-ка... — Гаврила Матвеевич снял свой дождевик и накинул его на девочку.

— Что вы, не надо.

— Не соболями жалуют. Завернись.

Скинув дождевик, он остался в стеганом ватнике, обшитом на плечах кожей, на голове лохматая собачья шапка, на ногах сапоги с заворотами по деревенской моде, и весь он словно бы помолодел, раздался в плечах и приподнялся. Играючи подхватил два чемодана, отнес в конец платформы, чтобы удобнее грузить их на телегу, и вернулся за остальными вещами.

— Спасибо вам. Меня зовут Ольга Сергеевна. — Учительница подала руку и попыталась улыбнуться. — Моя дочь Ирина...

— Гаврила Матвеевич... — бережно потрогал он ее холодные пальчики, по-

смотрел на лицо: отошла, что ли? Нет. Как же тебя везти такую двадцать верст? И пальтишко не по погоде, и на ногах игрушечная обувка, в которой по их грязи — все равно что босой.

Он отнес оставшиеся вещи на конец помоста, подвел лошадь поближе и принялся укладывать на телегу чемоданы. Иринка, повеселевшая под плащом, пододвигала их ему и крутила головой, разглядывая за вагонами товарняка почерневшие от дождя дома и заборы, расспрашивала и рассказывала, не смолкая: «А Петровское такое же! А улицы есть? А дом у нас будет? Мама говорит, что теперь у нас ни кола, ни двора».

— Село-то большое: при семи дворах восемь улиц. Избу школа выделит. Неказиста, правда. Избушка на курьих ножках, пирогом подперта, блином покрыта, полем огорожена. Но жить можно. Главное, что просторно: ни печки погреться, ни окошка посмотреться, ни образа помолиться, ни хлеба подавиться.

Иринкины, как смородинки в росе, глазки весело блестели; частые взгляды на мать приглашали послушать веселого дедушку. Завороженная прибаутками, Ирина без протеста пошла к Гавриле Матвеевичу на руки, и он перенес ее с помоста на телегу.

Ольга Сергеевна плохо слушала его, но отметила, что он, должно быть, славный, раз так сразу понравился Иринке. Видя, что дочь уже на телеге, она стала спускаться с помоста. Наступила на какую-то качнувшуюся доску и беспомощно протянула руку, чтоб поддержали ее, а Гаврила Матвеевич вдруг так же, как Иринку, обхватил ее за ноги повыше колен, поднял и понес к телеге. Ольга Сергеевна взвизгнула то ли от бесцеремонности, с какой обошелся с ней этот лохматый мужик, то ли от неожиданного взлета вверх в его сильных руках, но не трепыхалась, позволила отнестись себя. И только возвышаясь над его шапкой и сдерживая себя, чтобы не вцепиться в нее руками, она первый раз улыбнулась завизжавшей от восторга, захлопавшей в ладошки Иринке.

— Распахни плащ, мамку к тебе подсажу.

— Гаврила Матвеевич, не знаю, право... Вот ведь какой вы...

Ольга Сергеевна зарумянилась и, кутаясь с дочерью в плащ, смотрела на него с робкой улыбкой, в которой, кроме смущения за свою беспомощность, было еще и почтительное восхищение, словно она увидела чудо. И Гаврила Матвеевич берег этот взгляд в памяти, как первый шаг, проложивший тропку между ними.

А вот последняя встреча оставила у Гаврилы Матвеевича стыдливую досаду. Конечно, получилось все по-людски, как надо, но вот эта ее улыбка...

Дней десять назад к костру Гаврилы Матвеевича, рыбачившего на Сакмаре, вышла из леса, выломилась с треском и шумом заплаканная и перепуганная Ольга Сергеевна. Обессиленно присела возле огня и захлопала, прикрыв лицо ладонями. В ее распустившихся и перепутанных волосах торчали веточки; праздничный костюм, в котором она обычно ездила в район, был облеплен паутиной; подол юбки и босые ноги — в грязи: видимо, спрямляла путь от станции до деревни да заблудилась.

— Поплачь, поплачь. Слеза покой даст. — Гаврила Матвеевич подбросил в костер веток и подставил к огню котелок с ухой. — Наши бабы сызмальства лес знают, а идут по грибы — аукаются.

— Я кричала тебе! — Ольга Сергеевна не замечала, что повысила голос, и с обиженным раздражением, допустимым разве между близкими людьми, выговаривала ему: — Кричала я!

— Вот глухой тетеря, не слышал.

Гаврила Матвеевич запоздало засуетился. Хлопнув себя руками по бокам, что выражало его большую растерянность, он ринулся было к чернеющей стене леса, на полпути подхватил корягу и потащил ее к костру. Зачем она понадобилась ему сырая, он не знал. Наверное, потребовалась минуточка обмозговать невольное вырвавшееся ее признание. Ведь раз кричала, звала его — значит и шла сюда. Ну, дед, сплошаешь если, по гроб досады не пережуешь.

Поплакав и тем успокоившись, Ольга Сергеевна приходила в себя. Вытирая со щек последние слезы, разглядела грязь на руках, и на юбке, и на босых ногах.

— Боже мой! — поджала ноги и бросила жалостливый взгляд на Гаврилу Матвеевича. — Вода у вас есть?

— Вода? — Гаврила Матвеевич стал торопливо прикидывать, как ей нагреть воду. В котелке уха — кормить надо.

— Господи, да что ж я говорю, — рассмеялась Ольга Сергеевна, взяла из костра пылавшую ветку и, подняв ее над головой, освещая так путь, пошла к реке.

Теперь и Гаврила Матвеевич посмеялся. Перед кучей хвороста, которую он приладил для сидения Ольге Сергеевне, расстелил белую тряпицу и стал выкладывать свои запасы: луковица, хлеб, кусок пирога с грибами, так кстати, оказалось,

положенный ему в торбу кем-то из женщин. Уха — греется. Ложка — на месте. Постель...

Гаврила Матвеевич забрался в шалаш и стал пошире расстилать ветви и траву, на которых спал. Руки тряслись, и в висках стучало звонкими молоточками. «Я кричала тебе! Кричала!» — многократно повторялось и звенело у него в ушах.

С реки донесся тяжелый всплеск, будто упало в воду что-то тяжелое. «Уж не свалилась ли?» — Вылез из шалаша Гаврила Матвеевич и насторожился, готовый броситься на первый ее крик, всматривался в темноту.

Маленький серпик луны над лесом слабо освещал ближний край широко расступившейся здесь реки, камыш, торчащий черным заборчиком, и куст раkitника у воды. А где ж она?

Опять в воде сильно плеснулось, и пошли бултыхать реку ритмичные двояные удары ног. Гаврила Матвеевич приподнялся на цыпочки, чтоб глянуть поверх камыша на пловчиху. А может, самому туда? Представил, как с пугливым замиранием поплывет от него Ольга Сергеевна, а он в два-три маха настигнет ее посередке реки и пойдет кружить да подныривать. Эх, лебедь белая, покажи красу!

Сдержался. Не нашенская баба-то. Может, не принято у них озоровать так. Да и какой он теперь озорун! Все озорство повытрясли да повыбиали, ничего не оставили про запас. Говорил так себе Гаврила Матвеевич, а сам все тянул шею, заглядывая через камыш, и распрямлялся. А от этой распрямленности зарождалось предчувствие дерзости, еще не понимаемой им, но все явственнее пробивавшейся наружу.

Из-за камыша, наконец, показалась Ольга Сергеевна. Плехоя по воде ногами так, что за ней не спадал фонтан брызг, она доплыла до середины реки, развернулась на лунной дорожке и поплыла назад уже тихо, без плеска. Скрылась за кустом.

Костер зашипел, взметнулся пламенем. Гаврила Матвеевич выхватил из пламени котелок. Бросил в вареве лавровых листочков, нарезал лук и тоже свалил в уху. Чай заварил смородинными листьями.

Быстро проделав все это, он остался у костра, поджидая Ольгу Сергеевну. Чуткая настороженность — как бы не упустить счастье — и ликующая уверенность, что своего он не проворонит, — не покидали его. Возвращаясь к ее словам, выкрикнутым с такой обнадеживающей откровенностью, Гаврила Матвеевич мысленно уверял ее, что силы в нем еще не убыло, хоть тайно черпай, хоть по закону — не вычерпашь. Чего вдовствовать с таких лет? Дочка взрослеет — у нее своя жизнь. Господи! Помоги, господи. И ничего-то мне больше не надо на этом свете.

Ольга Сергеевна выходила из темноты на свет костра в белом платье. Взбодренная купанием, слегка озябшая, она встала близко к огню и, глянув на Гаврилу Матвеевича широко открытыми доверчивыми глазами, сказала с легким смущением:

— Я постирала... Высохнет к утру?

Только сейчас Гаврила Матвеевич увидел в руках Ольги Сергеевны постиранный ее шерстяной костюм и что стоит она перед ним в нижней рубашке, как внучка его Василиса, не смущавшаяся в присутствии деда мыть избенку в таком виде.

— На липку повесь, — показал он сук ближней липы, стоящей возле шалаша, а панически подумал, что она его не стесняется, за мужика не принимает. Да нет, нет же, протестовало в нем все против этой отрезвляющей догадки. Он стал следить за ней — может, хихикнет игриво или подаст другой знак, готовая начать вековечную игру между мужчиной и женщиной. Но с прежней доверчивостью она подошла к дереву и, приподнявшись на цыпочки, вытянувшись и нисколько не стыдясь того, что поднялась ее рубашонка, приладила на ветвях мокрые юбку с жакетом, исподнее и вернулась к костру, зябко прижимая к груди руки.

— В шубенку лезь, — распахнул Гаврила Матвеевич приготовленный полушубок, служивший ему на рыбалке одеялом.

— Ой, как тепло... Хорошо как! — по-девичоночи простодушно восхищалась Ольга Сергеевна, кутаясь в полушубок и млея от разливающегося по телу тепла нагретой возле костра овчины. Большие глаза ее с благодарностью и неустанным интересом следили за Гаврилой Матвеевичем, словно бы он сказочный волшебник, преподносивший ей с каждым жестом новые чудеса. Посадил на кучу хвороста, оказавшуюся удобной для сидения. На колени, запахнутые полами шубейки, положил кусок коры и на кору поставил котелок с ухой, аппетитно пахнувшей в лицо ароматами лаврушки и дымка. И все это творя, Гаврила Матвеевич приправлял своими прибаутками-шутками.

— А вот тебе ложка. Хоть и узка, а берет по два куска: разведешь пошире — возьмет четыре. Хлеба ломоть, — подал ей краюху. — И руками подержаться, и в зубах помолоть. Поешь рыбки — будут ноги прытки. Одна беда: ни винца, ни пивца.

— Что вы, Гаврила Матвеевич, — протестующе махнула ложкой Ольга Сергеевна.

— Тогда только водки из-под лодки, — как бы примирился Гаврила Матвеевич, лукаво поблескивая быстрыми глазами.

Ольга Сергеевна рассмеялась и принялась черпать варево. Опять восхищалась неопишным вкусом ухи, ароматом его лесного чая, какого никогда-никогда даже не пробовала и не знала, что может быть такой; восторгалась роскошной величавостью звездного неба, таинственным неумолкающим шепотом ночного леса. Глаза ее светились таким же изумленным любопытством, как и у Иринки, ее дочери, приходившей с его внуком вторым, Костиком, в избу к деду Гавриле послушать его игру на тальянке.

Потом она сушила над костром волосы. Вынув из рукава полушубка руки и приспустив его на бедра, вытянув ноги для равновесия, Ольга Сергеевна запрокидывала голову, приближая волосы к костру, перебирала их рукой. Во всей ее опрокидывающейся позе, в поднятой и заведенной за голову руке, от чего так заметно приподнялась грудь под ситчиком рубашки, было для Гаврилы Матвеевича столько волнующего, что он готов был в любой момент отдаться нетерпеливому порыву, уповая на господа бога и молодецкую удачу. И не мог пересилить где-то в мозгу засевшего тормоза, той обидной до бессилия мысли, что она не воспринимает его как мужика. Что он для нее всего лишь дед-балагур.

— Гаврила Матвеевич, неужели и там есть тюрьмы, на таких-то красивых? — неожиданно произнесла Ольга Сергеевна, задумчиво и грустно глядя на небо, пересыпанное звездами.

Он онемел. И стал гнаться. Не хотел, а словно бы видел себя со стороны и чувствовал, как на спине у него взбугрился тяжелый горб и давил его к коленям. Мелькнула мысль, полоснув, как бритва, что теперь его добил рябой. Окончательно. Сначала отнял волю. Потом слова лишил — всю жизнь молчи. А теперь и любовь отобрал, порушил последнюю надежду на тайный маленький кусочек счастья. Нет его — ни ему, ни ей.

Спать ее направил в шалашик, наставляя по-солдатски на одну полу лечь, второй прикрыться. Сам спихнул на воду лодку, прошелестел камышом и, выбравшись на чистую воду, погнал ее по лунной дорожке к тому берегу. Надо было замять досаду, чтоб не надрывала душу. Греб так, что веселки в его могучих руках изгибалась луком и выстреливали лодчонку вперед, а он все прибавлял силы, махая веслами то вдвое, а то каждым порознь, как научил недавно Сашка. Вот же она, силушка-то, есть еще, не покинула, прислушивался к себе дед, приглядывался. То, что ребячливым делом занялся, так это не от убытка крепости, а чтоб сбежать от кабалы крепостнической. Все так шустрят.

Эх-да, начинаются дни золотые  
Воровской непроглядной любви.  
Крикну: кони мои вороные!  
Вороные вы кони мои.

Запел вполголоса, а потом и раззадорился. Пусть слышит.

Уложу свои сани коврами,  
В гривы алые ленты влечу.  
Прогремлю-прозвеню бубенцами  
И тебя на лету подхвачу.

Не подхватишь, дед. Кончено. Отбаловал свое. Осталось попоститься да и в воду опуститься. А хрена с редькой не хочешь?

...Перестань, моя крошка, рыдать.  
Нас не выдадут верные кони,  
Вороных им теперь не догнать.

Так, распевая песенки, Гаврила Матвеевич мотался по реке, проверяя жерлицы, без нужды поднимая сети, занимая себя придуманной суетой. Перепугал всю рыбу и остался к утру без улова, так что дать Ольге Сергеевне с собой унести было нечего. Опять подосадовал на себя, горлохвата. Это что же творится, а? Борода велика, а ума ни на лыко. Тьфу!

А утром и была ее та занозистая улыбка.

Гаврила Матвеевич причалил к берегу и увидел Ольгу Сергеевну, собравшуюся в дорогу. В своем черном костюме и белой кофточке, строгая и чужая, она стояла на пригорке возле шалаша и, прислушиваясь к дальним гудкам паровоза на станции, осматривала берега, вглядывалась в протоку, по которой уплывал туман.

— Чего так рано поднялась?



— Доброе утро, Гаврила Матвеевич. А я и не ложилась, — сказала Ольга Сергеевна, бойко глянув ему в глаза. — Песни ваши слушала. Красиво поете. Рыбу приманиваете?

— Рыбу? — опешил от мелькнувшей догадки.

— А тут близко, оказывается, — кивнула Ольга Сергеевна на протоку, со стороны которой послышался рокот заработавшего трактора.

— Недалече. Костер в момент вздую, похлебаем ушицы и отвезу тебя на лодке.

— Нет, спасибо, побегу.

Ольга Сергеевна прощально стала оглядывать дедову стоянку — шалашик с брошенными на него удилышками, сохнувшие на ближних кустах сеги, проступающие из лесного сумрака деревья, кучу хвороста у тлеющего кострища. На ее красивом строгом лице появилась легкая улыбка сожаления — может быть, по чему-то несбывшемуся. Гаврила Матвеевич понял это нутром, когда взгляд ее зацепил и его, дал разглядеть в ее глазах смешинку веселой жалости, похожую на насмешку. Спohватившись, она отвела взгляд и побежала по берегу. А Гаврила Матвеевич с загоревшимся лицом, будто ошпаренным кипятком, на подгибающихся ногах добрался до шалаша, повалился на расстеленную шубенку и, кляня себя распоследними словами, катался по траве, разложенной им с вечера в расчете на двоих.

## 2

В избенку вошел Сашка. Пригнув голову, чтоб не мести пышным чубом по потолку, он быстро глянул в окна и, примирившись с тем, что мать все еще держит Ольгу Сергеевну у ворот, сел по дедову подобию на пол, прислонившись спиной к стене, и вытянул ноги. Был он босой, в гражданских штанах, без рубашки. Только стесняться домашнего вида, по дедову разумению, Сашке было лишне. Внук и лицом пригож, и силушкой в деда: плечи сбиты крепко, как напоказ, грудь выпуклая, широченная, в поясе — тонок, в ногах — упруг. В ласковой, вроде бы удивленной улыбке, беспричинно наплывавшей на его румяное лицо, в быстрых озорных глазах, становившихся вдруг тоскующе мечтательными, держалось еще что-то юношеское, но мужская стать превращала его в ладно скроенного, породистого красавца. Тут было что показать и чем гордиться. И дед гордился первым внуком (Василиса в счет не шла — девка), видя в нем собственное повторение, и вновь молодел, с последним азартом переживая его заботы. Все думы свои побоку враз!

— Сашк, пойдем сома ловить? Один я и братья не стану — пять пудов верных в нем будет.

— Погоди, деда. До другого лета покорми его. Лягушек, что ли, мало? — Сашка поглядывал в окно на разговорившихся женщин и в душе сердился на мать: не уймется никак, все тараторит, тараторит. А там Иринка ждет Ольгу Сергеевну.

— Лягушек он и сам глотает. Я ему ворон стреляю. После гулянки, под утро, слетаем и прихватим его. В часть с собой увезешь подарочек. А, Саш?

— Не могу, понимаешь...

— С девками так... — Гаврила Матвеевич опять стал раскуривать трубку и, хитро прищурившись, окутываясь клубами едкого дыма, влюбленно поглядывал на внука. Видел, как он кипит-булькает, словно самовар, но не торопил расспросами, знал, сам сейчас выложит...

— Жениться буду. — Сашка впился взглядом в деда: одобрит, нет?

— Эк тебя крутануло!

— Заладил...

— Во, дурак! Дело-то человеческое. Поймался, может, — так и скажи. У нас в роду все до девок жадные были. Из-за меня так и сейчас старухи ругаются меж собой. — Дед загоготал добродушно, выронил трубку и привычно подхватил ее. — И отец твой сестрицу-то Василису до свадьбы завернул. Эх, делов было... — опять смеялся Гаврила Матвеевич, сотрясая густую растительность на лице. Кивнул на двери: — Привел мать-то твою под вечер. Встали у порога и не знают, что говорить. А она махонькая, в сарафанчике сереньком... Как вдруг заревет в три ручья. Ее не отдавали за нас: шибко мы с ее отцом парнями еще резались из-за Агрофевны. Да знаешь ты ее — двоюродная тетка дружка твоего Петьки Сапожкова. Сейчас она кривобока, а тогда хороша была. Да... Не бывать свадьбе, говорит, не отдам за Валдаев. А они, значит, без свадьбы управились. Куда теперь денешься? А ты кого выбрал, Сашка?

— Иринку Морозову. — Сашка почувствовал облегчение, когда увидел в окне подъезжавшую ко двору телегу: матери пришлось прервать беседу, попрощаться, чтобы открыть ворота. Теперь Ольге Сергеевне минут десять идти до своего дома,

прикинул он, если еще кто-нибудь не остановит. Возле дома она крикнет: «Ири-ноч-ка!» Иринка выпорхнет из калитки, повиснет у матери на шее, да еще ноги подогнет — Сашка видел раз такую картину, — запищит что-то, заворкует и только после замечания матери догадается взять у нее кошелку. А потом войдут в дом, представил Сашка, и... Нет, не сразу, наверное, скажет. Выждет.

— Деда, ты чего молчишь?

Гаврила Матвеевич не ожидал такого поворота и, спрятавшись за клубами дыма, растерянно соображал, как быть?

— Но! Но! — звонко донеслось со двора.

Костик ввел во двор под уздцы лошадь. За телегой не торопясь вошел отец. В линиях голубой косоворотке, с распахнутой душой, кругогрудный, как все Валдаи, да с гвардейскими усами, припорошенный мукой, он казался особенно крупным рядом с матерью, забегавшей возле него колобочком. Улыбались, довольные, что в дом привезли добро.

— Деда, ты чего? Не нравится?

Сашка делал вид, будто не понимает деда. Иринка училась с Костиком, дружила с ним, приходила в эту вот горенку готовиться к выпускным экзаменам. Они собирались вместе поступать в Ленинградский университет, и, по деревенским соображениям, их считали женихом и невестой. И вдруг он, Сашка, встанет на пути родного брата. Потому и молчит дед, прячет глаза за клубами дыма.

— Приехали, что ль? — Дед отвалился от стены, легко поднялся и, ступая босыми ногами по скрипучим половицам, слегка пригнув голову, пошел из избы. — Пошли, Сашк, подмогнем. Мне мука горбы хорошо проминает. Привык с молодости таскать на мельницах. Эх, сколько же я этих мешочков перекидал. Не совру, наверное, — мильён!

Хитрил дед, понял Сашка.

Вчетвером муку перетаскали быстро. Пока мать с отцом вытряхивали над ларем мешки, а Костик отгонял в конюшню лошадь, Сашка понес с дедом в сарай отруби и там припер его:

— Деда, ты не молчи. Твой совет главный. Говори прямо же.

— Тяжкий камешек подвесить на меня хочешь. Вы оба мне, Сашк, как две руки: хоть ту режь — больно, хоть эту.

— Да любит она меня! Ме-ня — а не его. — Сашка злился: если дед не понимает, то с родителями будет еще труднее. — Ты можешь это понять?! Пожениться с ней сговорились.

— Ну, если любовь да совет, чего толковать. Девка хороша. Тонка, правда. Как рябинка, что за МТС стоит. Как пройду мимо, все она говорит, говорит, лопочет листочками, что Иринка твоя.

В словах деда послышалась Сашке непривычная ласковость. Он осторожно посмотрел на него. Гаврила Матвеевич усталился в темный угол сарайчика, и глаза его ясно светились, словно он видел ту рябину, к которой Сашка ходил с Ириной во время вечерних гуляний. А может, он тоже гулял там в свое время, догадался Сашка, глядя на осветившиеся глаза деда, и нежность, колыхнувшаяся в груди, толкнула его к нему; он обнял его, уткнулся лицом в пропахшую табаком бороду, благодарно стиснул в объятиях.

— Спасибо, деда. Ты мне самый первый товарищ.

— И ладно, внучек. Ладно. Наладим тебе свадьбу княжескую, чтоб семь дён гулять не просыхать. И сватать сам пойду. Я за свой век полдеревни переженил. Как сватать кого, мирить — зови Гаврилу, говорят. А уж для родного внука, да первейшего, расстараясь в лучшем виде.

Гаврилу Матвеевича растрогал ласковый порыв внука, но когда Сашка отодвинулся от него в легком смущении за свою немужскую мягкость, дед стал шутить с веселой озабоченностью:

— Вот задачка какая: холостого-то сватать не посылают. Как быть, Сашк? Вдруг сосватаю себе мать ее и женюсь раньше тебя. Эх, целуй тебя сатана, где наша не пропадала!

Дед смеялся, поддразнивая внука, видя его недоумевающую растерянность.

— Сашк, а Сашк! Мать-то ее ничего еще бабенка, а? Ядрена! Чего ей без мужика пропадать?

— Учи-тель-ни-ца! — Сашка думал, что остудит деда.

— Э, милый, и что с того? Вдовица не девица: не загордится. Бабам, знаешь как? С мужем нужда, без мужа и того хуже, а вдовой и сиротой — хоть волком вой. А я мужчина еще справный, сила бродит: плесни воды — брага вспенится. Мне самый раз такую гладкую. Две свадьбы и сотворим, а?

— Деда, наши не знают про Иринку, — Сашка поднял на деда строгий, озабоченный взгляд.

— Ну да... А с Надеждой ты, значит, совсем... — рубанул ладонью перед собой дед и выжидательно уставился на Сашку.

Сашка не выдержал вопрошающего взгляда и виновато потупился.

Первая деревенская красавица Надя Зацепина досталась Сашке с большим боем. Дрался он за нее и со своими дружками, а потом и с хуторскими, и со станционными парнями, которых привлекала в Петровское красота Нади. Только до училища свадьба не сложилась из-за невесты, приревновавшей жениха к своей подружке. А теперь, как понял дед, Сашкиной свадьбе с Надеей и вовсе не бывать.

— Ты вот что, внучек, не казись. Я за свой век много баб перебрал, а все оттого, может, что любимая не досталась.

— Тетка Агрофена? — вспомнил Сашка про тетку Петьки Сапожкова.

Дед отрицательно мотнул головой.

— Приезжала к нам сюда эсерка. Ну, из тех, которые до большевиков народ подбивали к бунту. Славная барышня такая. Богатурского духу. Правду знала. Сейчас думаю, девчонка девчонкой еще была. А начнет про тиранов говорить — глаза, как угли на ветру, вспыхивают; кулачок сожмет и машет им, машет, как молотом. Я ее по деревням возил.

Под приподнявшимися кудельками бровей глаза Гаврилы Матвеевича осыпались тихим и ласковым светом, который шел из далеких глубин, приблизился и вдруг вылился в бусинку, скатившуюся в ус. Сашка удивился: неужели слеза?

— Да, возил... — продолжал дед задумчиво. — Всего-то неделю с ней побыл. Проводил ее на станцию. А когда она в поезд села и из вагона платочком помахала — резануло по сердцу: люблю! Прыгнул на телегу, погнал мерина вдогонку. Чуть не загнал лошадь: знакомый цыган остановил. Говорит, лучше мне продай, чем загощишь. Эх, и бил я его!

— Зачем?

— Думаешь, знал тогда? Бил и все. А потом отдал ему лошадь со сбруей, и с телегой, чтоб сердца на меня не имел.

Сашка опять удивленно посмотрел на деда, будто впервые увидел его.

— Так я об чем сказать хотел?

— Чтоб не казился.

— Это само собой. Жить всегда надо с легким духом, чтоб злосчастье на тебя не зарилось: оно на хмурых да понурых верхом ездит. А наказать я тебе вот что хотел: разлюбил девку — сразу брось! А полюбил — до смерти за нее бейся! Не отобьешь — все равно без любимой погибешь, так уж... — Две корявых дедовых лапы перед Сашкиным лицом собрались в кулаки и задрожали от сомкнувшей их силы; взгляд стал острым и яростным, словно он видел противника, с которым надо биться смертным боем. Уронил кулаки и опять стал мягким и задушевым. — Нутро у мужика так настроено, что без милой не цветно цветы цветут, не красно дубы растут. Я с Марфой, с бабкой твоей, не бедовал. Красавица была, и хозяйюшка хлопотунья, и любила меня до обмороков. Как услышит мою тальянку в другом конце села — хлоп на пол. Приду домой, а соседки ее отливают. Да-а, было всякое, было, было. Жить бы да радоваться, ан нет. Извелся, что не та... Бояться себя заставишь, а любить не принудишь. От лютой тоски в Санкт-Петербург подался искать любушку, увидеть хоть разочек.

— Встретил? — прервал Сашка затянувшееся молчание деда.

— Слышал только, в Сибирь ее сослали. А хоть бы и встретил, зачем я ей — мужик? А ты — не вороны! — стрельнул на Сашку горделивым взглядом дед. — Как-никак, а поручик. Ваше благородие.

— Не провороню, деда.

— Питер и не таких молодцов видал.

— Она не поедет в Питер. С собой увезу. Ты понял? Мне помощь твоя нужна.

Растерялся дед. Хоть на минутку, но опешил и выпученно глядел на внука, соображая, что это задумал он? Ну и хват! А что из этого выйдет? Скан-да-ли-ще!.. И Ольга Сергеевна не простит ему никогда потери дочки. Вот она мелькнула перед ним с вопрошающим укором: неужели последнее отнимешь? И внук стучит в грудь:

— Ты поможешь, деда? Поможешь? Только ты нам сможешь помочь. Чего молчишь?

— Смекаю. Девку воровать — не поклоны класть. Или сговорились?

— Так я же тебе целый день твержу. Любит она меня.

— И бежать согласная?

— Согласна! Согласна! Ну, что еще?

— Тпр-р, торопыга! Поостынь маленько. Ишь, как тебя, резвого, понесло. А я конь старый, мне огляд нужен, чтоб все получше спроворить.

Под пристальным взглядом внука Гаврилы Матвеевич проделал свой «огляд»;

задумчиво повел рукой в одну сторону и уронил ее — не то! — другой рукой покрутил на весу и тоже не согласился.

— Думаю, Сашка, лучше старого нам не придумать ничего. Приведу тебе лошадей — в темно у соседки спрячу. Выведешь свою любушку, посадишь прокатить и мимо дома с бубенчиками айда-пошел.

— А Надя Зацепина? А отец ее? А наши? Им хоть сейчас на Надюхе женись.

— Вот и женись!

— Я Иринку люблю!

— На Иринке женись, — смеялся дед глазами, видя обидчивое недоумение внука. — На гулянке завсегда шуточки да смех, озорство да грех. Зацепина с отцом твоим... спою. С Ольгой Сергеевной закавыка выйдет. Не знаю, чем взять, а надо. Дочку-то добром она не отдаст. Учить ее настроилась. Значит, шутейно бери. Крикну вам «горько» — целуй. А на людях поцеловались — твоя. На бумажках потом распишетесь. Подхватывай молодую и на поезд скорей.

— Деда, — порывисто обнял его Сашка. И ушел. Пробежал через двор, как перелетел на невидимых крыльях. Вот она, любовь-то какая. Любовался им Гаврила Матвеевич.

А потом с виноватой покорностью стал объясняться с Ольгой Сергеевной, сказал ей мысленно, что дочь завсегда отрезанный ломоть, что он не плохому помощник, а любви, значит — делу божьему, и что он примет на себя все грехи, чтобы и детям их, и им самим было бы только хорошее. Много еще говорил ей всякого. И чем дольше говорил, тем строже становились ее глаза, заглядывающие прямо в душу. А там-то, перед ней, вся его правда нагишом — хочет ее и все тут. Любыми бесстыдными путями изощрается привязать к себе: и замужеством ее дочери с внуком, и ее бы замужеством с ним. Оно-то, вроде бы, и не от плохого, но все равно стало стыдно такой своей душевной наготы. И заторопился уйти в предстоящие заботы с азартом, который давно уже в себе не допускал. Так неожиданно вывалившийся на его жизнь праздник мог быть последним, и надо было успеть его пережить, пока не двинут прикладом по горбу.

### 3

Смывая мучную пыль, Гаврила Матвеевич окатил себя из ведра да из второго и, пофыркивая, роняя вокруг себя капли, отжимая бороду, пошел вытираться.

В избенке был Костик. Умытый и переодетый в праздничные брюки и рубашку, в новеньких брезентовых туфлях, купленных для города, он стоял перед зеркалом и расчесывал волосы на сторону, ровняя пробор. Такую прилизанную прическу он завел после приезда брата, в противность ему, а чтобы чуб не топорщился завитушками, смазывал волосы маслом. Увидев в зеркало деда, Костик сразу же бросил гребешок, подошел к столу и начал хмуро прибирать там книги. Рассердился за то, что с Сашкой шептался, догадался Гаврила Матвеевич.

— Константин свет Тимофеевич, ружьишком опять баловался, а чистить дедку оставил?

Гаврила Матвеевич растирался полотенцем и прикидывал, как ловчее обстричь задуманное, на кого опереться? Без помощников в таком деле не обойтись. Да и внуков надо помирить. Ишь, надулся, следил за Костиком дед.

Убрав книги, Костик повернулся и устал на деда скорбные большие глаза, которые, казалось, источали не просто обиду, а какой-то сырой подземный холод, заполнявший избу. Под таким его взглядом Гавриле Матвеевичу стало зябко, и он вновь натянул рубашку, полагая, что разговор будет серьезный и надо быть в строгом виде.

— До гробовой доски, что ли, в сердцах будете друг на дружку? — решил прежде прикрикнуть на Костика Гаврила Матвеевич, а потом подвести к разумному.

— Не надо, деда! Не надо... — умоляюще сказал Костик. Вышел из избенки и тихо прикрыл за собой дверь.

Гаврила Матвеевич полез в бороду за трубкой — нету; нашел ее в кармане штанов и стал набивать табаком-самосадам. Мысли пошли тяжелые и корявые, надо бы разобраться, чтоб не сплеховать. Вон какой цирк устроили из-за девчонки, того и гляди за грудки возьмутся. Мирить надо, а как? Может, Василису позвать, подумал, выглянув в окошко.

По двору затейливо кружилась Василиса с заспанным годовалым Петенькой на руках, а за ней бегала Настенька, выпрашивая у матери понячить братика.

— И не дам, и не дам, — поддразнивала дочку Василиса. Раздавшаяся в плечах и бедрах, подобрешая телом в своем материнстве, характером она оставалась преемней девчонкой. — Не достанешь, не достанешь... Не дадим тебе Петеньку...

Дед загляделся на них. И мать, как дочка, и дочь вся в мать. Ишь кипятится как, хочет заполучить живую игрушку. Женщина растет. Ах, Настюха-горюха, тоже поднимешься скоро нарядной рябинкой, заневестишься, а там пойдут сынки-дочки, внучки-правнучки, и не быть концу плоти человеческой.

— Вот не дашь если... — Настенька остановилась перед матерью и внушительно уставила на нее колкие глазки. — Я тебе тоже не дам свою ляльку поиграть, когда ты старенькой станешь. Попросишь тогда, мамочка...

— Не-к, не попрошу. Не-к... — беспечно уверяла Василиса и, заметив подхлотившего к дому мужа, певуче приговаривала: — Петенька, во-он папка идет. Помаши ему ручкой, вот так помаши.

Во двор вошел Зыков. Крупный мужчина с васильковыми, по-детски застенчивыми глазами, он словно бы все время стеснялся — то ли своего иссиня-красного лица и такого же цвета борцовской шеи, то ли тесного парусинового пиджака, из рукавов которого свисали мясистые лапищи. Увидев в сборе всю свою семью, Зыков обрадованно и вместе с тем смущенно заулыбался, подхватил подбежавшую к нему с радостным, так что в ушах заложило, визгом Настеньку и посадил ее на плечо. Настенька засмеялась довольная и гордая тем, что видит все с такой высоты и не боится.

— И Петенька к папке хочет... — Василиса пристроила сынка на руку мужа и стала по-хозяйски оглядывать эту пирамиду, похоже, отыскивая место и для себя. — Вот так папка у нас: перемазался опять, как дитя малое. Неужто директору МТС по трактору надо лазить? Попробуй-ка отстирай такое пятно мазута. И ничем не отстираешь — заплаткой придется закрывать.

Василиса отчитывала мужа, хмурила брови, а губы ее расплывались в улыбке, так что всем было весело от такой ее сердитости: и Зыкову, добродушно хлопавшему сине-красными веками с редкой опушкой ресниц, и Настеньке, ерзавшей на широком отцовском плече, и Петеньке, дотянувшегося до отцова уха.

Гаврила Матвеевич тоже заулыбался, наблюдая из окна за Василисой! Ох, лиса! Ведь и выбрала себе такого, чтоб без седла ездить.

— Папка, а что будет... — Настенька воровато глянула на дедову избу и зашептала отцу: — Что будет — пришли воры, хозяев украли, а дом в окошки убежал?

— Сдалась, что ли? — Гаврила Матвеевич выставился в окошко и, шевельнув куделистыми бровями, смешливо глянул на Настеньку. — Фу-ты, ну-ты... В нашем роду таких не бывало, чтоб без драки пятились, как раки.

— И не сдалась вовсе. — Рассерженная Настенька вытянула ноги, соскальзывая с отцова плеча, и Зыков поставил ее на землю; строго посмотрела на деда: — Только ты, дедуленька, не по правде делаешь: мне загадываешь, а я тебе нет. Давай я тебе тоже буду загадывать, тогда узнаешь...

— Неужто можешь? — Гаврила Матвеевич с веселой озабоченностью глянул на Василису: видала — какова! — Ну, спытай дедка.

Настенька приблизилась к окошку, руки в боки, головку набок склонила и хитрыми лисьими глазками прожгла его.

-- Испытаю. Что будет: вокруг носа вьется, а в руки не дается?

— Муха! — Дед выпустил клубы дыма, спрятав за ними смешинку в глазах. — Комар еще вёрток.

— И нет. Когда догадаешься — скажешь.

Настенька крутанулась на каблучке и степенно пошла к крыльцу большого дома, гордо подняв острый носик.

Отцу с матерью смешно, и деду в радость. Ах, топчи тебя комары. Нож девка будет! Валдаевская! Вроде перекинулся парой словцов, а как живой воды напился, живучим корешком закусил.

Выждав момент, когда Зыков пошел в дом, Гаврила Матвеевич подмигнул Василисе и повел головой, давая понять, чтоб секретно зашла к нему.

Василиса вошла в избенку и с привычной безнадёжностью уставилась на деда, оставшегося сидеть на полу.

— Ну дед! Вот-вот гости придут, а он стенку подпирает. Не стриженный, не прибранный. Как бабку Агрофевну будешь встречать? Испугается такого лохматого и сбежит с гулянки.

-- А помоложе там никого не будет? Мне б такую в гости, чтоб грела кости.

— Вставай, стричь буду. Оброс, как лесовик, мхом покрылся, а все о молоденьких помышляет.

Василиса обернула деда, пересевшего на табуретку, простыней и принялась отсекать ножницами пряди бороды, как настоящий парикмахер, позвякивая колечками. Гаврила Матвеевич доверял ей свою красоту с тех времен, когда звал ее Васькой и учил ставить подножки пристававшим мальчишкам.

— Погоди звенеть. -- Гаврила Матвеевич, прищурившись, в упор смотрел на ее белесые, с золотинкой брови, под которыми вспыхивали насмешливыми огоньками

и беспрестанно прыгали, метались два рыжих зверька, становившихся то добродушно-смешливыми, то безжалостно-цепкими. Сказать ей или нет? А кому кроме нее скажешь?

— Сашка женится.

— Ой, деда! Да ты что? Когда же? А мама-то с папанькой не знают. Не говорил он ничего.

Весело и чуточку растерянно Василиса отступила от деда и высвободила пальцы из колючек ножиц. Лицо ее приобрело выражение лукавое, но отрешенное, говорившее, что в мыслях она уже где-то там, где будет сообщать новость. Все-таки бабой выросла, как ни старался воспитать ее пареньком, подумал дед, осерчав.

— Ты стриги и слухай! Навострилась уже, всему свету по секрету.

— Надо же что-то делать. — Василиса оправдывалась, но прежняя ее улыбочка не покидала лица. — А на ком он, деда? На Наде Зацепиной?

— Стричь ты будешь, аль нет? Полбороды отсекла.

— С Тонечкой Петрушиной их, говорят, видели.

— Тьфу, чертовка... И дернуло меня связаться с сорокой. — Дед поднялся с табуретки, сбрасывая простыню.

— Сиди! — прикрикнула Василиса и вновь принялась стричь бороду. — Сорока... Не чужие ведь... Интересно... Мы с мамой и так и сяк, а он молчит. А теперь когда жениться, если завтра ему в часть ехать?

— Потому и говорю тебе наедине. — Дед строгим взглядом вразумлял Василису, но, видно, без пользы. — Уходом женится. Смекнула?

— Да на ком? С кем — уходом? — Василиса взвизгнула от нетерпения и огрела деда кулаком по голове вроде бы ласково, но ощутимо.

— Ты что, одурела? — подскочил дед.

— Значит, не Надя, раз уходом? Тонечка, значит?

Дед опять уселся на табурет, решил сказать ей все сразу, пока ухо не отрезала. С такой все станется.

— Иринка Морозова.

— Да ты что, дед?! — Василиса попятилась от него и села на подоконник, закрыв окошко спиной — в избенке сразу потемнело. — Как же это можно? А Костик?

— Что тут гадать? Значит, не сужена Костику: клад да жена — на счастливого. — Гаврилу Матвеевича сердил непонятливый и вроде бы подозрительный взгляд Василисы. — Раз уходом сговорились, значит, любовь у ней с Сашкой.

— А раз любовь, чего тогда не по-людски? — испытующе уставилась на деда Василиса. — Ольга Сергеевна, что ли, брезгует, родниться с нами не желает?

— Да не знает она ничего.

— Как не знает? — Подозрительность на лице Василисы сменилась удивлением, а затем с румянцем выплыла и ее хитрая белозубая улыбка. И вот уже неудержимо захохотала она, поднимая руки и обессиленно роняя их на мясистые ноги. — Ой, не могу... Ты ж, наверно, стараешься... дочку — Сашке, а матушку... Стриги да стриги, твердит, и Агрофевну не приглашайте! — Василиса стряхнула с пальцев ножицы на пол и, хватаясь за живот, то перегибалась в поясе, клонясь к коленям и открывая свет, то вновь закрывала окошко спиной, продолжая хохотать. — Матушку-то себе наметил. Говорили бабы, ха-ха-ха.

— Что говорили?! — грозно сверкнул глазами Гаврила Матвеевич, и вдруг испугался. В деревне ведь как: во сне проговорился — наяву заплатишься. Не за себя страшно стало, за лебедушку свою тревожился. — Кто говорил?! — опять вскричал он, чтобы напускным гневом побороть охватывающую его растерянность. Сорвал простыню, поднялся с табуретки и, увидев себя в зеркале, висевшем на стене, застыл в немом бессилии: роскошная своей дремучей мощью борода его была укорочена так, что из тупого среза ее проглядывала белизна подбородка. — Ты что ж наделала?! Обкарнала как, чертовка! — с испуганной беспомощностью вскричал дед, схватившись за остатки бороды, и застонал. — На смех деда родного... Опозорить...

— Же-жених! Ха-ха-ха... — продолжала качаться Василиса, сидя в проеме окна.

В избу вошли отец с матерью, привлеченные непрекращающимся смехом дочери. Тимофей Гаврилович в праздничной вышитой рубашке навывпуск, подпоясанный витой шелковой веревочкой с кистями, на ходу скручивал сигарку и с любопытством посматривал то на дочь, то на отца, стараясь понять, что тут произошло веселого. Мать сразу же увидела обезображенного свекра, жалостливо заохала:

— Да что же ты наделала? — Встала она между зеркалом и обиженно растерянным Гаврилом Матвеевичем, принялась сочувственно трогать его щеки и остатки бороды.

— Жених... ха-ха-ха, — заливалась Василиса, показывая на деда пальцем.

— Я вот тебе! По мясам! — осерчал Гаврила Матвеевич и двинулся к ней печатать ладонь.

Василиса сорвалась с подоконника, нырнула за отца и, толкнув его деду, выскочила из комнаты; хохотала во дворе, пока шла в новый дом. Это не понравилось деду: теперь не меньше как в сорока дворах заинтересуются смехом Василисы. Вот так помогла внучка, выручила дедка! Ну, погоди, лиса, узнаешь, как крапива пахнет.

— С боков подрезать, и ничего будет... Дай-ка я поправлю.

Галина Петровна подобрала с пола ножницы и подступала к свекру то с одной, то с другой стороны, а он не слушал ее, отодвигался в сторону и пялился в зеркало. Охватившая его паника — ну как в таком образе показаться Ольге Сергеевне? — трясла пальцы рук, и они беспомощно тыкались в комель щетины, торчавшей обрубком конского хвоста.

— Да съяд же ты, папа! — прикрикнула Галина Петровна, приводя свекра в чувство. Она подтолкнула его к табуретке, захлестнула горло простынью и принялась осторожно чикать ножницами, нашептывая при этом, как маленькому: — И страшного ничего нет... Углы округлим и тут убавим — маленькая борода. А чего метлой-то трясги? Помолодел сразу, правда, Тимоша?!

Тимофей Гаврилович сидел за столом и дымил сигаркой, насмешливо щуря глаза.

— Ну вот! — обрадованно отметила Галина Петровна, словно дождалась от мужа похвалы, и с большим усердием засуетилась перед Гаврилой Матвеевичем.

Свекра своего Галина Петровна любила дочерней уважительной любовью, может, с того дня, когда, избитую, выгнанную с позором из отчего дома, привел ее Тимофей в эту избу и, стоя у порога, они ждали своей судьбы. В те годы девичий грех деревня не прощала, и свекровь, царство ей небесное, поперву испугавшись Галкиных босых, в ноябрьской грязи ног и короткого рваного сарафанчика, не скрывавшего выпирающего живота, попятилась в угол, отвернулась от них и, упав на колени, стала молиться, отвешивая поклоны до пола. Гаврила Матвеевич, тогда еще с кучерявым чубом и короткой смоляной бородой, сидел с младшим сыном Колей за пачинкой сбруи под оконцами; содрогнувшись, он глянул на приподнявшийся короткий сарафанчик Галинки, ее бледные, покрытые пупырышками ноги, месившие грязь, и злобно выругался. Затем вскочил с пола, словно вырос неожиданно, громадный в этой избе, гневный, сорвал с печки тулуп, не обратив взгляда на то, что за тулупом повалились с лежанки подушки, одеяло, какая-то мелочь, и стал закутывать, пеленать в этот тулуп Галинку, понуро пригнувшую голову, словно готовую принять новый удар судьбы. Поднял сверток с Галинкой и приладил лавку к столу. Походя, сбил шапку с сына, топтавшегося возле порога в распахнутом армяке.

— Что ж, дурак, не одел жену? Ладно, сарафанишко дали, а то б голой вел по селу!

— Да я... — Перепуганный, наревевшийся с невестой Тимофей запоздало стал сбрасывать с себя домотканый армяк.

— Чего теперь... В баню беги, натопи, да пожарче... Чтоб пар столбом, дым коромыслом!

— Ага... Шас я... — Тимофей обрадованно глянул на смятое, мокрое личико Галинки, испуганно выглядывающее из высокого ворота тулупа, и бросился в двери, зазвенел в сенцах ведрами.

— Коленька, самовар раздуй, — продолжал командовать Гаврила Матвеевич. Он стоял посреди избы и, казалось, до любой стены доставал рукой, снимая с полок и ставя на стол тарелку с медом, стаканы, блюда, бутылку самогона.

Сидевший под окнами и восторженными глазами глядевший на все происходящее, Коленька вмиг стащил с ноги сапог, подбежал к самовару, стоявшему возле печки, и приладил голенище на трубу.

— Аль дымком хочешь попотчевать невестку? — с мягкой шутливостью заметил Гаврила Матвеевич.

Коленька смущенно улыбнулся Галинке — очень уж не хотелось ему уходить из дома в такую минуту, — поднял самовар с повисшим сапогом на трубе и понес его во двор.

И тулуп, в который закутал ее Гаврила Матвеевич, и подзатыльник Тимофею, и ласковое обращение к младшему сыну были настолько неожиданными для Галинки, привыкшей в отчем доме к скаредному ворчанию отца, что она все еще не верила происходящему, поджималась в комок, ожидая, что этот красивый большой мужик, известный всей округе гармонист и драчун, вот-вот схватит ее, как отец, за косу и с трехаршинным матом бросит к порогу. И Марфа Пантелеевна все молится, не хочет, видно, принять ее. И Тимоши нет...

— Ма-ать, ты как там, известила богородицу про счастье наше? — Гаврила Матвеевич подмигнул Галинке и, подойдя к жене, поднял ее с пола, прекращая

моления. — Будет тебе... Людское зло не замолишь, а за милость господню потом поблагодаришь — Обняв Марфу Пантелеевну со спины, склонив голову так, что касался щекой ее щеки, он шаг за шагочком пододвигал жену к Галинке, воркующе приговаривая: — Ты все дочку хотела. Вот тебе дочка, может, с внучкой сразу. Радость-то, а?

— Милости просим. Не в добрый час, да на долгий век, — сказала, наконец, Марфа Пантелеевна, видимо, смирившись с тем, что придется брать в невестки беспутную: ведь греха не убоялась, против родительской воли пошли, как свекрови от такой послушания дожидаться? Вздохнув, она поклонилась Галинке низким поклоном, затем влезла лицом к ней в ворот тулупа и поцеловала три раза ее холодные губы. — Дай бог вам любовь да совет. Будь дочкой, невестушка.

И Галинка заплакала. Тяжелый ком отчаяния и страха, студивший грудь, державший все ее тело в мертвом оледенении, стал оттаивать; закапали и побежали по лицу горячие слезы. Увидев на себе непонятливый взгляд Марфы Пантелеевны, она попыталась пересилить эту неожиданную слабость и вызвала уже ничем не укротимые рыдания, приносявшие ей сладостное расслабление.

— Царица небесная, пресвятая богородица... — вновь закрестилась Марфа Пантелеевна.

В избу вбежал Коленька в одном сапоге и замер у порога, обегая удивленным взглядом родителей и рыдавшую Галинку. Гаврила Матвеевич подсел к ней на лавку, положил ладонь на мокрый затылок и держал ее, пока Галинка не почувствовала тепло его руки; говорил все тем же воркующим баском:

— Не тужи, девонька. Беды не изведав, счастья не видать. А тебе столько горестей пришлось принять — до гробовой доски хватит в зачет писать. Повенчаем вас... А была под венцом, и дело с концом. Эх, и заживете!

Через неделю Тимофея с Галинкой повенчали. Деревенские кумушки злословили, а мужики подсмеивались, что Валдаям не удалось попользоваться богатым приданым, которое давали за Галинкой: мол, девку испортили, чтоб взять за себя, а Петька Сморчков и выдал им дочь в чем мать родила — женись теперь.

Гаврила Матвеевич знал про все эти разговоры, не раз ловил на себе насмешливые взгляды и, рассердившись, на свадьбу сына не пригласил никого из семейных — гуляли только холостые друзья и подружки молодых. Сам он расстарался так, что его шутки-прибаутки, свадебные забавы в восторженных пересказах его молодых гостей пошли по избам Петровска и ближних хуторов, вызывая у кого смех и почтительный интерес к Валдаевым, а у кого зависть и обиду за то, что не пригласили — пренебрегли, значит.

Необычная свадьба, а еще больше счастливый для Галинки исход истории, не раз кончавшийся для девок омутом, сделали ее с Тимофеем известными в округе людьми. Парни и девчата, гулявшие у них на свадьбе, образовали Тимохин хорювод, названный так в насмешку, да получившийся всерьез; многие из них вскоре поженились, гуляя друг у дружки на свадьбах и дальше держались гуртом. Галинка теперь ходила к обедне, не стыдясь своего живота, раздвигавшего полы новенького дубленого полушубка. Бабы исподтишка зыркали в ее сторону, будто взглядами цеплялись на ходу за край цветного сарафана, новенькие ботинки с высокой шнуровкой, кашемировый платок с кистями, все это оценивали, обсуждали с удивлением и завистью. Ведь как повезло девке! Одели-обули с ног до головы, как дома не ходила. Вот вам и Гаврила-скоморох, он сноху-то наряжает, и швейную машинку ей купил, и галоши.

Галинка не прятала своих чувств к свекру. Желания его — что принести, сделать или подать — выполняла с радостью. Казалось порой, он только подумает, закурит ли ему, а она уже выхватывает из печки уголек, несет его, перебрасывая с ладошки на ладошку, и ждет, когда Гаврила Матвеевич достанет кисет, да развяжет его, да примется набивать трубку, и тогда только возьмет у нее огонек. Марфа Пантелеевна сердилась на мужа: ишь, манеру какую завел выкобениваться. Тимофей не удостаивался такой чести; ему приходилось просить жену подать огонюк, а когда однажды, по отцову подобию, он стал медлить, закручивая сигарку, Галинка бросила ему уголек за шиворот. Эх, было тут визга и смеха. Тимофей крутился по избе, тряс рубашкой, выдергивая ее из штанов. Марфа Пантелеевна охала и ахала, переживая за новую одежду. А Коленька, Гаврила Матвеевич и Галинка хохотали: хватил медку из-под пчелки, а там жальце. Не завидуй!

Жизнь прожить — не поле перейти. Всякого хватало. Когда родилась Василиса, отец на радостях простил Галинку и кое-что из приданого дал. Не велик прибыток, но душа радовалась. А тут пшеничка поднялась в пояс, овес сережками зазвенел. Убрать бы в срок да забогатеть, зажечь припеваючи. Только правду говорят, счастье и несчастье на одних санях ездят. Где-то в Сарее пристрелили немецкого принца, цари поругались между собой, а драться послали мужиков; забрали на фронт Тимофея и Гаврилу Матвеевича мобилизовали на военные работы. А в са-



мую косовицу умерла Марфа Пантелеевна, и все хозяйство легко на щупленькие плечи Галинки и Коленьки.

Как вынесла все — сама не знала. Только горько уж плакала, когда вернулся с позиций Тимофей. Не дав снять шинель, она обеими руками вцепилась ему в волосы и, не замечая того, что больно защемила ухо, притягивала голову Тимоши и целовала, целовала его лицо, обливая солдатскую щетину слезами. Всю первую неделю она словно бы не видела никого, кроме мужа, и не поняла сразу, с чего вдруг он стал притаенно наблюдателем к тому, как она советуется со свекром, обстирывает его и обряжает как. Ни с того ни с сего вздумал один пойти играть в карты к Анютке Дунайкиной, загулявшей, не стыдясь никого, после смерти искаленного на войне Степана.

— К Дунайкиной? Не пушу! — Галинка встала в дверях. В голубом платье с розовой оборкой по низкому подолу, с монистом из бусинок и серебряных монеток, сверкавших на высокой груди, с белой шалью с кистями да с розами по полю, брошенной на плечи, она стояла перед Тимофеем стройная, неожиданно красивая и забавная в своей детской обиде. Но сам-то разве не понимает, что не по-людски так? Неделю с женой не был — на игрища потянуло. Что свекор скажет, соседи?

Тимофей посматривал на жену чужим холодным взглядом; застегивал гимнастерку, затянулся ремнем. Окрепший за войну, раздвигавший в плечах, он заимел и эту новую, не понравившуюся Галинке привычку долго и глубоко смотреть в глаза, как будто проникал в душу и с неторопливой хозяйской обстоятельностью копошился там, разглядывая, что к чему. Не отводя от Галинки взгляда, он положил в карман карты и накинул на плечи шинель.

— Папа, чего он вздумал? — Галинка стала искать помощи у свекра: может, скажет ему, как бывало. — Играть можно и у нас. Кликну Полю с Павлушкой, да Николаевна придет...

— Глаз-алмаз, не замутится ни раз. Ишь, падла какая! — Тимофей снизу взмахнул кулаком, отменяя Галинку от двери, и она, запутавшись в оборвавшуюся занавеску боковухи, упала в угол к помойной бадейке. — Хватит вам, отыгрались! Теперь мой черед.

Гулко хлопнул дверью за собой.

«За что? Что он сказал? Это мы-то здесь играли целыми днями с вилами да лопатой?» — Галинка валялась на полу и все еще не понимала, за что ее так? Что вообще произошло?

Мельком глянув на обескураженную Галинку, поднимавшуюся с пола, пробежал мимо и вышел из избы Гаврила Матвеевич. Со двора донесся его резкий окрик:

— Поди сюда!

Галинка метнулась к окошку — свекра не было видно, только слышалось похрустывание снега от его шагов. Тимофей, криво усмехаясь, закурил сигарку и пошел за отцом в глубь двора, скрылся из видимости. В конюшню, должно быть, догадалась Галинка. Коленька с Василиской поехали к кузнецу за плугом, и в конюшне сейчас пусто. Она подняла с плеч на голову платок, смахнула со щеки слезу и встала посреди избы: куда бежать-то? Зачем? За что ударил?.. Может, наговорил кто напраслину...

Пришедшая такая мысль — господи, как же раньше не подумала об этом? — закружила перед глазами карусель. Замелькали разные выражения лица Тимофея: пытливо приглядывающие, подозрительно-злые, растерянно-ревнивые — которых она не замечала раньше в своем опьянении счастьем, и только сейчас, так неожиданно вспомнив, осмыслила: ревнует! Да к кому же, глупый какой... Может, думает, я как Анютка Дунайкина? Ой, глупый, совсем дурной...

Зажав под подбородком концы платка, Галинка побежала в коровник через сенцы, внутренним ходом, сделанным Гаврилой Матвеевичем, чтоб в пургу не ходить ей к скоту двором. Пока поднимала Зорьку, лежавшую перед дверью в конюшню, услышала слова свекра, от которых подогнулись ноженки. Она обессиленно села на край кадушки с водой, прислонила голову к перегородке.

— ...это тебе за снохача будет!

Послышался тупой удар, шум упавшего на дрова тела, звон рассыпающейся поленницы. В щель двери, приоткрывшейся от сотрясения сарая, Галинка увидела Тимофея. Он навзничь лежал на куче рассыпавшихся поленьев, трогал рассеченную губу и улыбался растерянно и просительно. Перед ним стоял отец, расставив ноги для крепости.

— Подарки, говорит, возит ей... — выдавил из разбитых губ Тимофей и хищно глянул на отца: так или нет? Видимо, не увидел жданного подтверждения, и выражение лица его вновь стало раскаянным.

— Тогда еще получай, Тимоха, за батюшку моего, деда твоего Матвея, — Гаврила Матвеевич склонился над сыном, забрав в пятерню гимнастерку так, что

скрежетнули медали, поднял его в рост и с размаха саданул в другой угол — затрещали, посыпались планки конской кормушки.

Взмывчала Зорька и уставилась на хозяйку добродушно удивленными глазами. Галинка тискала в рот кулак, кусала пальцы, чтоб не взвыть от обиды, не заскулить по-собачьи от стыда, что мог подумать о ней такое... Как жить после этого? Как людям в глаза смотреть? Тупость и бессмыслица глухой стеной окружили со всех сторон, напрочь отняв сразу и волю, и силы, и желания. Не хотелось двигаться, дышать не хотелось.

За перегородкой продолжался разговор. Тимофей часто сплевывал кровь; Гаврила Матвеевич тяжело дышал, как после трудной работы:

— За деда Селивана... прадеда твоего... врезать бы тебе. Да за прапрадеда Акима, суворовского солдата... За весь род наш крестьянский.

— Будет, тятя. На весь поминальник морды не хватит.

— Обидел ты меня, сынок. Черной обидой обидел... Не было и век не будет у нас таких, как ты подумал на отца своего.

— Прости, тятя. Озверели в окопах, а тут, говорят, факт: платок ей привез цветной, монисто, чулки шелковые — одаривает, как полюбовницу.

Галинка поджала ноги в чулках, потянула с головы платок и дернула нитку монисты — шелковый шнурок больно врезался в шею. Подарки эти привез свекор месяца три назад, бросил скомканными на стол и сказал, что купил к случаю, а случай тот не вышел, и велел ей забрать их, чтоб было в чем мужа встречать. Подружкам только и показала, так позавидовал кто-то.

— Анютка Дунайкина? — спросил Гаврила Матвеевич со смешком и, не дождавшись ответа Тимофея, стал рассказывать, прерываясь на то, чтоб чиркнуть кресалом и раскурить трубку. — Она! Жениться на ней хотел. Думал, баба молодая, а женихов после войны, сам понимаешь, не выбирать. Сговорились вроде, поладили. Под ночь приехал с подарками, торк в дверь — не пускает. Туда-сюда... За избой пролетка стоит приказчика с Драбагана и жеребчик гнедой распряженный. Эх, и взъярился... Хвост отрезал у жеребца, пролетку в речку сбросил, чтоб не ездил купец к нашим бабам. Ну а подарки Галинке впору пришлись. Обносилась молодка-то, выросла из старого. Ситчика ей выменял на подсвинка, чтоб было в чем мужа встречать. А ты и порадовал ее кулаком.

— Что теперь делать, тятя? Не простит как, а?

Галинка прислушивалась, прикрыв глаза, замирая от сладостной расслабленности; слезы сбежали к подбородку и падали на руку, державшую монисто. Приблизилась Зорька, лизнула лицо и еще полезла шершавым языком слизывать слезы со щек — нашла соленькое. Будет тебе, увернулась и обняла теплую и ласковую коровью морду Галинка.

— Да-а... — сожалеючи протянул с выдохом Гаврила Матвеевич. — Раскинул ей печаль по плечам, пустил сухоту по животу. Поладишь, конечно; муж с женой бранится, да под бок к ней ложится. А я тебе вот что скажу: не обижай жену. Знаю, бьют мужики баб, смертно бьют. А ты не бей. Ты другом жене стань, товарищем первейшим. Да радость у нее исторгни, чтоб цвела она радугой в твоём доме, жар-птицей порхала по двору. Эх, Тимоха, не нужен и клад, когда с милой лад. А лад этот своими руками налаживать надо.

— Люблю ее, тятя... Уж так люблю: в постели за руку держу, а спать не могу — потерять боюсь.

Светло улыбаясь сквозь слезы, Галинка осторожно ушла из коровника. Ополоснула лицо от слез и опять заплакала от ликующего, толчками бьющего откуда-то изнутри ощущения радости. Подбежала к зеркалу — какая там она радуга да жар-птица? — смахнула слезы, вглядывалась, вглядывалась и рассмеялась, приснула по-девичоночи, счастливая и смущенная.

Зажили они с Тимофеем как одной душой. Растили детей, дом построили, выдали замуж Василису и принимали в жизнь внуков. И все время с ними — сперва ангелом-хранителем, а потом, после тюрьмы, просто дедом Гаврилой — стоял рядом и оберегал их счастье свекор. Но все равно как доброго домашнего бога почтала его Галинка, а теперь уже — Галина Петровна. Ревновала его к детям, когда они, подрастая, оттесняли ее от него. И когда выпадал случай оказать свекру услугу, как сейчас вот постричь бороду, она делала это с великим старанием.

— Папа, хорошо ведь получилось. Наденешь галифе — и как жених, — сказала Галина Петровна, кончив стрижку, и придирчиво осмотрела свою работу. — Правда, получилось, Тимош? Или тут еще подрезать?

Гаврила Матвеевич встревожился: неужто и она знает про Ольгу Сергеевну, что ночевала у него в шалаше? Осторожненько, не вскидывая бровей, глянул из-под лохматых на невестку — крутит головой и так и эдак, любуясь его бородой; лицо ясное, без лисьей Василискиной хитрости в глазах. Не знает, видно, ничего, успокоился дед. Присматриваясь к невестке, заметил на лице ее новые морщинки:

две в переносе сложились и пошли вверх, и за ушами наметились. Но в остальном лице еще было сочным, кожа — гладкой, шелковистой. С девичьей поры остался у нее и ласковый свет в глазах: смотрит, будто хочет руку протянуть и погладить. Да и говорит-то, как с малым дитем.

— Пап, ты глянь в зеркало-то, глянь...

Гаврила Матвеевич поднялся с табуретки, сбросил простыню и подошел к зеркалу — на него уставился из рамки хмурый, с короткой бородкой молодой мужик. Гаврила Матвеевич удивился — мужик в зеркале глуповато вскинул брови, отвалил челюсть с куцей бородой, а потом и расхохотался.

— Эх-ма, жизнь пошла: ни сохи, ни бороны, ни усов, ни бороды. Тимофей, гляди, как девки твои батьку обкарнали. Я ль это, аль не я?.. — топтался перед зеркалом Гаврила Матвеевич, то трогая свою бородку, то смачно шлепая себя по бокам. — И правда, молодец — хоть под венец. Подскажи там, в бригаде, двоушке какой, может, глянуть...

Тимофей Гаврилович был сдержан в проявлениях чувств; он все дымил цигаркой, и только глаза его, вспыхнув веселым огоньком, показали, что он разделяет приятное удивление отца. Галина Петровна, довольная тем, что старания ее оценили, зарумянилась и смело подхватила шутку свекра:

— Женишься на одной — других обездолишь. Как им без ласки?

— Неужто пропадут?

— Добрый пастух не о себе заботится, о стаде.

— Э-э, Галинка... Со всего свету не соберешь цвету. Мне б хоть одну подобрать, чтоб век скоротать.

Признание мужских заслуг льстило. Он выше вздергивал голову, строго хмурился, стараясь справиться с простодушно-глуповатой улыбкой, которая неудержно перлась на лицо, выдавая его самодовольную радость, что крепок еще телом, не в обузу семье, да вот и утех еще не лишен. Камешек о женитьбе тоже не случайно бросил: как они отнесутся? Может, и не выйдет ничего из задумки, так ведь сума нищему не помеха.

— Что-то долго ты подбираешь, — посмеивалась невестка. — С семнадцатого, кажется? А сейчас сорок первый. Отними-ка, Тимоша, сколько будет?

— Двадцать четыре.

— Ого-го!

— Женишься б не беда, да не идут за меня. Сороку взять — щекотлива, ворону взять — каргавита, взял бы сову-госпожу — так сватов не сыскать.

— Вот дед, окаянный, форсиг, как молодой, — ткнула его невестка в бок. — Агрофевна-то, наверное, глаза проглядела, глядячи на тебя: Как ни выйду на улицу, все она сидит на лавочке да на окна твои посматривает. Старая любовь крепко помнится.

Галина Петровна выглянула в окошко, выходящее на улицу, чтоб доказать правоту своих слов; еще раз посмотрела в окно с раздумьем во взгляде и сказала с пока непонятным самой беспокойством:

— Зацепин идет... К нам, вроде...

Тимофей Гаврилович поднялся из-за стола и пошел встречать свата.

— Один шагает... Не в праздничном... — сообщила Галина Петровна. Повернулась от окна — мужа не было в избе, а Гаврила Матвеевич с неожиданной озабоченностью доставал из сундука свой праздничный наряд — рубаху, брюки галифе, хромовые сапоги — и швырял их за занавеску на кровать, чтоб переодеться там.

— Галина, ты в избенке прибери да медовухи сюда тащи, водки. А лучше так: графинчик водкой жени и пометь мне его.

— Чего затеял еще? — Галина Петровна присмотрелась к деду и по его спешке, по глазам, хитро заблеставшим сквозь прищурившиеся веки, догадалась — не озорует. И смех Василисы был не просто так — чего бы над бородой смеяться, и закрутился дед сразу, как услышал про Зацепина. — Пап, что случилось?.. Аль беда какая? — встревожилась она и задержала свекра, направившегося за занавеску переодеться, за руку. — С Сашей, наверное? Да не томи душу.

— Какая беда? Чего сомлела? — рассердился Гаврила Матвеевич. Ведь какой народ эти бабы: одной скажешь — хохочет, другой — плачет. А Галинке, пожалуй, и надо сказать все, решил он. В девках-то какая бедовая была! — Слухай, Галинка. Зацепин зачем пришел, сообразила?

— Откуда ж мне знать? — Галина Петровна видела через оконца, что сват уже был во дворе и разговаривал с Тимофеем, хмуро закручивая цигарку. — В гости — рано... О свадьбе если говорить... Так сами виноваты, откладывали все. Глядишь, внучонка бы нянчили. А мне хоть сейчас отгулять: напекли-нажарили — хоть отца с матерью жени.

— Вот и погуляем на свадьбе. Только женится не на Зацепиной, а на Иринке

Морозовой.— Гаврила Матвеевич взял невестку за руку и как только она удивленно вскинула глаза, открыла рот, чтоб возгласить удивление, шепнул: — Не шуми.

— Да как же?

— А вот так же! Ольга Сергеевна тебе разве ничего не сказала?

— Не-ет. Да что ж она? Дело-то такое... Как же, а? — Галина Петровна почувствовала, что совсем запуталась и ничего не может понять. Иринка ведь с Костином... А Сашка с Надей должен быть... — А может, тоже не знает ничего?

— Как не знает? Мать-то?

— Так ведь воспротивится. Вот и сговорились уходом, — подмигнул хитро Гаврила Матвеевич и подтолкнул невестку к двери. — Потом побалакаем. Ты спорь мне все поскорей.

Галина Петровна послушно пошла из избы.

4

Раздвинув занавеску, Гаврила Матвеевич прошел к зеркалу, поскрипывая сапогами. В галифе и синей рубашке, чем-то напоминавшей его командирскую с тех времен, когда по правый бок висела у него казацкая шашка, а левый приятно хлопывал маузер в лакированной кобуре, дед как бы вернулся в двадцатые годы. И шаг стал по-былому быстрый, и взгляд — цепкий: глянул в зеркало и прожег, просверлил уставившегося мужика с короткой бородой и подрезанными усами. Разглядывал придирчиво и беспощадно: ну-ка, каков стал? Еще гладок лицом, так это от сумерка в избе, а на хорошем свету морщин, как на старой мазанке; кучерявый чуб, доставшийся Валдаям от прабабки цыганки Глафиры, повывез, оголил широкого поката лоб; брови тоже как две приклеенные кудельки, а под ними в задорном голубом пролбом сиянье дробинки зрачков: зыркают туда-сюда. Может, и наш петух не протух. Не дадимся рябому. Побалуем. Хоть день, но мой!

Гаврила Матвеевич подмигнул себе, отошел от зеркала и посмотрел в окно: как там мужики? Они курили пока. Тимофей затягивался не торопясь, с раздумьем. А Зацепин садил, как перед броском в атаку, и этот бросок надо было предупредить. Медовуха нужна!

— Скорей! — крикнул он, услышав шаги невестки. Метнулся к столу, скинул с него на кровать книжки и вытащил на середку избы.

Галина Петровна поставила на стол два запотевших графина медовухи, принялась искать стаканы, и взгляд ее прилип к свекру.

— Лошадей приведи. И тарантас. Пусть у Федоры стоят до часу... Водки не жалей.

— Да я...

— Знаю, не жадна.

— Не про то я... Не по-людски получается.

— Ну, скажи им, скажи. Сто лет смеяться будут, как Валдаев от ворот повернули. Ольга Сергеевна ни в жизнь не согласится, факт. И Зацепины главная заковыка.

— Сами не отдали тогда...

— Закуски нам подбрось, легкой, — оглядел Гаврила Матвеевич собранный стол и направился в сенцы. Галина Петровна не отставала от него, шла по пятам.

— Счас... А чего заковыка-то?

— Должники мы перед ними. Деятнадцатый помнишь? — задержал на ней вопрошающий взгляд Гаврила Матвеевич и кивнул: так-то, мол.

— В революцию все так было: кто в друзьях, кто во врагах. Да и когда было-то?

— Давно не причина. Принял добро — помни, — отвернулся от нее Гаврила Петрович и в приоткрытую дверь следил за мужиками.

— Сколько же помнить?

— А пока живы будем.

— Чего ж хитришь тогда?

Допекла все же невестка. Повернулся к ней, сверля обиженным взглядом: ну что с тобой, бестолковой, делать! — беспомощно потоптался, беря себя в руки.

— Сравнила пень со сковородкой, — проговорил обиженно. — Что ж я, своими долгами внучат буду вязать? Не судьба, значит. Силком любить не заставишь.

Отвернулся от нее, стал смотреть во двор.

То, что Данила Зацепин пришел не гулять, дед Гаврила высмотрел еще из окошка. А сейчас увидел, что широкая грудь его под линялой рубашкой с расстегнутым воротом часто колыхалась, как во время метания стогов. Значит, весь распал из нутра шел! Вон как садит! Тимофей еще до половины самокрутки не дошел,

а Данила уже обжигал губы, морщился. Сейчас швырнет бычок под ноги и заговорит о своем. И Гаврила Матвеевич пошел к ним скрипящими шагами.

Мужики встретили его с удивлением, смотрели, держа на лице пловущие улыбки, в которых было и невольное восхищение тем, что не сдается старик, — вон еще какой орел! — и невольная грусть по давно минувшему, и понятная опаска, как бы не наступал кто в НКВД, что, мол, кулак поднялся. Он вышел к ним как из прежней жизни, подтянутый, по-веселому строгий.

— Здорово, мужики!

Подступив к подтянувшемуся Даниле, чтоб посмотреть глаза в глаза, забрал его руку поздороваться, сказал напористо:

— Вот тебя-то мне и надо! Пошли ко мне — медовуха есть. Там и поговорим, пока гости не собрались.

— Да я не в гости, по делу зашел, — уперся Данила, когда его потянул дед. Тимофей удивился: как это не в гости? Уставился на друга.

Гаврила Матвеевич продолжал его тянуть, подшучивая:

— Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем. — И видя, что не справится с упрямым, рассерженно гаркнул: — Смир-рна! Как стоишь перед ротным?! Подтянись!

И Данила, и Тимофей хоть и понимали шутку, но от неожиданности вытянулись, а Гаврила Матвеевич тут же подхватил их под руки и потащил за собой.

Вошли в избу. Тимофей заулыбался, увидев графин с медовухой, блаженно расправил усы, подмигнув Даниле: мол, гуляем! Данила продолжал хмуриться, прятал глаза.

— Разбейрай табуретки, — командовал Гаврила Матвеевич, разливая по стаканам медовуху. Всем троем налил из помеченного графина. Пусть так будет, по первой без хитростей, решил он, потому что выпить предстояло за такое, что не мог лукавить. Поднял стакан и сам поднялся, нахмурясь. — Выпьем за товарищей наших, потерянных на жизненном пути. Думал я сегодня об этом, и грусть взяла. Сколько их было, а нет уже... Так вспомняем их и себе зарок дадим — чтоб оставшимся крепче держаться друг дружки, не расходовать дружбу по мелочам.

Дед видел, Тимофей с почтением прослушал тост, на минутку задумался, поминая друзей, и выпил медовуху неторопливыми большими глотками; с недоумением почмокал губами, поглядывая в стакан. Данила выслушал тост и вроде бы согласился с Гаврилой Матвеевичем; кивнул каким-то своим тяжелым мыслям и словно бы отодвинул их на потом, выпил стакан махом, слил его в широко раскрытый рот, закусил куском мяса. Гаврила Матвеевич тоже выпил, хмыкнул, удивляясь, что не медовуха получилась — динамит, и тут же вновь наполнил стаканы Данилы и Тимофея.

— Гаврила Матвеевич, погодил бы, — заметил Данила.

— Пусть душа радуется, живот ликует, — отшутился дед. Пользуясь заминкой, себе налил из другого графина, чтоб не свалиться раньше поры. — Помнишь, как Телячкин пил из второго взвода? Говорил, бывало: пить надо так, чтобы душа играла, а не дурь. Славный мужик был. Дай бог ему вечное блаженство на том свете за принятые муки на этом.

Выпили за Телячкина и принялись вспоминать других товарищей по гражданской, бередили душу разговорами о том горячем, трудном и суматошном времени, оказавшемся самым дорогим и памятным. Что ни вспомнишь — вот оно, встает перед глазами, как было, и тут же уплывает, уходит, оставляя щемящую грусть по невозвратному.

## 5

Сашка переоделся в офицерскую форму с двумя кубиками в малиновых петлицах, перетянулся широким ремнем с португеей и встал посреди комнатухи, задумавшись, как ему выбраться отсюда, не попав на глаза Зацепину.

На кухне звонко гомонила Василиса, хохотала и, словно подыгрывая себе, бряцала посудой; ей вторила мать, а меж их несмолкаемых голосов умещался еще тоненький, но порывистый голосок племянницы. Их шумная возня, да и вся эта веселая суматоха, начавшаяся в доме с утра, празднично накрываемый стол, где уже обозначился порядок расставленных тарелок и стаканчиков, разложенных вилок — все это вызывало у Сашки возбуждающее волнение, которое кружило голову, толкало куда-то мчаться, кого-то обнимать в безудержных порывах счастья. К Иринке, конечно же. Рассказать ей скорей про дедову задумку, уговорить, зацеловать. Но Иринка сейчас с матерью щебечут, к ним рано идти. И к деду не подступиться, у него Зацепин с отцом засели, — видел Сашка, как они сперва

молча курили друг против дружки, а потом пошли к деду. И тут же в его наполненную радостью грудь вползла холодная тоска тревоги за это свое радостное наполнение. Зацепин пришел не в праздничном, чтобы гулять, а в домашнем. Значит, будет толковать про них. А чего говорить, когда все уже, все!

К нему в комнату вошла мать, вплотную приблизилась, не сводя веселых глаз. — Ну... Рассказывай, как невесту воровать станешь. В мешок, что ли, су-нешь? — И рассмеялась, довольная.

Сашка притянул мать к себе, стиснул в объятии так, что она аж задохнулась: вон он как девок-то лапает, разве ж уйдет от такого.

— Раздавил мать-то... Ну, медведь.

— Мам, он сказал тебе. А ты как? Ты согласна?

— Не мать же воровать будешь, а невесту. Она-то что говорит?

— Об чем шепчетесь? — встала в дверях Василиска, перебрасывая любопытствующий взгляд с матери на брата. Нутром почувствовав, что в доме что-то затевается, они никак не могла остаться безучастной и пошла напролом. — Ну-ка, говорите все. Нашли от кого секреты прятать.

Сашка смутился от такого напора Василиски, но мать не поддалась, хотя и озабоченно нахмурилась:

— Ольгу Сергеевну хочет пригласить, а она говорит, устала с дороги.

— Отдохнет. — Перевела взгляд на брата Василиска: — А ты что скажешь? Ответила за него мать.

— Зацепин пришел. Не хочет с ним встречаться.

Поняв щекотливое положение брата, Василиска рассмеялась и позвала его кивком:

— Пойдем, в окошко выпущу.

Вывалясь из окна на морковную грядку, Сашка хотел сразу же направиться к речке, чтобы вкруговую по бережку дойти до дома учителей, где квартировала Ольга Сергеевна с Ириной.

Но, перебежав в сенцы избенки и слыша, как за дверью гудят голоса, Сашка взметнулся по перекладкам на чердак, под пахнущий прелью и табаком прочерневший от времени соломенный покров. Осторожно ступая по рассыпанной золе, отодвигая развешенные для просушки табачные стебли, он прошел за печную трубу, где выступало верхнее бревно поперечной вязки, делившей избу на две половины. В этом бревне был дедов тайник — дупло, закрытое срезанным суком. Покрутив туда-сюда комель сука, Сашка вытащил эту «пробку» и принялся извлекать из схрона дедовы тайны — членский билет партии социалистов-революционеров, тщательно завернутый в потрескавшуюся клеенку, перетянутую просмоленной драгвой. «Когда-нибудь помянут нас, захотят вещички поглядеть», — объяснял он Сашке, застав его у тайника играющим с наганом. Наган потом исчез, а партбилет остался. Был еще в тайнике сверток бумаг с непонятными записями и старинная газета «Русь», статья которой в свое время поразила мальчишеское Сашкино воображение. Он тут же развернул сохшиеся листы и, напрягая глаза, в полутьме с трудом прочитал: «Дорогие товарищи! Луженовский ехал последний раз по этой дороге. Из Борисоглебска он ехал в экстренном поезде. Надо было убить его именно тогда»... Та самая, удостоверился Сашка и, спрятав свернутую газету под гимнастерку, заложив вновь вещи в тайник, так же быстро спустился и выскользнул из сенцев.

Прошагав по тропке вдоль рядков картошки и растрепанных еще вилок капусты, мимо наполненных мокрой огуречной листвой лунок, он вышел на берег Аселя к баньке. Дальше путь по-над берегом мимо таких же банек и мостков, выставившихся в светлые воды; обогнуть село по низине, выйти к крутояру, от которого резко убежала речка, не в силах преодолевать белые плиты песчаника, и останется проделать то, чего не в силах сделать Асель, — разбежаться, взлететь по каменистому взлобью вверх и в последний момент, когда потянет кувыркаться вниз, успеть ухватиться за ствол березки, нырнуть в густую тень сада. А там — Иринка.

Он хотел прибавить шаг, но подумал, что нехорошо среди бела дня показывать торопливость там, где положено проявлять степенную основательность, и тут же был вознагражден за осмотрительность. Впереди виднелось несколько банек, и одна из них, хорошо ему знакомая, курилась дымком. Сашку словно отбросило к воде за куст ивняка — из-за угла показалась Надя Зацепина с ведрами в руке. Босая, с подоткнутой высоко юбкой, оголившей во всю высь белые ноги, она вошла в речку и встала на быстрине, разглядывая струи серебрящейся воды. Зачерпнула ведра и, выхватив их из воды, пошла к баньке.

«А баба хорошая будет», — подумал Сашка, провожая ее косым взглядом. Но чтобы не раздражать себя попусту, достал из-под гимнастерки газеты, принялся дочитывать про дедову «любушку».

«...Надо было убить его именно тогда. Я пробыла на одной станции сутки, на другой тоже и на третьей двое суток. Утром, при встрече поезда, по присутствию казаков, определила, что едет Луженовский. Взяла билет рядом с его вагоном. Одетая гимназисткой, розовая, веселая и спокойная, я не вызвала никакого подозрения. Но на станции он не выходил.

По приходе поезда в Борисоглебск жандармы и казаки сгоняли с платформы все живое. Я вошла в вагон и с площадки вагона сделала выстрел в Луженовского, проходившего в густой цепи казаков.

Обалдевая охрана в это время опомнилась; вся платформа наполнилась казаками, раздались крики: «Бей! Руби! Стреляй!» Обнажились шашки. Когда я увидела сверкающие шашки, поняла, что пришел мой конец, и решила не даваться живой в руки. Поднесла револьвер к виску, но, оглушенная ударом, упала. Удар прикладом отозвался сильной болью во всем теле. Казачий офицер, высоко подняв меня за накрученную на руку косу, бросил на платформу. Я лишилась чувств».

Остановившись, Сашка перевел дыхание, отыскивая взглядом, с кем бы поделиться свое восхищение отвагой революционерки. Так вот какая у деда была любушка! Когда-то давным-давно Сашка читал это письмо, но только сейчас мог примерить ее поступок к себе, прочувствовал и понял силу ее духа. Против режима! Одна!

Надя перестала таскать воду и застряла в баньке — должно быть, подправляла топку. Уйдет она или нет, нервничал Сашка. Перевел взгляд на зелень сада поверху крутояра, и показалось, увидел Иринку. Ему бы туда поскорее, а приходилось отсиживаться, чтобы не попасть на глаза другой.

«В полицейском управлении была раздета, обыскана, отведена в камеру холодную, с каменным полом, мокрым и грязным. В камеру пришел помощник пристава Жданов и казачий офицер Аврамов. Они допрашивали и были виртуозны в своих пытках. Они велели раздеть меня донага и били нагайками. «Ну, барышня (ругань), скажи зажигательную речь!» Один глаз ничего не видел, правая часть лица была страшно разбита. Они нажимали на нее и спрашивали: «Больно, дорогая? Ну, скажи, кто твои товарищи!»

Я назвала лишь себя, сказала, что я социалист-революционерка и показания дам следственным властям; то, что я тамбовка, могут засвидетельствовать прокурор Каменев и жандармы. Это вызвало бурю негодования. Они давили мои ноги своими сапожниками и приказывали: «Кричи! Ну что ж это за девчонка — ни разу не крикнула! Нет, ты закричишь, мы насладимся твоими мучениями, мы на ночь отдадим тебя казакам. Впрочем, — сказал Аврамов, — сначала мы, а потом казаки...»

Надя все-таки ушла. Спустилась еще раз к речке и, зачерпнув с коромысла ведрами воды, пошла огородами к дому. Свернув и спрятав газету, Сашка устремил взгляд на сад, густо разросшийся на крутояре, где ждала его тонкая, изящная девушка с длинной косой.

Он взлетел на кромку обрыва, ухватился за ветку — дерево сердито прошумело листвою. А когда встал в рост, натолкнулся на испуганный и растерянный взгляд Ольги Сергеевны. На том месте, где на скамеечке целовались они с Иринкой до утреннего светания, стоял стол, заваленный городскими сладостями, и Ольга Сергеевна с дочерью пили чай. Видимо, это было их любимое место, открывавшее вид на огороды, луга за Аселем и хлебные поля, протянувшиеся до пойменного бора.

— Саша?! — поразилась Ольга Сергеевна.

— Здравствуйте, Ольга Сергеевна!

Иринка прыснула и тут же закашлялась, сделав вид, что поперхнулась чаем; черные глаза ее метали лукавые взгляды на растерявшуюся мать и обескураженно-го жениха.

— Как же вы? Там обрыв... — Ольга Сергеевна отказывалась верить, что можно подняться в их сад по почти отвесной стене крутояра. Уверенная в его недоступности, она позволяла Ирине... Боже, пронзила мысль. Вспомнила, как однажды утром обнаружила примятую постель дочери и поверила ее смущенным объяснениям, что ей не спалось и она просидела всю ночь в саду. Уж не с ним ли? Неужели? Да как же? Она ведь дружила с Костиком. Нет, я с ума сойду, обомлела Ольга Сергеевна, вдруг увидев по их понимающим взглядам, что тут давно все привычно и только она нарушила образовавшийся порядок.

— Там ветка свисает... Вы извините, что я так... Дурная привычка детства, — объяснил Сашка. Он понял, что влип. Да теперь все равно, решил он, и с веселым простодушием болтал, не смолкая, стараясь притупить бдительность Ольги Сергеевны. — С пятого класса, наверное, лазил сюда рвать яблоки. У Зубилова они самые лучшие были в округе. Потом здесь поселился Макар Антонович. Он даже берег стесал, чтоб не забраться было, а мы ступеньки выбивали то тут, то там и как по лесенке поднимались. Ольга Сергеевна, так я по делу, пришел пригласить вас с Ириной на провода. Очень прошу...

— Спасибо, Саша. Твоя мама уже пригласила меня.

Ольга Сергеевна старалась подавить в себе подозрение, но против своей воли замечала штрихи и черточки, показывающие истинные отношения ее дочери и лейтенанта. Ну что ж, завтра уедет, и все войдет в свою колею.

— Саша, я вам чашку принесу. Попьете с нами чаю,— поднялась Ольга Сергеевна из-за стола и пошла к дому, чтобы привести в порядок мысли.

Как только Ольга Сергеевна скрылась за кустами, Ирина встала из-за стола, вскинула руки, и он подхватил ее, обнял и закружил, целуя.

— Почему ты не шел так долго?

— Не мог, понимаешь...

— Нет, не понимаю,— смеялась Ирина.

— Деду сказал про нас... Говорит, воровать тебя надо. Ольга Сергеевна добром не отдаст.

Иринка верила и не верила тому, что он говорит. А поверив — пугалась: как же тогда мама? Но еще больше пугалась, что может не случиться то, к чему уже была готова.

— Уходом — это как дед твой поет?

— Только на тарантасе.

— На тарантасе не хочу! На санях, и с коврами! И чтоб верные кони. Вороные. Вороных не догонят.

Ольга Сергеевна достала из навесного шкафчика фарфоровую чашку и остановилась посреди кухни, пораженная мыслью, что взяла самый дорогой в их доме предмет — один из немногих, оставшихся от прежней жизни. Как сохранилась у них эта чашка, Ольга Сергеевна не помнила. Весь сервиз и вообще все, что было в доме, забрали, когда арестовали мужа. К тому же приказали освободить казенную квартиру. Через неделю в справочное тюремное окошечко, куда она приходила, как на еждневную молитву, ей сообщили, что муж скончался, похоронен, и вернули его очки с погнутой дужкой и треснутым стеклом: вещественное доказательство, покойникам очки не нужны. Они с Ириночкой тоже оказались никому не нужны в этом чужом и страшном городе, спешно и уехали куда подальше.

Забрались в глухомань, чтобы в тиши пережить как-то тяжкие времена. Смысл жизни Ольга Сергеевна видела в своей дочери. И вдруг... Вдруг заметила, что дочь уже стала взрослой. И все перевернулось, стало тревожно, неопределенно, беспокойно. Ощущение это появилось с той минуты, когда впервые она увидела Сашу, прибывшего на побывку, возле хлебного амбара, где собиралась летом молодежь. В полурастегнутой гимнастерке, он играл на баяне, разводя во всю ширь меха, лихо встряхивая чубом, и, сверкая озорными глазами, выкрикивал частушку. Таким, должно быть, был в молодости Гаврила Матвеевич — азартный, дерзкий, озорной. Но то, что принимала в нем, она никак не могла принять в его внуке, заявившем претензии на ее Ирину. Нет и нет! — решила она быть твердой. Сменила чашку на стакан с подстаканником и вышла во двор.

Еще издали, сквозь ветви деревьев, она увидела, что Саша читает газету, а Ирина плачет. Подошла.

— Мамочка,— вскинулась Иринка,— здесь написано про невесту Гаврилы Матвеевича, как ее мучили.

Ольга Сергеевна взяла газету, поданную Сашей на ее молчаливую и встревоженную просьбу — тревога появилась, как только она увидела ее дореволюционное происхождение. Машинально скользя по тексту с твердыми «ъ», она была во власти представлений, одно страшней другого, и вдруг услышала слова дочери:

— Моего папу тоже арестовали... И убили в тюрьме.

— Что ты говоришь, Ирина,— подняла на дочь умоляющий взгляд Ольга Сергеевна,— твой папа умер в тюрьме, он не враг народа, он бы доказал это, если бы не умер.

Она перевела взгляд на Сашу.

— Деда тоже арестовывали. И били. Но он дурачком прикинулся. У него рана на голове. Беляк рубанул... А дядьку — убили. Сначала их раскулачили, а когда он сбежал — подловили здесь и убили.

Покачивая головой — ведь какие дурачки оба! — Ольга Сергеевна заметила строго:

— Вам лучше бы не знать ничего этого.

— А как же не знать,— пожал плечами Саша, взглянув на нее хмурым непониманием.— Не знать ничего невозможно.

— Возможно, Сашенька. Может, в этом ваше спасенье.

— Мама, но это же неправильно!



— Правильно! Потому что вы даже не понимаете, с чем играете. Спрячьте эту газету подальше и никому не показывайте.

Растерянный вид Ирины и Саши показывал ей, что ничего-то они не понимают.

— Вы проходили Кронштадтский мятеж?

— Да,— кивнула Ирина, переглянувшись с Сашей. И тот тоже кивнул: проходили.

— Так вот... Эта Машенька Спиридонова,— сворачивая газету, объясняла Ольга Сергеевна,— эсерка, поднявшая восстание против большевиков.

Ирина побледнела. Ей не надо было долго объяснять, чем грозило приобщение к таким личностям. Лицо Саши тоже побледнело, в глазах пропал блеск, они стали выжидающе-медленными, настороженными. Вот и хорошо, если понимают, решила Ольга Сергеевна и кратко рассказала им все, что положено говорить о предательстве эсеров, о троцкистско-бухаринском заговоре. Попугала еще чем-то страшным, но, видимо, перестаралась, потому что Ирина принялась потчевать Сашу чаем, заставляя пробовать привезенные сладости, и все поглядывала на мать с видом горделивой повелительницы послушного ее воле человека.

— Попил чай. Теперь — иди.

— Иринушка! — укоряюще заметила Ольга Сергеевна, застыдясь.

— Мама, но нам же собираться надо.

Саша выскочил из-за стола зарумянившийся, поблагодарил с поклонами и хотел уже нырнуть в листву к обрыву, но был остановлен Ириной, повернут к дому и отведен ею к калитке.

Вернулась Иринушка, осиянная счастьем.

— Мамочка, он тебе нравится?

— Нравится, но...

— Я люблю его. И он меня любит. Понимаешь мам, он любит меня!

— Вы это узнали за три дня?

— За день, мама, даже за час.

— Как это было?

— Как-то очень просто... Он играл на баяне. Все плясали, а я сидела. Потом он бросил играть, подошел ко мне и дал горсть семечек. И мы вместе сидели.

— Грызли семечки.

— Да, мамочка. Они вкусные, ты напрасно не позволяешь их грызть.

— Значит, погрызли семечки и поняли, что любите друг друга,— усмехнулась Ольга Сергеевна. И немедленно:— А ты знаешь, что он с Надей Зацепиной...

— Знаю,— прикрыла ей рот ладошкой Ирина.— Я все знаю, мама.

— Тогда я должна помочь тебе. Мы не пойдем к ним.

— Я пойду, мама. Даже если ты закроешь меня на замок, прикуешь цепью, во дворпустишь голодных собак — я все равно убегу.

— От Гаврилы Матвеевича научилась этим присказкам?

— Ага. А он тебе тоже нравится? — вскинула на нее испытующий взгляд Ирина, и Ольге Сергеевне стало не по себе от вопроса. Ответила с холодной уклончивостью:

— Своеобразный дед, но речь сейчас не о нем. Ирина, доченька моя, давай поговорим серьезно. У нас с тобой никого не осталось. Только ты и я...

— Знаю, знаю,— остановила ее Ирина, целуя.— На всем белом свете — ты и я. И еще он, мой суженый.

В таком тоне Ольга Сергеевна не могла продолжать разговор. Она поняла, что надо проявить мудрость, выждать время. Ведь завтра он уедет. Поскорее бы наступило «завтра».

## 6

Данила совсем отмяк. Видать, пришел сразу после работы, не поужинав дома, и медовуха разобрала его, ослабила: сидел он вольно, расставив локти, одной рукой подпирал щеку, горюя о прошедшем, другой держал стакан, который Гаврила Матвеевич не забывал наполнять.

Гаврила Матвеевич хоть и лукавил, но только ради того, чтобы не потерять Данилу, потому что любил его. И был бы рад породниться с ним, хотя и без того считал Зацепиных родными. С того света вызволил их с Тимофеем Данила. Вот такой он был Данила Зацепин. Не мужик — орел, и нос орлиный с малой горбинкой, и руки, как крылья на большой размах. По правде бы, нехорошо с ним лукавить, размышлял Гаврила Матвеевич. И в открытую говорить — не поймет сразу: горяч. Взорвется — пыль до потолка. А чего нам ссориться, когда дети не полюбили друг дружке. И Гаврила Матвеевич притянул к себе Данилу и прижался голо-

вой к голове. И тогда снял со стены тальянку, перекинул через плечо истертый ее ремень и побежал пальцами по белым планкам, отделанным когда-то алюминием.

Музыка залилась в тесной избе, но выход был ей мал, и дед поднялся с табуретки, сказал мужикам «Айда на волю!» — и пошел во двор; за ним, покачиваясь, пошли в обнимку Данила и Тимофей.

В сенцах гармошка пригложла, а на дворе рванулась во всю мощь, и пошла, закрутилась, завертелась над селом разгульная и торжествующая мелодия, извещавшая, что у Валдаевых пошла гулянка. Всякий слышавший сейчас эту начальную игру невольно улыбался и завидовал, если не был зван на всегда веселое гулянье, а званые торопились надеть праздничный наряд, чтобы идти на зов музыки, так как знали: раз заиграла тальянка, надо быть там.

Из окон новой избы выглянули Василиска с Настенькой и Галина Петровна и вопрошающе уставились на деда: мол, чего так рано начал, не готов еще как надо, но Гаврила Матвеевич нарочито хмуро не заметил Василискин взгляд, а зацепив взглядом невестку, перевел его на соседский двор, где должна стоять лошадь, — Галина Петровна сдернула фартук и, вытерев им руки, задорно кивнула головой, показывая, что все будет, как сказано.

Играл Гаврила Матвеевич, стоя посреди двора, оглядывая через жерди изгороди, заросшей смородиной, деревенскую улицу, по которой бежали и скакали, оседлав хворостины, малыши. Показались и первые гости — сваты. Сухой и маленький Петька Смorchков, по-нынешнему Петр Герасимович, и его дородная Клавдия Афанасьевна медленно шли посреди улицы, чтобы все видели, что идут самые главные гости. Хоть и много пакостил Смorchков, Гаврила Матвеевич рассудил, что прожитого не вернуть, простил его.

Подшли. Поздоровались. Клавдия Афанасьевна прошла в избу, а Петр Герасимович насупился и с таинственным видом, показывающим, что он что-то знает, чего другим не дано знать, стал спрашивать про войну: скоро будет, нет?

— Всю Европу забрал немец. Куда теперь пойдет?

— На нас не сунется, — попытался подняться с заваленки Данила, да вновь осел, дивясь: — Эх! Вот так медовуха никак...

— А я вот слышал наемни в Драбагане... — приглушил голос сват, опасливо глянув по сторонам. Но Гаврила Матвеевич не дал ему рассказать про услышанное.

— Врут!

— А ты почем знаешь, что врут, — обиженно встрепенулся Смorchков, вскинул голову. — Я еще не сказал ничего.

— А потому, что арестовали вчера в Драбагане двоих, — грозно глянул на него Гаврила Матвеевич. — Теперь третьего ищут, который с ними Гитлера материл. Не ты ли?

— Ты что?! Я про это разве? — трусливо залепетал Смorchков, и кадык его заходил вверх-вниз. — Я про буржуев, про англичан. На них, наверно, направится, не на нас.

— Договор у нас немцами, — авторитетно рассудил Тимофей. — И фашисты — как социалисты наши. И знамя как у нас, красное.

— Во-от! — обрадовался Смorchков и недовольно покосился на свата.

Гаврила Матвеевич удивленно крутанул головой: еще сердится болтун. И вновь заиграл.

А потом повалил народ. Женщины степенно проходили в избу, вроде бы помогать хозяйкам, а мужчины оставались во дворе покурить да послушать игру Гаврилы Матвеевича. Парни сбивались вокруг Сашки и тоже, дымя папиросками, подтрунивали над ним:

— Саш, а наган-то у тебя есть? Дай пальнуть.

— Нет у него нагана, кобура пустая.

— А как же границу охранять без нагана? Вдруг нападут немцы? Вооружить надо, — предложил Петька Сапожков, златоглавый и осыпанный веснушками. Он подмигнул ребятам, предлагая поддержать шутку. — Я вот недавно в кладовке самопал нашел, из которого воробьев стреляли. Может, возьмешь? Не убьешь, так хоть напугаешь.

— Бери, Сашок. В кобуре не видно будет, настоящий там али деревянный.

— Он в кобуру Надькин кисет сунет, — сказал «долгий Степа», прозванный так за высокий рост. Степан соперничал с Сашкой из-за Нади и, видимо, продолжал ее любить. Смотрел с ревностью и с тайной надеждой услышать подтверждение пробовавшим по деревне слухам.

— А лучше ложку, какая побольше, — добавил Федя Сухоруков, увалистый, как бычок, парень. Он недавно женился и с друзьями стал говорить покровительственно.

Парни посмеивались над Сашкой, а он, морщась от дыма папиросы, прятал за этой гримасой свое счастье и тревогу, не глядя на улицу, ждал, когда на ней поя-

вятся Иринка и Ольга Сергеевна, зная, что спиной и затылком почувствует их приближение. Но вдруг почувствовал нечто тревожное. Оглянулся и натолкнулся на колкий взгляд Нади, входившей во двор с группой взявших под руки девчат и с Костиком посередке их связки. Брат отворачивал свой взгляд, не желая его видеть, и задиристо торжествовал: мол, ты не пригласил Надю, так я ее привел, получай и не лезь к другим девчонкам. Парни тоже поняли щекотливость положения Сашки и, притихнув, поглядывали на него и на приближавшуюся Надю, не сводившую с него ледяных глаз.

Сашка суетливо зыркнул взглядом в одну сторону, в другую — а куда бежишь. На лбу выступил пот. Смахнув его ладонью и — была не была — радушно рванулся навстречу девчатам:

— Наконец-то! Дед уже час пилит. Танцуем, девчата. И чтоб каблук не жалеть.

Говорил и говорил, улыбками рушил и осыпал осколками ледяных взглядов, расшвыривал стрелы обид и невысказанных претензий. Старался вовсю и добился своего — поломал Надин план, что ясно видел по тому, как пропало на ее лице напряжение и в глазах появились проблески задумчивости. Заметил, что и пошатающийся дядя Данила, отец Нади, поглядывает на них с удовлетворенным благодушием. И друзья заулыбались с восхищением: вот ловок! Девчата тут же принялись показываться, привлекая внимание к себе словом, взглядом, выразительным жестом, который волнует парней сильнее всяких слов. Вроде бы пошла обычная толчея, и, отметив этот переход, Сашка поторопился развить свой первый успех, увести Надю подальше от опасной грани.

— Костик, неси патефон. Правда, пластинок у нас маловато. Вера обещала захватить. Забыли, девчата?

— Что вы, Александр Тимофеевич. Мы ничего не забываем, — ответила за подругу Надя, подчеркивая каждое слово так, что все вновь насторожились: что-то будет сейчас.

Вздернув короткий носик, подобрав губы и прищурившись, Надя смотрела на Сашку так, словно готовилась вlepить ему пощечину и искала для этого повод. И он знал, что с ее вольным и своенравным характером она сделает задуманное в любой момент. И вот колыхнулась ее грудь под натянувшимся крепдешинном, купленным к свадьбе, и рука пошла вверх как для размаха. Молнией мелькнула мысль повернуться к ребятам, призвав их танцевать, пока играет дед, со спины-то она не будет бить, и не мог этого сделать, загнипнотизированный взмахом руки. Рука шла выше, выше. Пока пальцы не коснулись укладки на голове — аккуратных завитушек, придававших ее лицу выражение кошачьей покорности. Она прощала ему все, отдавала себя в его полное распоряжение, надеясь на его благородство. Но он-то знал, как Надька в один миг может сбросить с себя наигранную покорность и взбесившейся кошкой вцепиться в лицо — чтоб не заглядывался на других.

— Надя, потанцуй, — подхватил он ее и под музыку деда закружил по двору.

Новый дом хоть и большой был, но всех вместил с трудом. Расселись за длинным столом, поставленным через две комнаты, шутили, что хоть и в тесноте, но — с таким угощением — не в обиде. А Валдаевы хозяйки и вправду не поскупились на угощение, напекли-наварили всего — душа радуется. Румянясь от похвал, Василиса крутила головой, не успевая всем отвечать и улыбаться.

— Ай, Василиса! Вы гляньте, пескари-то какие!

— Вареные.

— Да как живые, гляди-ка!

— Так осетров заливали, — сказала с грустинкой Ольга Сергеевна дочери. Ирина глянула на деда, и тот кивнул ей.

— Мужики — пескарей да сомов, дворяне — осетров, — подтвердил он, вспомнив кухмистерскую графа Потуремского, у которого приходилось видеть заливных осетров на серебряных блюдах. Горделиво подумал про себя, что вот, мол, пришел и на мою улицу праздник. Вокруг родня и самые близкие почитают не хуже того графа, сын порадовал, а теперь новая радость — пошли внуки в жизнь, забродили, как молодое пиво. Сейчас может такая комедия закрутиться — до конца жизни смеха хватит. Ольга Сергеевна-то, покосился на нее дед, не отмякла. Пришла сердитая, видимо, будет отгоснения выяснять. Она попыталась было сразу подступить к нему с вопросами, но смутилась, увидев его при таком параде. А вот он не упустил момент, тут же повел всех, и ее с Иринкой, за стол. Пока дивись, а потом пить будем, плясать. Уведем у тебя глазастую, распоясался Гаврила Матвеевич, и чувствовал себя сильным, ловким, бедовым. И что это говорят про старость? Вон они, молодые-то, ведь зелен зеленью, ни в чем смака не знают. Не будь рябого, какая бы жизнь пошла! Но про это — потом. Он оглядел гостей, сверкнув глазами, и поднял стакан, готовясь огласить тост.

Шум понемногу стих. Все расселись, наполнили стопки, рюмки, стаканы.

— Говори, дед.

— Провозглашай.

— За здоровье, что ль?

— И за здоровье, и за память выпьем, — сказал Гаврила Матвеевич. — Медовуха своя, пей сколь хошь, чтоб душа играла — не дурь. А сказать я вот хочу... — помедлил он, собираясь с мыслями, глянул на одного внука, на другого — остановился на старшем. — Видит бог, не хотел я, чтобы Александр в армии служил. Крестьяне мы, и должны на земле стоять крепко. Но, видать, надо... Так что служи, Александр Тимофеевич, праведно. Такой тебе будет наш наказ. А Константину Тимофеевичу так скажу, — продолжал дед. — Оччень нам агроном нужен. Учись, Костенька. И где бы вы ни были, кем бы ни стали — помните: любовь не купишь и тоску не продашь. Не товар, видишь ли, чтоб ими торговать. А здесь у вас остается самая большая любовь. Покуда мы живы. А уйдем — печаль вам останется. За то, чтобы понять это, и выпьем по первой!

— Ох, правильно, папа! — рванулась Галина Петровна с поднятой стопкой, чтобы чокнуться с ним, плеснула медовуху и, не глядя ни на кого, заговорила, торопясь, что недавно ездила в Ростов к сестре, хорошо гостевала, а ее все назад тянет, к ним вот ко всем, что всех-то она любит, готова расцеловать каждого.

— Кума, начинай с меня!

— А я, вот он — ближе!

Засмеялись, заговорили разом, а выпив, принялись дружно закусывать, приговаривая:

— Ох, хороша!

— Винегретику?

— Это я уважаю.

— Нам тоже сомятинки.

— Вася, ну что ж ты одну зелень крутишь, — выговаривала Василиса мужу. Зыков смущенно улыбался, а она накладывала ему на тарелку куски мяса.

— Побольше клади, — посмеивался через стол Поляков Виктор, когда-то ухаживавший за Василисой. Подмигнул ей. — Когда мужик мясо ест, у него кровь играет.

— А я гадала, с чего Валентина твоя вчера плакала? Мяса, значит, не поел.

— Вот резанула, Васька. В повал!

— Да чё... Обожглась она. Валь, покажи руку...

Шумело, бурлило застолье. А Гаврила Матвеевич уже требовал наливать по второй. Упрашивать не пришлось. Медовуха есть медовуха, бражка на меду. Пьешь как сладкий лимонад, голова ясная, а перепил — ноги не поднять. Тимофей, кажется, готов, — отметил Гаврила Матвеевич и поглядывал на Данилу: как этот? Крепок, черт.

Пили за родителей. И за деда выпили. Потом за тех, кого уже на свете нет, пили, и за то, чтобы не было войны.

— А можно, я скажу? — со стаканчиком Ольга Сергеевна.

— Говори сколь хочешь. Слово не заказано.

— За счастье наших детей! — заговорила Ольга Сергеевна по-учительски твердо, так что сразу стих веселый говор сначала в первой комнате, затем и во второй. — За то, чтобы были они счастливее нас, родителей. И лучше нас. В этом же смысл жизни. Иначе зачем жить?

— Ну да... — кивнула Галина Петровна, на которой остановился взгляд Ольги Сергеевны. Только куда ж она клонит, подумала и покосилась на свекра: как он? А Гаврила Матвеевич смеялся глазами: мол, говори, а мы знаем свое дело.

— Учиться им надо. И Косте, и Саше, — разъясняла Ольга Сергеевна, увидев в направленных на нее взорах немой вопрос, — Институтом и училищем учение не кончается, надо дальше идти. Я говорю это потому, что знаю незаурядные способности Константина. Он может стать ученым — как Мичурин. И Саше надо поступать в Академию красных генералов, чтобы стать командующим.

— А что, и станет! Генералом! — пьяно бухнул по столу кулаком отец и грозно уставился на Сашку: станешь, нет? — Вон твой дед ротным стал. По-онял? В действительной не служил, а нами командовал. Данила, я правильно говорю? Вот. Прадед у нас был суворовский солдат. А ты чтоб — генералом!

— Жми, Сашка, до генерала!

— Выпьем!

— Учиться надо! — веско заметил еще больше раскрасневшийся от медовухи Зыков. А потому как это были первые его за все застолье слова и прозвучали авторитетно, то все прислушались, что еще скажет директор МТС.

— А жениться когда? — бухнул Данила Зацепин и пьяными глазами уставился на Зыкова. — Все учиться да учиться. Хватит, чать. Ребят надо рожать.

— Никак, Данила жениться вздумал! — притворно изумилась Галина Петровна и принялась шутливо теревить Зацепина. — Ой, господи, радость-то какая! На свадьбе гульнем! А я думаю-гадаю, чё это он один пришел, без Дуси. Бросил старую. Правильно! Позолоти ручку — вот такую сосватаю.

— Чего ты... — растерялся Данила. — Я про молодых. Им надо...

— Молоденьку высватаю.

— А где Дуся-то? — подключилась к розыгрышу Василиса. — Аль не привел?

— Да зачем ему теперь Дуся? — не унималась Галина Петровна. — Правильно, Данила. Пей вино — не брагу, люби девку — не бабу.

Обе женщины задергали, закружили Данилу, увели от опасного разговора и стали уговаривать идти за женой, потому что нехорошо получилось, что ее нет со всеми, ведь все гулянки вместе гуляли и сейчас думали, что она тут, а раз нету — надо вести скорей. Галина Петровна вылезалась пойти с ним за Дусей. С трудом стали поднимать из-за стола Данилу. Гаврила Матвеевич взял в руки тальянку и бросил по избе перепляс, как горох сыпанул по полу. И тут же нашлись каблуки. Василиса простучала по доскам, значительно выкрикнув:

Пой-ду пля-сать,  
Только пол хрустит;  
Наше дело молодое,  
Пусть отец простит.

Поддержал Василису Петька Сапожков. Крутогрудый, длиннорукий, в широкой рубаше, он с пристуком прошелся вдоль стола, взмахивая широкими рукавами и похлопывая ладонями по бокам, по голеням сапог. И тут же вошла в танец Надя Зацепина. Вошла гордо, со статью победительницы, только давая угадать всю силу и страсть своего красивого и сильного тела. Прогляда взглядом Ирину, скромно прижимавшуюся к матери, и, не принимая ее всерьез, с насмешкой отвела взгляд, поглядывала на Сашку. Он насторожился и поднялся. И, видимо, не хотел такого ее торжества перед Ириной. А Надя, интуитивно понимая его состояние, еще краше расцветала в танце, становилась уверенной, бесшабашно-веселой.

Гаврила Матвеевич наяривал на гармонии, любясь девкой. Ах, как была она хороша! Вот невестка, другой бы и не надо! Но что ты с ними поделаешь, раздумывал он и перевел взгляд на Ирину. И тоже хороша. Ведь вот знает, что соперница, а любитесь танцем. Видать, другая начинка. Ну, так и будет пусть, как задумал. Им виднее.

Примечал дед, что Ольга Сергеевна не поддавалась разгулу, пила не жеманясь, а вот озорства словно не замечала, как будто и не было его, зато песни подтягивала с удовольствием. И дед старательно выводил для нее «Располным-полна моя коробушка», перешел на «Златые горы» и, припав взглядом к Ольге Сергеевне, со сладостью тянул: «Когда б имел златые горы и реки, полные вина, все б отдал я за ласки-взоры, чтоб ты владела мной одна». Песню не допел, помня ее обидный для женщин конец, и запел новую, про отраду, живущую в высоком терему. И вновь словно душу выкладывал ей, подпевавшей так, что невестка чуть ли не просверлила ему пальцем бок, чтобы не пиялся на людях-то, старый греховодник.

— Зови Сашку с Иринкой, — шепнул ей Гаврила Матвеевич. — Ти-и-хо!

Прибежала со двора растревоженная и взволнованная Ирина, села возле матери. У Гаврилы Матвеевича душа замерла — так они хороши были обе! В белых платьях, ясноглазые, сидят, прижавшись, как голубь с голубенком, и воркуют друг дружке что-то ласковое.

Ирина первые попала на такую гулянку, и все тут ее удивляло, и восхищало, и трогало. Только что на дворе она прослушала несколько частушек, пропетых для нее, и поняла, что она — разлучница. Частушки и горделиво-холодные взгляды Нади удивили Иринку. Какая же разлучница, если он сам полюбил? И в то же время появилась в душе сладкое удовлетворение от осознания себя совсем взрослой, способной вызывать не только любовь — что тоже было еще не совсем привычным, — но и ревность, зависть, обиды. И жалко было Ирине и Надю, и Костю, следившего за ней испуганными глазами, и маму, и всех-всех, потому что в душе у нее с утра появилась, а сейчас все больше разрасталась грусть по всему, что ее окружало. Неизвестно откуда появилось предчувствие, что все это скоро кончится, останется далеко-далеко и никогда не вернется. Сейчас она все сильнее чувствовала, что в ее жизни наступает поворот, когда все будет иначе. И было жалко прежней, уходящей жизни, и не могла она отказаться от новой. За плетнем — сама видела — стоит лошадь. Осталось запрячь и ехать. Но что-то надо было сделать очень важное, как сказала Сашина мама, обняв ее там, у плетня, и, пользуясь оставшимся временем, Ирина ластилась к матери, страдая от того, что не может ей ска-

зять правды, и старалась повышенной лаской и нежностью искупить вынужденный обман.

— Ты вроде бы дрожишь.

— Я люблю тебя, мама.

— И я тебя люблю. А почему ты это сказала? «Ох, господи. Скорее бы он уезжал!»

На дворе перестали петь частушки и топотать, примолк баян и вновь заиграл медленно танго про утомленное солнце. Видимо, за баян сел Костик: танго и вальсы — его репертуар. Вскинула Ирина взгляд на дверь и увидела Сашу: он не вошел, не вбегал — он являлся в избу и, приближаясь к ней, закрывал весь свет своими светящимися, только ей принадлежащими глазами; еще видела она его задорно вихрящийся чуб, перетянутую ремнями гинастерку.

Ирина отстранилась от матери и стала выбирать из-за стола, подошла к нему, и они заговорили о своем, взяли за руки. Ольга Сергеевна была поражена тем, как просто оставила ее дочь, но сделала вид, что ничего не произошло. Неужели сама она не чувствует, что неприлично так, на виду у всех, увлеченно шептаться с парнем, у которого, кстати... Нет, с ней непременно надо будет строго поговорить! Так решила она. А вскинув голову, натолкнулась на любующийся взгляд Гаврилы Матвеевича.

— Хороша у тебя девка! — сказал он.

— Девушка... — поправила его Ольга Сергеевна, совсем не обидевшись, а затем лишь, чтобы поговорить с ним. Он нравился ей все больше, возбуждал интерес: старик, а моложе молодых. И на мужика не похож, хотя мужик, конечно. Ну, в самом деле, что за слова: «девка», «Сашка», «Колька».

— А ты не сердись на слова, мысли примечай, — сказал он, отложив гармонь. — Любуюсь я. Хороша. А внук-то у меня тоже пригож. Ну-ка присядьте сюда, — посадил он Сашу с Ириной в торец, за которым возвышался сам, и, так и эдак поворачивая головой, любуются ими, призывал и гостей полюбоваться, и Ольгу Сергеевну. — Как тебе видятся?

— Саша довольно-таки мужественный для своих лет, — ушла от подсказанного ответа Ольга Сергеевна. Понимала, так было не совсем вежливо говорить, и потому принизила дочь, наказывая за недавнюю обиду. Остановив пристальный взгляд на Ирине, проговорила раздельно: — А Ирина еще зеленая девочка!

— Молодая — просмеется, зеленая — дойдет, — подбадривающе подмигнул Ирине Гаврила Матвеевич.

— Да красавцы они писаные! Прямо голубки, — подхватила Галина Петровна и заходила позади молодых, ласково поглаживая и соединяя, заняв собой весь угол, заполнив словами избу. — Вы гляньте на них — как жених с невестой. Фату бы только. Сваха, сдерни занавеску, прикинем... Эх, вот бы на свадьбе погулять! Уж я бы все подметки отстучала. А что, а?

— Да любят ли? — спросил Гаврила Матвеевич и повернулся к Ольге Сергеевне. — Наш Сашка жить без нее не может. Только и бегаёт ко мне, стонет: люблю! Так ли? Говори, — обратил к внуку твердый призывный взор.

— Люблю! Не могу без нее, — выдохнул Сашка и, забрав в ладонь пальцы Ирины, уставился на растерявшуюся Ольгу Сергеевну.

— А ты, Иринушка? Говори, как самой себе.

— Что за шутки?! — возмутилась Ольга Сергеевна. Взгляд ее не отрывался от дочери.

Иринка ощутила, что вот и наступило то самое, что повернет всю ее жизнь. Еще можно отказаться. Ведь можно, заметался ее взгляд от матери к Саше.

— Я тоже... люблю... — сказала она. — Не смогу без него...

— Тогда дай бог в честь да в радость, в лад да в сладость, — проговорил дед и командовал гостям, в молчаливом изумлении взиравшим на творившееся: — Наливай! Чего притихли? Эх, сучки-задоринки. Щас свадьбу будем играть.

— Какую свадьбу?! — сбросила очки Ольга Сергеевна и, шурясь, попыталась подняться из-за стола, чтобы вырвать, увести отсюда обезумевшую дочь, но ее осадила подсевшая Галина Петровна и заговорила сладкоголосо:

— Да шутит он! Вечно придумает чего-нибудь. Сколько знаем, всегда такой. У, старый греховодник! Вон как перепугал женщину, бесовестный.

— Без греха веку не изживешь, без стыда рожу не износишь, — простовато форсил дед, подбадривающе глянув на Ольгу Сергеевну: мол, что ж ты не понимаешь — шучу, и сама веселись! Хитрюга-дед торопился наполнить стаканы, призвать к вниманию охмелевших гостей. — Всем нали! Сват, следи за своим концом. Агрофевна, не отставай. За молодых будем пить.

— Не будем за молодых, — со стуком отставил стакан Сморчков и, задиристо выставив бородашку, оглядел притихших гостей, добавил капризно: — Не уважают потому что.

— Да кто же это? В нашем доме сват всегда свят,— попытался Гаврила Матвеевич свести все шутке.— Гостю — почет, хозяевам — честь. Для вас варили пива крепкого, меда сладкого: пей до дна, душа нараспашку!

— А я не желаю! — пьяно куражился Сморчков, почувствовав, что привлек к себе общее внимание.— И в-все!

Гаврила Матвеевич взъяренно засверкал глазами: такое дело провалить из-за дурака! Глянул на помощницу: невестка растерянно пожимала плечами: мол, что поделаешь. Но подхватила и, подмигнув, звонко зачастила:

— И правда, не пьется. Это что за медовуха такая. Молодые у нас чисто голубки, а тут горькая. Ну-ка, целуйтесь! Горько!

— Горь-ко! — обрадовался Гаврила Матвеевич и вскинул руки, чтобы гости поддержали его хором.

К его басовитому голосу прилепился ликующий визг сваты. Сморчков получив от жены толчок в бок, что-то сообразил, наконец, и, прыгая по скамейке тощим задом, плеская из стакана медовуху, зашелся в крике: «Го-орько! Не могу пить!»

Саша вскочил с табуретки, потянул за руку Ирину, чтоб целоваться, но она еще медлила и прикованно смотрела на мать, безнадежно пытавшуюся протиснуть свой протестующий голосок в накатывающийся вал голосов, азартно тянувших на все лады: «Горь-ко! Горь-ко!» Чьи-то руки проворно покрыли голову Ирины кисейной фатой; она притронулась к ней, но не сбросила, только поправила край и, превратившись в невесту, поднялась, наконец, оглядела гостей, притихших на миг от такого неожиданного преобразования, улыбнулась изумленной и онемевшей матери с прощальной грустью и отдалась торопливому поцелую жениха.

— Сашку женят! — прокричал Петька Сапожков, заглянув со двора в окно, и, опрокинув на пол горшок с цветком, полез через подоконник.— Без нас, что ли? Пошли, ребя! Дед, наливай! Горь-ко!

И тут же со двора повалили в избу с воодушевленным гоготом и визгом парни и девчата, разбирали стаканы и рюмки. Только Надя Зацепина, заметил Гаврила Матвеевич, остановилась на пороге, недобро глянула на молодых и скрылась за дверью.

Ольга Сергеевна, вскипев от негодования, отбросила поданную кем-то рюмку — и дед, стороживший ее взглядом, тут же шарахнул об пол свой стакан и, не давая ей возможности привлечь к себе внимание, заорал:

— Бей на счастье! Жениху да невесте сто лет, да вместе.

Еще кто-то бросил оземь стакан, а Галина Петровна грохнула тарелку. Гаврила Матвеевич подхватил гармонь и добавил шуму в избе, так что Ольга Сергеевна уже не могла ничего крикнуть, и вообще она была подавлена Галиной Петровной, бросившейся целовать ее по-родственному, приговаривая:

— Да ты ж наша красавица! И милая такая... Как сызмальства родня.

— Вальс для молодых! — объявила Василиса. Она притащила в избу патефон и, установив на комоде, пустила пластинку. Дед оборвал свою игру, отодвинул табуретки, освобождая место молодым для танца. Ликующий, но все еще настороженный Саша повел в танце Ирину, послушно-растерянную, поблескивающую из-под оборки фаты радостными и изумленными от всего присходящего с ней глазами. Прошлись, закружились.

И вдруг грянул выстрел. Сморчков запоздало взвизгнул, метнулся в сторону, и все увидели Константина и Зыкова, вцепившихся в ружье.

— Уб-бью! — бился в истерике Костик, перехваченный сильными руками. Он не мог преодолеть Зыкова, державшего его в мощных руках и конфузливо шептавшего:

— Костя, успокойся... Нельзя так...

Все разом загадели, зашумели. Из-под стола выполз и поднялся Сморчков и, видя, что никто не заметил его позорного бегства, стал наскакивать на внука, стараясь ткнуть его кулаком.

— Выпороть как следует! Щас снять штаны и выпороть!

— На брата родного! — ахал кто-то.

— Костенька, да что ж ты... — повисла на нем мать.

— Связать его! Полотенце дай!

— Перепил. Первый раз, поди.

— Вот и зови их, сопляков, гулять.

Вырвав ружье, Петька Сапожков бухнул в окно из второго ствола, чем добавил шума, переполошив женщин. Пока усмирjali Костика, толклись вокруг него, по знаку деда Саша увел Ирину из избы. Не давая опомниться возбужденным гостям, Гаврила Матвеевич опять растянул тальянку:

— А кто плясать будет? Гу-ля-ем! Пош-ли пля-сать, са-по-ги дерутся.

Первой выскочила Василиса, замотав над головой платочком, а за ней другие

молодки, парни и девушки застучали каблуками так, что охнули доски пола, зазвенело стекло и раздалась изба от заразной пляски.

Ольга Сергеевна пробралась через пляшущую толпу, отыскивая Ирину, взглянула в боковую комнату — там рыдал, давился слезами Костик, а перед ним горбился Зыков, косолапо топчась.

— ...а любовь не спрашивает, кто достойный ее, — сказал Зыков и, увидев Ольгу Сергеевну, замолчал, стеснительно заморгал.

В другой комнате пьяно храпел и шевелил усом Тимофей Гаврилович, свесив с кровати ногу до полу. Брезгливо морщась, Ольга Сергеевна вышла из дома, спустилась с крыльца и в растерянности остановилась под электрической лампочкой, не зная, куда бежать, где искать дочь. Перед ней освещалось маленькое пространство между двумя домами, где на утрамбованной каблуками площадке одиноко стояла табуретка с конвертом от пластинки, а вокруг чернела ночь. Ну где она? Это проклятый старик все наделал, подумала она, услышав, что разгульную гармонию деда сменили квакающие переливы саксофона. А вот он и сам показался на крыльце, по-солдатски подтянутый и — Ольга Сергеевна не могла этого не признать — командирски властный. Не смогла накричать на него, как хотела еще совсем недавно; принялась выяснять, кто придумал дурацкую шутку со свадьбой.

— Так ведь любовь, Олюшка, — повинился он, склонив голову. — А где любовь, там и напасть.

— Какая любовь?! Какая еще напасть?! Где она?

— Пляшут, наверное.

— Там их нет.

На соседнем дворе всхрапнула лошадь, послышался смачный шлепок вожжей по крупу и стук быстро покотившихся колес тарантаса. Ольга Сергеевна повернулась на звуки, а Гаврила Матвеевич устался на окна дома, словно разглядел в мельтешищах фигурок тех, кого они ищут.

— Да вон, вроде... Хорошо глядела? Может, в комнате прощаются. Им теперь печаль до утра делить.

На свет вышла заплаканная Галина Петровна, хотела стороной пройти на крыльцо, но Ольга Сергеевна перехватила ее:

— Где они? Куда ушли?

— Беда-то какая!

— Какая беда?

— В брата стрелял, — затряслась в плаче Галина Петровна и, прикладывая платок к глазам, ушла в дом.

Ольга Сергеевна подумала, что надо бежать домой, посмотреть, не сидят ли они в саду под яблоней, но Гаврила Матвеевич опять перехватил ее порыв:

— На речке, наверное. Там они все гуляют.

И Ольга Сергеевна побежала в противоположную от дома сторону, через огороды на берег Аселя, где в запруде с утра до вечера купается детвора, а с вечера гуляют парочки. Пригала через кусты картошки, пугалась ногами в плетях огурцов, пока не привыкли глаза к темноте, а потом побежала по дорожке к серебряной лесенке, брошенной на воду под раскидистой ветлой. Пусто. Тихо.

По берегу Аселя стояло несколько бань, и в оконце ближней, показалось Ольге Сергеевне, мелькнул огонек папироски. Сразу вспомнились разговоры, как кто-то с кем-то в баньке... Она представила свою Ирину, распростертую на пологе, с захолонувшим сердцем бросилась к двери бани, рванула ее, влетела в духмяную пустоту, слабо прорезанную лунным лучиком из оконца, и с радостным бессилием, что не оправдалось страшно, уронила руки.

— Такое подумала... — укоряюще прогудел за спиной Гаврила Матвеевич. Она тронула его рукой, что можно было расценить как жест молчаливого извинения, а он подхватил ее ладонь и — вот уж чего совсем не ожидала — стал целовать. И она рассмеялась впервые за вечер.

— Гаврила Матвеевич, вы ли это?

— Да вот. Люблю ведь я тебя, Олюшка, — шептал он, боясь подкрадывающегося мужского безумия и зная, что не справится с ним: по спине уже пробежал озноб и сменился жаром. От горячей волны тело напряглось, в ушах гудко и часто застучало его собственное сердце. Последним осмысленным взором он увидел ее блеснувшие глаза, подался вперед, охватывая ее лапищами и задыхаясь от плотской сладости. Опрокинув трепетное ее тело на лавку, судорожно сдергивал и растегивал ее и свою одежду, одновременно прижимал губами ее непослушный рот. И вдруг неведомой силы толчок сбросил его с полога и он ударился о ведро, покотившееся с дребезжащим грохотом. Охнул от боли, от стыда и досады, когда увидел на миг, как через него перемахнула Ольга Сергеевна, блеснув в луче лунно-го света белизной ног. Дверь захлопнулась.

Заругал себя, поняв, что теперь навсегда упустил свою лебедь белую. Как ей



в глаза смотреть? И что теперь делать? Уходя от этих вопросов, пытался утешиться, что главное-то он ловко провернул: катит сейчас на тарантасе внучек со своей любушкой, догони их теперь! Но мысли все же встали перед ним со всей оскорбительной для его самолюбия очевидностью: до самого потаенного добрался, вот-вот бы торжествовал, а теперь опозорился. Нутро его вздыбилось, злость разобрала такая, что разнес бы эту баньку в щепу. Вышел на волю и, стоя под луной, серебрявшей все окрест, решил, что все равно возьмет свое. Мысль потянулась в далекое-далекое, к цыганским кострам. А припомнив нужное, обрадованно шлепнул себя ладонью по бедру, как припечатал: «Заколдую бабенку! Каждую ночь буду сниться, каждый день грезиться, пока сама не прибежит. То и другое, помнилось, умел делать когда-то, хотя и не пользовался за ненадобностью, но нынче, решил он, пришел срок применить Лидолин секрет.

Так кончился последний счастливый денечек Гаврилы Матвеевича, утек в былое, наслаивая пласты больших и пустышных бед, забот и проказ. Кончился, потому что в тот момент, когда внук его Сашка сажал в поезд невесту, чтобы увезти в свою часть, немецкие бомбардировщики уже пикировали на российские города и взрывы их бомб понесли по стране страшный гул: война!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

и

### 1

Разбудила Гаврилу Матвеевича курица, закудахтав под ухо о новом приношении в мир. Чертыхнувшись, он пошарил рукой, отыскивая что-нибудь поувесистей, а нащупал — сено. Удивился: неужто в сараюшке свалился спяну? Заойкал про себя от головной боли — лучше бы не просыпался. Будто черти разламывали черепок на части, корежили там вагами. Во рту — пожар, воды просит, из нутра тошно-то подпирает, и все тело тряпичное. Вот уж, право дело, не хмель беда, и похмелье. Почесав бороду, он сел и, уставясь на примятый стебель татарника — иш ты, колол, наверное, а не чуял,— потихоньку заворочал жерновами, соображая, как же он оказался в сараюшке. От баньки, помнил, к дому пошел и глядел на пляску во дворе. На его гармошке наяривала белобрысая Танька, внучка соседки Федоры, кружком стояли парни и девчата, вывалясь из борьбы за патефон, а в середине топтались Василиса и Петька Сапожков, из последних сил утаптывали каблуками двор, дергались без частушек и припевок, изредка подбадривая себя хриплыми выкриками. Увидев деда, Василиса словно скинула с лица маску злого упрямства, веселясь, передернула плечами, колыхнула грудью и, прокричав частушку, пошла по кругу, топоча и размахивая платочком, бодро да так весело, словно только что влетела в пляску. Дед подмигнул ей — мол, знай наших,— бросил прибаутку и, решив, что патефон Василиска ни в жизнь не отдаст, поднялся в большую избу, откуда нестройно и заунывно несло про неудачливого Хаз-Булата, у которого выпрашивали молодую жену, а он даром отдавал ее, спящую с кинжалом в груди. Без Гаврилы Матвеевича тут верховодил сват Петр Герасимович Сморчков и, встряхивая бороденкой, по-молодецки водил рукой над столом. Бабы тянули песню, не глядя на указчика, и Гаврила Матвеевич не стал встречать, выпил подвернувшуюся кружку медовухи, вроде бы пошел к себе в избу, да оказался в курятнике. Чудеса!

— Да кши ты, проклятая! — гаркнул на кудахтающую курицу так, что та шарахнулась с насеста и с криком выскочила в квадратный подрез двери. К ее испуганному кудахтанью прибавился воинственный клекот петуха. Дверь отворилась, залепив Гаврилу Матвеевича светом, и в сарай вошла невестка, всплеснув руками:

— Вот он! А мы ищем, не знаем, что подумать. То ли промышляет где, то ли к вершам побег до свету. Аль кроватей нет, на сене улегся.

— Брр! — потряс головой Гаврила Матвеевич и вспомнил все же: ходил в избенку-то. В сенцах застрял, как услышал Зыкова, густо урчащего, как трактор на малых оборотах. В избенке зятек учил Костика уму-разуму, и, чтобы не мешать им, Гаврила Матвеевич подался в сараюшку преждевать маленько, да уснул тут. Хотнув, поднял на невестку веселые глаза:

— Как там свашенька? Не бузит?

— Прибегала. Плачет... Иринка-то записку ей оставила, чтоб простила. А она адрес взяла Сашеньки, писать ей. А потом, говорит, командиру пожалуется.

— Не дура, чать. Зацепины как?

— Звали на похмелку — не пришли. Да что мы, кланяться станем,— бросила резко Галина, словно отказывалась больше говорить о них, и, поджав губы, боязливо покосилась на дверь.

— Чего еще?

— Панычка пришла.

Видел Гаврила Матвеевич, что Галинка шепнула ему, а показалось, как громом ахнула по ушам. Вмиг слетели сон и лень, и пьяная дурь пропала — он вскочил, головой стукнулся о низкий потолок и, полусогнутый, впился в невестку тревожным взглядом:

— Как пришла?

— Босая... Все ноженьки-то посбила,— захлюпала Галинка.

— Сбегла, что ли? А дети?

— Померли.

Невестка заплакала, а Гаврилу Матвеевича словно бы шибануло со свету да в темень, застило глаза бедой, не давая и продыху. Он зашатался, шаркнул головой по потолку, и опустился на колени. Вот и пришла беда, отворяя ворота.

Что делать-то? Ума не теряй. Это самое и надо, собирал он себя, сжимая кулаки, от кулаков и разум вернулся, повелел дальше думать, поопасаться.

— Когда пришла?

— Ночью. В баньке отсиживалась.

Вот почему показалось, что спичкой чиркали, вспомнил он тот огонек, подказавший мысль Ольге Сергеевне проверить баньку. А он-то возомнил... Ах ты, мать моя, богомолка! Весь позор его видели, понял он, и тут же отбросил свои догадки как пустяжные рядом с той бедой, какая пришла в его дом вместе со второй невесткой Леонтиной Барыцкой, переименованной ими в Леночку и прозванной панычкой. Вспомнились ее глаза, светло-синие, как цветки цикория в пшеничке. Она прижималась к Коленке и, то глядя на него снизу вверх, то вновь взглядывая на свекра, говорила, что любит мужа и пойдет с ним в отруб.

— Панычка-Леночка, мужицкая жизнь — каторга,— предупреждал Гаврила Матвеевич невестку и радовался в душе той ее решимости, с какой она стояла за свою жизнь с его сыном, хотя и продолжал стращать.— А пойти на отделение в отруб — каторга вдвойне. Ты смекни: тут занемогла — Галинка подсобит, и я вам помощник. А в отрубе, да в лесу, человеческого голоса не услышишь, разве лишь волчий вой.

— Пойду на каторгу,— вновь взглянула она на его сына так осиянно, что у Гаврилы Матвеевича не осталось сомнений, что такая пойдет и все выдюжит.

Вот и пошла в отруб, и на каторгу, сокрушенно кивал дед своим мыслям. Спыхватился:

— Кому сказала?

— Василиса ее привела.

— А она?

— Не маленькая, чать.

— Пусть Настюху спроводит из дома — к сватям, что ли. Или с Костиком отправь их в Екатериновку, к Матрене. Да с ночевкой пусть,— говорил Гаврила Матвеевич так решительно, что Галинке оставалось только принимать приказы и согласно кивать.

— Где Леночка?

— В подполе укрыли. Спит.

— Ну пусть спит пока, а я подумаю.

Мимо Галинки он вывалился из курятника — помятый, взлохмаченный, с санным сором в волосах и на одежде; прошелся по двору, правя порядок — поднял и отнес к завалинке опрокинутые табуретки, подобрал стакан и поставил на подоконник. За приоткрытой створкой увидел Василису. Она оглянулась на спящую дочку и вопрошающе уставился на деда, зашевелив губами, и показала пальцем вниз, в полуподвал, где спит панычка-Леночка. Дед кивнул — мол, знаю, ткнул пальцем себе в губы, напомнив, чтобы молчала, да еще потряс им так, что Василиса обиженно надула губы. А нечего дуться, известная сорока. И шепнул ей:

— Дай-ка рушник, помыться схожу.

Искупаться направился за село, чтобы подольше побыть одному и обдумать, как тут быть. А как быть-то? Куда ни кинь, всюду клин — либо сума, либо тюрьма.

Панычку-Лену сын выглядел, вернувшись со службы в Красной Армии. Приехал он из Туркестана желтый, худой да хромым — за месяц до конца службы в бою с басмачами был подстрелен, а потому и комиссован после госпиталя. Неделю не выходил из дома, отлеживаясь то на печи, то на лавке, а тут узнал, что отец едет на мельницу, и вдруг засобирился: «С тобой поеду, батя». И как ни отговаривал его Гаврила Матвеевич, пугая мартовским сырым холодом, сын словно не

слышал его, надел подшитые валенки, натянул шинельку, нахлобучил богатырку с матерчатой звездой и, постукивая палочкой, пошел из дома. Едем!

«Видать, судьба звала»,— подумал Гаврила Матвеевич, вспоминая тот день.

Приехали на мельницу в розвальнях и на пустом дворе увидели ее — сидит на санках девчонка, завернувшись от ветра в рогожу, да такая белая да синеглазая, как ромашки-васильки в кульке. Спрыгнув с саней, Гаврила Матвеевич прошел было мимо, отметив, что малярия знобит девку, а сын отогнул полу тулупа и позвал ее:

— Иди сюда, нагреешься.

Сказал просто, как родне. И смотрел на нее без хитростей, с сочувствием и заботой в глазах. Девчонка опешила от такого предложения и домашнего тона, каким были сказаны слова, смотрела во все глаза на краснозвездного парня, не зная, как быть. И отказаться не могла, уж больно прозябла на ветру в своем тощеньком пальтишке под рогожным мешком, и пойти под тулуп, так вот враз, не смела: не принято, неудобно.

— Рогожа не одежда. Погрейся, дочка,— приказал Гаврила Матвеевич, поторопив кивком.

Глянув на него, девчина сбросила с плеч рогожу, которой защищалась от ветра, и на корточках полезла на сани под распахнутый Николаем тулуп. Гаврила Матвеевич пошел дальше к мукомольной, дивясь на сына: гляди, какой жалельщик стал. А сейчас, шагая огородами к реке, думал: может, и не было б у них такой судьбы, не будь этого тулупа. И погрелись-т вдвоем чуток. Ну, сколько там времени прошло, пока уладил пустяшный спор и молот мешок пшеницы.

Перед воротами в мукомольную смешно топтались мельник Архип Цициров, толстомордый, в обсыпанной мукой меховой безрукавке, отчего казался еще и пузатым,— он прикрывал вделанную в ворота дверь,— и пан Игнацкий, приблудший в их волость поляк. Девка-то, панова дочка, сообразил Гаврила Матвеевич, поднимаясь по бревенчатому въезду и с интересом глядя, как тощий очкастый полячок в обвисшей шляпе и потрепанном длиннополом пальто все время кланялся Цицирову, а сам норовил проташить в дверь какой-то мешок, переставляя его с одной стороны на другую, стараясь обогнуть мельника. Архип покачивался, закрывая собой проход, и, в усмешке кривя рот, отказывал ему:

— Не! Еще чё придумал!

— Вам будет выгода. Большой процент,— шептал пан Игнацкий, размахивая перед лицом мельника рукой в рваной перчатке, из которой незащищенно торчал бледно-розовый скрюченный палец.

— Здорово, мужики! — легко подступил к ним Гаврила Матвеевич.— Об чем сыр-бор горит?

— Да ты послухай только,— кивнул Архип на смущенно притихшего полячка.— Опилки велит молоть. Слышал? Проценты сулит. Говорит, тыщи огребать будем.

— Это коммерческая тайна,— сдавленно напомнил пан Игнацкий, укоризненно поглядев на мельника, но тот не застыдился, а разошелся пуще:

— А мне плевать на твою коммерцию. Ишь нашелся, дырявый коммерсант. Много таких ходит...

— Так не можно говорить,— протестующе заговорил пан Игнацкий, резко вскинул голову с загоревшимися глазами. Обвисшие поля его шляпы от рывка шлепнули по сморщенным, не раз обмерзавшим ушам, но и голодная нищета, видел Гаврила Матвеевич, не сломила его гордый дух. Сцепившись с мельником, не поддавался на грубость и все старался довести его до понимания выгоды.— Я сделал догадку. Польза всем — тебе, тебе... Мякину дают скоту — так?

— Запариваем и даем,— кивнул Гаврила Матвеевич.

— Мякина — клетчатка, то есть то же дерево,— запустил руку в горловину мешка пан Игнацкий и вынул горсть опилок и мякины — избитые молотилкой остатки хлебных колосьев,— протянул ее Гавриле Матвеевичу. Тот принял ее на ладонь и задумчиво ворошил пальцем смесь, отделяя побитые зернышки.

— А ведь верно размыслил полячек-то,— кивнул Цицирову.— Весной коровы вон как веники едят, только дай. Ветки-то — и есть дерево.

— Вот, вот! — обрадованно задергался пан Игнацкий, порываясь благодарно тронуть Гаврилу Матвеевича и стыдась этого жеста.— Я дам размолотые ветки, то есть муку из них. Скот ест, я молот на ручной мельнице. Теперь надо здесь.

— Жернова портить ради тебя...

— Как их попортишь, когда меж камней опилки да мякина пойдут,— заметил Гаврила Матвеевич.

— А не пойдут как... Чать, не зерно, чтоб само сыпалось.

— Палкой протолкнешь. Сиди да шуруй. Забогатеешь с компаньоном,— говорил Гаврила Матвеевич, с удивлением следя, как по-мышинному забегали мельничковьи глазки, будто ему нестерпимо было ударить от них с добычей. Подумал, ведь этот

живоглот, как пить дать, обманет панка и дело загубит, а потому, глянув на пана Игнация, добавил вроде как с завистью: — А наш Фома не без ума. Повезло тебе, Архип. Береги его. Умная голова сто голов кормит. А как сделаете муку из опилок, вам будет благодарность от товарища Троцкого и послабление от налогов.

— Ишь, щедр на чужое... Заимей мельницу, да мели на ней хоть песок — может, тоже мука будет. Орден получишь. А я из-за голодранцев жернова крошить не буду.

— Ну, кому бог ума не дал, тому кузнец не прикует, — развел руками Гаврила Матвеевич, чем еще пуще озлил мельника. Он покраснел, готов был разразиться матом, но убоился — Гаврилу-драчуна сызмальства боялась вся округа — и только произнес, кривляясь:

— А ты у нас умник.

— Тогда слушай, когда в твою пользу говорят, — продолжал улыбаться Гаврила Матвеевич, не поддаваясь на злость Архипа.

— Панове, не надо спорить, — заговорил пан Игнацкий. — Все сделаем хорошо. Я продумал, тер на камнях... Есть мой секрет... Если пан Архип согласится на процент, я все скажу. Совсем немного... Вы понимаете, надо кормить дочь, как-то жить... А я придумывал, это работа... Я буду хорошо помогать пану Архипу.

— Какой процент? — набылчился Архип, уставясь на пана Игнация.

Гаврила Матвеевич понял, что дело сладил, дальше пусть сами торгуются, и побежал за мешком зерна, чтоб быстрее отмолоться. Забирая его, потеснил молодежь, укрывшуюся тулупом с головой.

— Ну-тка...

— Батя, с кем воевал? — спросил Николай, выглянув из ворота тулупа, и рядом с его лицом блеснули васильки девичьего личика.

— А нам хошь с кем подраться, лишь бы погреться.

С мешком на плече, как с малой торбочкой, он побежал на мельницу, улыбаясь про себя: «А мой раненый не промах парень. Враз девку под бок усадил и улыбаться заставил. Такой долго в холостых не проходит, готовься, отец, к свадьбе».

Возвращались с мельницы неторопко. Гаврила Матвеевич лежал на сене полу-бокком, привалясь к головкам саней, а сын устроился на задке, облокотясь на мешок с мукой, и, выгягивая из ворота тулупа тощую шею, крутил головой, оглядываясь окрест, широкими ноздрями жадно тянул воздух, в котором уже слышались запахи скорой весны. Лицо его порозовело, видел Гаврила Матвеевич, и глаза после шептаний с девчонкой ожили и засветились. Вон как головой крутит туда-сюда. И еще заметил отец, пробудилась в сыне улыбка. Вдруг отведет взгляд в сторону, всмотрится в бель полей с редкими, тут и там чернеющими купами ветел и осокорей, или прищурится на солнце и так это робко улыбнется, словно научаясь этому сызнова. Вдруг стал спрашивать про пана Игнация — откуда появился здесь, что за личность такая.

— А полячек-то, пан — пустой карман. Так по деревням его дразнят. Н-но! — хлыстнул коня не глядя Гаврила Матвеевич и, когда тот прибавил ходу, задумчиво прищурился, вспоминая про пана. — Сказывали, в Самаре работал на макаронной фабрике. Вдове. С голоду в Ташкент подался на большие хлеба, да вот у нас застрял. Живет в Драбагане у нищенки, и сам чуть не побирается. Но голова ст.

Серко бодро трусил, не дожидаясь кнута, сани легко скользили по наезженной дороге, на буграх заносились в сторону и, чиркнув по сугробу крылом, выпрямлялись, чтобы скользить дальше. На пути встречались поездежане, и, прежде чем разъехаться саям, затевался приветственный разговор:

— Гавриле Матвеевичу с сынком доброго здравия.

— Привет, Аким.

— Здравствуй, Аким Савельевич, — вторил Николай, выворачивая из тулупа голову в красноразвездной богатирке, узнавающе кивая и вызывая тем новый всплеск радости встреченного ездока:

— Гляди-ка, помнит!

— Чать, не раз баштаны твои обирал, — перехватывал разговор Гаврила Матвеевич.

— По молодости с кем не бывало. А вы с мельницы, что ль?

— С мельницы. Помолол пшенички, сынка подкормить.

— А я в кузню.

— Ну, бывай.

И разъезжались взаимно довольные: один тем, что выразил свое уважение к Гавриле Матвеевичу, с которым связана была вся жизнь, с малолетства, когда ходил в его ватаге на другие хутора и села, другой тем, что показал сынку уваже-

ние к себе односельчан — гляди да на ус мотай. Не богат, да славен, как барин. Сын тоже был удовлетворен, потому что хотел дослушать рассказ про поляков.

— А ты ло-о-вок. Поцеловал куму, и уста в суму,— рассмеялся Гаврила Матвеевич, напоминая сыну недавнее.— Глядь, и девку под тулуп.

— Больная же, видел. А добро сразу надо делать, с легкой руки. Сам учил.

Нахмурясь, Николай замолчал, опустив глаза, и, подтянув губы, покачал головой в такт езды и вновь поднял глаза, только стали они не наружу глядеть, а куда-то в свою глубь. Гаврила Матвеевич замер, понял сразу, что вот сейчас и будет тот самый разговор, которого он ждал, не торопя сына расспросами, давая вызреть угнездившейся в нем боли. И сын заговорил.

— Озверел я там, батя. Рубка, пальба, погоня. То мы за басмачами, то сами от них. Напряженье такое — кажется, спиной видишь, что за ней. А тут еще жара, пыль, пот, гады всякие... Раз прискакал старик. «Спасайте,— просит,— бай вернулся и дома жгет». На коней! Отбили, разогнали. Заночевать остались, и тут они нам резню устроили, повалили со всех сторон. Взводный говорит: «Без подмоги не продержаться, скачи, Колька, в отряд». Леха, дружок мой, коня своего дал. Последней гранатой дувал свалили — это забор такой глиняный, как стена. Выскочил в пролом, стреляю, в меня палат. В ногу вдарило. Вроде как камнем. Скачу. Конь у Лешки лучший в эскадроне, птицей несет. За село вылетели, проскакали, может, полверсты, а он тише, тише, да брыкнулся под мной.

Охнул Гаврила Матвеевич. Вперившись взглядом в сына, он словно бы слился с ним, переживая и этот удар пули в ногу, и падение коня, предвещающее верную гибель. На миг показалось, что не Колька, а сам он спрыгнул с повалившегося коня, да тут же подломился от хлестнувшей по ноге боли. Упав, огляделся. Конь храпел, беспомощно задирает голову, порываясь встать и одним глазом виновато и тоскующе глядел на него, будто прося пощады. Впереди увидел камни, залитые лунным светом, под ними чернь теней, но туда не успеть — всадники скачут от села. Назад лучше — и в бурьян спрятаться.

— Спрыгнуть с коня успел, но и сам повалился от боли,— продолжал рассказ Николай.— Все-таки пулей вдарило, не камнем. Огляделся... Луница как фонарем светит, весь на виду. А тут погоня скачет. Куда бы нырнуть?

— В траву, и назад! — приказно шепнул Гаврила Матвеевич, не спуская глаз с сына, и тот кивнул:

— Ага... Впереди камни какие-то. Подумал, там будут искать меня, а я за бурьян скатился и навстречу им пополз. За бурьяном оказался арык. Это как бы канава ручья,— объяснил Николай, и Гаврила Матвеевич сразу понял, что значило то узкое ложе, привидевшееся ему в переживаниях за сына.

— Вижу, поскакали к камням, а я скорей от дороги подальше. По бахам, по огородам ползу. В какие-то заросли забрался. Перевязал себя кое-как, а идти не могу. И сил не стало, и на ногах не стою. Палку бы, так и палки нет. Решил отлежаться, но пить захотелось так, что немоготу. По арбузам же полз, а не догадался прихватить. Прикатил бы как-нибудь — казну себя так, да разве тогда до арбузов было. А тут светать стало, по дорогам всадники скачут туда-сюда. Коня моего прирезали и увезли на арбе. В кишлаке перестрелка стихла — значит, и товарищей моих добила. И такая меня злость разобрала, батя. Когда им надо было — прискакали: спасайте. А мы жизни кладем — никто не помог. Думаю, чиркну спичку сейчас — трава как порох сухая, огонь быстро побежит, спалит их посевы. Пусть с голода подыхают, раз не умеют по-людски. Ну а сам подпалю — так мертвому будет все равно. Три патрона в нагане осталось, а мне и одного хватит. Вот только донесение не успел доставить. Вынул записку, какую взводный давал, а там писано: «Колька, живи! Расскажешь, как мы сгинули за светлое будущее. Помни нас. Леха вот наказывает еще, чтоб на свадьбе за нас первую чарку выпили». Леха, мой товарищ, наивернейший,— сказал Николай с мокрым блеском в глазах, а Гаврила Матвеевич словно увидел его перед собой, белобрысого, в ржаных конопушках по лицу и с сигаркой в зубах. Сглотнул подступивший к горлу ком Николай и продолжил рассказ:

— А у меня рана кровоточит и перевязать нечем. Кусты низкие: со стороны прикрывают, а сверху солнце шарит. И вдарило. Очнулся только ночью. Пить, пить хочу... Пополз на огороды. Может, думаю, какой-нибудь завалившийся арбузенок найду. И ничего... Даже тыквешки не нашел — все позабрали, передавили... Поматерился. А тут светать начинается. Пришлось опять лезть в кусты. К концу второго дня почувствовал, что умираю. Записочкой держался. Открою ее и твержу: «Колька, живи! Расскажешь...» Пить... Хоть глоточек. А потом вдруг чувствую — пью, глотаю что-то... Мерещится, что ли? А, все равно, думаю, пей. Да уж больно вкусное пью. Приходить в себя стал. Глаза приоткрываю — бусы, а я грудь сосу. Склонилась надо мной чернявая, улыбается и сщеживает мне в рот молоко. Когда

увидела, что я глаза открыл, смутилась и грудь отняла, мешком накрылась. Волосные мешки они носят на голове.

— Зачем? — не понял отец.

— Чтоб красоту их не видели. Обычай. Показала мне знаками, чтоб лежал: мол, ночью придет. И пришла со стариком. Напоили меня, перевязали и увезли на ишачке, как куль. Ты вот говорил сейчас, — поднял Николай на отца взгляд, — быстро я девку под тулуп забрал. Гульнара тоже не медлила: пей. А я промедлил, отец. Промедлил и всю жизнь простить себе не могу. В общем, стал я отходить у них. Мог бы и уйти, да старик показывает: рано, мол, полежи. А тут ее муж приезжает. Кричать начал. Я в сарайчике у них лежал, циновкой занавешенный. Сорвал он эту циновку, на меня глянул, как на падаль, — лежу-то пластом, не шевелясь — и так это кладет руку на голову Гульнаре, на лоб спускает и пальцами в ноздри ей. Это что же, думаю. Ну и ласки! А он запрокинул ей голову, как овце, и ножом по выгнутому горлу вжик... Кровь фонтаном... Батя, я же мог его сразу прибить. Выхватил наган, прикончил. Да она-то в крови...

И опять Гаврила Матвеевич почувствовал черную, застилавшую глаза тоску сына, увидел окруженный желтыми стенами дворик с деревьями, развешанными на опорах, бегущего с ребенком на руках старика и два трупа на дорожке.

## 2

Так, вспоминая былое, Гаврила Матвеевич шел по берегам Сакмары подалее от людских глаз. Вышел к перекату на бродный переход в Драбаган. В том памятном двадцать седьмом годочке он располагался левее, а выезд на берег был широким, протоптанным до песка копытами лошадей, сбитым колесами. Теперь в соседнее село ездили редко, и колея чуть проглядывала среди разросшегося мелкого лопушья.

Солнце поднялось над лесом, и перекат взблескивал, словно серебрился тысячами рыбьих боков. Только Гавриле Матвеевичу было не до веселья, и он, прошуршав белесой галькой, потопал дальше к крутояру. Там была глубина, вода шла тихо, просторно, незаметно подмывая берега с вековыми осокорями, и они, повалившись, покоились в реке. Там же, в залесенном устье впадающей в Сакмару их мелкой речки-веселухи Аселя, прибежавшей сюда после кружений вокруг сел да хуторов, в укромном месте под зонтиками дудочника бил родник. Расчищенный Гаврилой Матвеевичем, красиво обложенный галечником, этот родничок много лет поил его в страду и давал водицы для лесного смородинного чая в его рыбачьих ночевках у костерика. И сейчас он пришел сюда как в свое думное место. Но прежде — напиться, потушить похмельный пожар. Вынув из укромного места берестяной черпачок, он набирал им воду и сливал в себя без счета, постанывая и блаженно вздыхая. Потом разделся донага, прикрывая руками срамоту, повалился бревном в воду и, как топляк, пошел на дно, в омут, в самую соминую квартиру, зацепясь за корягу, покатался там по холодному илу. Хорошо! Тело набиралось крепости, а голова без воздуха как будто закипала, переваривая похмельную дурь. Чтобы занять себя да пересилить стремление рвануть наверх, наладился там расчищать яму от коряг. И когда совсем стало немого, ноги толкнули его вверх, руки помогли, и вылетел из воды с пробочным подскоком; в два-три гребка подплыл к берегу и выбрался наверх. Ух, хорошо! Налитое тело вновь стало легким, послушным. Высыпавшие по коже пупырышки от донной стылости напомнили, как Сашка вот тут же, после купанья, пытался ущипнуть деда и долго удивлялся, что не мог собрать кожу в щипок. Говорил, такое бывает только у здоровых людей, а у больных да слабых кожа болтается, как одежда на вешалке. Вспомнив про первого внучка, Гаврила Матвеевич с удовольствием подумал, что все-таки ладно он все спроворил вчера; катит сейчас Сашка со своей любушкой и горя не знает.

А одевшись, сел на берегу, как бы перед удочкой, и ушел в думы. Надо было про настоящее, но нет, лезло опять былое.

После поездки на мельницу и признания, облегчившего душу, Николай понемногу начал оттаивать. Тут и весна помогла, звала из избы на волю, на людь. Сначала все по селу ходил с палочкой из конца в конец — ногу расхаживал, как велел доктор, а вскоре на девичьи посиделки зачастил, на гулянках стал пропадать до утра, и уже без палочки обходился.

— Может, рано коня своего бросил, — заметил Гаврила Матвеевич. — Поберегся бы.

Они стояли в завозне, подлаживая телегу. В распахнутые ворота било солнце.

В лужу возле сарая стозвонно дробилась капель, наполняя двор и, казалось, всю округу поторапливающей музыкой. Порхавший по завозне ветерок, сырой, приправленный раскисшем на солнце конским навозом, бодрил и звал с собой на простор за изгороди села, в еще пестрые, как сорочье крыло, поля. Туда и смотрел Николай, услышав слова отца. Как бы очнувшись от раздумья, ответил:

— Мужик у руки нужны для работы, не для подпорок.

— Аль мужиковать останешься? — удивился отец.

— Не прогоните?

— Да ты что, сынок. Рады будем. Такая подмога! Просто подумал, после армии не захочешь в навозе возиться. Да и забыл, поди, все.

— Не забыл, батя. Я всю службу во сне пахал да сеял, косил да молотил. Буду мужиковать, как ты говоришь. В общем, прирежай землю.

— Ладно. Только ведь мужик без бабы — что огород без городьбы.

Сын кивнул: правильно. А помолчав, спросил:

— Батя, а меня может хорошая девушка полюбить?

— А почему ж не может. На то они и девушки, чтоб нас любить да детишек носить. А вот насчет хорошая... Они, видишь ли, все хорошие, да откуда потом плохие жены берутся — вот революционный вопрос, по моему разумению, — сказал Гаврила Матвеевич, почувствовав возможность помудрствовать, что очень даже полюбил в последние годы. Но, взглянув на сына, осекся. Что это с ним? Красноармеец, прошел огни и воды, статный да ладный стоит перед ним, зарумянившийся, как молоденький, и стыдливо прячет взгляд. — А ты почему засомневался?

— Годы... — вымученно улыбнулся сын.

— Годы хорошие, двадцать семь лет — самый сок. Еще что? Говори как на духу.

— Сам не знаешь, что ли, — полез за кисетом Николай и вздрагивающими руками принялся крутить и мусолить сигарку. — Уже по деревне кличут: «Вон, Колька хромой пошел». Калека...

— Нашел дуду на свою беду! Вот Павлушка Стожков без ног остался — ему не позавидуешь. Матвей Шемякин без правой руки, Андрей Прозоров без ноги, на деревяшке культепается, — эти калеки. А ты бегаешь — на коне не догнать. Васька Ларичев сказывал, в Драбагане лишь настиг тебя.

— Было дело.

— Было... — впился в него взглядом Гаврила Матвеевич, и вдруг вместо сынина лица, прикрывшегося дымком сигарки, явственно обозрел как бы промелькнувшее перед внутренним взором девичье личико. Узнал его — пана Игнация дочка — и пошел напролом. — Ты, Колька, зелен еще отца в дураках водить.

— Ты чего, батя?

— А то, сынок. Хитри, да хвост береги. Ты же полюбил девку. И сдрейфил. Николай поднял на отца выжидающий взгляд: что, мол, еще скажешь? А то и скажу, решил Гаврила Матвеевич и объявил сыну с лукавой ухмылкой:

— А влюбился в пана Игнация дочку!

— С чего ты взял?

— А у меня догадка вперед ума бежит. Умный только свистнет, а догадливый смыслит.

Заважничав, Гаврила Матвеевич бросил в телегу топор и принялся набивать трубку самосадам, хитро поглядывая на Николая, на то, как он замедленно соображал, боясь попасть впросак.

— И как же ты... смыслил?

— Тайна тут великая, — отвечал отец, дурачась, а выходило вроде как всерьез. — Тебе — доверю, а ты — никому! Запрешь, а ключики в океан-море бросишь.

— Тогда, может, лучше не говорить? — удивлялся Николай непонятному поведению отца. На что намекает? Чего хочет?

— Может, и лучше, — согласился Гаврила Матвеевич, и тут же засмеялся, глазами простодушно признаваясь: — Так ведь хочется похвалиться кому-нибудь. Чужому не скажешь — вмиг ославят по деревне. Только сыну и можно передать такое.

— Колдовство, что ли?

— Вот и ты смекнул.

— Смекнул, когда так намекаешь. Только я в эти сказки не верю.

— А я, думаешь, верю? Но вот вижу, и все тут. Вроде как мерещится мне. И полячку твою увидел, когда ты прикуривал.

— Мало ли совпадений.

— А Леха, дружок твой, тоже совпадение?

— А чего — Леха?

— Конопатый он. Как крошками обсыпанный. Так ли?

— Та-ак, — поразился Николай, вспомнив, что никогда не рассказывал отцу про внешность дружка, а отец добавлял новые приметы, словно бы видел его.

— Еще белобрысый и губошлепистый. Цигарку держит в зубах и губы выворачивает, как сопляк, начавший курить.

— То-очно! — совсем растерялся Николай, не зная, что и подумать. Ведь точно не говорил ничего про Лёху. Может, в письмах писал? Ну, упоминал, наверное, так ведь не про веснушки на лице. — Батя, а как же это? Что ж это тогда?

Гаврила Матвеевич многозначительно помолчал: мол, понимай как знаешь. Ему в те годы еще приятно было думать про себя как о личности особенной. И хотя знал, что никакой он не колдун, не ведун-знахарь и с черной силой никакой не знался, Гаврила Матвеевич все же был убежден, что есть в нем что-то такое, чего у других нет. Это «что-то» ярче всего проявлялось в его догадках при слушании людей. Причем, с годами странный дар, к удивлению, не ослабевал и крепил уверенность в своей исключительности, вызывая и недоумение: а на кой он нужен? Даже сказать о нем нельзя никому: народ темный, многие посчитают колдуном, убоятся и возненавидят. Не-ет, про такое молчать надо. Коленьке открылся, потому что увидел в нем самого себя, снаружи грозен да строг, а внутри нежней девушки. Как раскрылся он ему со своей болью на сердце, так и Гаврилу Матвеевича потянуло рассказать сыну свое заветное.

Странности его начались, помнил Гаврила Матвеевич, с ранней дошкольной поры, когда озабоченная озорством единственного внука бабка Пелагея занялась его духовным воспитанием, стала водить с собой в церковь на молебны. Запутанный рассказами кто Бог-отец, а кто Бог-сын, запуганный их грозными могуществами, из которых больше всего поразила его молния, которой, оказывается, как кнутом, хлещет по небу Илья Пророк, маленький Гаврюша усердно молился, боязливо поглядывая на богов, глазасто следивших за ним со всех простенков, с потолка церкви. Ему казалось, что если он не будет стараться, то они надвинутся на него, зашипят и примутся щипаться, чтоб не крутил головой, а молился бы и пребывал в страхе божьем. И он истово крестился, а в поклонах со стуком бухался головенкой об пол, чем привлек внимание к себе попа Прокопия, погладившего его по головке за такое раннее прилежание.

За ужином, когда вся семья — пять девок-сестер, Гаврюша, отец с матерью да дед с бабкой — дружно и слаженно, ложка за ложкой, черпали из общей чашки супец, бабка рассказывала про старания внучка, отмеченные благословением отца Прокопия.

— Молись, Гаврилка, — похвалил его дед, шамкая беззубым ротом. — Слушайся бабку, может, попом станешь. Попы бо-огато живут. Родись, женись, помирай — за все денежки подавай.

Прыснули, зажимая рты, сестры, и черная, как корневище, рука отца подняла ложку: кому по лбу огреть? Пожелание деда он не одобрил, пробурчав, что поп попа родит, а мужик мужика. С высоты прожитого, когда сам стал отцом и дедом, Гаврила Матвеевич понял, почему баловал его папанька, отчаявшийся дожидаться наследника в бесконечной череде рождавшихся девочек, как старался сделать из него крепкого хозяина. На души женского пола общинная земля не выделялась и расходы на них считались бросовыми: дочь, чужое сокровище. Холь да корми ее, учи да стереги, а вырастет — в люди отдай. Другое дело — сын: на старость печальный, на покой души поминщик. Не зная всего этого, Гаврюша все же понял, что поповское дело не главной мужицкого, а потому, приведенный на другой день в церковь, он уже не молился, а все больше разглядывал богов, соображая, как они, нарисованные, могут его наказать за грех. И проверил по-своему.

Стой! Тпрр, торопыга, остановил поток воспоминаний Гаврила Матвеевич, удивляясь себе: ведь куда угнал! Не до того сейчас... Надо понять главное, а это началось с Леонтины Барыцкой, его невестки, прозванной ими паночкой-Леночкой.

Другой разговор о ней с сыном состоялся, кажись, на следующий день. Гаврила Матвеевич с Тимофеем ладили борону, вбивали новые зубья взамен погнившим, а погрузневшая Галинка у оконца шила будущему ребенку новину. Стукнула дверь в сенцах — подумали, Василиска озорует, а в избенку ввалился Николай, весь взъерошенный и злой; с порога бросил:

— Мельник Цициров поехал свататься за паненку.

Тимофей и Галинка встретили известие как повод посудачить про толстого мельника, недавно похоронившего жену, и, наверное, не понимали, почему Николай и отец, вперившись друг в друга взглядами, так напряженно молчали. Николай ждал слова отца, а Гаврила Матвеевич быстро соображал, как же это произошло. Ведь мякиной муки мельник так и не намолот, значит, не сладилось у него с поляком дело. И вдруг, к девчонке сватается, которая ему в дочки годится. А может — сватается, потому что до голода довел. Тогда что же ты стоишь, глянул он на сына, и тот дернулся, как испуганный конь: что делать?



— Запрягай Серко,— решенно объявил Гаврила Матвеевич. Встав с табуретки, потянул с вешалки полушубок.

— Запряг,— отозвался Николай и, шагнув в угол, где под лавкой лежал его вещмешок, вынул из него наган и засунул в карман шинели.

— Не воевать, сватать поедем,— усмехнулся отец. И пропел: — Эх ты, Коля-Николай, сидел дома не гулял. И просидел невесту.— Обернулся к Галинке, с изумленным ожиданием в глазах следившей за ними. Подмигнув ей, приказал: — Собирай, что с собой надо.

— Батя, а мост разобрали мужики, чтоб не снесло,— сказал Тимофей и тоже стал одеваться, натягивать сапоги.

— По льду проскочим.

— Давеча смотрел, вода верхом пошла.

— Ой, правда, папа,— испугалась Галинка, заохала: — Ой, не надо, папаня. Вдруг подломится.

— Потому и не мешкай,— приободрил ее Гаврила Матвеевич, ласково тронув за плечо.— Нам главное — на тот берег успеть, а там мы пошустрим. Не может быть, чтоб гордая паночка такого сокола на мешок дерьма променяла. Хитрит Архип, а мы тоже не лыком шиты.

Мужчины быстро и дружно оделись, Галинка собрала корзинку с продуктами, какие были под рукой,— соленые огурцы, чугунок картошки, кусок сала, хлебцы, луковицы; там же уместила две четверти черемуховой настойки — рубинового цвета водицы, какую пили на масленицу вместо вина, огляделась: что еще надо? Испытующим взглядом посмотрела на мужа, шагнула за занавеску, стукнула там крышкой сундука.

— Ну-ка, на дорожку присядем,— сказал Гаврила Матвеевич.

Сели. И тут из-за занавески вышла Галинка с цветастым платком на плечах, подаренным свекром. С таинственной улыбкой прошла мимо глядящих на нее мужчин, как ходила когда-то по деревне, гордо выпятив живот, потом стянула с плеч платок, сложила и аккуратно уложила в корзину. С легкой грустью — мол, ладно, обойдусь — взглянула на мужа, выжидающе хлопавшего ресницами, до него все дальше доходит, чем до других,— перевела взгляд на свекра, который понял все без слов и вытянул шею до дрожи, пораженный таким ее поступком, и обратилась к Николаю:

— Невесте подарок.

— Спасибо,— пробурчал тот смущенно, а Гаврила Матвеевич сорвался с лавки, обнял невестку и поцеловал ее в лоб и щеки, приговаривая:

— Ах ты, Галинка, детинка моя... Не пожалела! Спасибо тебе. Не за платок, за душу твою добрую спасибо.

Затем отставил ее, застыдившуюся, и шагнул из избы, чтоб не расчувствоваться до слез. За ним пошла сыновья с корзиной, а невестка, вытирая выступившие слезы, кинулась к окошку поглядеть, как мужчины поедут со двора.

Поехали на санях через огороды, где еще лежал снег; напрямик добрались до реки. Сакмара покоилась подо льдом, но был тот лед уже рыхл и кое-где сверкал синевой неба, отражавшегося в разливах луж. Ниже был перекат. Продолав промоину, река здесь грозно рокотала по гальке и, один раз выплывавшая из плена, уже не желала добровольно лезть под ледовый настил, она выплескивалась на верх льда и топила его под собой. Там реку не переехать, решили попытать счастья выше переката, где на тиховодье лед намерзал толще. Пока Николай развязывал гуж, отпуская клещевину хомута, да снимал чересседельник, чтобы в случае беды лошадь выскочила бы из упряжки и выбралась на перекате на берег, отец наказывал оставшемуся дома Тимофею, что и как готовить к севу. Уловив его улыбку, одернул себя:

— Тыфу ты! Да ты ж лучше меня все знаешь.

И польщенный Тимофей распахнул улыбку на все лицо. Он и в самом деле проявлял к хозяйству больше старания, чем вечно занятый общественным отец.

— Сам думай, что делать, а делай, что решил. А как лед сойдет — мы тута. В брод на Серко перейдем. Ну, бывай здоров.

Обнял сына, поцеловал и, оставив стоять на крутом берегу, побежал вниз, куда под удцы повел лошадь Николай.

— Успехов тебе, братуха,— крикнул ему Тимофей, и Николай махнул рукой.

Поняв, куда ее ведут, словно чувствуя беду, лошадь всхрапывала, упиравшись, и все норовила оглянуться назад на бежавшего к ней хозяина, но и хозяин не спас ее от железной руки человека в остроконечной шапке, а запрыгнув в сани, больно ожег кнутом, покрикивая:

— Давай, давай, Серко! Бегом. Семь бед — один ответ. Пошел! Н-но...

И опять хлестал по самому больному месту, под пах. Серко вышел на лед, и лед выдержал его; потащил за собой легко скользящие сани. Кнут подгонял,

заставлял мчаться к тому берегу. Николай на ходу прыгнул в сани, и тут же раздались гулкий, побежавший по реке треск.

— Выноси! — гаркнул Гаврила Матвеевич. Конь понесся, стараясь убежать от этого крика хозяина и грозного треска подламывающегося под ногами льда, в несколько махов перенесся через реку, выскочил и выволок сани на берег. Гаврила Матвеевич и Николай оглянулись и увидели, как по их санному следу, поперек реки, протянулась черная полоса и расширялась по мере того, как вода сдвигала к перекату отломанные льдины. Тимофей с той стороны кричал им что-то, махая руками, но голос его заглушался треском начавшегося ледохода: оторвавшиеся льдины быстро переколотились на перекате и на выходе из него нагромоздили торос, так что нетрудно было сообразить, что образовавшаяся плотина поднимет уровень воды, вспучит лед и через час другой понесет отсюда последние остатки зимы.

— Ну, сынок, поздравляю, первая удача у тебя есть, — сказал Гаврила Матвеевич сыну, прикованному взглядом к черноте воды в том месте, где они только что пронеслись. Сейчас только до него доходило, что, поскользшись Серко или по-медли...

— Тебя тоже, батя...

— Да-а, — перекрестился Гаврила Матвеевич, тоже переживший страх, и, отломив от буханки кусок хлеба, понес его Серко, просить прощенья за обиду. Уговаривал, потчуя: — Ну, не сердись. Надо так было. Ты ж, глупый, и купался б сейчас там. А теперь сухой, и хлебушко жуешь. Вот так, милый... Вот так...

Подправив лошадиную амуницию и помахав Тимофею, поехали по зимнику в Драбаган искать пана Игнация.

— А ты отчаянный мужик, батя, — говорил Николай, все еще не освободившись от пережитого.

— А все ж не без ума, — радовался Гаврила Матвеевич такому признанию сына. — Не козырист, так находчив. Я ж все прежде рассчитал. Лед толстый, если и треснет, то не сразу разойдется.

— А поскользнулся Серко?

— Так я ж его подковал намедни.

— Ну а вдруг? — допытывался Николай.

— А чего — вдруг? Удалой долго не думает.

— А как насчет «Семь раз отмерь, да раз отрежь»? — хитро прищурился сын.

— А сам чего ж не мерил?

— Так я ж в тебя, наверное, удалой.

И оба рассмеялись, довольные.

— На женитьбу и на войну надо идти смело, — заговорил вновь Гаврила Матвеевич, помахивая кнутом. — Ага... Смелым бог владеет. Сколь раз на себе испытал. Вот отметина-то... — снял он шапку и нагнул перед Николаем голову, где на самой макушке был у него сабельный шрам. Николай видел его не раз и слышал его историю не единожды, но раздвинул волосы и потрогал рубец, после чего отец опять нахлобучил на голову волчий малахай и продолжил рассказ: — Колчака били. Схлестнулись в конной рубке. Вижу — есаул прет, а у меня конь назад садится, ранило его в ляжку. И вот как словно бы шепчет мне кто-то: спрыгни! Скользнул с седла — и под коня. Только кончиком достал меня есаул, а то бы надвое развалил. Видишь как... И тут прислушался к себе — нет тревоги. Проскочим, значит. И проскочили. Теперь нам полячку твою с бою надо взять. В случае чего — в сани ее, и айда-пошел. Любит тебя?

— Не знаю.

— Как это, не знаешь? — уставился на него отец. — Чего ж мы едем тогда, если не сговорился?

— Я говорил, а она... молчит, — признался Николай, хмурясь. — Да чего она скажет. Голодают они. Сунул пану деньги — не берет. А дочь кормит соломой, перетертой на камнях.

— Слыхал...

Улицы Драбагана встретили их такой же весенней слякотью, какая была сейчас и в их Петровском. За санями с брехом бросился черный кобель и взвизгнул, получив ловкий удар кнутом. Лай и визг собаки как бы пробудили сонную улицу, и к окнам домов сразу прилипло несколько лиц, разглядывающих проезжих. Две молодки, стоящие у колодца с ведрами на коромыслах, прошли за ними вслед, чтобы увидеть, к кому приехали, а увидев, что сани подъехали к дому Рыбчихи, где уже стояли нарядные саночки мельника Цицирова, изумленно переглянулись и, плеща водой из полных ведер, разбежались по разным сторонам сообщать селу новость.

Дом Рыбчихи был большой и когда-то многолюдный, но в японскую войну убили ее хозяина Епифана Рыбникова, а в революцию сгинули два брата-близнеца Мишка да Гришка, невестки ушли к своим родителям, и обнищавшая Епифанова

жена, прозванная Рыбчихой, жила тем, что выращивала на огороде да брала с молодых за устройство в ее избе складчинных гулянок и посиделок. Еще сдавала под жилье полякам запечный угол, хотя — что там можно было взять с голи перекатной.

Подъехали к избе. Николай побелел лицом, увидев возле крыльца вороного жеребца, хрумкающего овес из привязанной к морде торбочки, стоящие за ним фасонистые саночки с красной спинкой под веревочной оплеткой да с изогнутыми железными полозьями. Видно было, под дух ударило его богатство соперника. А Гаврила Матвеевич только посмеивался в душе — надо же, Архипка Цициров, которого он не единожды проучал за жадность, на дворянских саночках приехал свататься. Наверное, с революции держал где-нибудь в сарае за хламом, чтоб не видели до поры, и вот выехал под конец зимы. Фор-си-ист, заключил Гаврила Матвеевич и, разнуздав коня, привязал его так, чтобы умная скотина добралась до сена, наваленного в мельниковы саночки. Сделал это не ради пожитка, неизживного стремления в мужицкой душе, а скорее для показа своего пренебрежения к богачу и поучения сына: смотри, мол, и не дрейфь. Затем залез в его шинельный карман и забрал наган. Так будет вернее.

Вошли в избу.

— Добрый день. Здравствуйте, — поприветствовал Гаврила Матвеевич и, стаскив с головы шапку, размашисто перекрестился.

Дальше по обычаю надо было заговорить про то, что у вас есть товар, а у нас купец, но язык не поворачивался выговаривать эти слова скорбному человеку в лохмотьях, крючком нависающему над надкусанным огурцом, лежащим на краю стола возле стакана недопитого самогона. Да и сама «княгиня», сидевшая на табуретке у печи с потухшими, как на собственных похоронах, глазами, не вызывала бойкости слов. По всему видно было, просватали девку и пропивали сейчас. Догадку подтверждал набычившийся мельник, горой возвышавшийся над столом в распахнутом пиджаке, чисты видны были новую рубаху и жилет с серебряной цепочкой карманных часов. По правую руку его стояла бутылка с самогоном, по левую, на развязанном платке, лежали шматок сала, хлеб, яйца и луковицы — угощение, значит. На незваных гостей смотрел с неудовольствием, но Гаврила Матвеевич и глазом не повел — не хозяин! — стал стаскивать с себя полушубок.

Николай сразу пошел к полячке. Она, распрямясь и не веря своим глазам, смотрела, как он шел к ней, поднимая руки.

— Все! Моя ты! — стиснул ее ладошки Николай, тесно приблизившись. И она кивнула; глаза ее засветились.

Архип покрутил головой, взглядывая то на невесту, отдавшую руки Николаю, то на ее молчащего отца, и зарычал, вываляясь из-за стола.

— Так не пойдет! Моя невеста!

— Невеста не жена: разневестится, — заметил Гаврила Матвеевич.

— Не по правде, Гаврила, — перебрисился на него мельник. — Пропита девка. Моя!

— Твоя, так бери.

— Да гони ты его, батя.

— Во-он как! — взревел Архип и, ощерясь пригнулся, готовый к драке. — За мое же и меня...

— Ты обманщик! — резко оттолкнул стакан с самогоном пан Игнаций, и мутная жидкость из него выплеснулась на надкусанный огурец. — С тобой нельзя иметь дело. Ты... ты...

— Заткнись, гольтьба! — оборвал его мельник.

— А ты не больно-то воюй — не хозяин тут, — прикрикнул на него Гаврила Матвеевич и, сбавив тон, с примиряющим непониманием развел руками. — Обидно ему, видишь ли. А чего обижаться-то. Отказ не обух, шпшек на лбу не будет.

— Лен-ка! — послышалась старческий окрик, и с печной лежанки высунулась на тощей шее морщинистая и одутловатая, как печеная тыква, голова Рыбчихи. — Не слухай Валдаев. Валдаи всегда смутьянами были и нищи. За мельника иди.

Архип притих, дожидаясь ответа невесты, но тут отворилась дверь и в избу вошли две девицы-молодицы с дровами на руках, прошли к печи и с шумом сбросили их, обьявив:

— Бабань, дровец принесли.

Приношение давало право гостевать, и девчонки привычно уселись на лавку поглядеть, что здесь происходит.

— Мельник не ворует, а люди сами ему несут, — продолжала скрипеть Рыбчиха. — За им как сыр в масле станешь кататься. Да отца выручишь. Помрет он с голодухи-то. Вон уж очки продал. На мои кусочки не надейся: счас я жива, а завтра, может, бог смилостивится да приберет.

Напоминание о проданных очках заставило пана Игнация еще больше спор-

биться; он ткнулся лицом в ладони и, растроганный жалостью нищенки, истерзанный ударами судьбы, решившей в этот день добить его окончательно, не выдержал, затрясся спиной, не в силах сдержать рвущиеся рыдания. Леонтина бросилась к нему:

— Папа, не надо... Я не брошу тебя, ты слышишь?! Только с тобой...

— Пять мешков кладу, — размашисто объявил мельник, торжествующе уставя на Николая. Он решил устроить торг, задавить Валдаев.

— Семь! — объявил Николай, многозначительно опустив руку в карман. И добавил, не сводя ненавидящих глаз с мельника: — Семь пуль! И все в твое жирное пузо.

— Ой, — испуганно поджалась девчонка и забегали глазами, готовые стрекочуть из избы.

Гаврила Матвеевич им успокаивающе подмигнул. И порадовался, что забрал у сына наган: в такой ситуации мельник очень даже просто мог получить обещанное. Встал между ними, прикрикнув:

— Ну, хватит базар разводить! Невесте слово. Кого любишь — прикажись, а не любишь — откажись.

Леонтина оглянулась на Николая, а он, с готовностью принять ее, распахнул полу шинели. И она встала к нему, как под крыло.

Своя воля, своя и доля — это-то понятно, размышлял о былом Гаврила Матвеевич, глядя на струившиеся под ногами воды Сакмары. Тяжелил его другой вопрос, ответ на который должен был прояснить создавшуюся путаницу. Ведь выбери Леонтина не красноармейца Николая Валдаева, дравшегося за советскую власть, а злейшего ее врага Архипа Цицирова, то доля досталась бы ей та же — раскулачивание, ссылка в Сибирь, смерть мужа, потому как того и другого в один день раскулачили, в одном вагоне увезли и, беглых, в одном овине прикончили возле родного села.

Но это потом было, позже. А сперва-то свадьба. Хотя и бедная, но все же веселая и необычная для села, как и все, что выходило из-под рук Гаврилы Матвеевича. Кое-как выпроводив мельника, долго собиравшего в тряпицу принесенную с собой снедь, Гаврила Матвеевич обратил взгляд на девчонок, следивших за всем, как в цирке, с жадным интересом.

— А вы на посиделки пришли?

— Аа...

— Много соберется?

— Полная изба будет, если Ванька придет с гармошкой.

— Тогда вот что, девоньки, — зашептал им Гаврила Матвеевич, отводя к двери, — приведите мне этого Ваньку с гармошкой, свадьбу устроим. Гульбище не обещаю, сами понимаете, не те года, да и время не то... Так ведь и без свадьбы нельзя молодым в жизнь идти.

— Без свадьбы никак нельзя, — согласилась с ним чернявая, а другая, светленькая, в распахнутой шубейке, зашептала ему:

— А можно, мы в складчину войдем? Соберем, у кого что есть. В масленицу гуляли, хорошо все было.

Ох и тяжелый этот вопрос был для Гаврилы Матвеевича. Старшего сына женил кое-как. Хотя и с громкой славой, а все ж не по обычаю. И вот второго сына придется женить не по-людски. В церковь идти Николай заранее отказался, да и Леонтина не пойдет, поскольку католичка. В то же время в их бедняцком положении было и не до форсу, а с молодежной складчиной получалось даже вроде как по-новому, вполне соответствующе положению бывшего командира партизанского отряда, партийца и председателя сельсовета. Рассудив так, согласился.

— Это можно. Вас как звать, девушки?

— Вера...

— Надя...

— Я вам, Вера-Надя, дам денег, а вы в лавке леденцов да пряников купите. Да два самовара принесите. У Рыбчихи-то ничего, вижу, нет. Свадьба у нас по-новому будет, коммунной будет, без водки и самогона — веселей стол.

Наладив так девчонок, Гаврила Матвеевич заглянул к Рыбчихе на печку и с шутками-прибаутками стащил ее оттуда похозяйничать в дому. Назадал ей всяких задач и нахвалил так, что у той не осталось воли сопротивляться. Пристроил ей в помощники пана Игнация, все еще потерянно топтавшегося в избе, а молодым приказал собираться ехать в сельсовет регистрировать брак. Председатель сельсовета записал Николая и Леснину в амбарной книге и прихлопнул написанное печатью, приделанной на торце чурки. И все, ребятки! До конца века муж и жена. Жаль только, век тот был коротким у них. Но тогда об этом еще никто не ведал.

В ту весну двадцать пятого года разговоры о коммунии возникали частенько, а потому эта коммуная свадьба в Драбагане вызвала всеобщий интерес. Приглашались опять, как и на свадьбе Тимофея, только молодые, и это тоже здесь прибавляло к ней интересу.

— Ишь ты, все еще чудит Гаврила, — посмеивались мужики, показывая, что им-то давно знакомы причуды петровского ватажки, и в доказательство своей посвященности, а то и причастности, рассказывали, как он тут партизанил, а еще раньше озоровал, вода по селам ватаги парней.

— Да-а... С Гаврилой не соскучишься. И ведь придумал, стервец, такое: за счет гостей свадьбу сотворить. Меня папанька женил, сколько деньжат ухлопал, а этот бесплатно уладится.

Но, поворачивая так, в каждом доме все-таки снаряжали молодых на свадьбу с подарками и стряпней, чтоб быть не хуже других. Парни еще складывались на вино, отменяя мысли, что такая свадьба может быть без хмельного. У девчонок и молодоков пошли свои суматошные заботы. Забегали по дворам, зашущукались, прыская от восторга. Разговоры-то самые главные — о свадьбе, о счастье. А оно вот, перед глазами. Бесприданница и почти нищенка выходит замуж почти как за сказочного принца, уедет из села и обязательно станет счастливой.

Вернулись в Петровское, когда с реки сошел лед.

Сперва была баня, потом застолье с вином — тут уж Галинка расстаралась так, что хоть в пляс пускайся. И поплясали маленько под звонкую тальянку Гаврилы Матвеевича. А потом уже случился тот разговор, напрочь перечеркнувший их жизнь. И все из-за него, из-за того пана Игнация, думал в те годы Гаврила Матвеевич.

Заспорили о дискуссии в партии, и вдруг он обратился к нему:

— Гаврила Матвеевич, а ты видел наших новых вождей. Расскажи, какие они как люди?

— Как люди, — обыкновенные. Начинка разная, — стал он рассказывать. — В восемнадцатом мы Колчаку Пермь сдали, и к нам в третью армию приехала комиссия чека: Дзержинский со Сталиным. Устроили смотр. Стою я с ротой — отряд-то мой ротой стал, — а они проходят. Дзержинский с Берзиным — это командарм наш — дальше прошли, а Сталин попридержался трубку раскурить. Стоит против меня, мелковатый и лицом вроде рябоват. А может, так показалось мне. Зима была, снег сечет. Он трубочку раскуривает и меня разглядывает. Когда вверх смотрел, тут еще ничего было — вид у меня молодецкий, а как донизу дошел, до рваного сапога, там и застрял: чиркает спички, а они тухнут на ветру. Задумался, значит. Я к нему шаг вперед да говорю: давай-ка по-партизански прикуришь. Посмотрел он на меня вроде как удивляется и спрашивает: а как это по-партизански? Просто, говорю. Чтоб наверняка поджечь взрывчатый шнур, мы три спички складываем. Сложил так три-четыре спички, поднес огоньку в горсти. Ну а раскурив трубку, он поблагодарил меня за партизанский урок да пошел к своим.

— Может, когда напомнишь ему, как прикуривать учил. Вспомнит, — сказал Николай, и все рассмеялся от такого невероятного предположения.

— Может, и придется. Всякое дело до случая, — рассудил Гаврила Матвеевич. — Я ж тогда и не знал, что он — Сталин. Какой-то из ЦК большевиков, и все. В те годы Ленин гремел широко. Да еще Троцкий. Предреввоенсовета, нарком по военным и морским делам. Этот, против Сталина, матерый мужичище.

— Ну а... какой он? — поторапливал пан Игнаций, становясь от любопытства, казалось, еще тоньше и длинней. — Где видел его?

— В Москве... Иду по улице, а возле какого-то дома народ толпится, вроде бы ждут кого-то. Полюбопытствовал. Молодежный клуб оказался, а народ Троцкого ждет, вот-вот приедет, говорят. Как такой случай упустить. Вошел. Полушубок свой распахнул этак вот, — показал Гаврила Матвеевич, — чтоб орден увидели, ну и в первый ряд попал. А тут и Троцкий входит. Сразу за трибуну встал, заговорил... Я сперва особо не слушал, все больше смотрел, чтобы душой понять, что за человек. Норовистый. Глаза серые, как бесята за стеклышками пенсне. Борода уголком. Лоб широкий как бы двухэтажный. А еще плечо правое выставляет, словно подпирает им то, что говорит. А говорит — круто. И слова подбирает такие, что -- не хочешь, а веришь им. Еще ручищами размахивает. А то упрется ими в трибуну да лбище свой в зал наставит — так молодежь визжит от восторга, хлопками засыпает.

— А ты, батя? — загорелись глазки у Николая, обнимавшего Леонтину, также не спускавшую восторженного взгляда с тестя.

— А я, Николаша, воробей стреляный. Ем вареное, слушаю говореное да на ус мотаю.

— О чем он говорил? — спросил пан Игнаций.

— Это самое главное — о чем, — усмехнулся Гаврила Матвеевич и принялся набивать трубку самосадом. Взяв ее в рот, ожидаючи поглядел на невесток, —

мгновения хватило Леонтине понять, чего от нее ждут, но Галинка оказалась проворней — слетала к печи и принесла палочку с горящим на конце угольком. Раскуривая трубку, Гаврила Матвеевич поблагодарил кивком Галинку и Леонтине ободряюще улыбнулся. Продолжая рассказ, обратился к пану Игнацию, словно говорил только для него:

— Слушал его этак, наверное, часа три. Хлопал со всеми. До машины провожал. А потом дня три думал, что он говорил нам. В общем, предлагает ввести милитаризацию всего хозяйства.

— Он военный, — затряс головой пан Игнаций, уперевшись взглядом в доску стола. — Что другого предложит солдат?

— А что такое... это самое? — не понял Тимофей.

— Военизация, — объяснил Николай. — Значит, чтоб вся жизнь была по военному образцу.

— Как у казаков, что ли?

— Как в трудармии! — пыхнул дымом Гаврила Матвеевич. — Чтоб жили все с женами и детьми в казармах, работали поурочно.

— Да он что, батя? Шуткуешь, поди, — с недоверием воззрился на него Тимофей.

— Не шуткую, сынок, — вздохнул Гаврила Матвеевич. — Говорит, это жизненно необходимо, потому что народу веры нет, темные мы с тобой, а темных надо принуждать и крепко в узде держать.

— Это почему?

— Крестьянин потому что. А крестьянин есть мелкий собственник; он мечтает стать эксплуататором, врагом социализма. Чтоб этого не стало, говорит, над крестьянами надо поставить пролетариев. А над пролетариями — военных. Всякое проявление дезертирства, бездельничания карать суровыми мерами! Вот так, мужики.

Озабоченно и хмуро мужчины и молодые женщины смотрели на Гаврилу Матвеевича, не зная, как относиться к услышанному и выразить охватывающие их чувства.

— Так его же того... прихлопнули! — вспомнил Тимофей. Смачно хлопнул по ладони колодой карт. — Раздавать, что ли?

Но карты опять не пошли. Мужчины сидели хмурые и унылые.

— Наиграйси еще, — одернула его Галинка. Она обижалась на то, что муж не обнимает ее, как Николай Леонтину, и, повиснув у него на плече, уговаривала: — А ты поспорь еще. Интересно...

— Об чем тут спорить-то? Сказали же дискуссию прекратить. А Троцкий пусть катит, знаешь, куда?

— Не торопись, Тимофей! Не мудрено голову срубить, мудрено приставить, — заметил Гаврила Матвеевич.

— Так сам же сказывал, чего он удумал.

— Не все то варится, о чем говорится.

— Так ты за кого, батя? За Троцкого или за Сталина?

— Я против разлада, Николаша. Знаешь ведь, коль в доме разлад, так и дому не рад. А тут — государство, все дома наши и вся жизнь.

— Этот разлад имеет свои причины, — сказал пан Игнаций, искоса поглядывая на Гаврилу Матвеевича. И только убедившись, что его приготовились слушать, продолжил: — Спорят, где взять деньги. А ты единоличник... И мы единоличники. С вас нет денег на строительство заводов.

— Конечно, нет, — кивнул Тимофей, оглянувшись на жену. — Я вон жене сапоги не могу купить.

— Папка мне обещал ботиночки сперва, — подала голосок Василиска. Она стояла возле Леонтины, и та влетала ей в косу ленточку.

— На ботиночки найдем, — пообещал Василиске дед. — А как забогатеет, так купим знаешь что... — озирает свою избу Гаврила Матвеевич, не зная, что ему надо для счастья.

— Чего купим? — теребила его подбежавшая Василиска.

— Граммофон! Видала у попа? Вот и у нас в избе такой же будет, — пообещал внучке Гаврила Матвеевич и задиристо обвел взглядом сыновей. — А что?! Купим! Теперь нас четыре мужика. Соединим наделы, возьмемся вместе, да мы... горы свернем!

— С одной лошадью? — въедливо заметил и словно бы укусил пан Игнаций.

— Купим другую! А потом граммофон, — заявил Гаврила Матвеевич капризно надувшейся Василиске, направившейся вновь к Леонтине. С щедрой улыбкой обернулся к Николаю. — А вам с Леонтиной дом поставим.

— Угу, — ухмыльнулся Николай. — Заведем коровку, овечек пяток, курешек с десяток. И будем нищету плодить.

— Да все так живут, — певуче проговорила Галина.

— Живу-ут! — усмехнулся с горечью Николай. Он видел, как отец, брат и его жена Галина снисходительно переглянулись, мол, молод еще, ветерок в голове, и, оскорбившись таким их пониманием его слов, бухнул:— В общем, мы в отруб пойдем.

В избе стало тихо. Даже Василиска замерла, поняв по напряженным лицам, что произошло что-то опасное, и в страхе бросилась к матери.

— Ты, случаем, не с печи свалился, когда придумал такое,— спросил Гаврила Матвеевич и перевел взгляд на пана Игнация.— Али кто пособил? В отруб... В отруб идут с деньгами, а не с кулаками. Знаешь ведь, деньга деньгу кует. Есть в кармане, будет и в амбаре. А у нас в кармане блоха на аркане. В одном смеркается, в другом заря занимается.

Николай, насупясь, молчал. Заговорил пан Игнаций, сразу показав, откуда ветер дует:

— Пан Гаврила, тут надо все рассудить. Если купим вторую лошадь, то будет половина лошади на мужика. А с половиной лошади граммофон не купишь: надо платить налоги. Надо по-другому...

— Ну, вразуми...

— Я — нет... Я — читал, я — понял... Можно разбогатеть, если заведем ферму.

— Погоди, сват... Попроше давай. Начни-ка сызнова,— попросил Гаврила Матвеевич, и пан Игнаций смущенно заерзал, не зная, как можно говорить еще проще. Помогла Леонтина, заметив как бы между прочим:

— Сейчас у нас натуральное хозяйствование — когда в каждом дворе и сеют хлеб, и держат корову, и овечек, и кур — всего понемногу, но чтоб было все свое.

— А как же иначе,— удивилась Галина.— Ты, чать, тоже захочешь, чтоб и коровенка была — детишек поила, и кабанчик к зиме... Все некупленное, свое.

— Захочу,— кивнула Леонтина.

— Так хотяя все! — обрадовался пан Игнаций. И быстро заговорил по-польски. Леонтина переводила:

— Хотяя иметь всего понемногу, лишь бы не покупать у других. Папа говорит: главное здесь то — что не продали. Кабанчика тоже сами съели. Все, что произвели,— все съели, а не продали, чтобы разбогатеть. Чтобы построить заводы, которые продадут вам граммофон, швейную машинку, трактор, ситец.

— Так... себе не хватало. Продают то, чего лишку,— сказал Тимофей.

Возразил ему Николай:

— А лишку не будет, когда держишь тридцать кур. Надо держать три тысячи. И яйца телегами возить в город.

— Эх-ха! — воскликнул Гаврила Матвеевич, и все с ним заулыбались, задвигались. Улыбки и это оживление не были насмешливыми, а исходили от восторга понятой мысли, и потому приободренный Николай, а с ним и пан Игнаций продолжали говорить, торопясь от возбуждения, перебивая друг друга.

— Надо ферма...

— Ага! Чтобы коров держать не одну, а десять, двадцать.

— Сепаратор... сбивать масло.

— Или откармливать бычков. Да тысячи выгодных дел.

— Это да-а,— вздохнул Тимофей и поскреб за ухом.— Денег нет на обзаведение, а так-то бы можно, конешно.

— Взять кредит.

— А корма? Если скот держать, кормов прорва потребуется.

— Кооперация! — улынулся пан Игнаций, давая понять, что в этом слове ответ на его вопрос.— Он держит ферму, ты — корма.

Гаврила Матвеевич с удовольствием слушал свата, прикидывая про себя, что человек он не простой, а редкостный просвещатель, и это его радовало, как случайная дорогая находка. Ведь как ни хорохорься, а в душе его мужицкой все-таки мышью поскребывала догадливая мыслишка, что пособил взвалить сыну на плечи нищету, а тут вдруг оказывалось, что может быть как раз наоборот — ему повезет с таким тестем. Заслушаешься, как говорит-то! Словно по-писаному частит. Такой не задержится в назёме, далеко пойдет, если помочь подняться.

Разговор был долгий. Десятка два лучин пожгли, обговаривая Колькину и пана Игнация затею. Отделяясь от отца и брата, Николай решил уехать из Петровского и обосноваться в пойменном лесу в какой-нибудь из брошенных изб, поставить там скотные постройки да заняться откормом бычков. Выпасов в лесу вволю, полученная земля под кормовые пойдет, батя с братом помогут зерном да соломой. Гаврила Матвеевич, как член кредитного товарищества, пообещал пособие в получении денег от Сельхозбанка на обзаведение хозяйства демобилизованному красноармейцу. Жалел потом, как и сейчас, сидя над рекой, что не воспротивился дурной затее.

Даже разжигал азарт сына, как умел это делать подброшенным ненароком словом. Мол, всех хитростей не предугадать, тут талант нужен. А есть ли он в нем? Николай аж взвизвался в душе от нетерпения поскорей взяться за дела да показать себя в работе. Горел парень да, все на свою любушку поглядывая, торопился добыть для нее счастливую жизнь.

Много думается, да мало сбывается. Хотя поначалу все удачно пошло. Получили кредит и приглядели в лесу избу пасечника Трубникова, разоренного в революцию. Купили ее, можно сказать, задаром — как на дрова. Подновили, подправили.

4

Послышался тугой щелк кнута и мычание коров. На мгновение Гаврила Матвеевич увидел Колькину ферму и его самого в выгоревшей гимнастерке без пояса, с кнутом в руке выгоняющего на пастьбу телят. Потом только до него дошло, что эти щелчки кнута и коровье мычание не из прошлого, а самое что ни на есть настоящее — на водопой шло колхозное стадо, подгоняемое Дырёхой. Всплеском молнии пронеслось в памяти видение, как, размахивая руками и злобно щерясь, одержимый отымать и экспроприировать, Дырёха пер на Кольку, тесня его от крыльца, и с пакостной скверной выкрикивал о кулаках-мироедах, которые им жить не дают. Не желая встречаться с горлопаном в трудный для себя час, Гаврила Матвеевич спрыгнул с высокого берега к кромке воды и прошел низом до кустов, а там, выбравшись наверх, направился в обход приближающегося стада к Петровскому. Да и пора была возвращаться. Там Галина, поди, извелась, дожидаясь.

И все же он не мог пройти мимо Колькиной фермы. Пригибаясь под ветвями черемухи, поднялся на взлобок и попал в заросли крапивы и логушья, сплошняком покрывшие пепелище от дома и надворных построек. Подняв руки, словно показывая свою покорность травяному царству, Гаврила Матвеевич прошел на середку двора, где земля была плотней утоптана, крапива не росла и широкое пространство занимал низкорослый татарник с пунцовыми цветами, отороченными колючкой — не тронь, уколоу. Здесь же валялась разошедшаяся и треснувшая пополам колода для водопоя скота. Широкий ее конец служил ему сиденьем в такие вот грустные поминки по сыну. И сейчас он, пробравшись сюда, каблуком сапога подмял татарник, чтоб не торчал перед носом, и, присев с раскуренной трубкой, мысленно ушел в былое.

Эх, и вольготные же были денечки, веселые да азартные, как большая гульба! Собрались здесь все Валдаевы, родственники и друзья. Стучали топоры, звенели пилы, а между этими звуками дружной работы рассыпался колокольчиками смех детворы — Василиски и Сашеньки, других ребятишек, носившихся по стройке. Детвре тоже хватало делов: одно принеси, другое подай — не великий труд, а к делам приобщенье. И у взрослых душа радуется: для них ведь, голопузых, старания. Дружно — не грузно, как по волшебству подняли и подновили порушенный дом, а потом взяли ставить амбары и телятники. Строили из того, что оказалось под рукой — из ивняка делали плетни, вдвое складывая их, ставили в каркас телятника, образуя стены и крышу, а для тепла обмазывали глиной, которую копали тут же, за забором. Дешево и надежно.

Рядом с телятником поставили фуражный амбар и придуманную паном Игнацием кормовую кухню. Тут уж он командовал как хотел: показывал, где ставить закрома, какую класть печку, куда вмазывать привезенный из волости купленный на базаре котел. На особом месте в углу пан Игнаций поставил свою ручную мельницу и, накрывая ее тряпицей, объявил, что будет делать самодельное молоко для выпойки телят.

— Болтушку, что ли? — спросила удивленная Галина.

— Нет, — гордо тряхнул головой пан Игнаций. — То будет мой секрет.

Этот его секрет так раззадорил Галинку, что она извелась вся от желания узнать его. Уж как она ластилась к пану Игнацию, как подлизывалась! Глаз не сводила с него, слушая рассуждения, и лучшие кусочки подкладывала в тарелку, а он — длинный чурбан — ничего не видел, и ел самое малое, как котенок. А поев, тут же вставал из-за стола и шел на кормокухню, где колдовал со своей мельницей и котлом, делая пойло для телят, которые уже появились во дворе. И окончательно добил Галинку пан Игнаций, когда стал варить телятам крапиву. Это как же так, вздыхала она в изумлении, ведь сама едала крапивных щец, а не догадалась варить их корове. Крапивы-то тьма всюду, возами вози. Пан Игнаций и возил ее возами, потом варил и подправлял варевом сухую солому. Простодушные по малости возраста телятки скоро становились норовистыми и угрюмыми бычками, а выйдя на пастбища, да при домашней подкормке, они как на дрожжах росли да тяжелели.



Николай вначале было спорил с тестем, уговаривая его приберечь корма для зимы, и отца призвал рассудить их, но пан Игнаций отстоял свое, накричав на них, потрясая длинным пальцем.

— Вы мелкий мужик. А надо быть — фермер. Делай мясо, только мясо. Другой сено. Продашь мясо — купишь сено, овес. Это понял?..

Тут уж и дурак поймет. Колька краснел, смолкая. Гаврила Матвеевич тоже не лез с приготовленными советами, мол, одно другому не помешает, запас карман не трет, а денежку берет, и прочие мудрости, высказывающие из него по всякому случаю, как патроны из винтового магазина. Понял, что тоже не поборол в себе мелкого собственника, раз о копейках печалится, не видя рубля.

Тот год многому научил Гаврилу Матвеевича. И не только его. Колькина ферма стала знаменитой на всю округу, когда к зиме бычки были проданы заготовителям с таким барышом, который никто еще здесь не получал. О Вадаях опять заговорили с восхищением и интересом к хозяйской сметливости, а кто и с ненавистью: ишь, кулачье поднялось! Вон им зачем ферма понадобилась, чтобы кровушку нашу пить.

Такие слова разбрасывал принародно Митька Бобков, прозванный Дырёхой. Лентяй и выпивоха, у которого вечно что-то пропадало, гнило, рушилось, портилось; он продал Николаю запоносившего теленка и радовался, что с выгодой избавился от мертвяка, приговоренного им на зарезание. А вот теперь, прослышав про великие барыши Николая, спохватившись, Дырёха стал подсчитывать, сколько мог бы заработать, если бы у него тогда не выманили — так даже стал говорить! — теленка, а он вырос бы в быка и был бы продан Заготживскоту. Народ, конечно же, смеялся над Дырёхой, вздумавшим считать, что было б, если бы да кабы, а Гаврила Матвеевич, будучи партийцем и председателем сельсовета, очень огорчился, узнав про такие разговоры, в тот же вечер он повез на ферму воз отрубей, намереваясь остаться там ночевать и поговорить с Николаем.

В поле вьюжило, подталкивало в спину, как бы подгоняя убраться отсюда поскорей, чтобы дать вовсю разыграться степному бурану. И Гаврила Матвеевич подгонял Серко, радуясь тому, что вовремя подвезет сыну фуражное подкрепление. Начинаясь буран его не страшил: путь недалек. А как въехал в лес, то и совсем забыл про свои опаски. Заваленный снегом, обложенный им по ветвям, лес словно бы замер и стоял не шевелясь, принимая щедро сыпавшееся добро.

Серко упирался, пробивая путь по снежной целине, и Гаврила Матвеевич помогал коняге, выталкивая воз из сугробов так, что вскоре запреп от усилий. Он щелкал кнутом, покрикивал и вскоре на свой шум услышал ответный лай. Из леса выскочили прибежавшие напрямик две Колькины овчарки, радостно покрутились перед Гаврилой Матвеевичем и побежали впереди лошади как почетный эскорт. Дорога повернула раз, другой и вывела к ферме, окруженной под самый лес плетнем. Николай уже распахнул воротца и быстро расшвыривал снег, готовя проезд, и на крыльце дома, светившегося огнями, стояли Леонтина в новом полушубке, полы которого раздвигал выпирающий, на последнем месяце, живот, рядом с ней стоял пан Игнаций без пальто и шапки.

— Здорово, батя. А я уж тебя не ждал. Там пурга, поди, — прокричал Николай и, перехватив лошадь под узцы, отвел ее под навес, чтоб оставить там воз. Принялся распрягать. — Ишь ты, взмылил как.

— В конюшне-то оботри...

— Ага. Ты иди в дом, мешки я сам перекидаю.

Удовлетворенно кивнув, Гаврила Матвеевич вернулся к воротцам и, закрывая проезд, перенес решетчатые створы, накиннул поверх соединившихся кольев веревочную петлю, подобрал и воткнул брошенную сыном лопату, чтоб не занесло снегом, и потом только пошел к крыльцу дома, заранее распахнув для объятий руки.

— Здравствуйте, мои дорогие, родные. Как живы-здоровы? Скоро ль внучком порадуете дедка?

— Здравствуйте. Наконец-то дождались. Ну что вы так долго не приезжали, — выговаривала Леонтина, осторожно спускаясь со ступенек, чтобы шагнуть к тестю в объятия.

— Стой, не ходи под снег, — замахал он рукой, удерживая ее под навесом крыльца, а сам радовался, что невестка встречает его так; обнял ее, поцеловал в сочные губы и повернул к крыльцу, поторапливая идти в дом.

Новая родня всегда вот так радостно встречала Гаврилу Матвеевича, по-праздничному угощала и доверительно советовалась с ним по большому и пустяшному. И на этот раз долго сидела за самоваром под светом керосиновой лампы — тоже для него зажгла, а сами-то лучинами обходились — и говорили про то, что скоро Леонтине рожать и надо ее отвезти в Петровск, где есть бабка Федора, принимавшая на свет божий всю деревенскую ребятню; советовались, покупать ли соломорезку или погодить — уж больно цены кусачие, к товарам хоть не подходи;

заспорили об индустриализации и этих ценах на промышленные товары. Тут и ввернул Гаврила Матвеевич, чтобы сын не дразнил людей своим богатством.

— Да какое же богатство, батя,— изумился Николай.— Полушубки пошили, так драповые нам не по карману. Лошадь — для работы, не для скачек. Сбрую справил, так тоже для дела. А долгов сколько и тебе, и Тимофею! А ссуда! А налоги... Не успеваю платить.

— Мне долг не считай. Это отцовская забота, поставить тебя на ноги. Я о другом говорю, Николаша. Мужик богатый, что бык рогатый,— он видом пугает и злит, значит. У меня сызмальства рогатый вид — в обиду себя никому не дам — но меня не боятся, знают, что свой мужик. А у тебя — ферма, и ты хоть с пустым карманом, а все равно богатей и мироед,— вот что народ пугает.

— Пан Гаврила,— радовался пан Игнаций. — Значит, прав я! Богатство даст ферма, а не мужик. Пусть все станут фермер и большой богач, как мы.

— Папа! — укоризненно улыбнулась Леонтина.

— Потенциальным,— упорствовал пан Игнаций и размахивал тощими руками, выходящими из широких рукавов новой украинской рубашки. — И пусть знают. Все! Чем быстрее станет фермер, тем быстрее разбогатеют, дадут деньги строить заводы. Америка так стала Америкой.

— Так-то оно так. Да есть еще одна заковыка. Смекаю, кулаков побаиваются. Громят тех, кто за крестьянский уклон стоит.

— Глупо,— удивленно пожимал узкие плечи пан Игнаций, отчего становился еще тощее, а из поднятого кулака четко выстреливал пальцами, ведя счет. — Фермер — социалист. Он весь — кооператор. Один продает телят, другой — корма, третий забивает скот, четвертый продает мясо, банк дает кредит, и все хорошо зарабатывают. Всюду личный интерес. Я правильно рассуждал, пан Гаврила?

— Прямо как Бухарин.

Этот их спор затянулся тогда допоздна, а кончился самым неожиданным образом. Ходивший проверить скот Николай вдруг вернулся и с порога сообщил:

— Зорька телится.

И все сразу пришли в тревожное и радостное возбуждение, поднялись из-за стола, задвигались, вопрошающе поглядывая друг на друга: как быть, что делать? Вопросы бесполезные, но все равно всплывающие. У Леонтины отел Зорьки вызвал свои мысли, она обомлела и, не желая показывать мужчинам своих чувств, потихоньку вышла за круг света от лампы с абажуром, придерживая грузный живот, осторожно прилегла на лавку. К ней кинулся пан Игнаций, запоздав с помощью, остался возле дочери, показывая тем самым, что в делах с коровой он не может быть помощником. А Гаврила Матвеевич с Николаем и не ждали его советов, радовались ожидаемому прибытку. Теперь бы только благополучно прошло все положенное природой.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Второй раз Гаврила Матвеевич свіделся со Сталиным зимой двадцать седьмого года. Но прежде-то встретил Осипа Маруськина, с которым они пропадали под Елгавой, прикрывая отступивший отряд. Осип различил его в станционной сутолоке, налетел с боку и повис на плече, пытаясь остановить, а Гаврила Матвеевич — медный идол в тулупе — пропер его на себе шагов пять, прежде чем разглядел в лице прицепившегося человечка знакомые черты, увидел слезы в прищуренных глазках, услышал горланное мычание зайки.

— Га-ав... Вал-да-ав... Зд-дд...

— Осип! Да никак ты?!

— Н-ну!

— Ах ты, мать моя, живой!

Устремленная к подходящему поезду толпа вынесла их на перрон и отшвырнула в сторону. Гаврила Матвеевич прощально глянул на вагон, в котором должен был добыть себе место, и все! Выкинул из головы заботы об отъезде, потому что встретил побратима, кровью сродненного, можно сказать, с того света вернувшегося, сжал худенькие его плечи в тощем пальтеце, вначале отставил от себя, чтоб разглядеть получше птичке личико с острым носом, торчащим над тощей бородежкой, заглянул в его изумленные и смущенные глаза, а потом привлек и поцеловал троекратно в шерстяные губы.

— Ну, здравствуй, светлая твоя душа! Да как же рад-то я!

— А я!

— Живой! Я же ведь думал, красные прибили тебя тогда.

— Вот... — разводил руками Осип, показывая всем своим переполненным ликованием видом, что все было не так, он выжил.

— Да как же? За вербой ты сидел, у воды прямо. И бил все то с одной стороны ствола, то с другой. Я еще думал: вот молодец-то, пусть считают, что нас много. А потом перестал...

— Па-а-т-роны...

— Ну да, кончились. Они и бросились к тебе. Я Егора толкаю в бок, чтоб пособил, а бок-то в крови. Убили Егора, да. А сам-то я какой пулеметчик. Пока провозился, они уж в низинке у тебя. Построчил маленько. Не попаду, думаю, так хоть попугаю, чтоб ты утек, а тут слышу, наганы затюкали. Добили, значит, — решил.

— Не-е. Я в воде, в к-камышы... А ты к-как?

— Помолясь, — моргнул Гаврила Матвеевич и с грустным добродушием устался на Осипа. Он уже не слышал крики штурмующих вагоны людей, не чувствовал пощипывающего морозом носа, мысленно оборотаясь в тот далекий летний день, когда им предстояло погибнуть.

В мае восемнадцатого VIII Совет партии социалистов-революционеров постановил поднять восстание против установившегося диктаторского режима большевиков за целостность и независимость России, за Учредительное собрание, чтобы выборным путем установить законную власть в стране. В июле был образован в Самаре комитет членов Всероссийского учредительного собрания, а через неделю поднят мятеж чехословацкого корпуса, захватившего город. Гаврила Валдаев, как старый член партии эсеров, был призван в Народную Армию и направлен в отряд полковника Ланского, очищавшего от красных Сызранский уезд. Летом легко гарцевали, помогая восстанцам. Истощенное войной крестьянство взбунтовалось против бесконечных реквизиций и контрибуций. Народную Армию встречали как спасительницу от произвола местных совдепов, продкомов, чрезвычайек, реквизиционных и карательных отрядов. В каждом новом селе Гаврила Матвеевич собирал мужиков и, похрустывая ремнями и кожей, обвешенный всем офицерским прикладом — шашка, бинокль, маузер в лакированной кобуре, — склонялся над толпой, с поповского или купецкого крыльца произнося речи про то, что их партия социалистов-революционеров самая боевая, потому что еще во-он когда кидали они бомбы в царей да стреляли в губернаторов, что эсеры правильная партия, потому что за мужиков стоит, и что мужикам надо правильно кумекать и поддерживать свою мужицкую партию и крепить народную власть. Не приученные к одобряющим хлопкам, мужики выражали свое уважение к бородачу в ремнях согласными кивками и благодарственным рокотом: мол, знаем вас, поможем. Однако к середине лета, заметил Гаврила Матвеевич, попримолкли мужики и вопросы стали подбрасывать непонятные.

— Какое народовластие будет — с землей али без земли?

— Не верите, значит? Это правильно. Всяк человек — ложь, и я тож. Слушай не тех, кто говорит, а тех кто творит. А эсеры полста лет борются за землю и волю. Еще когда партий никаких не было, товарищи наши пошли в народ, за что и народниками прозвались. Вон когда бунтовали мужиков. Так как же мы после этого землю отыдем?

Гаврила Матвеевич вскоре скис после вопроса бабы, стоящей поодаль от мужиков с хворостиной в руке. Босая и одетая кое-как, она по-молодому звонко бросила:

— А в городе сказывают, что сибирское правительство, с которым вы замирились, отняло у мужиков землю. Так ли, нет? И владельцам вернули.

Мужики насторожились, и пока Гаврила Матвеевич приходил в себя от ошарашившего известия, заругались меж собой тихо, но с нарастающим злом.

— Это хорошо бы!

— Тебе-то хорошо. Пол-села на тебя горбатилось.

— А на Советы легче горбатиться?

— Ти-ха! Пусть скажет. Так отымут али нет?

— Не... — тряхнул головой Гаврила Матвеевич, словно уворачиваясь от липчивой мысли. Увидел, как, усмехнувшись, баба вильнула юбкой и пошла прочь, подгоняя прутком теленка. Мужики попритихли, и он заверил их, для твердости духа сжав кулак: — Быть того не может. Землю — крестьянам, а волю — народу! А раз волю дали, то и землю отымать не будем.

— Зачем так категорично? — вышел из горницы на крыльцо полковник Ланский, невысокий и полноватый мужчина с сединой в волосах и мешками под глазами. Вытерев рушником руки, промокнув губы, он небрежно подал его за спину, уверенный, что будет подхвачен там следовавшим за ним хозяином дома, и, потеснив Гаврилу Матвеевича, оперся на барьер крыльца.

— Граждане России! Мужики! «Землю — крестьянам, а власть Советам» — это

наши лозунги, украденные большевиками. Вот уже столетия, как говорил вам Гаврила Валдаев, наша партия социалистов-революционеров борется за то, чтобы дать вам землю.

— А чё-ж не дали-то?..

— Не дали потому, что большевики не дождались Учредительного собрания, захватили власть, а чтобы вы не роптали, дали вам землю, взяв себе право грабить вас продналогами и контрибуциями. Но возмущенное крестьянство поднялось против красного крепостного права. Восстали Златоуст, Шадринск, Вольск, поднялись уезды Николаевский, Новоузенский, Хвальинский, Красноуфимский, Ново-троицкий, ваш Сызранский. С нами Ижевский и Воткинский заводы со всем Прикамьем, Южный Урал, Воронеж... Да куда ни глянь, всюду крестьяне создают отряды обороны и вилами, косами гонят со своей земли красных кровопийц. Учитывая этот момент, восьмой Совет партии социалистов-революционеров, на котором я самолично присутствовал, постановил поднять знамя восстания за целостность и независимость России, за Учредительное собрание, за вас, мужики. Сейчас нам помогают чехословаки, но этого мало. Нам нужна своя народная армия, и потому вы должны пополнить отряды, выделить фронтовиков, а также лошадей, фуража по списку. Надо, мужики, надо.

— Все выделим, ваше благородие, — попытался высунуться из-за спины полковника хозяин дома.

— Сам дашь али облагать опять? — выкрикнули снизу.

— А про землю-то как?

— И про землю скажу, — протянул полковник руку за спину и, получив в нее рушник, промокнул вспотевшее лицо. Бросив рушник на перила себе под руку, продолжил речь так же напористо, но теперь уже и рассудительно: — Надо отдать ее мужикам, вернуть разграбленное законным владельцам.

— Гуу-уу... — недовольно загудела, зашевелилась и заворочалась стоявшая перед полковником масса. А расшатавшись, эта масса грозно колыхнулась к крыльцу, сдавив ту часть свою, что стояла впереди в жилетках поверх ситцевых рубах, в высоких картузах. Ланский вскинул руку, останавливая движение.

— Тихо, тихо! Объясню. В обиде не останетесь. Мы, эсеры, создаем первое в истории человечества крестьянское государство. Комитет членов Учредительного собрания уже отменил хлебную монополию. Теперь у вас никто и никогда не будет реквизировать хлеб, сами будете выращивать его и продавать кому захотите. Но для этого надо восстановить частную собственность, а значит, освободиться от большевистских заблуждений и поскорее вернуться на старый проторенный и верный путь.

Задняя часть людской массы притихла, и потому выше поднялся одобрительный гул передних. Полковник повернулся к Гавриле Матвеевичу и, торжествуя ухмыльнувшись, распорядился:

— Так и продолжай.

— Э, нет, вашбродие. Тут мы с тобой не сойдемся. Народ за землю пупки надрыгает, а вы, значит...

— Отставить! — одернул его Ланский тихо, но резко.

— Эй, Гаврила, — крикнул кто-то насмешливо, — сигай сюда, поплюем на тебя.

Этот злой выкрик как бы стеганул Гаврилу Матвеевича, он передернулся, заскрипел перетягивающими его ремнями, засверкал глазами на полковника, кивнувшего ему:

— Закрывай митинг, а завтра поговорим.

— А чего «завтра» ждать? — обернулся Гаврила Матвеевич к народу и повысил голос, чтобы слышно было всем. — У «завтра» нет конца. Ныне не сробишь, завтра не возьмешь. Обидим народ, ваше благородие. Сколько лет боролись за землю, а теперь, значит, отдай — потому что большевики ее раньше нас роздали. Неже так.

Нарастающим гулом и выкриками народ поддержал Гаврилу Матвеевича, и полковнику пришлось опять разъяснять, что им надо восстановить частную собственность, чтобы не грабала их никакая власть. Уже не веря в понимание мужичья, говорил раздраженным сухим лаем, как бы показывая серьезный характер; митинг быстро свернул, народ распустил и даже не стал спорить со своим партийным комиссаром, но выводы для себя сделал о нем, потому как на другой день послал его в заслон против наступавшего отряда красных.

О том, что послан был на смерть, Гаврила Матвеевич догадался позже, когда не дождался обещанной подмоги. А пока бился как мог, потерял людей и был подорван ручной бомбой, опрокинут в окоп и засыпан.

Очнулся от удара пули в грудь, угодившей в медный крест под гимнастеркой.

Тот крест был ему дан другом неразлучным Иустином. Раненный в ногу, Иустин не мог с ним пойти в бой и, целуясь прощально, надел на шею это тяже-

лое литое распятые, хранившееся в семье, может, с времен освобождения от татаро-монгольского ига. Крест был заговоренный и имел насечку от удара саблей, не допустив смерти кому-то из прапрадедов Иустина, а теперь принял на себя и пулю, стреленную в Гаврилу Валдаева. Застонав, он открыл глаза и увидел сперва свою ногу в сапоге, торчащую над головой, а за ней повыше, на осыпавшемся бруствере, еще две ноги в драных башмаках, в ременных обмотках; еще повыше увидел потертые штанины, край гимнастерки и руку с наганом, направленным ему в грудь. Смотреть выше не давала стенка окопа, так что пришлось сдвинуть голову в сторону, приложиться щекой к кровавому месиву того, что недавно было Егором. Видно, труп Егора спас его от взрыва бомбы, а крест Иустина уберег от пули, да напрасно: увидел, как ствол нагана черным зрачком уставился ему в живот, и уже нечему защитить его от смерти.

— По-огодь... — прохрипел он, сплевывая землю. С трудом сдвинул голову вбок и увидел того, кто сейчас распорядился его жизнью.

Над ним стоял мужчина его лет, бритый, в очках, в фуражке с красной звездочкой; командирская португеза перехлестывала его тощую грудь с плеча на пояс. Низ солдатский, а верх барский, отметил Гаврила Матвеевич. И взгляд озадаченный.

— Добить хотел, чтоб не мучился, — оправдался очкастый. — У тебя броня там, под гимнастеркой, что ли? Пуля отскочила.

— Крест.

— Так и думал. Сам помрешь или...

— Сам.

— Тогда быстрее — сапоги понадобятся.

Очкастый спрятал наган и поглядел в сторону, откуда слышались голоса солдат — должно быть, подбирали раненых и хоронили убитых. На чей-то зов ответил: «Иду, иду».

— Пулемет заberi, — крикнули ему.

— Перекорежен... На разборку если...

Очкастый прыгнул с бруствера и, невидимый из окопа, лягнул железом. Звуки шли неторопливые, словно возился он не с оружием после боя, а ладил плуг для пахоты. И по небу проплывали облака, как стайка спящих гусей. Все так тихо и привычно, что Гаврилу Матвеевича как молния пронзила мысль, что его-то скоро не станет в этой тишине, где облака будут плыть себе над землей, над теми стежками и дорожками, по которым не ходить ему больше никогда. И все-то в нем запростовало, вздыбилось. Захотелось выскочить из этой могилы, убежать, уплыть. Он рванулся, столкнув с себя труп Егора, замер: так ведь убит! Помереть должен. Живот в кровище и кишки наружу. Раненый в живот не живет. А боли нет почему-то, отметил он, и, прежде чем подумал, что из этого выходило, рука его потянулась к кровавому месиву на животе. Это что же, цела гимнастерка-то, и тут не порвана осколками, и штаны за ремнем без дырок. Значит Егоровы кишки вывалились. Уцелел! Ну, спасибо тебе, Егорушка, что и мертвый помогал. Заметив, что Егор убит и мешает строчить, Гаврила Матвеевич вытащил труп из окопа, оставил рядом за бруствером. А он и защитил его от бомбы, принял взорвавшуюся сталь на себя, завалил истерзанной плотью. Вот только почему сам перевернутым оказался — не мог понять. Пошевелил задранной ногой — слушается, и другая, подвернутая, сохранилась. Левая рука саднит в плече. Но это — ничего, на живом все заживет. Пальцы вон как проворно сгребают с живота липкое месиво. И другая рука целой выбралась из-под трупа Егора и принялась помогать как бы сама собой, так что Гавриле Матвеевичу оставалось только удивляться, как это они без его воли делают. А вот голова побаливала, и тошнить позывало. Но нельзя шевелиться. Пусть думает, что усоп. Снимет сапоги, уйдет, я и выберусь. Понизу выскотки кусты, а там река, мост и наши. Не могли они мост отдать. А что ж тогда тихо? Стрельбы нет. И эти вон как похаживают, прислушался он к перекликающимся голосам солдат внизу пригорка, где были ячейки взвода. Сам-то он с Егором оборудовал гнездо на вершине, в стороне от всех, чтоб ударить в бое. И ударили, положили карателей, да Ланский не подсобил, как обещал. А теперь взвод перебит и его закопают тут живым. Маузер где-то был, нащупал он ремешок, и пальцы побежали по нему за спину.

— А ты не торопливый, — встал над окопом очкастый и, разглядев в нем перемены, стал дергать наган из кобуры, забыв про застезжку.

— Руки! — тихо, но властно, со всей взбурлившей силой жаждущего жизни организма, приказал Гаврила Матвеевич, выставив маузер. Не спуская глаз с оцепеневшего, как лягушонок перед ужом, очкастого, он встал, дотянулся рукой до его ног и, ухватив за лодыжку в обмотке, стащил в окоп, придавил к брустверу, забирая наган.

Все произошло так неожиданно и быстро, что очкастый не успел крикнуть

о помощи, а потом и не мог, получив крепкий удар под дых. Сунув ему в рот скомканную фуражку, связав руки ремешком от маузера, Гаврила Матвеевич выволок его из окопа в кусты и погнал дальше, подталкивая. Ушли, кажется, незамеченными, услышав напоследок зычный глас:

— Пет-ру-ха, заступ давай. Тут еще один прижмуренный.

У реки Гаврила Матвеевич понял, что был поставлен Ланским не в заслон, чтобы подготовить удар с фланга, а просто брошен на смерть — мост, через который должна была прийти подмога, сторел, и оставшиеся торчат из воды черные сваи курились дымком. На въезде — виделось издали — похаживали красноармейцы, должно быть, соображая, как навести переправу; слышались удары топоров. Туда путь заказан, и Гаврила Матвеевич повернул своего очкарика в другую сторону, повел приборной посадкой к темнеющему дальше лесу. И там, под его верхним гулом, сделали привал.

— Посиди-ка тут, — устроил очкастого под деревом Гаврила Матвеевич и, чтобы не сбежал, привязал его к стволу снятой с ноги обмоткой. — А я постираюсь пока. В крови, как варнак...

— Уу-у... — тряс очкастый головой, косясь на торчащий изо рта лакированный козырек фуражки, мол, вынь, задыхаюсь.

— Это можно, — согласился он.

Вырвал фуражку и, когда очкастый вольно задышал, отвернувшись, впервые разглядел его. Шупловат, а гордый: отворачивается. Из дворян, наверное. Ну-ну, посерчай на себя, коли сам виноват. Воевать не рот разевать.

Замыв кровь, пока она не высохла и легко отошла, Гаврила Матвеевич развесил белье на кустах, сам помылся в теплой речной воде и лег на солнышке, положив маузер и наган под руки. Вздремнул. Ушел в сон, как в черную пропасть.

Разбудил его сорочий стрекот. Не открывая глаз, прислушался, соображая, куда провозжает хозяйка нарушителя покоя. Вроде стороны прошли. Открыл глаза и столкнулся со взглядом очкастого, молившего, должно быть, чтобы направились сюда.

— Зверь, должно быть, — пояснил ему Гаврила Матвеевич, поднимаясь с травы. — Слышишь, смолкло. Человека она далеко ведет.

Остатки надежды в глазах очкастого сменились отчаянием, он закрутил головой и бился затылком о ствол, выговаривая:

— Не добил тебя, гуманист кисельный. Простить себе не могу... Пожалел! Кого?

Гаврила Матвеевич натянул на себя еще влажные штаны — ничего, на теле подсохнут, — обулся и, оставаясь без рубашки, только с двумя крестами на могучей груди, сел перед очкастым послушать его ругань. Дождавшись, когда тот смолк, заметил:

— Чего казнишься? Человек жалью живет. Не мог ты меня добить, когда бог вмешался. А он вот, — показал Гаврила Матвеевич большой крест, отыскивая в нем место, куда угодила пуля, — оборонил меня. Так на роду, значит, написано, что пожить мне еще надобно. И тебе нельзя было стрелять. Знаешь, поди, повешенных дважды не вешают, и стрелянных, значит, не стреляют. Грех. Али ты не верующий?

— Нет, — обронил пораженный такой речью очкастый.

— Я тоже не больно-то верил, — признался Гаврила Матвеевич. — Крещусь, конечно, как все. А тут, видишь, как вышло. Друг этот крест надел. Заговоренный. Его прапрадеда от татарской сабли спас, вот заруб, видишь, — показывал он. — А вот твоя пуля тюкнула, под грудь хресту. Так что мы с тобой... как бы... это... не знаю, прям, и как...

— Пристрелишь?

— Да боже упаси. Поживешь еще.

— К своим отведешь?

— К своим не отведу. Повесят сразу. Большевик поди?

— Эсер.

Гаврила Матвеевич с удивлением воззрелся на пленника так, что тот, увидев необычность его взгляда, заметно побледнел и спросил:

— А что?

— Чудно. Эсеры за народ встали, против большевиков. А ты эсер и с большевиками, против народа. Какой же ты эсер?

— Левый.

— Запутанный, — понял Гаврила Матвеевич, кивнув. — Ленин у них бо-ольшущий хитрец, умеет путать. Ведь сколько партий против царя старалось, сколько народищу сгнуло по каторгам да ссылкам, а как скинули Николая Александровича, собрались законную власть учреждать, он, Ленин-то, и опрокинул всех: мол, сами будем править, без вас. Учредительное собрание, парламент наш, о котором сто лет мечтали, разогнал. Вон каков, а ты с ними — левым обозвался. Так-то вот, товарищ хороший.

— А зачем парламент, когда пришли к Советам? За них дрались.

— Э, не-ет... Не за Советы дрались, а за хорошую жизнь. А Советы нужны только для того, чтобы устроить эту жизнь по справедливости — не только для пролетариев, а для всех. Поэтому и Совет должен быть парламентским, для разных людей.

— Ваше справедливое парламентское Учредительное собрание отказалось утвердить декреты о мире, о земле... Ты хотел бы иметь правительство, которое не считается с интересами народа?

— Таковую-то не хочу власть. Да ведь и эта не власть. Ишь, придумали чего — диктатуру пролетариата! А почему не крестьян, раз больше нас? — сдвинул мохнатые брови и грозно уставил из-под них выпрашивающие глаза Гаврила Матвеевич, так что его привязанный к дереву собеседник беспокойно заерзал и отвернул голову, с тоской глядя на кусты. Молчал. А кто же правду скажет со связанными руками, догадался Гаврила Матвеевич и, ругая себя за оплошность, подошел к испуганно встрепенувшемуся пленнику, стал развязывать руки.

— Не бойсь... Чугунок не сварил сразу. Как звать-то тебя?

— Андреем.

— А по батюшке?

— Миронычем. Свиридов Андрей Миронович.

— Из дворян, что ли?

— Учитель.

— А меня Гаврила Матвеевич Валдаев. Познакомились, значит.

Освободив его руки, Гаврила Матвеевич накрутил ремешок на футляр маузера и бросил к валяющемуся на траве оружию. Сел, привалившись к стволу, и прикрыл глаза, блаженно шурясь на солнце.

Андрей Миронович поднял свою фуражку, расправил ее, надел и, перешагнув через брошенное оружие, прошел к реке. Долго пил, набирая воду в горсть, затем не торопясь умылся и вернулся к дубку, под которым устроился его такой странный пленитель. Подобрал маузер и оттянул затвор, заглядывая в магазин, — пусто. Значит, действительно взяли его голыми руками, понял Свиридов и восхищенно крутанул головой: ну, мол, молодец мужик.

— А у меня тут три патрона, — показал взглядом на наган. Видя, что Гаврила Матвеевич не меняется в лице, выдерживая его испытующий взгляд, поднял наган и, взвесив в руке, спрятал в кобуру, застегнув. Получив свободу и оружие, он заметно преобразился, став по-учительски строгим.

— Так, продолжим наши дебаты по душам. О чем будем говорить?

— Правду найти надо.

Измученно взглянув на Гаврилу Матвеевича и видя, что тот не шутит, а напротив — очень даже серьезно настроен на такие поиски, Свиридов кивнул, соглашаясь. Сел на траву, нахмурился.

— Что же, давай поищем.

— Я прежде узнать хочу, кто за крестьян заступится? Кто за меня встрянет? Какие ни мелкие, а у меня тоже интересы есть. Кто их будет отстаивать? Ведь неладно получилось. Страна крестьянская, а партию, заступницу крестьян, из-за стола вон.

— Тебя спросить можно?

— Чего ж нельзя, спрашивай.

— А была ли у нас партия?

Вот уж никак не ждал такого вопроса Гаврила Матвеевич и с каким-то обиженным недоумением вынул завернутый в кусок клеенки партийный билет, покрутил его и уставился на Свиридова:

— Вот...

— Вижу. Билет. И это все? Этого достаточно для партии?

— Сказывай тогда.

— Скажу. По-моему, у вас не партия, а... — запнулся Свиридов, подыскивая сравнение, и от нетерпения прищелкнул пальцами. — Посмотри, как у Ленина. Четкая программа. Крепкая организация. Дисциплина. А у нас все размыто. Не партия, а какое-то собрание враждебных друг другу политических группировок, целый парламент во главе с полудержавным властелином Авксентьевым.

— Ну и что? Все равно боролись. До большевиков еще губернаторов щелкали.

— А что потом? В России революция, а Авксентьев шлет из-за границы призывы продолжать войну. Ты пойми, это же подрыв общего движения, потеря инициативы. Керенский разложил петербургскую организацию, Зензинов с компанией, со своей болтливой «Народной газетой», развалил московскую организацию. В феврале счастье свалилось нам в руки — вот она, власть, управляйте страной. А у нас нет крепкого ядра, способного взять эту власть. Керенский единолично стал управлять Россией, под дифирамбы партии социалистов-революционеров. И в итоге —

крах. Он был закономерен, пойми. Нельзя расходовать, не накапливая; нельзя развивать центробежные силы, не парализуя их соответственным развитием сил центростремительных.

Гаврила Матвеевич насупился, не понимая слов, и Свиридов спохватился:

— Извини, сейчас поясню.

— Ага... Ты попроще мне.

— Все просто, до обидного просто, Гаврила Матвеевич. Революционный процесс имеет две силы: разрушительную и строительную. Разрушительная — это отнять землю у помещиков, а строительная — отдать эту землю крестьянам, заводы — рабочим. А наша крестьянская партия не дала крестьянам ничего... Так была ли у нас партия?

— Крепко!.. А может, не успели?

— И, не удержавшись за гриву, эсеры пытаются ухватиться за хвост, создают в центре страны, в Самаре, крестьянское государство. Это же было бы смешно, не будь так горько.

— А может, получится?

— Гаврила Матвеевич, ты же разумный мужик. Как же ты не видишь!

— Ты погоди мой разум гнуть. Знаешь, сколь в Уфе собралось на Всероссийское совещание? А я скажу тебе, считай. Представители Сибирского временного правительства, правительств Башкирии, Урала, Алаш-Орды, Туркестана, национального управления тюрко-татар внутренней России и Сибири, Эстонского правительства.

— Понятно.

— Слушай, не все. Правительства казачьих войск Оренбургского, Уральского, Сибирского, Иркутского, Семиреченского, Енисейского, Астраханского. Представители съезда городов и земств Сибири, Урала, Поволжья, политических партий социалистов-революционеров, российской социал-демократии, рабочей партии, трудовой народно-социалистической партии, партии народной свободы, всероссийской социал-демократической организации «Единство» «Союза Возрождения России», «Всероссийский Национальный Союз».

— Всех перебрал?

— Каких упомянул. А ты не сердчай, смекни: вся Россия против большевиков поднялась. Не хотят их. А они со штыками да с пулеметами пришли: терпи, народ! Одного тирана сбросили, так целая диктатура на шею уместилась и погоняет народ: мол, нужна я тебе, без меня ты не знаешь, куда идти, мне с твоих плеч виднее. А может, я без подсказчиков хочу жить. В этом воля моя, жить, как хочу, и не как прикажут.

— С волей понятно, а с совещанием как? До чего договорились? Восстановить частную собственность? Отнять землю у крестьян?

— Временно, — сказал, пряча смущение, Гаврила Матвеевич, вспомнив ту толпу крестьян, перед которой выступали они с полковником Ланским, — Не грешно, что дано, а что силою взято, не свято. Раздадим потом снова.

— И ты веришь, что помещики вернут землю по вашему желанию?

— Да кто ж отдаст сам!

— Опять обман.

— Выходит, так.

В прогале ивовых кустов, в полукилометре от них, двое красноармейцев, помахивая веслами, пронеслись в лодочке по реке и скрылись в прибрежных камышах — мелькнули и исчезли. Должно быть, в разведку. Их появление напомнило Свиридову о предстоящих заботах, о том, что скоро стемнеет, а ему возвращаться через лес, где-то искать свою роту. Но прежде, конечно, надо закончить разговор, как-то по-хорошему разойтись с этим правдоискателем-мужиком. То, что он не помешал забрать наган, говорило о том, что Свиридов волен в своих поступках. Может встать и уйти. Только вот после всего случившегося с ними, после этого разговора не мог Свиридов ни бросить его, ни поторопить и молча ждал, когда тот сам объявит свою волю. Мелькнула мысль увести его с собой. Такому-то богатырю цены не будет в роте. Да разве ж его уведешь, если сам не захочет.

— Велик свет, а деваться некуда, — задвигался Гаврила Матвеевич туда-сюда, как в клетке. Поднял на Свиридова тоскующие глаза. — Ты думаешь, не вижу, что наши творят... — и перевернулся, споткнувшись о слово. — «Наши», мать их еги... Генерал Гурмов наперед всего повел нас именье спасать. Обыск учинил. Мужики сами поотдавали все: плуги, бороны, хомуты. А кто запомнил какую малость — того под плеть. Да еще петь велел «Боже, царя храни». Одного мужичонку в лоскуты исхлестали, пока догадались, что он немой. Вот какие они «наши»! И полковник мой такой же помещик, спешит землю вернуть. Я воспротивился — так тут же плохим стал, не «нашим». В бой-то меня его благородие послал. Велел попридерживать вас, чтобы с фланга ударить, а сам, вишь, мост пожег.



— Гаврила Матвеевич, так может, со мной?

— Не, — мотнул головой Гаврила Матвеевич. — К большевикам не пойду. Насмотрелся.

Повернул взгляд за реку, где за потемневшим прибрежным лесом поблескивала последним лучом маковка церковная.

— В этом селе четыре раза реквизировали хлеб. В последний раз под утро обложили со всех сторон, бомбу рванули, и пошли по домам вытряхать из сусеков все подряд. У деревенской дурочки последние полмешка семечек забрали. Видел ее, покойницу. Сказывали потом, ноги им целовала, все просила, чтоб отдали торбочку, иначе помрет. Народ-то вконец обнищал, не кормит нищих. А они — бугаи красные — на смех ее подняли, запугали: мол, за такие контрреволюционные слова сейчас повяжем тебя и в тюрьму свезем. Она, дурочка-то, и бросилась головой в колодезь. А сынов моих в крепостную кабалу взяли. Слышал про такое?

— Слышал, — кивнул Свиридов. — Троицкий трудармию создает.

— Армию даже. Ну-да, в деревне-то попроще: собрали всех горластых и говорят: раз ругаете Советскую власть, значит, контры, а потому приговариваетесь к общественным работам. А общественные работы те — дома строить, сараи да амбары ставить, огороды да погреба копать советской верхушке. За отказ — меры, вплоть до расстрела. В общем получили земли да воли.

— Кто они — советская верхушка?

— Горлодеры... Вот как есть самый худший народец — все-то у них валится из рук, никогда ничего не родится — и они теперь власть! Потому что бедняки — пролетарии. Я спрашиваю Диреху, Митька, да какой же ты пролетарий? Ты лодырем как был, так и остался. Да еще паразитом стал. Кулаки хоть за деньги эксплуатируют, а ты без оплаты в кабалу забрал солсела. Он хват за винтовку, кричит: к стенке становись, прибыю, эсеровская гадина. Пришлось в ухо дать. Потом в Самару подался. А теперь и не знаю, куда идти. Широкий мир, а места нету.

Махнув рукой, как отрубив говоренное, он поднялся и, заметив, что пора сходить, пока не стемнело совсем, сдернул с куста высохшую гимнастерку. Свиридов тоже подобрал обмотку, которой привязывался к дереву, наматал ее на ногу. Встал.

— Будем прощаться.

— Пора. Чудно получилось: смерть свела нас, а жизнь развела. Свидимся ль?

— Давай на память поменяемся, — предложил Свиридов, вынимая из кобуры наган и не без иронии добавил: — Здесь еще три патрона... Между прочим, ты тоже слюни распустил, оружие бросил. А если бы я вдруг... — наставил он наган на Гаврилу Матвеевича, снимавшего маузер. — И что б ты делал?

— А раз не вдруг, значит, друг. Этим и проверил тебя. Так что бери и помни!

Смысл его многозначительного нажима последних слов Свиридов понял, когда, поменявшись оружием, увидел, как, вынув из кармана брюк горсть патронов, Гаврила Матвеевич отбросил стреляные гильзы и заложил в пустой барабан нагана оставшиеся три патрона, проделав это с веселой хитринкой в глазах.

— Ну, мужик хитрющий! Ну, зверь! — восхитился Свиридов, обнял, стукнул кулаком по спине. — И как же мне не хочется с тобой расставаться! Останься, Гаврила Матвеевич.

— Не могу, Андрей Миронович. Сам вижу, с тобой бы мне надо идти, да сейчас никак нельзя. Дружков надо выручать.

## 2

Рассказ этот Гаврила Матвеевич поведал Осипу в станционном буфете, где они, перебравшись с перрона, засели с графинчиком водки за борщи и котлеты. обстоятельно рассказал еще, как разоружил полковника Ланского и привел отряд к Свиридову. Как воевал в дивизии Гая и получил орден, как раненый вернулся в Петровск и там еще устанавливал Советскую власть. Осип ковырялся в тарелке, не спуская с него глаз, сочувственно кивал, а в конце их застольной беседы чуть было не обидел Гаврилу Матвеевича, заявив, что сейчас многие становятся большевиками.

— Так ты что, думаешь, я примазался?

— Н-нет, нет... Я г-говорю, т-так все идет. Я был в Юзовке. Т-там в са-ап-пожной мастерской работал — Л-лазарь Мойсеевич К-кашарович, м-меньшевик. А т-теперь он К-каганович, член ЦК б-большевиков, у С-сталина р-работает.

Разговор перешел на Сталина, тряхнувшего Троицкого, который захотел прибрать к себе наследие Ленина, а вскоре они и увидели Генсека воочию, прямо перед собой, отделенного только стеклом вагонного окна. Приметив, что на станцию вкатывается какой-то необычный поезд — без народа, Гаврила Матвеевич решил,

что в таком спецпоезде он может прокатиться в свою сторону, пользуясь правом орденосца, а потому, быстро одевшись, похватав свои вещи, они с Осипом через буфетную дверь вышли на перрон вслед за группой милиционеров, кинувшихся вправо и влево прогонять народ. Поезд притормозил и встал, точно подвезя к ним портрет вождя за вагонной с занавесочками рамой окна. Только был это не портрет, а явь. Усатый и рябоватый, с незажженной трубкой, которую он держал в руке, словно раздумывая, закуривать или нет, Сталин напряженно вскинулся, увидев их.

— Эх ты! Сталин, — удивился Гаврила Матвеевич и совсем по-дурацки, как потом признался себе, показал на него пальцем.

Осип опасливо потащил его в сторону, но Гаврила Матвеевич отмахнулся и стал кивать Сталину: мол, здравствуй, рад тебя видеть. Незажженная трубка в руке Сталина напомнила ему про первую встречу, и Гаврила Матвеевич решил, что вождю будет приятно вспомнить его. Он распахнул полушубок и полез в карман за спичками. В холодных глазах Сталина мелькнула тревога, и он качнулся в сторону от окна.

— Да нет... Ты чего?.. Вспомни-ка, — приговаривал Гаврила Матвеевич, поджигая по-партизански спички.

Его ударили по рукам, сбили с ног и придавили, сунув ствол нагана в щеку. Два других милиционера то же самое проделали с Осипом.

— Вы чего, ребята? — беспомощно трепыхался Гаврила Матвеевич, со стыдом косясь на улыбающееся вагонное окно.

В станционное отделение ГПУ их притащили, особо не церемонясь. Вновь обыскали более тщательно, и когда не нашли оружия и убедились, что найденный в вещмешке бородача кусок серой массы не динамит, а самодельное мыло, к тому же он оказался орденосцем и членом партии, ретивость милиционеров поубавилась. Сменилась обиженной раздраженностью. Думали, что предотвратили покушение на вождя революции, а тут вместо нагана — трубка, а вместо бомбы — мыло. С такими вещдоками просмеют, догадывался Гаврила Матвеевич об их трудностях. Не понимал лишь настойчивости, с какой вновь проверял их вещи узколицый мужик в черном козужке. В первые минуты он только наблюдал за обыском, прижимаясь к печке, а теперь сам перебрал и ощупал все своими руками и даже разрезал кусок мыла на две половинки. Так показав, что он главный, узколицый стал допрашивать их.

— Хорошо. Увидел Сталина. Обрадовался. А спички зачем понадобились тебе?

— Так я ж говорю: напомнить хотел, про встречу.

— С кем?

— Со Сталиным, с кем же еще. Потому и обрадовался.

Узколицый прошелся подозрительным взглядом по лицам притихших милиционеров: мол, слышали? Уставился на Гаврилу Матвеевича воспаленными, засверкавшими возбужденным интересом глазами.

— Так, так, так... А от кого узнал, что вы здесь встретитесь?

— Да ты чего это? Разве я про эту встречу говорю? Я про ту говорю, когда встречался с ним, виделся вот так, как с тобой. И говорил. Он на фронт к нам приезжал, смотр устраивал перед тем, как на Колчака послать. А я мужик-то бравый, он и подошел ко мне покурить вместе, порасспросить про солдатский дух: мол, можем мы Колчака свалить али нет, — присочинил Гаврила Матвеевич, видя, что такой расказ больше всякой бумажки убедит милиционеров в их с Осипом невинности этой — будь она неладной — встречи. — А на плацу-то ветрено: он закурить хочет, ан никак, спички тухнут. Я научил его по-партизански...

Гаврила Матвеевич подошел к столу где были разложены их с Оськой вещи, взял коробок и, утопив в нем внутреннюю коробочку, стал опускать зажженные спички в освободившееся пространство коробка.

— На ветру не тухнет так, закуривай, или взрывчатку поджигай, или костерок разводи с одной спички.

— Да что он, без тебя не знал, что ли, — усомнился какой-то бывалый милиционер. — Все так делают.

— Может, и знал, — согласился Гаврила Матвеевич. И как бы давая понять, что с этим делом пора кончать, после показа положил спички себе в карман; заговорил с милиционерами в своем доверительном, располагающем к душевности тоне: — А все-таки поучился, уважение мне оказал. Тут же рота стоит, полки... Все потом — что да как? А вот так. Нашенский мужик, хоть и вождь.

— Орден тебе Сталин вручал?

— Не... Тухачевский!

— А Фрунзе видел?

— Стоп, стоп, — приостановил расспросы узколицый, все еще не смиряясь с поражением. — Встречались в девятнадцатом. А сейчас чего лез на глаза?

— Не лез, а вышло так... Да что ж он не человек, что ли? Может, приятно, думаю, будет. Мы вот с дружкой встретились, — обнял он щупленького Осипа, потерянно стоявшего у стены, притянул к своей могучей груди, — и наговориться не можем. А как же, поминаю душа радуется.

— В общем, на чашку чая к вождю захотел, — сказал бывалый милиционер, хохотнув.

И все рассмеялись, заговорили. Кто-то ушел, хлопнув дверью. Арестованным вернули вещи, документы и отпустили, пообещав посадить в первый же проходящий поезд.

Вот так свиделся Гаврила Матвеевич с вождем. Уже ночью сидя в вагоне среди посапывающих и храпящих пассажиров, перед тем моментом, когда должен был уйти в сон, перед ним вновь проплыла эта встреча со Сталиным и увиденное вылилось в неожиданное открытие: а ведь он испугался. Мужиков, значит, боится.

И уснул...

Вернулся домой Гаврила Матвеевич в тот час, когда после выгона коров в стадо молодки еще ныряют в постель под горячий бочок мужей, отвыкших на колхозной жизни от ранней пробудки. К тому же, утро было воскресное: спи и нежись сколько хочешь. В воскресенье и в праздники, а еще в день рождения товарища Сталина можно было не дожидаться стука кнутовищем в переплет окна и побудного крика бригадира, гарцующего на коне от дома к дому: «Вставайте. На работу пора!» Гавриле Матвеевичу, правда, так не стучали — свой бригадир в доме, и зять большущий начальник, две лошади возят его в коляске да еще с кучером на облучке — кто тут осмелится потревожить окрикком. Но обидную подневольность он знал, как и сладость вот этих часов, дарованных раз в неделю.

Село спало. Кое-где, конечно, замечалось движение. Да вот и в своем дворе Гаврила Матвеевич увидел невестку, прибирающую табуретки. Ожидал, что накинется на него с упреками: мол, где застрял надолго, но нет — докладывать стала:

— Костик из дома ушел, не ночевал даже.

— Вернется. У дружков где-нибудь, — сказал Гаврила Матвеевич и пошел в избу, оставив невестку стоять посреди двора.

Он стащил сапоги, снял свою праздничную рубаху, галифе и, аккуратно сложив их, отправил в сундук на самое дно, привалил бельем. Не торопясь надел старенькие штаны, линялую рубаху, подпоясался витой веревочкой на старинный манер и, сменив так обличье, словно ушел из праздника, вернулся к будням. И то ладно, что выпал такой денек. Немного их стало у него при советской жизни. А теперь поворачиваться успевай, заговорил он сам с собой. Беда в одиночку не ходит. Не доглядишь оком, поплатишься боком. Что тут надо сделать наперед?

Глянув в оконце избы, позвал невестку, оставшуюся вкопанно стоять посреди двора:

— Галинка, поди сюда.

Не услышала. Вперилась в дверь подклети. Да что ж она так? Совсем обезумела бабонька.

— Галина Петровна, оглянись-ка на меня, — позвал покруче.

— Аа...

— Так он дома! — раздался чужой раздраженный голос. — Оч-чень хорошо.

Во двор вошла Ольга Сергеевна. Решительно вскинув голову, быстро пересекла пространство от ворот до его избы. Вот уж некстати, спохватился Гаврила Матвеевич! И сам в будничном да босиком, и в избе творится черт-те что — на столе стаканы, объедки. Кинулся прибирать — не сумел. Распахнулась дверь — и вот она, как птица белогрудая, влетела и на него пошла.

— Где моя дочь? Он увез ее! Это ваши проделки.

— Здравствуй, свашенька, — придал он голосу как можно больше тепла, но она отсекала его помысел резким взмахом:

— Прекратите!

— Чего? — не понял он и поднял на нее глаза, полные серьезного удивления.

— Вот это все, — покрутила она фигурно пальцами, — свашенька и все прочее. Вы не сватали, вы украли у меня дочь. Вы... Вы... Это подло, низко... это...

— Не хочешь родней быть?

Она словно споткнулась об это слово — «родней». В оставленной дочерью записке было накарябано карандашом: «Мамочка, дорогая. Прости меня, но я люблю его, люблю, люблю!» И ничего больше.

Перебрав вещи, Ольга Сергеевна увидела, что Ирина забрала то, что они подготовили взять с собой для поездки в Ленинград, и у нее теплилась мысль, что у ее дочери хватит благоразумия отстать от привязавшегося жениха в пути и направиться поступать учиться.

— А мы всей душой, — распахнул руки Гаврила Матвеевич.

— Юродивый! Аморальный, похотливый мужик! — кричала она. И хотя краешком сознания понимала, что делает совсем не нужное в этой обстановке и даже вредное, но не могла остановить рвущийся из нее поток слов. — Теперь я раскусила вас. Рядитесь под простачка, а сами... Да вы — подлец! И все ваши слова — ложь и лицемерие.

Выкрикивала что-то еще, а он только покорно кивал головой да разводил руками:

— Чужую жизнь не наладишь в свои берега. Ты хочешь туда, а она в другую сторону бьет.

— В вашу! В вашу и вашего внука, такого же похотливого пакостника.

— А про любовь не думала? — поднял он на нее полные тоски и упрека глаза.

— Когда любят, то не ломают, а создают. А вы... Что вы знаете про это чувство? Затащить в баню да задрать юбку — вот вся ваша любовь. Мне мерзко! Понимаете, мерзко! Противно и мерзко! И родниться с вами? Да я вас видеть не хочу больше!

Красный от стыда, стоял перед ней Гаврила Матвеевич в беспомощной растерянности, не зная, как оправдываться, что сказать. Понимал: надо найти слова, чтоб хоть зацепочку оставить на будущее, когда отмякнет сердцем, и не находил их. Опять немо развел руки: мол, вот такой я и есть. Набравшись решимости, поднял на нее глаза и уловил момент: она окинула его злостью, отчаянием и брезгливостью. Она пошла к двери, скользнув мимо вошедшей в избу и оторопело вставшей Галины Петровны, громко хлопнула дверью.

— Чего она? Про баню какую-то...

— Наплела всякого, — пробурчал Гаврила Матвеевич. — Да не до них сейчас. Собери деньги какие есть.

— Потратила все на Сашеньку.

— У Зыкова займи.

— Спит он.

— Проснется, чать, не век ему спать. А лучше — буди. Поговорить с ним придется.

— Не надо бы, пап. Пусть не знает ничего. Он вон какой смирный.

— Знаешь ты про него много, — ворчал Гаврила Матвеевич, радуясь разговору, который давал ему минуточку продыху меж двух бед. То, что он потерял свою лебедь белую навсегда, стало ему ясно после ее слов про задранную юбку — знал, таких поражений женщины не прощают. Утешало то, что невестка не слышала про его позор. Хотя как тут не услышишь при таком крике? Он поднял на Галинку испытующий взгляд и по тому, как та быстро отвела глаза в сторону — а чего ей в углу разглядывать? — понял, усекла невестка, все поняла, а теперь забалтывает «баньку», уводит разговор подальше от Ольги Сергеевны. Ну и на том спасибо.

— У папаньки денег попрошу, — сказала Галина Петровна и, увидев в глазах свекра испуганную осторожность, спохватилась, стала оправдываться, что займет денюжат якобы на дорогу Костику. И опять смущенно зарделась, когда в глазах Гаврилы Матвеевича сверкнула насмешка, хорошо ей понятная. Ее папенька, Петр Герасимович Сморгчов, не то чтобы кому-либо денег не давал, а даже не показал ни разу.

— К тетке Шуре сходи. Да у меня остались подорожные...

Он отправил взгляд за отброшенную занавеску, на сундук, где ждали своего часа «подорожные» на случай нового побега из села, и Галина Петровна пригнула голову от осознания, что у них нет другого выхода, как взять деньги, приготовленные на самый крайний случай.

Она вышла, а Гаврила Матвеевич снова открыл сундук и достал деньги. Задумался, вспоминая, как сам ходил по мукам, не имея ни рубля, ни куска, ни пристанища. Надо куда-то направить невестку, укрыть до поры, а вот куда? К кому? Родня в округе живет, все на виду, у них беглянку быстро определят назад, дружки по партии — в тюрьмах. И как же все скоро перевернулось. Кажется, в тот год, когда он увиделся со Сталиным, и началось все.

Как-то в начале зимы двадцать восьмого года прошел слухок, что кто-то из ЦК ездил в Сибирь проверять заготовку хлеба, а его там просмеяли мужики. Будто бы в какой-то деревне зашел во двор, расспрашивает хозяина про то да сё, а сам все норовит в амбар попасть. Заглянул, увидел зерно да говорит: что ж это у тебя даром пропадает хлеб, почему не продашь государству? А мужик не сбробел да отвечает: я тоже видел, в Москве у вас даром пропадает мануфактура, чего ж вы ее не продаете крестьянам по дешевой цене?

Посмеялись. Оно ведь приятно, когда так вот, не робея, можно говорить

с властью. Свобода! И за себя гордость берет: мол, тоже не промах, понимаем свою выгоду.

Вскоре забыли бы про этот слушок, не приди следом другая весть: что ездил по Сибири какой-то чрезвычайный уполномоченный — Салин не то Сталин, кто их там разберет, — что очень осерчал на мужиков за то, что не поддерживают Советскую власть, не дают хлебушка, и что теперь опять будут отымать зерно как в революцию, подчистую все заберут. Горластые покричали: «По какому праву? Каждый месяц то налоги, то заемы, то самообложения. Если так дальше, то пропади он пропадом, этот хлеб. Не сеять, и все!» «А как не сеять? — рассудили кто помудрей. — Чем кормиться? Не посеешь — землю отнимут, с голоду подохнешь». «А это жизнь?!»

Так покричали, пороптали, спустили пары. И позабыли бы до времени, да вскоре приехали в Петровск первые «отымальщики». Помнил Гаврила Матвеевич, что в тот день гулял у первейшего своего друга Иустина Губачева, крестившего очередного внучонка, говорил в его честь слова, как на митинге, а потом веселил честную компанию своими шутками-прибаутками и забористой игрой на тальянке. И вдруг прибежала бабка Ключка, истопница сельсовета, служившая на посылках. Заснеженная, стуча клюкой, прорезала толкучку плясунов и встала перед ним, испуганно пяля глаза.

— Матвейч, беда. Каки-то люди приехали. С ружьями. На пяти санях. Тебя кличут и ругаются. Где, говорят, председатель сельсовета? Я-то знаю, да говорю — не знаю. Вдруг поворот властей, так предупрежу хоть.

Вот этот ее «поворот» и посмешил всех. Загыкали, загалдели.

— Баушка Ключка, дуй на колокольню набат бить.

— А у белых какие красные звезды?

— Тиха, молодежь! — остановил посмешки Гаврила Матвеевич и, оставив гармошку, снял со старушки платок, знаком велел раздеваться. — Не то важно, что ошиблась, а то, что порыв души проявила. Она ведь спасать прибегала. А за то ей от нас поклон до земли и место в переднем углу. Садись, баушка, погуляй с нами.

— Ой, да что ты, Матвейч, отгулялась.

— Садись, садись. Налейте-ка ей сладенького.

— Штрафную.

— Тимофей, играй, — сказал сыну, гулявшему здесь с Галинкой, — а я сбегаю, расसेлю поежан.

Сопровождал его Иустин, такой же кряжистый — под стать Гавриле Матвеевичу — мужик с рыжей бородой и голубыми веселыми глазами. Нарошно увязался, чтоб вернуть дружка на гулянку, зная его шатущий характер. В распахнутых полубубках для остужения разгоряченного тела, хмельные и драчливые, они подошли к сельсовету, возле которого стояли сани с заиндевевшими лошадьми и топтались ездовые в тулупах.

— Здорово, мужики. К нам али проездом?

— К вам.

— А кто приехал?

— Узнаешь.

— Чего не ласковый?

— Председатель, что ли?

— Ага.

— Так иди, не гакай.

— Видал?! — оглянулся Гаврила Матвеевич на Иустина и, подтолкнутый им, поднялся по крыльцу в сельсовет. Задумался: такие гости к ним еще не приезжали.

Сельсовет размещался в двухэтажном доме купца Епифанова, сбежавшего из села с отступавшими колчаковцами. В зале на сдвинутых лавках, так что получился полук для спанья, лежали расстеленные тулупы и шинели, у стены по-казарменно в ряд стояли винтовки, а на оставшемся пространстве между топившейся печкой и президиумным столом топтались военные и трое гражданских.

— Здравствуйте, товарищи начальники, — громко объявил о своем приходе Гаврила Матвеевич.

На приветствие оглянулись. Одним из гражданских оказался их первый секретарь райкома, дружок его незабвенный, проверенный огнем гражданской войны, Андрей Миронович Свиридов — располневший, в костюме при галстук пятидесятилетний мужчина. Он строго и как бы предупреждающе глянул на Гаврилу Матвеевича, но тот, возбужденный гулянкой, ничего не понял сразу и радостный — ведь какой гость приехал! — пошел к нему, радушно распахнув руки.

— Андрей Миронович, приехал все же! Сколь раз обещал. Вот это да! Вот это хорошо!

— Здравствуй, Гаврила Матвеевич, — сунул ему руку Свиридов и, не отпуская,

держал на расстоянии, не позволяя обняться. Обернувшись к другим штатским, представил: — Председатель сельсовета Валдаев.

— Пьянствуешь, председатель, — с раздраженной бесцеремонностью бросил мужчина в зеленом френче с раздутыми накладными карманами. Смерив холодным взглядом мужиков, он не торопясь поднял белую ладошку до головы и погладил крутой лоб с блестящей лысиной, расплывшейся до затылка.

— Инспектор из обкома товарищ Ситин, — сказал Свиридов, как бы объясняя его право на такую бесцеремонность. Представил и другого штатского, зябко подергивающего плечами в сереньком пиджачишке и черной сатиновой рубашке под ним. — Марысев... Он из ваших, знакомы, наверное.

— Есть что вспомнить, — протянул руку Марысев Гавриле Матвеевичу, а потом — обиженно сопевшему за ним Иустину.

— Так что за гулянка? Свадьба, что ли? — спросил Свиридов с примиряющим интересом в голосе.

— Крестины, — пробасил Иустин.

— Седьмой внук у него родился, — заулыбался Гаврила Матвеевич.

— В церкви крестили? — Ситин уставил колкие глаза на Иустина, и тот кивнул:

— А как же.

— Партиец?

— Само собой.

— А как же ты — само собой справляешь религиозные обряды? Может, ты верующий?

— Верующий, — тряхнул бородой Иустин и с достоинством поглядел на военных, с интересом поглядывающих на них с полока и из-за стола, где они раскладывали ужин.

— Верующий в бога — член ВКП(б)?! — с нарочитой изумленностью воскликнул Ситин и многозначительно посмотрел на Свиридова, как бы фиксируя факт.

— Когда на белых посылали, нас не спрашивали, верующий ты или нет, — сказал Гаврила Матвеевич, поняв, наконец, что тут дело не шутейное.

— Тоже верующий? — обернулся к нему Ситин.

— В Ленина, — ответил Гаврила Матвеевич, хитро прищурясь: мол, тоже не лыком шиты, могём и этак поговорить.

— А почему тогда на крестины пошел? Председатель сельсовета, ты какой пример подаешь?! С кем заигрываешь?! Да ты знаешь, что за одно только это тебя вычистим из партии. Читал решения пленума?

— Ты погляди, — обернулся Гаврила Матвеевич к военным, словно приглашая их в свидетели. — И так ему не хорошо, и напротив не ладно. На крестины зачем пошел... Я чать живу здесь. А он мне друг первейший. С сопливых мальцов вместе. И партизанили, и воевали потом в полку вон у Андрея Мироныча; он штабом управлял. А по-партийному будет, если я отколюсь от масс?

— А хлеб изводить на самогонку — это по-партийному? — сказал Ситин и как бы уличающе поглядел на Свиридова. — А говоришь, нет излишков зерна. На самогонку они находят...

— Нам портвейнов не продают, — мрачно заметил Иустин.

Здоровяк, как и Гаврила, в отличие от своего друга, Иустин отличался в подпитии свирепой драчливостью. Зная это и поняв, что их тут специально провоцируют, Гаврила Матвеевич показал ему знаком: «Опасно. Уходим», — двумя пальцами погладил усы, как было условлено у них в давнюю пору, когда колобродили в его озорной ватаге. Обернулся к Свиридову, к военным и стал объяснять, где поставить на ночь коней, как лучше протопить печи, чтоб хватило до утра тепла от купеческих галанок, где взять воды для чая, и прочие житейские мелочи. Обустроил служивых, которым полагалось быть в куче, а приехавшее начальство повел расселять по домам. Ситин объявил, что остановится на ночь у Дмитрия Васильевича Бобкова, чем вызвал некоторое замешательство у Гаврилы Матвеевича: кто такой? Откуда взялся?

— Дырёха, наверное, — подсказал Иустин, щурясь от сыпавшейся в лицо снежной крупы, когда гурьбой вышли из сельсовета и решали кому куда идти. — Он Митька ведь. И отец был Васька.

— К Бобкову нельзя, не-ет.

— Почему?

— У него ни поесть в сыте, ни поспать в тепле. Дырёха, словом.

— Бедняк, то есть. Вот к нему и ведите, — решенно заявил Ситин и, не оглядываясь, зашагал от крыльца к поблескивающей санными полосами дороге, прикрывая лицо воротником полушубка.

— Отведи. В твой конец.

Ситина повел Иустин, забрав с собой Марысева, зябко подрагивающего в ши-

нелишке. Свиридова повел к себе Гаврила Матвеевич. Шли молча, отворачиваясь от ветра.

— Обиделся? — спросил Свиридов.

— Подумаю прежде.

— Подумай.

И опять молча топали по середине улицы мимо изб, поглядывающих на них светящимися окнами из-под заваленных снегом крыш. Проходя по улице, по одним только огням Гаврила Матвеевич без ошибки мог сказать, где что делается. Вот в том дому, где чуть теплится краснота в окне, хозяин Иван Жом убрался уже на печку, а богомольная жена его бьет поклоны перед домашним иконостасом, освещенным масляной лампадкой. У соседей их, у Андрюхи Пузырька, — керосиновую лампу жгут, чтоб видней было собравшимся пряхам да вязальщицам платков. Ох, кому только не перемоют они кости! Мужья их тоже собрались на стряпной половине дома, в хозяйском куте, поглядывая, как ловко руки Андрюхи выдвельвывают из лозы корзинки и всякие плетеночки, а если он бросил плетенье, то режутся сейчас в дурачка, с подначками, переругиваясь и хохоча до слез. Братья Прозоровы — три дома подряд — лучины жгут на кухне, с ужином запоздали. Эти в извоз ходили по нарядам сельсовета, намерзлись, намаялись и сейчас спать завалются. Вон и погас один огонек... А вот темень в окнах Хряща непонятна. Неужто утихомирился, подумал Гаврила Матвеевич. Пригляделся — нет. По краю окна свет блеснул — занавесились, значит, да неаккуратно, щелка осталась. У Хряща собираются картежники. Начав с копеек, случается, до сотни доводят банк. Жена Хряща, прозванная за мелковатость роста и вредность характера Блошкой, таскает игрокам бутылки рыковки и соленые огурцы, продавая по ночной цене. Сколько уже баб приходило жаловаться на этот картежный притон. Месяц назад Танечка Дятлова с детьми пришла в сельсовет зареванной: муж ее, Федька, проиграл Степке Паскуднику облигации займа на тридцать рублей, еще восемнадцать рублей, собранных на уплату налога, всех курей, корову, одежду свою, так что вернулся домой в кальсонах и лаптях, а вдобавок сообщил, что и ее, жену свою, проиграл и ей надо пойти к Паскуднику на неделю... борща поварить. Смеху было! А бабы вскипятились, сход свой собрали, повелели Паскудника на круг привести. Паскудник смекнул, что в таком базаре разъяренных баб может и сам без штанов остаться, а то и более что потеряет, и сбежал из дома. Всю злость свою бабы сорвали на Хряще, пропесочили его так, что как из парной вылетел из сельсовета. Недели две был закрыт его картежный притон. Но, видно, Блошка докусила его, когда узнала, что картежники перешли играть к бабке Игумнихе, и вот снова он заманил их к себе. А что поделаешь с ними? Вольному воля. Кто как хочет, так и ворочит. Да с этими-то заботы шутейские. В деревне народ прижимистый; поет и играет, чтоб время провести да покуражиться маленько. Такие проигрыши, как у Дятлова, случаются, может, раз в десять лет, чтоб было о чем посудачить.

А тот вон зеленый огонек в избе за березками почаще донимал Гаврилу Матвеевича. Зеленый он от памятного ему абажура, который подарил своей несостоявшейся супружнице Анютке Дунайкиной.

Может, по причине худой славы, мажущей черней дегтя, дочка Анюты, черноглазая красавица Оксана, тоже не вышла замуж и, оправдывая свое крапивное племя, пошла мстить подружкам, привечая их мужей. Сколько тут слез было и жалоб в сельсовет, и разборов, и уговоров Оксаны, пока она не обрезала председателя, заметив при народе:

— А ты не отец ли мне будешь, товарищ председатель Советской власти? Тогда приданое дай, чтоб замуж вышла.

От неожиданности он рот открыл, растерялся, не зная что сказать, а Оксанка — вот ведь какой стержочкой стала! — запрыгнула к нему на председательский стол, придавив бумаги пышным задом, обхватила его рукой за шею, а другой взьерошила волосы, промурлыкав:

— Можно, я тебя тятенькой стану звать?

Потом-то он шлепнул ее по мягкому задку, столкнув со стола, но народ — жалобщики и комиссия — уже хохотали до колик в животе.

Так вот, здесь каждый дом — своя история, а то и три, четыре. Для приезжего, конечно, все это — скукота, покосился Гаврила Матвеевич на Свиридова, потиравшего замерзающий нос, а для него — вся его главная жизнь.

Он знал и любил этот маленький мир — малюсенькую частичку России, а потому и тревожился за него, почувствовав надвинувшуюся угрозу. Попытался подбодрить себя: мол, подумаешь, приехал гусь лапчатый. Видали и не таких. Но все же признался, что таких еще — пред которыми его начштаба, секретарь райкома, пасовал, он не видел. Не вынес маеты и спросил:

— Что за птица-то?

— Если бы.

- А может, гусь. Похож.
- Проверять приехал.
- А чего нас проверять?
- Меня, не вас.

Дома их встречала Василиска. Прибавив света в лампе, она неторопливо вышла из-за стола, на котором разложены были учебники, подошла к Андрею Мироновичу и поздоровалась за руку, как большая. А получив кулек гостинцев, по-детски обрадовалась:

— Ой, это ж «Раковые шейки», мои любимые. Дедусь, я разбужу Сашку, а то я сама съем. Я, правда-правда, не утерплю до утра, а он потом обижаться будет.

— Утерпи. Ишь к чему подбивает? И Костику оставь.

Отправили Василиску спать, чтоб не мешала мужскому разговору, и сели вечером тем, что в печи нашлось. Свиридов ел, а Гаврила Матвеевич подкладывал ему, подливал и не смолкая докладывал, что все задания им выполнены в наилучшем виде: недоимки за год сданы, подписка на заем проведена с перевыполнением, выявлены скрытые статьи доходов у мельника Цицирова и колбасника Маслова и некоторых других и повышено налоговое обложение. Не утерпел и похвалился, что все дворы в селе состоят в каком-нибудь товариществе или кредитке, а это значит — стопроцентное кооперирование крестьянства, как Ленин наказывал.

— Как я понимаю, подбодрить меня хочешь,— сказал Свиридов, отодвигая глиняную кружку, из которой пил чай.— Спасибо.

— Чего мне тебя подпирать. Ты и сам себе оборонный.

— Оборонный...— усмехнулся Свиридов, задумчиво растирая по столу крошку хлеба. По его рыхлому лицу побежала серая тень, сгоняя выступившую после горячих щей красноту, а в остановившихся глазах проглядывала тревога. Не давая ей разрастись, Свиридов отшвырнул ногтем растертую крошку и спросил:

— Как с хлебом?

— Контрактацию выполнили. На сто процентов по всем видам.

— А сверх?

— Цены низкие, Андрей Мироныч. Придерживают мужики зерно: ждут, пока подорожает.

— С государством как на базаре торгуетесь. А не боитесь, что доторгуетесь до продазверстки, как в восемнадцатом?

Бранил Свиридов заучено и скучно, как бы по обязанности, которую неприятно выполнять. Почувствовав его настроение, Гаврила Матвеевич остановил:

— Погодь, Мироныч. Завтра поругаешь. Вот ведь коммунисты какие пошли! В гостях сидит, а хозяина крушит.

Рассмеялись.

— Задумка одна есть. Обсудить надобно,— приглушил голос Гаврила Матвеевич, подавшись к Свиридову.— Значит, собрали мы первый колхоз, как приказывал. Дело новое, всем в диковинку. Глядим, что там у них. А что там может быть хорошего, когда собралось девять дворов нищеты о семи лошадях. Бедуют. А я уж и кредиты им в первую очередь, и плужки-бороны, а прибýtка все равно нет. Что ж такое, думаю. А сват надоумил. Все дело, говорит, в специализации. Нет ее в колхозе. Как хозяйствовали порознь, так и вместе, в девять дворов, то же самое делают. Вот тогда я и придумал другой колхоз собрать, ко-о-пе-ра-тивный.

— Так-так-так! Интересно,— оживился Свиридов, и в глазах его появились другие, веселые огоньки.

— Ага... Почему у Кольки моего дела круто пошли? А потому, что ферма! — только бычками занимаются. Вот я и задумал весь народ фермерством занять. Одних на пшеничку определить, других — на корма и овощи. Землю прирежем, чтоб размах был.

— Где возьмешь?

— А у тех, кто скотом-птицей займется. Им поменьше дадим, у них на дворе будет забот невпроворот. Есть у нас в Заречье бабы-гусятницы, по сотне гусей держали до революции, а мы им по тыще повелели держать. Не откажутся, не бойся. Сейчас уж каждый смекнул, что больше, как на ферме, прибýtка нигде не возьмешь. Молочницы есть, по ведру от коровы надаивают. Таким кредит дадим, чтоб по десятку-полтора коров держали. Сепараторный пункт оборудуем, и сливки — на масло. Три артели уже есть. Бондарную дружок мой Иустин с сынами организовал. Они бочки, бадейки делают. Еще есть шерстобитная, кирпичная; еще заведем всякого-разного. В деревне ведь в каждом доме что-нибудь шьют-рубят-мастерят. Мы их тоже кооперируем — и под свое крыло. Думаю, магазин в городе откроем. Чтоб все свое там: мука, мясо, масло, мед, бочки, валенки, хомуты... Вот тогда мы забогатеем. И налоги дадим вам такие, каких не видывали еще.

— Та-ак. Интересно,— поднялся и прошелся по кухне Свиридов от стола к двери и обратно.— Почему же кооперативный колхоз? Так ты назвал его?



— А в этом самое главное, Мироныч. Ленин-то — го-ло-ва-а! Недаром сказал: весь секрет в кооперации. Я долго думал, что ж там секретного. А когда пригляделся к коммуниям да к нашему девятидворному колхозу, так все и понял.

— И что ж ты понял?

— А вот что. Пошли наши девятидворники сено косить. Лучший клин им отвели: старайся. Мы, единоличники, косами машем давно, а они только из шалашей вылезают; мы взопрели, а они — за кулеш сели. Варнак бывало на личной загонке так махал косой — на тройке не догонишь, а на колхозной за стариками плетется. Говорит, чтоб не уставали они, и смеется. Понял, в чем заковыка?! В кооперации мужик хозяином оропается. Как потопал, так и полопал. Получишь по способностям и по труду. А в колхозе, как велите вы делать, он вроде поденщика на заводе. И, сообразно мужицкой своей натуры, не хочет лишнего делать против другого, чтоб не быть дураком. Я вот сознательней других, а ведь тоже не пойду за соседа горбатиться, али там за пролетариат какой-то. Хоть он и диктатор, а все равно состоит из таких же мужиков и баб. Пусть сами зарабатывают свое и торгуют с нами. Они нам плуги да ситец, и мы им хлеб да масло. Не так разве?

— Так, так... Только давай договоримся,— встал против него Свиридов, сверху посмотрел в глаза, пронзая до табуретки.— Больше про диктатуру пролетариата ни слова!

— Да я ж тебе только...

— И я — тебе! — дружески тронул его за плечо Свиридов.— Когда организуешь колхоз?

— Народ надо подготовить. Подогреть так, чтоб невтерпеж было. Чтоб вот вынь и положи им колхоз. Колька мой уже задыхается без кооперации: корма ему нужны. Чтоб не сам пахал-сеял, а получал от других. Вот таких Колек-Ванек-Манек подберу еще человек полста, и к лету соберемся в кооперативный колхоз.

— Значит, не успеем,— сказал Свиридов вроде как со вздохом.

Гаврила Матвеевич усмехнулся:

— Куда? Аль на поезд торопиться? В таком деле спешить — себя просмешить; и хорошее дело погубить можно, как с коммуниями было.

Свиридов, не придав значения его иронии, бросил вскользь:

— Хороший ты мужик, Гаврила Матвеевич.

— Хорош Ванюшка, хвалит мать да бабушка,— застыдился Гаврила Матвеевич.— Но в целом линию партии понимаем: сказано, обогащайтесь — богатеем. Подгонять не надо. Каждый сам по себе знает, без денег — бездельник, а за свой грош — везде хорош. Деньги не говорят, да много творят, так что в этом деле мы тебя не подведем, Мироныч, будь спокоен.

— Хороший,— продолжал говорить Свиридов, словно не слышал перебивавших его слов. Его маленькие глазки под белесыми бровями рассматривали Валдаева с испытующим вниманием, словно он терпеливо ждал понимания и подводил его к этому, заявив вдруг:

— Жалко будет потерять тебя.

Таких слов никак не ждал Гаврила Матвеевич от своего гостя и залепетал растерянно:

— Ты что это, Мироныч, говоришь такое.

— Не понимаешь?

Гаврила Матвеевич в ответ мотнул головой: нет.

— Зажирел партизан,— продолжал изучающе разглядывать его Свиридов.— Потерял чутье. А помнишь бой под Зубовкой? Ты меня раненого из воронки вытаскил, а туда — снаряд. За три секунды от смерти ушли. Говорил еще, чей-то голос услышал. Помнишь? Вроде бы сидеть нам надо было в укрытии, а ты потаскил меня под обстрел.

— Как не помнить,— замутились глаза Гаврилы Матвеевича, обротясь в прошлое.— Страх почувствовал вдруг, что тут вот убьет сейчас. Аж душа заныла от этого страха, завопила: беги! А как бежать одному? Потаскил тебя. Ты скажи, Мироныч, какая беда пришла?

— Газеты читаешь?

— Не так чтобы всегда... Почитываем. Да не поймешь там ничего. То левых били, теперь за правых взялись. Ну, с левыми понятно — троцкисты. А что — правый уклон? Кто там уклоняется?

— А с троцкистами тебе все понятно? Извини, Гаврила Матвеевич, но для разговора полезно знать, что думаешь про Троцкого и левый уклон.

— Он Ленина хотел заменить, прибрать наследство его — страну, значит,— говорил Гаврила Матвеевич, неуверенно поглядывая на Свиридова, и понемногу смелел, видя его одобрительные кивки.— Думаю, мужик-то он головастый. Только нетерпеливый. Уж больно круто все заваривает. Такому дай волю — он тут же нэп

прихлопнет и всех в казармы загонит. Вот к нему и придрались за это: мол, ишь чего захотел.

— В общем, правильно.

— А правые чего хотят?

— Хотят обогатить крестьян и продолжать нэп.

— Так какие же они уклонисты?

— А они не уклонисты.

— А пишут — чуть не враги.

— Правый уклон — личная выдумка Сталина, чтобы расправиться с неугодными ему членами Политбюро. За левый уклон убрал Троцкого, Каменева и Зиновьева. За правый уклон атакует Бухарина, Рыкова, Томского.

— Ах ты, мать моя в саже. А мы-то пируем, не знаем ничего. Фамилии-то не пишут. Правые да правые, а кто такие — неизвестно. А он вон, значит, на кого попер! А что ж вы смотрите, верховные? Почему не вдарите, чтобы осадить.

— Вдарили, — усмехнулся Свиридов. — На московском пленуме в октябре ему прямо сказали, что придумал правый уклон, чтобы плести интриги против неугодных.

— А он?

— Вывернулся.

— Поприжать покрепче. Да кто он такой? Кто его знает? Ты спроси мужиков, кто такой Сталин, да из десятка одного не найдешь, какой правильно его назовет. И в революции мы не слышали про него, вспомни-ка...

Свиридов кивал: правильно, Однако не воспылил бодряческим настроением, а еще больше нахмурился и помрачнел.

— Прижимали... Еще при жизни Ленина сорок шесть членов ЦК написали заявление в Политбюро против Сталина: о том, что создал аппарат, который думает и решает за всех, не считаясь с партией и с ЦК. Ленин болел, не мог вмешаться, а Троцкого он обвел, опираясь на Каменева и Зиновьева, с которыми в блоке был. Сейчас против Сталина уже не выступишь с заявлением: тут же объявят фракционером — и в Сибирь.

— Вот что делается! Ай-ай-ай, — удивлялся Гаврила Матвеевич. — Вот так рябой! Откуда же такую силу набрал?

— Должности распределяет.

Далекий от городских хитростей Гаврила Матвеевич не мог сразу понять, как это можно набрать силу, распределяя должности; он задумался, нахмутив брови. Свиридов пояснил:

— У нас теперь не выбирают сами секретарей и председателей, как было. Теперь кандидатуры нам подбирают в аппарате и присылают, чтобы проголосовали за них. Естественно, подбирают из тех, кто громче кричит за Сталина, против разных уклонистов. Понял, зачем нужны ему левые-правые?

— Хитер! Значит, первым хочет стать, — с насмешкой и с одобрительным пониманием покивал Гаврила Матвеевич и, задумавшись, добавил: — Тогда не остановить его, не-ет. По себе знаю. Было у нас в ребячестве две ватаги. На Баштанном краю я верховодил, а в Оторвановке — Иустин. Потом-то мы стали с ним не-разлей-вода, а вначале дрались в Петровском. До ножей дело дошло, да-а.

— И как же победил его? — заинтересовался Свиридов.

— Обхитрил, — рассмеялся Гаврила Матвеевич. — Ага. Сговорились, что летом я команду — он не перечит, а зимой он командует — я молчу. А за лето я так прибрал к рукам всю ватагу, что его уж и не слушались без меня. Иустин тоже привык в пристяжке ходить, подружились с ним, воевать пошли вместе. Вот как бывает. Может, и у ваших верховных сейчас главный определяется? Так и пусть. Нам-то не все ли равно — будет Сталин или Бухарин.

Свиридов впился в него пристальным и досадующим взглядом и, обиженно передернув губами, обронил:

— Действительно, каждый народ достоин своего правителя.

Рассердился, значит, понял Гаврила Матвеевич и, запустив пальцы в бороду, поскребывая там, соображал, что же он сказал неладного? То, что мужики не хотят в политику играть? Так у нас другие игрушки. Вон и хлебушко вам надо отсыпать, не случайно ведь приехал сюда с солдатиками. Завтра такая игра начнется со слезами и обидами — до нового урожая не исчерпать.

— Значит, вам все равно?

— Так ведь сам посуди, Андрей Мироныч. Они во-он где, — показал он на воображаемую высоту где-то за потолоком с подвешенной и нещадно коптившей лампой, — а мы тута, в земле. Им управлять, а нам землю пахать. Чего ж лезть не в свое дело. Каждый сверчок знай шесток. Аль не так? Объясни тогда.

— Зачем тогда царя сбрасывал? Чтоб на шестке сидеть?

— Так царь — капиталист, а этот будет — коммунист.

— Как Троцкий, к примеру, — подсказал Свиридов, не сводя насмешливых глаз с Гаврилы Матвеевича, и тот вновь неуютно заерзал на табуретке. Просительно глянул раз, другой и, не дождавшись ответа на свои вопрошающие глаза, заявил:

— Не-е, Троцкий нам не подходит.

— Так вам же все равно, под кем сидеть «тута».

— Чать не будет, как Троцкий?

— А каким будет? — выпрашивал Свиридов. Ему сейчас требовалось по старой учительской привычке походить по комнате, но кухня не позволяла этого сделать, разве лишь потоптаться вновь между столом и печкой, и он сел за стол, уставясь на Гаврилу Матвеевича. Смотрел и ждал, что скажет на его вопрос.

— Оно, конечно, в чужую душу не влезешь.

И Свиридов все-таки вскочил, прошелся к печке, а от нее повернул к двери, вышел в сенцы. Послышался скрип и другой двери, ведущей на волю. Должно быть, по малой нужде пошел, подумал Гаврила Матвеевич, а сам понимал, что появилась у гостя другая потребность — охладиться, чтоб не вспылить на его двурешные разговоры. От этой догадки стыдно стало до жжения под волосом на лице. Ему, можно сказать, душу распахнули, а он тут завилал, как песий хвост. Тыфу ты, мужицкая натура. Так и хочется с грязи пенки сымать, с камней лыко драть.

Свиридов вернулся, подрагивая, потирая ладони. Прежнюю заботу будто скинул в сенях, улыбался во весь рот:

— Холодище! А что, засиделись мы с тобой, Матвеевич.— И, глянув на печь, предложил:— Чур, я сплю на печи.

— С тараканами?

— Брр! С тараканами не хочу. Тогда уж со сверчками, у которых свой шесток. Интересно же, куда мужики от политики прячутся. Может, понравится — да залягу на остаток лет, и хоть трава не расти.

— Ты прости меня, Мироныч. Завилал я. Бес попутал. Подумалось: а чего надо? Жизнь наладилась. Богатеем. Наше ли дело в политику лезть.

Свиридов молчал. Прислонясь спиной к печке, он вбирал тепло и с насмешливым интересом разглядывал непривычно смущенного Гаврилу Матвеевича, пока взгляд его не прошел дальше, куда-то за стену постановяющей от мороза избы, а лицо потеряло веселые черточки, опять скомкалось в озабоченную и растревоженную массу. Сказал как бы в ответ своим мыслям:

— Самое обидное, что вы не понимаете, что давно уже стали самой главной фигурой большой политики. Большевики не удержали бы власти, если бы их не поддержало крестьянство. Ты ведь понимаешь, мало сделать переворот в Питере, надо еще было выдержать бой за каждую Зубовку. И сейчас ваш хлеб — главный предмет политики. Слышал, что Сталин ездил в Сибирь?

— Был слушок. Просмеяли его там, вроде.

— Боюсь, эти смехачи уже горько плачут. Головы пачками летят.

— За что?

— За все. За притупление революционной бдительности. За сращивание с чуждыми элементами, за саботаж хлебозаготовок. Меня тоже убирают от вас.

— Да ты что, Мироныч! Не отдадим.

— В область переводят.

— Куда?

— По линии Наркомзема.

— А чего ты, учитель, соображаешь в земле?

— Вот и жена так говорит, — кивнул Свиридов. Отогревшись у печки, он сел за стол и, совсем по-домашнему задумавшись, подпер голову рукой, утопив кулак в белой как тесто щеке. Посидев так с минутой, стал говорить, уже не глядя на собеседника, а вроде как сам с собой.— Секретаря Белецкого райкома забрали с повышением, а через месяц исключили из партии как бывшего троцкиста. В Переволоцком райкоме из старых никого не осталось, а там первым Карпухо был, командир полка Чапаевской дивизии.

— Знаю Карпуху. Наш Яков Терез у него в полку был, красиво рассказывал.

— Вычистили Карпуху. За то, что женат на поповской дочке. А Рубцова сослали. В Оренбурге судили, и в Сибирь. Он с Троцким переписывался. Василия Валентиновича Ромашова, комиссар был в третьем полку, этого забрали за связь с Углановым, секретарем Московского комитета, протестовавшего против линии Сталина.

Свиридов еще долго перечислял, кого и за что вычистили из партии, сняли с работы, сослали. Среди называемых было много знакомых Гаврилы Матвеевича, и их имена вспышками воспоминаний освещали те далекие, наполненные весенним гулом революции боевые годочки, словно затем, чтобы еще больше поразить свалившимися на них ударами судьбы. А потом наступил момент, когда он потерял способность поражаться или как-то иначе выражать охватившее его и уже не от-

пускавшее подавленное недоумение и непонимание того, что происходит в стране. Конечно, он и раньше о многом слышал, знал, догадывался; с чем-то соглашался, а что-то считал правильным, памятуя, что революция продолжается, а коли лес рубят, то и щепки летят. Но сейчас, когда все эти разрозненные случаи построились Свиридовым в шеренгу, то стало видно, что порождены они силой одного лесоруба, крушившего лес ради щепок. И Гаврила Матвеевич растерялся, расклеился. При каждой новой фразе Свиридова он беспомощно вскидывал глаза и тут же поворачивал их взгляд в себя, созерцая накапливающуюся в душе кучу этой колкой щепы из разбитых судеб, превывсившую его способность осмыслить их.

Спать легли далеко за полночь, когда вернулись с гулянки Тимофей и Галинка. Подвыпивший Тимофей порывался рассказывать, как там лихо отплясывал городской, приведенный Иустином, какой он свойский мужик, хотя и фабричный, но отец с гостем не выказывали интереса к его бессвязным рассказам, и Галина утянула мужа в горницу.

— Кто он? — спросил Гаврила Матвеевич.

— Посланец партии, — остановил на нем взгляд Свиридов. — Будет осуществлять диктатуру пролетариата. Изберите его завтра вместо «кавалериста». — И, гася протестующий огонек в глазах Гаврилы Матвеевича, добавил коротко и командно: — Надо!

— А так ли надо, Мироныч? Начнешь поддакивать, и разучишься протестовать.

— Ты не разучишься. А дров можешь наломать. Поэтому не дай им подловить тебя. Ты нужен нам, понимаешь?! — положил руку на его плечо Свиридов и приблизился так, чтобы смотреть глаза в глаза. — Понимаешь зачем?

— Неужто дойдет до этого, Мироныч? — вглядывался Гаврила Матвеевич в черноту глаз Свиридова, за огонек лампы, отраженный на зрачке.

— Похоже, ничем другим его уже не остановить.

## 5

Другой день прошел, как в запарке сражения, когда одно помешалось с другим, наслонилось на третье, перевязалось, перепуталось, и все бегом, скоком, лётном.

Четким в памяти осталось лишь утро, когда они со Свиридовым чинно вышагивали по хрусткому снегу, колюче взблескивающему на солнце, начавшем восхождение над селом. Вчерашний ветер подровнял снежный покров, подправил сугробы и, убравшись за село, вольготно разлегся там на белом просторе, изредка напоминая о себе подергиванием торчащих на межах будылей подсолнушков да дрожью примороженных ветвей осокорей и ветел, тут и там стоящих окрест. Печные дымы поднимались над избами причудливыми столбами и доходили, должно быть, до самого неба, покрявывая зубцы уральских камней и кромку лесов вдоль Сакмары — с одной стороны, а по другую сторону — бесконечную, белую до рези в глазах даль степей.

— Кто этот Бобков, к которому Ситин пошел спать? — спросил Свиридов, потирая варежкой нос.

— Дыреха-то?

— Почему — Дыреха?

— Шельмец потому что, — усмехнулся Гаврила Матвеевич. — Отец ему двух лошадей нажил, весь инвентарь железный: плуг, бороны... А как помер, Митька все это спустил, с зерном в город подался, чтоб домовладельцем стать, денежки с жильцов собирать. В двадцать третьем, сам знаешь, как народ голодал. Выменял он дом, потом — другой, на жену оформил, третий — на дочку... Так разохотился, что не заметил, как пшеничка-то кончилась и сами заголодали. Меньшого мальчонку похоронили да еле живыми вернулись домой. Родовались еще, что избу их никто не купил, а то и возвращаться-то было бы некуда. Потому и Дыреха: хватить в карман, ан дыра в горсти.

— Яс-нень-ко, — задумчиво кивнул Свиридов.

Что ему стало ясненько — Гаврила Матвеевич сообразил не сразу, потому что почувствовал на себе чей-то взгляд; покосясь, отогнул угол поднятого воротника и увидел Данилу Зацепина. Из избы выскочив в полушубке, надетом на одно плечо, с шапкой в другой руке, он бежал за ними напрямик по снегу. Встал, когда увидел, что Гаврила Матвеевич тоже видит его, кивнул, чтобы тот подошел к нему, и тогда только нахлобучил шапку и дооделся.

— Постой-ка, — придержал Свиридова Гаврила Матвеевич и пошел к Даниле:

— Чего?

— Зерно будут реквизировать.

— Эка, вспомнил чего! Да кто сейчас реквизирует. Двадцатый год тебе, что ли?

Данила не изменился в лице, смотрел не моргнув с суровой озабоченностью, а выслушав ответ, не придал ему внимания и добавил:

— Список составлен, у кого сколько брать.

— Дыреха! — выдохнул Гаврила Матвеевич и сейчас только понял, что было «яс-нень-ко» его гостю. Так вот почему солдат привезли!

Кивнув, Данила молчал. Для него, многодетного, каждая горсть зерна дороже денег. Отнять у него мешок-другой — значит, точно оставить кого-то разутым либо раздетым.

— Ну, это мы еще поглядим. Такие дела сход решает.

— Они собрали сход.

— Без председателя?

— Комбед. С темна бегали по селу, собирали тех, кто грабить пойдет. Меня звали.

Данила выдержал испытующий взгляд Гаврилы Матвеевича и сам уперся высматривать: мол, я не пошел с теми, а куда ты повернешь? Заступишься или струсишь и бросишь нас? Под таким взглядом не медлят с ответом: сразу можно потерять к себе уважение и веру как в жоака. Этак и сам Гаврила Матвеевич проверял людей, а потому, покосясь на притопывающего на дороге секретаря райкома, сказал приказно:

— Собирай сход.

Свиридов не спрашивал ничего — сам Гаврила Матвеевич рассказал ему, что узнал от Данилы, и подождал пяток минут, давая время обдумать известие. О своем приказе утаил, рассудив, что секретаря райкома лучше не привязывать к себе, чтоб не обвинили в сговоре. Сам заварил кашу, сам и расхлебываю.

— Хлеб надо дать, — сказал наконец Свиридов.

— Побойся бога, Мироныч. Мы же выполнили все поставки.

— Опять! Тебя мне еще уговаривать! — обиженным взглядом кольнул его Свиридов. И, помолчав, добавил тихо и смиренно: — Надо, Матвеевич. Не дашь хлеб — значит контра, в ГПУ заберут, а ты нам здесь нужен.

Вот тут и попяши между молотом и наковальней, повертись меж двух жерновов, — вздохнул Гаврила Матвеевич. С утра подумывал, что, может, лишним устранил его с ночи Андрей Миронович, а когда умял за завтраком десятка три горяченьких блинов со сметаной, так и совсем расхрабрился: мол, хоть и стар, да удал, за двоих стал. Прорвусь! А выходило, прорываться-то некуда: в одну сторону вильнешь — без головы останешься, в другую подашься — голову снесут. И отсидеться никак нельзя, хоть и приказывают, — покосился он на своего хмурого гостя, вышагивающего рядом.

У сельсовета собрался народ. Не так чтоб много, как должно быть по событию — морозец попридержал, наверное, а вернее, что не все знали про собрание, собиравшееся с темна, но самые любопытные уже толклись здесь и шушукались, передавая друг другу «Гаврила идет, Гаврила...» — «А кто с ним?» — «Свиридов, секретарь райкома, не видишь, что ли».

— Доброго здравия, Гаврила Матвеевич. И гостю нашему, — поклонился дед Шипка, прозванный так за бесконечные свои подвиги на войне с турками в Болгарии, которые с каждым годом смешней веселили народ по мере усыхания дедка. Но Гаврила Матвеевич помнил его полным силы, крепким и стройным, как лесина в соку; верил, что такой не только турка, но и лошадь мог подхватить на штык и перебросить через себя. И Гаврила Матвеевич уважительно попридержался возле дедка, сдернул с руки рукавицу и пожал его стылую ладоньку:

— Здравствуй, Афанасий Галактионович. Чего рано поднялся?

— Да вить это... — заморгали маленькие, по-детски наивные глазки дедка.

— Здравствуйте, здравствуйте, — кивал народу Гаврила Матвеевич направо и налево, шагая к крыльцу за Свиридовым. И еще раз попридержал шаг, почувствовав, а потом и увидев, как мельник Цициров вцепился в него взглядом. Он стоял в отдалении с колбасником Масловым, с другими мужиками, что побогаче, и, встретившись взглядом, машинально стал сгребать снег с коновязи. Тоже за хлеб боится, пришел поближе к беде. Гаврила Матвеевич кивнул ему, но в ответ Цициров только сжал снежок, так что брызнуло промеж пальцев.

В коридоре сельсовета похаживали военные, собранные для выхода на улицу, — в красноезвездных богатырках, с винтовками в руках или на плече так, что оставалось застегнуть шинель и шагать по заданию. А задания уже распределялись в зале, прислушивался Гаврила Матвеевич к хриплому голосу Дырехи, зачитывающего список. Пока Андрей Миронович аккуратно и явно не торопясь обметал от снега валенки, Гаврила Матвеевич, не выказывая себя, оглядел в приоткрытую дверь собравшихся. Всего-то сидело человек тридцать мужиков и с десятков баб — колхозники, единоличники из бедноты, батраки, вдовы во главе с Анюткой Дунайкиной, и там же, с бабами, возле Оксаны Дунайкиной прилепился Паскудник, вер-

нувшийся из бегов. А на первой лавке разместились Хрящ с Блошкой и деревенская нищенка Гятерья с детиной — дурачком Петечкой, не закрывавшим рот и не снимающим шапку — высоченный боярский колпак, подаренный ему для смеха колбасником Масловым. В президиуме за столом выделялся крутолобый Ситин в непривычном для деревенского глаза френче, непонятный и грозный; рядом с ним сидел-возвышался со списком в руках Дыреха. Он зачитывал:

— К Усольцеву — Чирок, извиняюсь, Чирков Анкудин, к Лабцову — Хрящев.

— Погодь, Дмитрий Васильевич, — подскочил с лавки как укушенный Хрящ и, косясь на свою жену, словно сверяясь с ней, заявил: — У меня вопрос есть к властям. Пусть сам начальник скажет, правильно я понял али нет. Вот если четыре мешка лишку будет, то три пойдут государству, а четвертый — мне. Это я понял?

— Правильно понял, — кивнул Ситин. — Двадцать пять процентов конфискованных хлебных излишков будет распределено среди бедноты. Двадцать пять — это четвертая часть от ста процентов, значит четвертый мешок — ваш.

— А если двести мешков будет, то пятьдесят тоже мне?

— Ишь чего захотел! — раздался возмущенный голос.

— Да ты столь и в жисть-то не держал.

— Тише. Пусть скажет.

— Ваши пятьдесят! — рубанул ребром ладони по столу Ситин.

Заметив в дверях председателя сельсовета и подстроившегося к нему секретаря райкома, Ситин помахал им рукой, чтобы заходили, а когда подошли к столу и поздоровались, тихо, но едко заметил:

— Долго спишь, товарищ секретарь. Мы тут уже перевыборы провели.

— Которые на девять намечали, — сказал Свиридов, открыв крышку карманных часов и показывая циферблат Ситину. Тот ухмыльнулся, а Свиридов покраснел. Повесив на гвоздь в стене полшубок, он подсел к Ситину. — Какова повестка?

— Все та же — хлеб! — сказал Свиридов и по-ястребиному гордо обвел взглядом споривших мужиков: что тут у вас?

— Тогда, это... Погодь, Дыреха, — подскакивал, словно жарился на сковороде, Хрящ. — Ты чё мне Лабцова пишешь? У него за бугром ничё не уродилось, семян не собрал. Я на Шестова показывал, его и пиши. У него пудов четыреста с гаком будет. И сто — мои, как начальник сказал.

— Четыреста пудов в одном дворе! — торжествующе подчеркнул Ситин, многозначительно глянув на Свиридова. — А говорят, хлеба нет.

— Так м о и будет, начальник? — напомнил о себе Хрящ, улавливая его глаза.

— Ваши, ваши. Не твои, а ваши, — уточнил Ситин, боднув зал лысиной головы, поднявшись с лавки. — Вашего комитета бедноты.

— На всех, значит, делить?

— А ты себе только хотел? — неслись мстительные выкрики.

— Хитер.

— Порядок знать надобно, — отбивался Хрящ, поворачиваясь. — Чтоб, значит, каждый старался.

— Постараемся. Читай, Дыреха.

— Дальше вали.

— Эх, мужики вы, дураки, — поднялась из группы баб баушка Ключа и, громко постукав палкой по полу, чтоб притихли голоса, сказала, осудительно качая головой: — Не мыслите, чё творите. Мир правдой силен, а вы растащить все хотите. Чтоб сосед на соседа пошел, кум на кума, сват на свата. Да что же тут будет у нас, подумайте забубенными головушками. Как детей растить, как старость тешить. Хоть бы ты их унял, Матвейч. А мово голоса тут не будет.

Стыдящие слова баушки Ключи поубавили азарта в глазах расшумевшихся в дележе мужиков; переглянувшись, они переждали, пока она пробралась к двери, и вновь усталились на Ситина.

— Хорошо, если бы вас так же, — кивнул он на дверь, за которой скрылась баушка Ключа. — Кулаков пожалели. Но они нас не пожалеют, нет. И мы не позволим срывать индустриализацию страны, не допустим голода рабочего класса. Хлеб — это вам не хлопок, лен или конопля, которые не съешь и не продашь каждому. Хлеб — это такой товар, без которого нельзя существовать всем! Кулаки это знают и придерживают его, чтобы набрать цену и закабалить бедноту деревни и рабочий класс города. Значит, хлебные излишки в руках кулака — это не просто товар, это, товарищи, политика. А можем ли мы допустить политического усиления кулачества? — заученно говорил Ситин и, обедев зажигательным взглядом слушающий зал, объединил всех сгребаящим взмахом руки. — Собрание сказала — нет. И поэтому наша задача взять у кулака хлеб, вырвать у него жало политического давления и обеспечить снабжение хлебом Красной Армии, пролетариат города и беднейшее крестьянство села.

Значит, нэп отменяется, опять к продразверстке повернулись, — сказал с на-

ивным простодушием Гаврила Матвеевич.— А что-то я не слышал про съезд с такой программой. А может, бумага у тебя имеется, так показал бы.

Реплика не понравилась Ситину. В его намерения не входило затевать спор с человеком, определенным им для первоочередного вычищения из сельсовета и из партии. Он посмотрел на отталчивающегося Свиридова, требуя поддержки, но тот уклонился, пробурчал:

— Правильный вопрос. Отвечай.

— Опаздываешь, а потом тебе вновь,— толкнул Гаврилу Матвеевича Дыреха и преданно поглядел на Ситина.

— А ты чего же не позвал меня на собрание?— ответил ему Гаврила Матвеевич громко, чтоб слышали все в рядах.— Без сельсовета решил управиться?

— Тише, тише!— прервал его Ситин.— Нэп никто не отменяет. И всякие разговоры об отмене нэпа — контрреволюционная болтовня, направленная на срыв хлебозаготовки. И мы не потерпим ее,— теперь уже долгим, пригвозждающим к лавке взглядом посмотрел на Гаврилу Матвеевича Ситин и, посчитав, что с ним разделался навсегда, обернулся к притихшим мужикам, посмотрел в бородатые лица, стараясь приободрить их твердым голосом и уверенным видом.— Сейчас по всей стране проходят такие собрания бедноты, формируются комиссии содействия. Вам дано право утверждать и распределять план хлебозаготовки, а при надобности, вплоть до полной конфискации всех запасов.

— А если откажутся? Не дадут?— спросила Блошка, до этого что-то зудевшая Хрящу на ухо.

— Откажутся? Нам?!— грозно переспросил Ситин и неожиданно рассмеялся, показывая залу полный рот мелких, часто сидящих зубов. Кивнул на коридор:— А там, видишь,— тридцать три богатыря? Так что не откажутся. А порядок такой: батраки и безлошадные бедняки полностью освобождаются от сдачи хлеба. Середняки сдают четверть наличного зерна. Зажиточные и кулаки — по твердым заданиям, вплоть до полной конфискации всех запасов на тот случай, когда вздумают отказаться и придется их потрясти.

— Да у нас кулаков-то, которые батраков держат, четверо только,— заметил Гаврила Матвеевич, но Ситин не слышал его, продолжая говорить:

— Тут товарищ интересовался четвертым мешком. Повторяю: двадцать пять процентов, то есть четвертая часть высказанного хлеба поступила в фонд бедноты. Не лично кому-то одному, а всем. Потом поделите.

— Тогда правильно,— подскочил, тыча пальцем на списки в руках Бобкова, Хрящ.— К Лабцову мне ближе идти.

— И по морде не даст,— съехидничал Паскудник, вызвав смех Оксаны Дунайкиной, залихватский и неуместный, как на похоронах.

В лежащих на столе перед Бобковым списках Гаврила Матвеевич углядел, что к зажиточным приписаны люди, которые вдосталь хлеба не едят, разве лишь держат форс, чтобы слыть крепким мужиком, как Данила Зацепин. Подтянув список, повернул его, вчитываясь в каракули.

— Кто список составлял?

— Не понравилось, что сынка твоего в кулаки записали,— вырвал список Бобков и косился на него с еще непривычной боязливой смелостью.

— Помолчал бы, Митрий. Добра не смыслишь, так худо не твори,— поднялся Гаврила Матвеевич и повернулся к Ситину, упреждая его отпор. Ткнул пальцем в список.— Неправда тут. И наговоры. Про сына моего говорит, что кулак, а норма — малая. Все надо забрать, подчистую.

— Партийный подход. Правильно!— поддержал его Свиридов.

— Однако ревизовать решение собрания его никто не уполномочивал,— стрельнул взглядом Ситин.— Товарищ, может, попросит слово у собрания, а мы подумаем, дать или нет.

— Да как же не сказать,— удивился Гаврила Матвеевич.— Ты гляди, что тут писано: Лабцов — зажиточный.

— Три лошади у них!— выкрикнул Хрущ.

— Ага... Прошлым годом кобыла двойню принесла. Подфартило мужику, может, раз в жизни, а вы его в кулаки на разорение, чтоб Хрущу с Блошкой четвертый мешок в закрома прибавить.

— Ну вот что, товарищ, как тебя, не знаю...

— «Председатель сельсовета» называй,— подсказал Гаврила Матвеевич.

— У нас тут идет собрание комбеда, на которое тебя не звали.

— Советскую власть, значит, отменили?— с хитрым прищуром глянул на Ситина Гаврила Матвеевич, и мужики в зале, почувствовав душевное послабление, загыгыкали с подначками. Кто шутейно, от души, а кто и подмазаться к начальству.

— Долго спал, Матвейч.

— Печатка теперь — тью-тю.

— Чё будет теперь, чё будет?— подсакивала, крутясь по сторонам, Блошка, но ею пренебрегали, уставясь в президиум, где разыгралось игрище с виду смешное, но одновременно жуткое по своим последствиям, поскольку было связано с появлением чужих, которые так небрежно обращаются с самым главным человеком в селе. Так что этот вопрос — что будет?— волновал не только беспокойную Блошку. Другие догадывались уже: будет то, что произойдет сейчас перед их глазами,— и терпеливо ждали, во что обернется появление перед ними городских начальников с солдатами за спиной. Раз с силой приехали — значит, и правда, переворот, скинут Матвейча. А с землей что будет? А с ними?

Ситин взбешенным взглядом смерил мужчину, но не прошиб его; тот в спокойной уверенности за себя разбирал фамилии в списке, шевелил губами и недоуменно морщился. Передернув плечом, отбросил Бобкова, пытавшегося забрать список, и тот теперь беспомощно щерился, как сабачонка на быка. Но больше всего бесил Ситина секретарь райкома. Обижаться вздумал, стервец. А может, контра? Сговориться успел? Он же ночевал у него! Ну что же, он еще получит свое, мстительно думал Ситин и встряхнулся, решив взять все на себя. Надо было приободрить нищету, на которую был сделан расчет: после слов старухи о совести их решимость экспроприровать явно поубавилась, но не пропала. Этим только дай в руки чужое — догола оберут. И были еще красноармейцы — румяные парни, готовые с винтовками в руках встать на защиту революции. И они уже вставали. Привлеченные острым спором, просачивались в зал и выстраивались вдоль стены, чем явно смущали мужиков, озиравших на них, и придавали уверенности Ситину.

— Это про какое свержение Советской власти ты говоришь,— ледяным тоном заговорил Ситин.— Провокация!

— Прекрати!— предостерегающе прошептал Свиридов.

— Что-о?!— вскинулся Ситин.

— Вот эти бумажки,— встрял между ними Гаврила Матвеевич,— сельсовет должен написать, а сход проголосует. Тогда и будет по-советски. А как же! Чтоб обиды не наделать. А так ведь что получается?

Ни Ситин, ни тем более Свиридов не могли позволить себе принародного выяснения отношений.

— Собрание срываешь!— прошипел Ситин, гневно взблескивая глазками.

— Это разве собрание — полторы бабы на скамейку. Мы щас соберем тебе столько, что на стенках висеть будут,— с гордостью обещал Гаврила Матвеевич и смотрел на взбешенного Ситина с таким обезоруживающим простодушием, что тот не мог позволить так и рвущегося с уст крепкого мата. К тому же произошло непредвиденное: звякнул колокол на церкви раз, другой, а потом набрал силу и загудел ритмичным, тревожным набатом.

— Что такое?— спросил Ситин.

— Сход так собираем,— ответил Гаврила Матвеевич.

— Кто разрешил?

— Я.

— ...?!

— Чего?— прикидываясь протачком, Гаврила Матвеевич будто бы не понял растерянного шамканья Ситина.

— Зачем сход?

— А списки утвердить. Тут не по совести. Гляди-ка... Хрящ с Блошкой на чужие мешки зарятся, а свой хлеб не сеют.

— Немощный я,— выкрикнул Хрящ с подскоком, словно укушенный, и в зале раздались смешки.

— У шабров скупает зерно и изводит на самогон,— продолжал Гаврила Матвеевич.— Он и есть у нас мироед, его надо потрясти.

— Пра-а-вильна...— гудели мужики.

— Чего правильно? Кто докажет?— подскочила и завизжала Блошка.— Ты, что ли? Или ты? А сам чего делал? Ага! Не знаем, думаешь?

Блошка крутилась во все стороны и каждому успевала высипать по вороху обидных угроз в промежутках между ударов колокола: бум... бум... В зал повалил народ, и набилось его столько, что президиум оказался в такой людской гуще, что уже нельзя было шушукаться. Митька Бобков под недоуменными взглядами односельчан и насмешливыми окриками — «А Дыреха чего там?» — тихо-тихо сполз со скамьи и тоже примостился под стенкой с выражением побитого пса: мол, знаю свое место.

Его собачья покорность больше всего поразила Ситина, и он заметно попритих, загнанно притаился, ушел в мир своих комбинаций так, что не услышал, когда ему предоставили слово, и Свиридову пришлось окликнуть его:

— Лев Израйлевич, прошу.

Разговоров в тот день было много. И криков. И слез. И рубаху порвал на себе



Цициров, чтоб уж сразу прибили его тут, чем так вот, каждодневно, корить мельницей и драть по три шкуры. Гаврила Матвеевич не торопился, дал прокричать каждому свой протест, а потом все-таки свернул общий настрой на то, чтобы дать хлеб. Хорошо помог приехавший пролетарий Марысев, которого все же вспомнил народ — работал на маслобойке в Саракташе. Марысев рассказал, как в Екатериновке вчера арестовали тридцать семь мужиков, отказавшихся помочь хлебом, перечислил фамилии и приметей дворов, по которым выгребали закрома, и по тому, как точно он называл приметы, хорошо известные многим по причинам родства или кумовства — село-то соседнее, — все сразу поняли, что и с ними горлопанить долго не будут. Присмирели, послушались своего председателя, дали хлеб.

Когда к вечеру проводили в Драбаган Свиридова и Ситина с военными, Гаврила Матвеевич почувствовал, что, несмотря на то, что их здорово общипали, он все-таки выиграл бой. По этому случаю пошел к дружку своему, Иустину, догуливать крестины и, слив в себя кружку самогона, расслабляясь от растекавшегося по жилам тепла, завел речь о том, чтобы скорей организовать их кооперативный колхоз.

— Надо, мужики! Вместе мы — сила, а взрость — хоть брось. Забогатеем, так нам эти налоги — тьфу. Да мы в пять раз более дадим, чтоб нам скорей плужки-бороны делали. А если трактора будут, как они говорят, так мы еще больше отвалим.

Колхоз они собрали к весне, а через месяц пришло распоряжение считать его кулацким, а потому недействительным. Гаврила Матвеевич присланную бумажку порвал и тотчас поехал в райком, но там вместо дружки незабвенного Андрея Мироновича Свиридова сидел уже первым Ситин; встретил его враждебно, обозвал правым оппортунистом и пригрозил арестом, если он будет продолжать линию саботажа распоряжений райкома. Пришлось ехать в область, но и там не нашел поддержки. Как словорясь, твердили ему все о правом уклоне, о необходимости наступления на кулака, о коллективизации беднейшей части населения — сельского пролетариата, а потому его доводы встречались в штыки и если не сразу отменялись, как несоответствующие текущему моменту, то отвергались с уклончивыми намеками на обстоятельства, которые выше прав этих людей. Понимая после разговора со Свиридовым, какие это обстоятельства, Гаврила Матвеевич спорил и доказывал, что их колхоз тоже даст «обстоятельства» и покажет всем маловерам, как надо хозяйствовать, чтоб мужик богател и держава крепла, и никак не мог уразуметь, почему после прекрасных рассказов ему ставили один и тот же вопрос:

— Так вы там будете все кулаки?

— Вот блин на закуску — опять кулаки! — возмущался он. — Не кулаки, а богатые. Вам же нужны мужички богатые, с них можно налоги драть. С голого зипуна не стащишь.

— Вот и ответ вам, товарищ орденосец. Еще Владимир Ильич Ленин говорил, что единоличник, как мелкотоварный производитель, выделяет из своей среды капиталистов постоянно и непрерывно.

— Так то он про единоличников говорил, а у нас-то кооперативы в колхозе. Значит, и кооператив, и колхоз — две силы в руке.

— В чьей руке?

— В нашей.

— А если нет? Если в чужие руки попадут такие силы?

— В какие?

— Буржуазии. Кулаков, к примеру.

— Да как же... За что головы клали?

— Вот именно. Читайте Ленина, товарищ. Он точно определил: бедняки тянутся к социализму. А богачи, как продавцы хлеба, мяса, — к буржуазии, к свободной торговле, то есть к привычному капитализму. Поэтому ваш кооперативный колхоз — не что иное, как кулацкое преобразование. Опасность справа, и мы не можем ее разрешить.

Дальше продолжать разговор было бессмысленно, и он шел в другой кабинет, опять спорил, увещевал. Находились люди, которые прямо заявляли ему, что он бухаринец и лучше поостерегся бы, а то здесь не посмотрят, что орденосец. И он остерегался, уходил, чтобы появиться в другом месте, пока не добрался до человека, который шепнул ему: «Уезжай» — и вывел из обкома через черный ход.

Возвращаясь в Петровск с тяжелым камнем на душе. Помнится, добирался с оказией через Драбаган. Перешел вброд Сакмару. Вода еще кусалась, но он все равно помылся на перекате, растерся портянкой до красноты и, подтянутый, как мотор, быстро пробежал черемушную низину, взбежал на взлобье к Колькиной ферме.

Уже первый взгляд на двор, где разгуливали бычки, которым самое время пастись по лесу, показал, что тут что-то неладное. Уж не с детьми ли? Вошел в дом — и тут же подхватил Васильку, кинувшегося навстречу, почувствовал об-

хват ручонками шеи и звонкий крик под ухо: «Дедушка приехал! Дедушка... А у нас ферму отнимают!»

— Ну что ты придумываешь, — укоризненно покачала головой Леонтина и поднесла к Гавриле Матвеевичу радостно запрыгавшую у нее на руках Марийку, чтоб и та потерябила деда. И сама придвинулась поцеловаться, а Гаврила Матвеевич подгрел ее с дитем, поцеловал обоих и Марийку забрал на другую руку.

— Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, самые родные, — приговаривал, а сам все выглядывал: неужто правда про ферму? Леонтина молчит, а Николай, поднявшийся с лавки с каким-то шитьем, поздоровался и ждал, когда кончится кутерьма с детьми.

Пан Игнаций... где он? А вот и еще новость — кресла, в которых они спорили со сватом до воспевания петухов, стояли ободранные, без кожи, открыв для обозрения свою мешочную исподню. И словно в насмешку над ожиданиями Гаврилы Матвеевича вновь опуститься в них для приятных разговоров, в креслах лежали новенькие хомуты числом пять или шесть.

Детей наконец завлекли гостинцами и отправили в горницу играть. Леонтина собирала обед, мужчины — разговорились:

— Это правда? Насчет фермы?

— Описали.

— Описали — не отняли. Для статистики описывают, чтобы знать, сколько чего в государстве.

Николай помолчал. И глаз не поднял, свертывая сигарку. А свернув ее, так и не закурил, вновь сел на табурет и, взяв в руки войлок, дратву, заправленную в две большие цыганские иглы, принялся шить войлочную обшивку хомута с отделкой из кожи, еще недавно обтягивающей кресла.

В те годы в каждой избе, в ее задней части, спрятанной, отделенной от горницы пятой стеной, если дом был пятистенок, по другую сторону от печи размещался хозяйственный кут, в котором что-нибудь сотворилось сообразно умениям хозяина и деревенского разделения труда. Сам Гаврила Матвеевич много умел, но чаще всего подрабатывал валянием валенок, а летом кладкой печей, плотницким делом. Хомуты в его доме никогда не делали. Он взял с кресла один, поиграл им, восхитившись: до чего же легкий да ладный, хоть на себя надавай, и обернулся к сыну:

— Николай Гаврилович, да когда ж ты научился хомуты ладить?

— Нужда научит, — горько усмехнулся Николай. — В двадцать пятом восемнадцать рублей брали, в двадцать шестом — сорок. А потом пошло-поехало, каждый год в три, в пять раз больше. Если б я знал, что так будет, не затевал бы эту ферму.

— Тпрр... Погоди. Разберись вначале. В двадцать пятом тебе послабление было на бедность. Теперь ты окреп, лошадей купил, хозяйством обзавелся — значит, побольше можешь отдавать государству. Ты подумай, с кого же нам, Советской власти, брать деньги, если не с мужика? Налог — не кнут, а человека подгоняет.

— А если все время гнать, то и загнать недолго, — сверкнул глазами растревоженный разговором Николай. — Опять навалили столько, что придется телят продавать. Так, может, и вовсе не заниматься ими, а? И хомуты не шить. Спусти все, к чертовой матери, и буду бедовать, как Дыреха. Его не подгоняют налогами — бедняк.

— Как ты «спустишь», когда все описали, — заметила Леонтина, выставляя на стол тарелки с тушеной в молоке картошкой. — Они нарочно разоряют нас налогами, чтобы все забрать. И землю отнимут.

— Это ты лишку хватила, Леночка. Землю... — возмутился на словах Гаврила Матвеевич, а про себя-то охнул от мелькнувшей вдруг ясности в голове, от накопившихся в последние годы многих несообразностей. А правда, вот она, в словах невестки. Только не хотелось верить, и он принялся переубеждать молодых, говорил не столько для них, обиженно поджавших губы, сколько для себя:

— Ты сама рассуди, за что воевал народ? За что в революцию встрял? За землю! Как подписали декрет о земле, так уже никакая интервенция помещикам не помогла. Головы клали за родимую. А если отнимут сейчас землю, то что же это будет? Обман. Искажение линии партии.

— Нэп тоже было искажение линии, но пошли ведь, — сказала Леонтина, как заправский спорщик, не сводя глаз с тестя.

— Тактическое отступление. А с землей отступать некуда. Помещикам ее не вернешь, и в сундук не запрешь.

— Наш колхоз разрешили? — спросила она, не сводя глаз, и усмехнулась, давая понять, что ответ знает и не ждет его.

— Разрешат. В Москву поеду и добыюсь. К самому Сталину пробьюсь. Хотел сразу махнуть, да поистратился.

Леонтина вспомнила про обязанности хозяйки и принялась потчевать тестя, пододвигая тарелки.

— Да вы ешьте, наговоритесь еще.

Однако поесть не пришлось — взлаяли собаки. Гаврила Матвеевич и Леонтина, сидевшие за столом, повернулись к окну и увидели взбегавшего во двор пана Игнация, сопровождаемого овчарками. Один рукав его расстегнутого пиджака был порван, так что из прорехи вылезла желтая рубаша; непокрытая голова его лохматилась седеньким волосом, и весь он был возбужден, растрепан, не похож на себя.

— Он поехал на велосипеде, — проговорила Леонтина и встревоженно глянула на Гаврилу Матвеевича, на мужа, с предчувствием беды уставилась на дверь, в которой должен был появиться отец.

И он ввалился, еле держась на ногах; подержанный метнувшейся к нему дочерью, плюхнулся на стул и потянул к себе кружку с молоком. Сделав глоток, другой, пробурчал, махнув рукой:

— Собирайтесь... Они раскулачат нас... Надо бежать...

Опять припал к кружке и, видя, что никто не торопится и как-то обалдело все смотрят на него, стукнул ею, недопитой, — глиняная кружка развалилась, и оставшееся в ней молоко побежало по столешнице на пол. Сдавленно прохрипел:

— Что вы стоите? Быстрее!

Не видя расторопности, он поднялся и показал разодранный карман на жилетке, в которой покоились его часы с цепочкой:

— Вот... И велосипед... Сейчас сюда придут за остальным.

Из горницы прибежали привлеченные шумом дети — пан Игнаций подхватил Марийку и сунул ее Леонтине, приказав:

— Одевай в зимнее.

— Сват, не пори горячку. Аль не видишь меня? Здравствуй.

— Здравствуй... Я еле вырвался... Собаки спасли...

— Если б всерьез, не вырвался бы. И никакие собаки тебя не спасли бы от мужиков. Давай-ка в разрядку, да по порядку. Что стряслось?

— Там всех... раскулачивают... Запрягай, Николай. А мы соберем вещи, — забегал по избе пан Игнаций и бросил на расстеленное одеяло, на котором играли дети, портки, рубахи, полушубки. Оглядываясь на Гаврилу Матвеевича, презрительно выговорил: — Как организовать хозяйство — не знают, а разорять созданное — готовы. Бегом в социализм! Железной рукой к счастью!

— Да ты чего, сват...

— Чего ты стоишь? — прикрикнул на растерянно топтавшегося Николая. — В Сибирь захотел? Они в Сибирь ссылают.

Николай словно пробудился, осмысленно посмотрел на отца — мол, что скажешь, — а Гаврила Матвеевич одернул его взглядом: не паникуй! Охватившая его попервоначалу растерянность прошла, он сообразил, что Марысев там явно перегибает без него, а он сейчас все исправит. И потому, взяв свата за тощие плечи, он оторвал его от узла, повернул к себе и, с пристальным спокойствием глянув в глаза, проговорил с командирской твердостью:

— Ну, вот что! На всяку беду страха не напасешься. Промеж сохи и бороны не схоронишься. Так что бежать вам никуда не надо. Понял меня?

— Боже мой, Леонтина, он наивный романтик, — вытаращил изумленные глаза на Гаврилу Матвеевича пан Игнаций. Не поняв слов, а только почувствовав в них что-то для себя обидное, Гаврила Матвеевич нахмурился и решенно рубанул:

— В общем, велосипед и часы — вернут!

— Не надо.

— И ферму не отымут, не бойсь.

— Не надо, — твердил пан Игнаций, и выпученные глаза его за толстыми стеклами очков выражали холодную неприязнь.

— Миленький, пожалей внучат своих, отпусти нас, на мешай, — вдруг повалился к ногам Гаврилы Матвеевича пан Игнаций, уговаривая. — Не спасешь ты нас, помешаешь. Ехать нам надо поскорей. На стройку куда-нибудь... Затеряемся. А ферма им пусть...

— Что ты, сват... Разве я худа хочу, — отшатнулся Гаврила Матвеевич. — Дело ваше... Я ведь чтоб помочь...

— Тогда запрягай лошадей, — поднялся пан Игнаций и накинулся на зятя, продолжавшего стоять столбом. — Чего ты, чего стоишь?! Собирай инструмент... Деньги... Где деньги?

— А я же... это... Кредит погашал, и налог...

Гаврила Матвеевич не дослушал, что у них там с деньгами. Ошарашенно вышел из избы, туго соображая, что произошло, почему он поддался этому паникеру? Ведь знал, что сват путает все, трусит, а он ему потакает, выходит. И вот ведь уди-

вительно, что заметил Гаврила Матвеевич в себе — осуждая на словах свата, он, тем не менее, торопился запрячь лошадей, понукал их, чтоб быстрее. Неужто согласился с ним? Запряг в фургон пару лошадей и подал повозку к крыльцу. Тут же из дверей выкатился и скатился узел, а за ним вышли пан Игнаций с вещами, Леонтина с детьми и Николай с ружьем на шее, нагруженный свертками и сундучками. Николай и пан Игнаций еще раз сбежали в избу и принесли постель, одежду; Гаврила Матвеевич оттащил воротца и увидел — поздно: по лесной дороге, запирая ее, к ферме резво ехали, стоя на телегах, мужики и парни. Увидев груженный фургон, они засвистели, поддали лошадям кнута и влетели во двор со свистом и гиканьем, посыпаясь с телег, окружая беглецов.

— В самый раз зацапали!— крутил головой торжествующий Митька Бобков. Короткий и длиннорукий, он сызмальства был заядлый драчун, и сейчас, по-петушину шагая по двору, приказывал забирать для колхоза и грузить на телеги плуги и бороны, стогнать скот. Распорядившись, попер на Николая, стараясь сорвать с шеи ружье.— Отдай ружье! Отдай, живоглот, кулацкая морда!

— Не трожь!— отталкивал его Николай.

Пастушеские овчарки, до этого момента ворчливо похаживающие среди людей, увидев, что хозяин в беде, с грозным рычанием бросились к нему на помощь. Кто-то завизжал. Ревом зашлись дети. И вдруг выстрел, второй. И третий, прервавший предсмертный скулеж. «Кто стрелял?»— рванулся в толпу Гаврила Матвеевич. Увидев перед трупами собак молоденького милиционера с наганом, с лета смазал его по морде, а другой рукой вырвал наган, забрав:

— Ты что делаешь, сопляк! Ты с кем воюешь!

— А ты кто такой?! Отдай наган!

— Председатель сельсовета наш,— шепнули милиционеру.

— А мне хоть кто. Он ударил меня. Отдай оружие!

— Сопротивление властям,— кричал Бобков.— Кулака защищаешь!

— Чать отец он,— выкрикнул женский глос.

— Тоже наживается с фермы,— послышалось с другой стороны.— Пьют нашу кровушку.

— Это чью кровь я пью? Твою? Или твою?— поворачивался Гаврила Матвеевич, заглядывая в глаза. Только попусту. Перед ним была молодежь из той поросли, которая не знала, как он махал шашкой, завоевывал им свободу, зато понимала сейчас, что он мешает забрать имущество, а потому, умерив азарт, парни и молодые мужики выжидающе молчали, поглядывая исподлобья.

— Отдай наган, хуже будет!

Милиционера он не слышал, стараясь докричаться до людей:

— Я кровь свою проливал за вас. Вот она, отметина,— наклонил он голову, чтобы увидели шрам.— И расстреливали меня дважды за Советскую власть. И сына моего искалечили басмачи. Вы же сами его хромым прозвали, забыли — из-за чего он колдыбается? Да вы что же делаете, люди? Разве же не видели, как они из дерьма эту ферму подняли. Своими руками...

— Отдай наган!

— Своими руками не наработаешь столько добра,— выкрикнул Бобков.— А за сопротивление Советской власти поплатишься, Гаврила.

— А я кто вам?

— Подкулачник.

— Да чего с ним говорить?

— Наган у него.

— Ой, батюшки, что будет...

— Ти-ха!— оборвал выкрики Гаврила Матвеевич, и в образовавшейся тишине послышался дрожащий от волнения голосок комсомольского вожака Петьки Теркунька:

— Ты, Гаврила Матвеевич, скажи Марысеву, он нас послал. Решение зачитал, кому кого раскулачивать. Еще из района начальник, который с ним приехал,— кивнул он на милиционера,— инструктаж проводил, чтоб не жалели классовых врагов.

— Боже мой, мы опять враги,— вздохнул пан Игнаций. Сидя на последней ступеньке крыльца, погрузив во всклокоченные волосы свои длинные пальцы, он смотрел себе под ноги и тихо покачивался туда-сюда.

Николай топтался у стены дома и затравленно озирался, придерживая ружье. Этот еще может бед натворить, подумал Гаврила Матвеевич и, подойдя к нему, забрал оружие.

— Ждите меня здесь, я сейчас вернусь,— пообещал он и кивнул милиционеру:— Поедем в сельсовет.

Обернулся к Леонтине — она с детьми сидела в фургоне на узлах. Василек трясся в ее подоле, а заплаканная Марийка прикосалась головкой к лицу матери,

и обе смотрели на окружавших людей широко открытыми, изумленными глазами со скорбью и терпением во взорах.

— Они не тронут вас,— сказал Гаврила Матвеевич невестке и, отыскав взглядом Петьку Теркунька, распорядился:— Останешься за старшего. И чтоб до моего возвращения волос не упал. Нашли кого раскулачивать, мать вашу за ногу!

Он завернул чью-то лошадь, запрыгнул на телегу и погнал в Петровск. В ту же телегу, догнав, запрыгнул милиционер.

— От-д-дай наг-ган,— кляцкал зубами от тряски милиционер.

Гаврила Матвеевич оглядел его, трясущегося на днище телеги, и кинул ему наган и ружье, чтоб не мешали править лошадей; гнал ее, шлепая вожжами по крупу и устрашая голосом:

— Но-но! Н-но, скотина!

— От-тве-тишь, за соп-про-тив-вле-ние влас-тям,— грозил милиционер.— Не царские в-вре-мена, чт-тоб б-бить нар-род.

Тут промашка вышла, соглашался Гаврила Матвеевич. И как зацепил его? Марысев не упустит такой случай. Ох, этот Марысев... Ситин привез его для пролетарского надзора в тот зимний приезд. Попервоначально помалкивал больше, привыкал. О себе говорил, что рабочим был на маслобойне, а народ помнил и приказчиком. Гаврила Матвеевич не поднимал этот вопрос: мало ли кто кем был. Важно — кем стал. Глаза его смущали: стоялые какие-то. Смотрит и не моргнет, даже бровью не поведет. Ситин приказал партейцам избрать его секретарем партячейки, но когда на собрании попросили его рассказать про жизнь — обиделся; скинул пиджачишко, сбросил рубашку и выставил напоказ шрамы:

— Вот моя биография! Тут пуля немецкая, здесь осколок из-под Царицына.

— А дырка на спине? Бегал, что ль, от кого?— поинтересовался Яков Торец, которого сменял Марысев, и ухмыльнулся беспечно. Дорого он заплатил потом за этот вопрос.

— А на спине — потому что кулачье в спину стреляло, когда брали хлеб для голодающего Питера.

Биография понравилась. То, что в приказчиках был, тоже устраивало всех — порядок наведет в бумагах. А то смещенный ими Яков Торец, кавалерист и лихой рубака из двадцать пятой Чапаевской дивизии, все больше митинговал, призывая разгромить мировой капитал, и запустил переписку. Марысев же с утра до ночи горбился за столом, скрипя пером; что-то пересчитывал, бойко гоняя туда-сюда костяшки деревянных счетов. Но вот дружбы у них с Марысевым не получилось. Сталкивались по разным случаям, а когда пришло время создавать колхоз — тут же в открытую завраждовали. Гаврила Матвеевич предлагал собрать в колхоз все создавшиеся в селе за время нзпа артели, товарищества и кооперативы, чтобы были как под одним крылом; Марысев противился его задумке, обвинял в укрывательстве кулаков, требовал разорения их, высылки к чертям на кулички, чтобы не отравляли воздух, а колхоз нацелился собрать из бедняков. И только сейчас, погоняя лошадь, Гаврила Матвеевич понял, что его поездка в область оказалась на руку Марысеву. Ну, ничего, сейчас поговорим, подбадривал он себя, торопясь в село.

Выкатившись на главную улицу, еще издали Гаврила Матвеевич увидел и нутром понял, что опоздал. Все пространство перед церковью, между базарными рядами, с одной стороны, и сельсоветом, располагавшимся в двухэтажном кирпичном доме бывшего купца Ефимова — с другой, было заполнено людьми. Сначала его удивила только людская толкотня; казалось, все петровские как на пасху высыпали из домов на улицу и собрались с лошадьми и телегами перед сельсоветом; но, подъезжая ближе, он еще и услышал необычный гул, похожий на похоронный плач, и все увидел по-другому...

На площади стояла готовая к отъезду колонна повозок с раскулаченными. Охранники — молоденькие красноармейцы с винтовками и несколько милиционеров — держали толпу, не давая ей приблизиться, и их выкрики тут и там прорезали гул прощавшихся людей грозными приказами:

— Не подходь! Не положено!

— А ну, сдай назад!

Народ не понимал, как это не положено прощаться. Он вообще не понимал, что происходит, почему они должны прощаться, по чьей воле, по какому указу обязаны бросать родной дом родные им люди, куда-то ехать под конвоем, как преступники. За какую вину? За чей проступок? И люд роптал... Плакал... Матюкался... Молился...

— ...Вот они, коммунисты, и показали себя...

— ... а Настехе два фунта шерсти отвесь, я брала у ней.

— О чем ты, сестренка...

— А большевики тебе лучше были?! Говорил, не лезь к ним...

— Большевики землю дали. Нэпу объявили. А эти все наизнанку повевернули, суки.

— Но-но, не сучи, кулачья морда. И ты — назад!

— Видал! Каких кобелей вырастили. Не то еще будет.

— ...А Моте Савиной прялку. Ейную забрали у нас сейчас.

— Может, отпустят. Куда вас с пискунами.

— Эх, бабы... отпустят, жди. У них сказано: уничтожить как класс. Значит — всех под корень.

— Танюшку дай. Вырастим племяшку.

— Отдай дочку, Мариша. Куда ты с ней?

— Ой, да как же...

— Не положено! Сдай назад.

— Чего не положено. Родня они. Сестры. Всегда сироты родне переходят.

— Не положено!

— Тиранисты. Разве пожалеют дите. Друг друга скоро жрать начнут, помяните мои слова. Ибо сказано, что посеешь, то и пожнешь. Сеют зло — и пожнут зло.

Говорил старик Копытов — лучший пшеничник на всю округу. В самый плохой год у него полны закрома. С двумя зятьями вышел на хутор, имел трех коров, двух лошадей с жеребенком, пару быков, а еще сорок ульев, которые он ставил на арбу и по ночам на быках перевозил с места на место к медосбору. С этого меда и пшенички твердых сортов Копытовы занимали конную молотилку, которой пользовались соседи за плату зерном, и она-то — эта молотилка — послужила Марысеvu поводом записать его в кулаки, несмотря на все старания Гаврилы Матвеевича отстоять старика. Крепко ругался, доказывая, что если не эксплуатирует батраков, то не кулак. Марысев же тыкал ему какие-то книжки и говорил, что молотилка овеществленный труд, может, сотен пролетариев, на котором Копытов наживается каждую осень.

На другой подводе сидели Мордюковы, задумавшие по примеру Николая держать свиней; дальше — Лузгины, державшие самый большой пай в артельной маслобойке; за Лузгиными — Тарасовы, Бойщиковы, Маслаковы... Вытягивая шею, Гаврила Матвеевич старался разглядеть — кто там дальше. Сквозь гул голосов, плач и стоны до него доносились призывные, требующие особого участия, слова — «сват», «крестный», «братуха»... Они могли быть обращены и к нему — на каждой повозке, считай, сидели те, с которыми прожита жизнь, или те, кого он принимал в эту жизнь, крестил, женил, играя на свадьбах и напутствуя на счастье, с кем работал плечо о плечо на косьбе, на общественных делах, и потому он, стоя на телеге, перемогаая этот обрушившийся на него гул, крутил головой, не зная, к кому первому кинуться на зов. Спрыгнул с телеги и через расступившуюся толпу пошел к колонне.

— Кум! Гаврила Матвеевич! — окликнул его Егор Пасюта, слезая с повозки.

— Сидеть! — приказал милиционер, и растерявшийся Егор полез толстым мужицким задом на телегу, с которой слез, и все просительно глядел на Гаврилу Матвеевича, словно боясь, что он пройдет мимо.

Гаврила Матвеевич охнул, поразившись; а этого-то за что? Одна лошадь, сбруя веревочная. Неужто за Дарью? Взятая из города, его жена Дарья прославилась в Петровском выпечкой лепешек и разной сдобой к чаю, не уступавшей трактирной. Деревенские бабы часто просили ее напечь чайное к сладким столам и так надоели Егору своей толкотней, что он прорубил в стенке стряпной дыру, как в лавке, чтоб все расчеты производились, не заходя в избу. С этой лавочной дырой Дарья стала печь сдобу не только по заказу, но и так просто, для всех, кому вздумается к вечеру полакомится вкусеньким. И вот допеклась, значит, лавошница. Ах ты, боже мой. Что делать-то, вразуми. Встал, и слов нет. Язык отнялся.

— Матвейч, как же это, а? Из-за плюшек, будь они прокляты. Она все! — размахнулся и кулаком смазал ревеvшую рядом жену, от чего та еще пуще зашлась. — Говорил, не пеки.

— Про-о-сят ча-ать.

— Матвейч, тулуп хоть отдайте. Ребятишек накрыть, пока землянку там вырою.

— Могилу там выроешь, — бурчал с другой повозки Корнев.

— Не пужай, деда. Сибирь бо-ольшая, а хозяин — медведь, — лихо крутил головой его внук Сережка, сочинитель частушек и гармонист. Подмигнул стоявшим перед их телегой девчонкам:

— Кто со мной, декабристочки? Садись, пока место есть. Проезд бесплатный, харчи казенные. Поедем поглядим, не понравится — сбеем.

— Пуля догонит, — смеялся охранявший их телегу красноармеец, стараясь понравиться хлюпавшим девчонкам — что тоже заметил Гаврила Матвеевич, поразившись, как все соединяется в одном человеке. Ведь, кажись, должен понимать, к какому делу приставлен, что творит, а он даже думать не хочет, скалит зубы.

Кивнув Пасюте раз и другой, что значило — мол, понял и сделаю все, что в силах, он двинулся через толпу, раздвигая народ, как подсолнухи, к тому месту, где высился над головами черный и незрячий лик Екатерины Филипповны, матери его закадычного с мальчишеских лет дружка Иустина Губачева; увидел и его. Иустин был связан по рукам, завернутым за спину, сидел на телеге, свесив голову к подъятым на бортах коленям, и по пьяному бормотал проклятья и матерщину. Рубаха его была разодрана так, что через образовавшуюся прореху виднелась могучая волосатая грудь; на ней вздымался и опадал медный крест с изображением распятого Христа и с памятной Гавриле Матвеевичу вмятиной от пули. По бокам Иустина сидели его сыновья — бородачи Левка и Матвей, тоже в разодранных рубахах, с садинами на лице и на связанных руках. По другую сторону телеги располагались их жены с грудниками на руках, а между спин родителей и бабкой с иконой на коленях теснилась ребятня постарше, выглядывая на окружающих их людей испуганными глазенками. Не зная, что произошло, они все же, увидел Гаврила Матвеевич, поняли, что случилось с ними что-то похуже на смерть. И это их понимание видели все стоящие в толпе, а потому плакали, прощаясь, как с живыми упокойниками, расставаясь навсегда.

— Иустин!

— Не подходить! Стой там и говори,— оттолкнул Гаврилу Матвеевича усатый милиционер и тут только увидел орден на его комсоставской гимнастерке; смутившись, добавил:

— Не положено, товарищ орденосец.

Гаврила Матвеевич опешил: как это — не подходить? К Иустину-то?! Оглянувшись, ища поддержки у людей, а они все стояли такие же растерянные, обескураженные: мужики прятали глаза от стыда за свое бессилие, бабы, наоборот, смотрели во все глаза, вбирая в себя дорогие черты, и плакали кто с голосом и причитаниями, а кто уже беззвучно, только роняя слезы или подбирая их мокрыми концами платков.

— Проводить пришел,— расхохотался Иустин, подняв голову, и в глазах его сверкнула насмешливая ненависть.— А сынка своего спрятал от раскулачки. Нами прикрылся.

— Ты что, Иустин?— дернулся Гаврила Матвеевич, как от удара, а сам понял: поделом. Он лично, обрадованный успехами Николая, подбил Иустина организовать с сыновьями бондарную артель. Бочки, шайки в каждом доме нужны, сбыв обеспечен. Делали еще сани, салазки, гнули дуги. Забогатели. А вот теперь расплата за богатство. Только как же это можно? Ведь хвалили их, кредиты давали. Вспомнил он Леонтину. Как у них там? Спасать надо, спасать их всех...

— Иустин!— гаркнул на него Гаврила Матвеевич так, что шум притих и дальние поворачивали к ним головы, передавая из уст в уста: «Гаврила приехал... Гаврила...»

— Чего — Иустин? Был Иустин, да весь вышел. Извели нас большевики. Под корень вдарили. Но попомните наши слезы, отольются они вам. Не может быть того, чтоб не отлилось. Бог все видит. Думаешь, церковь закрыли — так нет его?

— Прекратить кулацкую пропаганду,— оборвал его усатый милиционер, хватаясь за кобуру.

— Стрелять будешь?!— уставился на него Иустин, поводя плечами.— На, стреляй. Сюда уже палили беляки. Вон, с ними стояли на яру насмерть, — кивнул на онемевшего Гаврилу Матвеевича.— Ему за тот яр орден дали, а мне осколок в ребра. Теперь пулю давай за то, что жизнь за вас, сволочей, не жалел.

— Не сволочи. Не один ты воевал. И неизвестно, за что.

— Это точно — не знали, — в бессильной ярости крутил головой Иустин, и было в его глазах столько обиды и тоски, что Гаврила Матвеевич, ничего больше не соображая, как пьяный подался к нему, обнял, стиснул и затрясся от рванувшихся из нутра рыданий.

Они плакали. Собравшийся вокруг них народ роптал, усиливая гул недовольства; от других повозок хлынули люди посмотреть, как плачут вожаки.

— Отхлынь!— крикнул усатый и, видя, что солдатики, не в силах сдержать напор толпы, пятятся к телегам, выхватил наган и выстрелил.— Стрелять буду, только шагни!

— Ой, батюшки!

— Всех не перестреляешь.

— А мне одного хватит — крикуна!

Привлеченные выстрелом, в окно сельсовета выглянули командиры. Один из них показал жестом усатому милиционеру, чтобы взял того, который обнимает раскулаченного, и привел наверх. Понятливо кивнув, милиционер постучал стволем нагана по широким, как дверь, спине Гаврилы Матвеевича:

— Ну-ка, пойдём, дядя. Зовут наверх.

— Прости, Иустин. Не углядел я вперед. Плохим командиром для вас был.

— Ты прости, Гаврила.

Сидевшая за спиной Иустина мать, слепая и черная лицом, протянув руку, нащупала их головы, потеревила волосы, как в детстве, одному и другому, а потом перекрестила их. Гаврила Матвеевич оторвался от Иустина, потроекратно поцеловал Левку и Матвея и зашагал к сельсовету, сопровождаемый милиционером, который еще не знал, как обращаться с орденосцем в комсоставской гимнастерке и галифе, но на всякий случай не прятал в кобуру наган.

Проходили мимо повозки, на которой сидел мельник Цицеров с молоденькой беременной женой. Увидев Валдаева, сопровождаемого милиционером с наганом в руке, Цицеров торжествующе ослабился и крикнул ему вслед:

— Завоевал Советскую власть! Всех пересажаяют, дурачье. Начали с мельницы, а дойдут до курицы, чтобы убить в вас микробу частного капитала.

И расхохотался, довольный.

— Папа,— догнала и вцепилась в его руку Галинка. Глаза мятущиеся, заплаканные. Хлюпая, еле выговорила:— Это как же?

— Тимофей где?

— В колхозе. Записались мы. На общем дворе добро принимает,— сказала стыдливим шепотом и скосила глаза на подводы с раскулаченными.

Он глянул на нее с укоризной, хотел сказать — какое это «добро», но тут его поторопил сопровождавший милиционер.

— Шагай, шагай.

Только сейчас Гаврила Матвеевич увидел, что идет под конвоем. Это он-то! Кровь ударила в голову.

— А ну пошел отсюда к...— заматерился он так, что Галинку унесло в толпу, а милиционер распушил усы, ощерясь:

— Не больно-то пугай, начальник. Еще не знай, куда сам пойдешь.

Развернувшись, Гаврила Матвеевич зашагал к крыльцу, наполняясь решимостью показать Марысеву Советскую власть. Ишь вздумал чего — хребты ломать. Не позволю! Значит, что надо? Прогнать из села милицию и войска, а раскулачивание провести самим, решив на сходе, кто того заслуживает. Оно и это не по-людски,— поморщился он, представив, как будет говорить тому же Цицерову, что он не может оставаться в Петровском. Отними мельницу, да и все. Пусть живет как может, не пропадет. В общем, надо отстоять мужиков! Отбить, и все! А там докажем свое. Сам поеду к Калинин. До ЦК дойду!

Утвердившись в таком своем решении, он взошел на крыльцо сельсовета, напоминавшего сейчас полковой штаб многолюдьем и суетой: подъезжали и уезжали конники, кто-то кричал по телефону, отыскивая Дворкина — должно быть, начальника станции, туда-сюда шныряли люди, свои и чужие, ликом разные, а все равно как на одно лицо. Эту похожесть придавала их возбужденная деловитость, а еще азарт, как при игре на большой выигрыш. Такие лица он уже видел у парней, тащивших Колькино добро. Здесь народ был постарше, но тоже встретил его с выжидающей настороженностью, стараясь определить, с ними он или против пойдет из-за сына.

— Мужики, чего творите? Голова есть? Или тыквы под шапкой?

Ослабившись в ухмылке, молчали. Ну-ну, мол, дуй дальше, поглядим, какой герой.

— А ты другой приказ привез?— спросил Иван Якимов и, шагнув к нему, громынул деревяшкой вместо ноги.

— Как-кой приказ? Нет приказа раскулачивать простых крестьян. Кулак тот, у кого работники, батраки. А вы забрали кого?

— По списку,— смутился Иван и оглянулся, ища поддержки. Бег по коридору прекратился, и вокруг них стал собираться народ. Кто-то вытащил кiset и зашуршал бумажкой, сворачивая козью ножку. В глазах еще держалась ухмылка: мол, знаем, чего шумишь.

— А читать не умеешь, кто там в списке?— прицепился к Якимову Гаврила Матвеевич.— Кто составлял список?

— Марысев.

— А ты где был?

— А я — что?

— Ах ты, боже мой,— развел руками в беспомощном отчаянии Гаврила Матвеевич и шлепнул ими по бокам.— Иван, тебя ж как умного для со-ве-та выбрали в сельсовет. Что ж ты не советовал по-умному?

— А думаешь, спрашивали?

— А ты чего ждал, не спросил его, кто там и за что? Может, самого записали.

— За что?

— За деревянную ногу,— подсказал кто-то, смеясь.— Каждый год по сапогу бережешь.



— Другой раз запишут,— поддержали шутку.

— Кто «за» голосовал?— допытывался Гаврила Матвеевич.

— Так это... не голосовали вовсе,— разволновался Иван.— Утром задание дали и солдат в подмогу. Ну и пошли по дворам.

— Тогда незаконно. Без голосования — произвол! Отменяется раскулачка. Освобождай шабров!

Мужики тяжело заворочались, озадаченно переглядываясь, озираясь на дверь. И она, ведущая в комнату председателя сельсовета, где собрались сейчас возглавлявшие раскулачивание начальники, словно от их взглядов стала открываться со скрипом в установившейся тишине.

— Это что за митинг?— послышался резкий, командно-угрожающий голос.— Кто разрешил? Провокация?! Взять!

— Это кого ты будешь брать?!— повысил голос Гаврила Матвеевич и вытянул шею, стараясь увидеть за спинами мужиков говорившего. Мужики раздвинулись, и он увидел обидчика — Ситин, невысокий росточком, потому и не видный из-за спин, в отлаженном пиджаке, в начищенных до блеска черных туфлях, он, тем не менее, был невзрачный, серенький, но колот острыми глазками, лез в драку, чувствуя за собой силу,— это сразу понял Гаврила Матвеевич, как и то, что пощады ему не будет от такого зверька.

— Кто такой?

— Председатель сельсовета. А ты... забыл?

— Который с кулаками целуется,— оборвал его Ситин.

— Целуется с красными партизанами и красноармейцами железной дивизии товарища Гая,— громко, заполняя дом голосом, ответил Гаврила Матвеевич и пошел на него, заставив отодвинуться с пути — победа маленькая, но вдохновившая, и он загреб рукой, призывая:— Заходи, мужики. Разберемся.

— Не так громко, партизан. Чего раскипятился? Опоздал, да еще шумишь,— улыбался ему председатель РИКа<sup>1</sup> Вершной, полный и рыхлый молодой мужчина во френче.

Вершной крутил в руках Колькино ружье и, видимо, слушал донесение милиционера, которого Гаврила Матвеевич так неожиданно ударил по лицу. Топтался здесь и усатый милиционер, выслушивая указания сидевшего на деревянном диванчике у окна районного военкома Лозового. За председательским столом сидел Марысев — положив руку на счеты, подбивал итоги раскулачки, понял Гаврила Матвеевич по бумажкам на столе и в руках обступавших его активистов, на лицах которых держалось уже знакомое выражение азарта. Увидев Валдаева, Марысев откинулся на спинку стула и, с досадливым прищуром глаз, ждал, как повернутся события. С примиряющим радушием Вершной обратился к Гавриле Матвеевичу и Ситину:

— Вернулся, наконец. Лев Израйлевич вас спрашивал. Здорово, богатырь.

Он крепко пожал руку и говорил так душевно, что словно бы требовал от всех отбросить обиды и протянуть друг другу руки, но Ситин не протягивал свою, держал за спиной и, пригнув голову, не сводил придирчивого взгляда с Гаврилы Матвеевича. Так что ему осталось только кивнуть головой.

— Гаврила Матвеевич, наш бывший командир петровского отряда,— представил его Вершной, несколько смущенный такой встречей. И совсем нелепо добавил:— Председатель сельсовета.

— Тоже бывший?— прервал Вершного Ситин и, уловив удивление на лицах наполняющих комнату мужчин, жестко пояснил:— Уверен, наш народ не захочет держать в председателях держиморду. А он только что человека по лицу кулаком! Милиционера разоружил!

— Сына защищает,— подсказал Марысев, как плеснул керосина в огонь.

— Он у него кулак: три лошади и сорок голов скота.— Увидев у кого-то осуждение во взгляде, Ситин накинудся на мужиков:— Что, пожалели?! А они вас жалеют, когда задарма скупают телят? Они тыщи наживают, велосипеды себе покупают и граммофоны, чтоб поплясать, пока вы пухнете с голоду.

Гаврила Матвеевич открыл рот, не зная, кому ответить. И возразить надо, что «не задарма», а по цене, и что не три лошади, а две — третий жеребенок, и что ферма у них на паях, на личном труде и... Много еще требовалось сказать, но Ситин не дал ему говорить, заявив с понимающей ухмылкой:

— Вот почему митинг устроил! Малосознательных подстегнуть...

— Чего собрались? Делов нет? — Марысев сорвался с места и пошел на мужиков, тесня их из комнаты.— А скот согнали? А зерно? Пасюта, тебе чего сказано?

<sup>1</sup> РИК — районный исполнительный комитет.

Баврико, Хомик, вы-то чего тут? Все по местам. Пошли, пошли, пошли! Без вас разберемся.

— Стой, мужики!— воспротивился Гаврила Матвеевич.— Он уже разобрался без вас: полсела в кулаки записал. Ишь как заговорил!..— И обернувшись к Ситину:— А ты разберись, если секретарь. По морде съездил — так он собак пострелял. А наган отнял, чтоб не натворил беды. Сам-то знаешь, кого тебе в список для раскулачки вписали? С народом поговорил? Да он тут такое...

— Список составлен, как губком велел!— кричал Марысев.— И рассмотрен на ячейке.

— Не видел. И не знал,— отбивался от недовольно загудевших мужиков Иван Якимов.

— Тихо, тихо,— пытался навести порядок Вершной. Он хмурился, потрясал ружьем, но его никто не слушал, и вообще никто никого не слушал, стараясь перекричать друг друга.

— Махотин, отправляй!— приказал военком усатому милиционеру, кивнув на окно, за которым было видно, как толпящийся народ поглядывал на окна сельсовета.

— Не все еще...

— От-прав-ляй!— процедил военком сквозь стиснутые зубы, грозно сверкнув глазами, и Махотин, боязливо обойдя Гаврилу Матвеевича и бушевавших с ним мужиков, скользнул за дверь.

Выдержав обрушившийся шквал криков, Ситин поднял руку, требуя тишины, и обратился к милиционеру:

— Собаками травили?

— Ну да,— закивал тот. — А потом он наган отнял, а у сына — ружье.

— Незаряженное,— заметил Вершной, переломив ружье и заглядывая в пустые стволы.

— А, так ты видишь это...— вырвал у него ружье Ситин, сомкнул и поставил стволы на Вершного, потом на оттесненных к двери мужиков.— А ты? Ты?

Мужики смущенно топтались, не зная, кому тут верить. Ведь и правда, сомлешь под ружьем.

— Сбежать хотел с награбленным,— торжествующе хохотнул Марысев и накинулся на Ивана Якимова.— А ты уши развесил, пожалел бедненьких.

— Да-к я ить... это...

— Тогда пошли, пошли. Нечего тут митинговать.

— Стой, мужики. Разберемся,— старался удержать их Гаврила Матвеевич.

— Разобрались уже. Эсер он,— мстительно заметил Марысев, не сводя глаз с Гаврилы Матвеевича, как бы припирая, чтобы не выкрутился.

— Как... эсер?— наигранно удивился Ситин.— Говорили, партиец.

Он протянул руку — жест, который можно было понять как требование показать партбилет. Под его пристальным немигающим взглядом Гаврила Матвеевич расстегнул карман гимнастерки, достал аккуратно завернутую в клеенку книжицу, подал Ситину. Тот сбросил на пол клеенку, как ненужную шелуху, и когда Гаврила Матвеевич подхватил ее на лету — усмехнулся. По этой усмешке с удовлетворенно блеснувшими огоньками в глазах, Гаврила Матвеевич понял, что не надо было отдавать партбилет.

— С какого года в партии?

— С девятьсот третьего.

— Тут написано — с девятнадцатого.

— В большевиках, а в партии революционеров с девятьсот третьего.

— Теперь понятно все,— многозначительно посмотрел Ситин на Вершного, сурово сдвинувшего брови и обиженно поджавшего губы, на военкома, который, глянув в окно, тут же побежал из комнаты.

— Что тебе «по-нят-но»?— передразнил Гаврила Матвеевич, поняв, что все же сорвался, его понесло и удержать он себя не сможет. Пришло шальное — и пусть! Теперь уж пан или пропал. Ведь без Кольки и Иустина ему больше не жить в покое, а тут еще есть надежда нахрапом взять, и он сверкнул на Ситина взбешенным взглядом:— Ну, эсер. Других тут у нас не было. Народники да эсеры. Кадеты потом. И все боролись с царем за свободу, за светлое будущее. А ты нам вон какую свободу приготовил,— ткнул он пальцем в окно, за которым усилился гул.— Только не выйдет у тебя ничего. Слышишь! Только сдвинь телеги — сейчас же в Москву поеду!

— Это каких «других» у вас не было?!

— До Сталина дойду. Он вспо-ом-нит меня.

— Намекает, что не было большевиков. Что эсеры тут революцию затевали. Все слышали? Да он — троцкист!

— Поплатишься, дуболом. Тебя не за тем сюда присылали, чтоб Советскую власть уничтожить.

— И вы держите его в партии?

— Раскрылся, подкулачник. Исключим!— заверил Марысев.— Он давно тут воду мутит.

С улицы донесся усилившийся гул толпы, слышались резкие, как удары кнута, команды и крики конвоиров. Гам в комнате смолк, и мужчины обратили взоры на окна: что там, на улице?

Щетинясь штывками, колонна с раскулаченными тронулась, а вместе с ней двинулась людская масса провожающих и забурлила, взвыла похоронным плачем, забилась в судорогах безраздельного отчаяния, ударились в истошный крик прощального зова и мольбы. Тысячи глоток разом исторгали свою боль, и она, рванувшаяся наружу, свилась в единый стон.

...Стон все прибывал, усиливался и, как поток, захватывая каждого на своем пути, проник в комнату сельсовета, заставил захрипеть Ивана Якимова, приканды-бавшего к окну.

— А-а... что ж это, а? А?— озирался он.

Якимову не ответили. Держа в руках партбилет, Ситин отошел в угол, настороженно прислушиваясь к гулу за окнами; поблекший Вершной все еще таскал с собой незаряженное ружье и топтался между Ситиным и Гаврилой Матвеевичем, припавшим к окну. Марысев отошел к председательскому столу и, встав за ним, проверил наган — хорошо ли выдергивается из кармана штанов. Напряженно взвинченный его взгляд упирался в спину Валдаева, закрывшего другое окно. Толкавшиеся здесь мужчины убежали на улицу.

Гаврила Матвеевич тоже застал, а потом и ослеп на миг, когда увидел в конце колонны пристроившуюся новую пару знакомых лошадей — Колькиных. Когда ударившая по глазам слепота прошла и он, тряхнув головой, вновь уставился в окно, то увидел на продвинувшемся фургоне своего сына с закрученными назад руками, Леонтину с детьми, пана Игнация. Повернулся к Ситину, протянув угрожающе:

— Во-о ты как!

Ситин побледнел и внутренне собрался. Стараясь не показать своего волнения, он молча прятал в карман его партбилет, показывая всем видом, что к хозяину он не вернется никогда. Ждал этого Гаврила Матвеевич, и все же содрогнулся, почувствовал, как в нем оборвали какую-то питающую силой жилу.

— И орден надо забрать,— подсказал Марысев и пошел на него.— А ну снимии!

— Тебе... орден? Ах ты контра...

Ярость и кровь ударили в голову. Гул на улице, и слова про орден, и эта охватывающая его ярость отбросили Гаврилу Матвеевича в ту памятную атаку, когда в грохоте выстрелов, предсмертном храпе и вое, в звоне стали о сталь столкнувшийся с ним конь о конь есаул достал его клинком, а он потом, вынырнув из-под коня, окровавленный, тянул его вниз, добираясь до глотки. И сейчас взметнулись вверх руки... Наган в лицо... Успеть! Враги... Бей! Уу-у...

Вытаращив глаза и бессмысленно вытягивая руки к потолку, он закружился под дулом наставленного Марысевым нагана, схватился за голову и от дикой боли в том месте, где белела незащищенная костью впадинка, вдруг подогнулся и грохнулся на пол, как мертвый.

— Он раненый,— сказал Вершной Ситину.— При волнениях всегда так...

Ситин промолчал. Держа в руке плоский пистолетик, он поиграл им, как бы взвешивая, и отправил в карман пиджака.

— Отойдет сейчас.— Марысев тоже спрятал наган и, склонившись над Валдаевым, стал расстегивать гимнастерку.

— Не трожь командира, сука!

Марысев оглянулся — Иван Якимов встал с табуретки у окна и, захватив ее за ножку, пошел на Марысева, матерясь:

— Не ты давал орден и не тебе сымать.

— Я... ворот расстегнуть. Чтоб свободней дышать,— растерялся Марысев.

— Надышались вашей свободой,— пробурчал Иван, покосясь на окно, за которым отдалялся гул плача. Вытянув ногу с деревяшкой, он сел на пол и положил голову Гаврилы Матвеевича себе на другую, подогнутую ногу; уставясь на его бескровное лицо, ждал возврата сознания и ныл, роняя слезы в щетину бороды.

Марысев пришел в себя от неожиданного отпора Якимова, и зрачки его глаз превратились в колкие точки. Ситин не одобрил его злости, гримасой осудил — не цепляться же к мужику!— и кивнул: пошли. С внутренним облегчением, что трудное дело сделано и все неприятности позади, он перешагнул через ноги Гаврилы Матвеевича, толкнул дверь, направляясь вниз, а за ним, словно сплывавшись, поспешил Вершной с ружьем в руке; за ними пружинисто-подобранно шагал Марысев.

Зареванный, с грязными потеками на лице, мальчишка-ездовой подал к крыльцу рессорную коляску, на какие ставили пулеметы, превращая их в тачанки. Застоявшиеся кони били копытами и, озираясь, встряхивали гривами, готовые сорваться и лететь под треск и свист. Вершной колыхнул коляску, усаживаясь. Он не поднимал глаз и, поставив между ног ружье, невидяще глядел в черноту сдвоенных стволлов. Ситин повеселел. Прощаясь с Марысевым, он приказал ему не распускать слюни и жестче проводить пролетарскую линию. Затем он легко поднялся в коляску, сел на заднее сиденье, взявшись раскинутыми руками за бортики, и со свистящим шепотом бросил вознице:

— П-шел!

Тройка понеслась по улице в противоположную от уходящей колонны сторону, в Драбаган, где в этот день тоже, как и в других селах, проходило раскулачивание и где новому секретарю райкома надо было самолично побывать.

Проводив начальство, Марысев поднялся на крыльцо под красным флагом и с высоты его малых ступеней оглядывал оставленное ему во владение пространство, которое все расширялось по мере удаления пылившей тройки и уходящей из села колонны. После недавнего истощного воя здесь становилось тише, тише, словно с колонной навсегда уходила вся деревенская колготня.

## 6

По собственному двору Гаврила Матвеевич прошел с предосторожностью, взгромоздив на плечо корзину — чтоб если и видел какой соглядатай, так понял бы, что занят хозяйством. За крыльцом большого дома была маленькая дверца, ведущая в полуподвальную кладовку, где хранили картошку, держали бочку с квашеной капустой и разную рухлядь.

В подклети, кроме отсека с отгородками для картошки и пустыми бочками, была еще одна клетушка, которая отводилась под мастрескую Гаврилы Матвеевича. В ненастные дни, прячась в этой мастерской от фининспектора и доносчика, он валял валенки для своей родни, а случалось — и для продажи где-нибудь подальше от Петровска. После замужества Василисы и поселения в их доме Зыкова Гаврила Матвеевич напрочь забросил валку, и мастерская его превратилась в кладовку, где с его инструментом хранился всякий хлам, который и в доме лишний, и выбросить жалко, а потому долеживал свой век.

В кладовке горел фонарь, заполняя ее чадом сторевшего керосина. Поправив фитиль и усилив свет, Гаврила Матвеевич увидел Леонтину. А разглядев ее, застонал, осел на чурбак. Ведь помнил ее гордой красавицей, а увидел седую старуху с провалившимся беззубым ртом. Смотрел на нее и не верил, не хотел верить, что их коснется общая судьба. А она коснулась безжалостно, не позволяя протестовать и даже просто плакать — чтобы, не дай бог, не услышали соседи.

Она лежала, укрытая сшитым из лоскутков одеялом, и как-то очень неудобно для сна держала вытянутой рукой столбик у изголовья. И опять Гаврила Матвеевич не удержал слезу — вот ведь какой стал мокрый, — вспомнив, что эта кровать ей памятна потому, что на ней с Николаем они спали в пристройке до той поры, пока не ушли на хутор. И медовый месяц провела и Василька родила на ней. Вот и вцепилась рукой за приметочку.

Ему та кровать тоже была памятной, на ней лежал, когда с того света возвращался — после раскулачивания. На другой день приехавшие за ним энкеведевцы, как говорила потом Галинка, долго дергали его, щипали, кололи иголкой и, не приведя в чувство, решили оставить подыхать, уехали, забрав с собой орден. Спасла Лидолия, пришла из леса, лила в рот какой-то воды, а когда очнулся — опять уснула и подпаивала так, чтобы спал и спал. Он и сам знал, что его спасенье в сне, а потому с охотой дурманился, чтобы подальше уйти от того жуткого дня, порушившего всю жизнь. Вспоминать его было опасно — всякий раз он словно бы получал кулаком по голове и вновь проваливался в черную яму, откуда можно было выбраться только с забвением случившегося. И старался забыть все.

Не мог лишь понять охватившей дом тишины. Она была неестественной для поры, когда солнце бьет в окна, завешенные шальями. Он даже подумал, что оглох, но ходики слышал четко и кудахтанье курешек за окнами... Не слышал жизни села: звона кузни, стука топоров в бондарной у Иустина, топота лошадей, людского гомона — всех звуков, наполнявших село, когда он был здоровым. Да он и сейчас не чувствовал себя больным — только ослабшим если...

Поднялся с постели — получилось. Держась за что придется, тихонько, чтоб не разбудить внучатку, вышел из избы, пригляделся к селу, узнавая его и не узнавая его. Вроде бы то же, и не то. Обезлюдело. Притихло. Поджалось. припряталось. На

главной улице, на которую раньше глянь — и увидишь, как кто-нибудь едет или идет, не было ни души.

Не помнил, как оказался на ней. Прошагал до сельсовета, не встретив никого. У крыльца его догнала Василиска и повисла на руке, чуть не опрокинув:

— Дедусь, ты куда? Тебе нельзя вставть. Домой пойдем, — тащила его назад, но он упирался:

— Погоди, в сельсовет зайду.

— Без штанов?

— А-ах ты, — заметил он, что в исподнем, но тут же забыл про это, всматриваясь в окно сельсовета и не понимая, почему это внучатка говорит ему, что нет больше сельсовета.

— Как нет?

— Не тут он, вон там, — показала Василиска на задворки дома, над парадным крыльцом которого висела свежеструганная доска с надписью — Колхоз «Красный Октябрь».

Он все-таки заглянул в сельсовет на задворках. В маленькой комнатке, перестроенной из кладовки, за столом сидела беременная молодка и вязала платок. Увидев Гаврилу Матвеевича в исподнем, она смутилась и стала говорить, что в сельсовет теперь никто не ходит, вот ее и посадили тут. Она стала вылезать из-за стола, выдвигая свой живот, и Гаврила Матвеевич махнул ей: сиди, мол. Она еще что-то говорила, но он не слышал ее слов. Все не мог привыкнуть к мысли, что нет больше Советской власти. И ему нет места в этом живом мире, что в тот день не просто раскулачили его дружок — арестовали и свезли сына.

В подклеть полез кто-то неосторожный и загремел ведром — Леонтина тут же проснулась и повела встревоженным взглядом, выжидаяще уставилась на свекра.

— Зыков, наверное. Муж Василисы грохочет, — успокоил ее Гаврила Матвеевич и, когда она поднялась с кровати, обнял ее тельце, оказавшееся тощим и легким, как пустая корзина.

Пришли Василиска, Зыков и Галина с Тимофеем. Женщины заплакали сдавленным мычанием, Тимофей закурил и стал затягиваться раз за разом, Зыков жмурился и водил туда-сюда испуганные глазки. Гаврила Матвеевич шепнул ему, чтоб успокоился, что они его не подведут — не маленькие, понимают.

Галина принесла с собой узелок с едой, попыталась рассказать о Сашке, но Гаврила Матвеевич отодвинул ее к мужу и, требовательно глянув на Леонтину, приказал:

— Говори.

В больших глазах ее открылась безысходность и тоска.

— Как можешь, говори.

Она кивнула и зашепелявила. Коротко рассказала о том, как их ограбили сначала на хуторе, а потом на вокзале перед отправкой, забрав все зимние вещи; как ехали стоя в вагоне, чтобы выкроить место для сна детям и старикам; как голыми руками — вооружившись сучками — строили себе первые землянки, чтобы не умереть от холода, а потом помирали в них от голода и цинги. В тот первый год у них померла Марийка. Василек помер уже с ней в бегах, когда она, не дождаввшись возвращения мужа, арестованного за протесты и сбежавшего с мельником Цицировым, решила тоже сбежать, чтобы спасти сына, да вот похоронила в дороге.

— В лесу помер?

Леонтина кивнула. Галина заскулила, ткнувшись к ней, но ее перехватила Василиска, зажимая рот. Так же они зажимали рты, когда увезли убитого Николая.

— Никого не жалеют, — сокрушенно покачивал головой Гаврила Матвеевич, — ни отцов и ни детей. Колю тоже убили... Здесь...

Леонтина в смерти мужа не сомневалась. Но было сказано — и ждала добавления.

— Может, не Кольку, — заметил из темноты Тимофей, и все колыхнулись, поворачиваясь к нему, чтобы услышать обнадеживающие доводы.

— Цицирова-то сразу определили, а второй... Не знай, кто там второй...

— Чего ж не знаем, — вздохнул Гаврила Матвеевич. — Наган-то из сгорона только он мог взять да ты. Больше никто не знал. Значит, Коленька вооружался, от него и смерть принял.

Леонтина слушала, не сводя со свекра напряженного непонимающего взгляда, он стал объяснять:

— Наган у меня в тайничке хранился. Коленька знал да Тимофей. А тут как-то приезжаю с извоза, а по селу энкеведевцы рыщут, ригу обложили и палят. А меня как по сердцу ударило — Колька там. Вот вижу его и все! Вижу — спички чиркает, чтоб огонек разжечь, а солома не загорается, только дымит. А потом, гляжу, повалил дым над ригой. Один выскочил, да тут же смерть принял — Цициров оказался, опознали. Второй сгорел, а прежде пулю себе пустил из нагана. Нас спасал.

Он не стал рассказывать, как энкеведевцы допытывались у них порознь и у всех вместе, не приходили ли в дом беглые. Они и в самом деле ничего не видели, не слышали и не знали. Испуганную искренность своих слов подтверждали тем, что Коленька не мог быть с Цицировым, потому что отбил у него невесту — довод наивный, но все же выслушанный следователем с презрительной насмешкой.

Потом, когда узнали, что исчез из тайника наган — а взять его мог только Коленька, — начался скулеж с зажатыми ртами. Гаврила Матвеевич проклинал себя, что сказал о своем открытии, — слезы в доме тут же вернут энкеведевцев, а дальше — арест, лагеря — все то, чего он уже хлебнул в досталь и под страхом смерти не мог допустить до семьи. Спас их счастливый случай. Не помнит, какая нужда заставила Тимофея заглянуть за угол дома, но он увидел в сумерках, как задами к их избе крадется, пробиваясь через сугроб, Блошка. От растерянности он отпрянул за угол, метнулся в дом и встал взъерошенный перед ревевшими домо-чадцами:

— Блошка... к дому ползет, — выпалил, уставясь на отца.

Гавриле Матвеевичу не надо было объяснять, чем грозит появление под окнами Блошки. Он цыкнул на плачущих баб, и они позажимали рты. Но покойничная тишина в доме тоже не устраивала его. И тогда он взял в руки гармонь, заиграл свой перебор.

— Прости меня, сынок Коленька, что на помин души твоей игрой занялся. Прости, что не могу обрядить тебя в последний путь. И признать не могу. Ничего не могу, Коленька. Вот какую жизнь завоевал вам и себе, нет мне прощения, сынок. И не прощай, как сам себе не прощаю.

Так он бормотал, заливаясь слезами, и играл свои переборы, кадрили... А под его игру, заглушившую всхлипы, плакали Галина с Василиской, и угрюмо пили водку Тимофей и Зыков.

Леонтина молчала. Она знала о смерти мужа, и потому, что знала, предприняла этот побег с сыном, чтобы спасти хотя бы его. Но теперь не было у нее ни детей, ни мужа. Где-то оставался ее отец; он предпринял все для их побега и, старый больной человек, вряд ли вынес все то, что обрушилось на него потом. Значит, и его нет. Оставались вот эти спрятавшие ее в подвале люди, родня Коленьки. Она ждала, что скажут они, как решат ее судьбу.

— Вот что сделаем, Леночка, — объявил Гаврила Матвеевич. — До ночи ты здесь отдохнешь, а потом я тебя в Магнитогорск отвезу к дружку. Там народищу всякого в досталь, затеряешься. Справку тебе дадим, чтоб паспорт выправить.

— Ей можно без справки, — заметила Василиска.

— Без справки никак нельзя, Василиска. Без бумажки ты букашка. А нам нужна-то всего-навсего хоть какая-нибудь...

— Чтоб нас под статью подвести? — оборвала его Василиска жестко и непри-миримо. — Нас хочешь в Сибирь упечь?

— Ты что, Василиска... — опешил Гаврила Матвеевич. Он растерянно озирался на опустившую глаза Леонтину и хотел было призвать к совести Василиску, но не мог совместить воедино эти два действия, отчего выглядел беспомощным и жалким. — С ума свихнулась?

— Это ты свихнулся! Она уже потеряла детей, теперь моих хочешь похоронить? Не дам! Не дам!

Она зашлась в крике и забилась в истерике так, что Зыкову пришлось вывалиться из темноты и, обняв жену, зажимать ей рот, потому что в тот момент со двора послышался крик Костика:

— Война! Война! Мама, война... Где вы...

В подвале все задвигались и, еще не отойдя от происходящего здесь, недоуменно озирались, не зная, как отнестись к услышанному. Костик вбежал в дом, и над головами у них послышался топот его ног. Он бегал по комнатам и кричал:

— Да где вы все? Война!

Первыми направились к выходу мужчины. Гаврила Матвеевич подтолкнул и женщин, чтобы оставили его с Леонтиной. Когда закрылась за Василиской дверь, уходившей последней, пересел к Леонтине на кровать, обнял ее за тощие плечи, притянул к себе.

— Ты не сердись на нее, Леночка.

Леонтина кивнула: не сержусь. С горькой усмешкой прошепелявила:

— Хосела уйси в Полсу... Папа велел.

— Как бы ты ушла, милая. Там колючая проволока и солдаты с собаками. А в Польше немцы.

— С ими войя?

— С Польшей война кончилась. Забрали их немцы. Теперь на нас пошли.

— Хоосо пы...

Он замер, пораженный ее словами, и ничего не ответил, понимая, что она

имеет право на такое пожелание. Успокоил как мог, пообещал, что справку все равно достанет, увезет ее, как говорил, устроит у надежных людей. Весть о войне звала его наверх, к тем, кто сейчас топал у него над головой и уже голосил. Пообещав Леонтине скоро вернуться, он ушел.

Война, пришедшая в их дом с ликующим голосом Костика, возбужденно и мстительно встретившего деда, заставила на полдня отодвинуть заботы о Леонтине. Бегали к директору МТС слушать радиоприемник, выставленный им ради такого случая на подоконник, потом собирались на митинг, где Петька Теркуньков, ставший Петром Степановичем, когда сменил передвинутого в район Марысева, долго и пламенно клеймил вероломных фашистов, нарушивших заключенный с ними мирный договор о ненападении, и призывал будущих красноармейцев дать достойный отпор врагу, задушить его в собственной берлоге. По пути к дому потужил с сыном о недоделанном, что им придется бросить теперь из-за призыва; с невесткой поплакал о внуке, который катит сейчас с молодой женой к войне, и не будет ему остановки. Пошел к Леонтине в подвал, чтобы рассказать про узнанное, и не нашел ее там.

Обшарил все — нет нигде. Позвал Галину, спросил — не знает ничего; сама бросилась все перепроверять и вышла к нему обескураженная.

— Ушла, что ли? Куда же она без справки?

— Куда? — пробурчал он, озираясь. Поглядел на улицу в одну сторону, потом в другую и, повернувшись, пошел со двора на огороды, чтобы спрямить путь до Колькиной фермы.

Леонтину он нашел сразу по промятому в крапиве следу. Она сидела, привалясь к каменной кладке фундамента — все, что осталось от их дома, а рядом валялся осколок окровавленного стекла, которым она вскрыла вены.



## Софья Тарбеева

Деревья, птицы, воды, облака,  
Дурман цветенья на исходе лета,  
И звонкая, высокая тоска —  
Неотменимой осени примета.

Как удержать в душе текучий свет  
И грацию кувшинки у болота,  
Как взмыть над синью и над цепью лет  
В последнем праве грешного полета?!

В природе шумно, празднично светло,  
И лишь листва колышется в сомненье.  
Мне б сохранить руки твоей тепло —  
Прощальное навек прикосновенье.

Уходишь. Должен. Разные пути  
Скрестились и расходятся в пространстве,  
Нам их не слить уже и не свести  
К единой мере, равной постоянству.

Я складывала жизнь совсем не ту,  
А вот судьба продиктовала эту...  
Вдруг птичий клин пронзает высоту  
Напоминаешь, что уходит лето.

Есть у осени странное право —  
Обнаженностью врачевать.  
Точно сладостная отравка,  
Снизшедшая благодать.

Снизшедшая, павшая нежно  
На отцветший в покорности сад.  
С высоты недоступной, безбрежной  
Милосердные очи глядят.

В них нездешний покой и забвенье  
Все былых, незаслуженных ран.

Замирает в недвижимом смиренье  
Вестник осени — белый туман.

В том тумане — презрение сути.  
Станный вижу я сон наяву —  
К новой жизни старательно будит  
Солнца луч молодую траву.

Так предсмертно, и так потаенно  
Ты, душа, обнажилась во мне,  
Чтобы трепетно, благословенно,  
Словно сад зацвести по весне.



И день, и час, и миг настанет —  
Объяты небо распахнет,  
В последний раз душа восстанет  
И скажет мне — то твой черед.

И мне удастся, безучастной  
К соблазнам дней, грехам ночей,

Низринуть с совести несчастной  
Обузу сладкую страстей.

И я свободно, и отрадно  
Без сожаления пойму,  
Что не вернуться мне обратно  
На землю дальнюю мою.

Ну что ты ропщешь на судьбу,  
Ну что ты злишься?  
Вот смерть затеет ворожбу,  
И ты смиришься.

С улыбкой мягкой поглядишь  
На все бывшее,  
Восстанет благодатная тишь  
Вдруг над тобою.

И станут легкими тогда,  
Святыми раны,  
Взойдет падающая звезда  
Легко и странно.

Лучом прозрачным озарит  
Страданий тени,  
Душа покорно совершит  
Ряд превращений.

И не узнает ни обид,  
Ни возмущенья,  
И будет для нее открыт  
Путь во спасенье.

Она поймет: — в добре и зле,  
В кругу напастей  
Прожить свой жребий на земле —  
Такое счастье!

## Саратан

В саратан  
Жизнь тянется  
Речитативом,  
Его палитра освобождает лица  
От синдрома самоуверенности.  
Душа жаждет райских кущ,  
Изнемогающий пейзаж  
Грезит о звонких струях/  
И шаг не спешит  
За равнодушным взглядом.  
Движение переходит на новый график,  
Начинающийся с отметки  
Выше сорока,  
И тогда моление о миражах,  
Подобно спасительной вере,  
Цепляется за кончики

Голубых минаретов.  
Возраст перестает быть  
Категорией  
И выливается в субстанцию,  
Которую покидают принципы  
Безгреховности,  
Но и грехи, увы,  
Не в силах воскресить  
Живыми соблазнами.

Пространство и Время!  
Кажется, и они теряют  
Очерченный прежде смысл.  
И только солнцу,  
Этому раскаленному деспоту,  
Дано знать — куда тебя влечет.  
Может быть, к истине?!

Кто ты, сын мой?  
На фоне страстей и раздоров,  
Добывающих правду  
О корнях первородных,  
Ты не знаешь,  
Какому молиться творцу.  
Плоть твоя вобрала  
Два великих начала:  
Беспредельную странность

Российских просторов  
И неспешную мудрость  
Восточной души.  
Два начала — два мира  
Отторжений, слияний,  
Две могучих молитвы —  
Аллаху? Христу?  
Кто ты, сын мой?  
Отвечу:  
Ты — дитя человечье.

\* \* \*

Я впадаю в кресло,  
Как в спасенье  
От мира, который  
Еще бывает  
Окружающей средой...  
Дюма-отец, Дюма-сын,  
Дюма — Дух святой?..  
Страница пятнадцатая,  
А может, сороковая...  
«Мне не нравится  
Выражение вашего лица, сэръ!»  
Господи, какова степень  
Внутренней свободы!  
Не нравится — да и только!  
Мне вот тоже... но...  
И то сказать — при шпаге, да при друзьях,  
Да при покровительстве короля!  
Интересно, а как тогда обстояло дело  
С окружающей средой?!  
Ну, в смысле — была ли она уже тогда,  
Или — как?  
«Слово чести, сударь!»  
Ну, с этим, кажется, в 16, 17, 18 да и в  
19-м тоже  
Проблем не хлебали...  
«Один за всех, и все за одного!»  
Надо же! Не только вопят,  
Но и действуют!  
И, батюшки-светы! Подумать страшно —  
Всего лишь — во имя короля!  
«Ангел мой, смерть одна лишь  
Может разлучить...»  
Об чем это?  
Неужели об этой... ну, об любви?!  
Да уж, не аптечные времена,  
Когда забегают предварительно  
Обрести чего-нибудь одноразового...  
И все-таки...  
Как они управлялись с окружающей?..

°

\* \* \*

Бывают ночи — круглые,  
Они  
Приходят вкрадчиво, совсем неслышно.  
Улычивы их мягкие покровы,  
И руки их так ласково легки —  
Как Милосердие святое.  
В такие ночи тихо снятся нам  
Мечты, рожденные Надеждой.  
И улыбаемся мы чисто и светло,  
Как улыбаться могут только дети.  
Есть ночи — треугольные,  
Они  
Идут, идут и все прийти не могут.  
И движутся так нервно и так странно,  
Как человек, который устыдился  
Поступка или слова своего.  
Такие ночи жалости не знают  
И острым и навязчивым углом  
Впиваются в висок усталый,  
И не дают уснуть.

. . .  
Я поссорилась с Временем,  
Которое только и делает,  
Что идет.  
У меня к нему —  
Крупный счет.  
Нет, нет, то, что глобально,  
То претензии —  
Для простаков.  
Ну а мне-то  
Какое дело  
До того, что оно уже съело  
Массу веков.  
У меня претензия — мала,  
Когда-то я была чертовски мила,  
А теперь в зеркало — хоть не глядись  
И это что? Жизнь?!  
А все — Время!  
Которое идет.  
И которое  
Не видит мой счет,  
Который неплохо бы  
Оплатить!  
А для этого надо  
Встать, а не ходить.  
Вернее, не идти,  
А еще вернее — не бежать,  
А уж еще точнее — не нестись.  
О! Тогда наступит — райская жизнь.  
А пока...  
Я поссорилась с Временем!  
Решила —  
Буду сама по себе.

. . .  
Странный вечер!  
Незавершенный.  
Бьются сумерки,  
Бьется сиреневый флер.  
Но не в силах они  
Разрешиться задумчивой ночью.  
Оттого ли, что стала  
Понятна им наша утрата?  
В этот вечер мы были безумны —  
Мы любовь потеряли.

Бьются сумерки.  
Ночь мне теперь ни к чему.



Юрий Юрченко

## О человеке ветхозаветном и новом

ЭССЕ

В недрах Академии наук СССР вызревает идея: вплотную заняться человеком. Создается Институт человека, основывается Всесоюзный центр «человековедческих наук», затевается журнал «Человек». «Застрельщики» этих дел — в основном наши ученые-философы.

Однако возникает опасение: не станут ли новые учреждения, подобно многим старым, местом идеологической толчеи воды в ступе на казенном обеспечении? Ведь сколько ученых мужей у нас занималось проблемами истории, политэкономии, философии. А сейчас оказалось, что наша история — сплошная мозаика из белых пятен, политэкономия в основном высосана из пальца, ну а философия являет собой непревзойденный образец официального словоблудия.

Говорят о комплексном изучении проблемы человека. Но это пока лишь общая фраза.

Известно, что природа человека двойственна: он существо материальное и в то же время — создание духовное. Так какого же человека собираются комплексно изучать наши ученые? «Белковые тела» двуногих — объект изысканий биологии и медицины. Духовную же сущность человека с незапамятных времен пытались постичь лучшие умы. Можно ли изучать человека, не опираясь на их опыт? Если «комплексность» сведется к излюбленному у нас «ускорению», кавалерийской атаке на проблему, — из затыка с человековедением явно выйдет пшик.

Отечественные философы любят приводить цитату из Достоевского: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время». На мой дилетантский взгляд, ключ к решению этой загадки — наличие у человека свободной воли, которая далеко не всегда разумна. «Своя рука — владыка», и поведение людей трудно предсказать.

Во взаимодействии неуправляемых людских особей с мирозданием возникают так называемые «вечные» вопросы, именуемые также «проклятыми». Ответить на них человечеству, видимо, просто не под силу. Я бы назвал это квадратурой человеческого разума. Ярчайшее свидетельство несовершенства наших умственных способностей — сам факт возникновения науки. Порой кажется, что человечество заблудилось и от отчаяния безумствует. Каждому поколению приходится заново терзаться «проклятыми» вопросами и ни с чем отходить в могилы. Вероятно, тут нужно иметь больше семи пядей во лбу, а таких индивидуумов у нас нет и не предвидится.

И все же, несмотря на сомнения в эффективности новых учреждений, начинание нашей Академии наук заслуживает всяческого одобрения и поддержки, поскольку дело задумано жизненно важное. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание наших ученых, так это на необходимость однозначно установить, изменяется ли во времени природа человека или человек как таковой неизменен (по крайней мере, за последние десять тысяч лет).

Только твердо установив эту основополагающую истину, наука о человеке сможет

плодотворно развиваться. Иначе — тупик или вечное движение по замкнутому кругу вокруг самих себя.

Ну а лично я глубоко убежден, что природа человека покуда не изменена. И попытаюсь это доказать.

Философы-гуманисты эпохи Просвещения утверждали, что человек по своей природе добр, а виновата во всем внешняя среда, которая вынуждает человека творить зло. Им казалось, что каждый рождающийся человек — это чистый лист бумаги, неспаханная девственная целина. На этом листе можно писать все, и сеять на этой целине можно все. Дескать, что напишешь, то и прочтешь, что посеешь, то и пожнешь.

Стало быть, если изменить внешнюю среду и выбраковать из человеческого стада некоторые категории людей, «исписанных листов», наиболее испорченных старой буржуазной культурой, то само собой наступит «царство божие на земле». Этим постулатом гуманизм оказал медвежью услугу человечеству, став источником теорий, попытки претворения которых в жизнь принесли человечеству тягчайшие страдания.

Как показала история, утопические и революционные теории обычно создавали непрактичные люди. Их идеи рождались в монашеских кельях, тюремных камерах или в тиши теплых кабинетов не от знания реальной жизни, а от «непорочного зачатия». Им хотелось изменить реальность «под себя».

Отсюда же — попытки средневековых алхимиков искусственно вырастить в колбах гомункула, некое новое существо, подобное человеку, но с наперед заданными свойствами и способностями. Эти мистики являлись духовными отцами и учителями определенной категории нынешних ученых, которые почему-то упорно не желают признавать свою родословную. На современном этапе научно-технического прогресса они пытаются искусственно изменить человека методом генной инженерии. Это чревато непредсказуемыми последствиями. Не появятся ли в обществе новые чудовища и монстры, похлеще тех, которых производит природа? И возможно ли будет совладать с ними?

Существует несколько иной взгляд на вещи. Дарвинисты возводят родословную человека к одному из самых нечистоплотных животных. И дальнейшее развитие вида представляется как борьба приобретенных в ходе эволюции разума и чувства коллективизма (т. е. служения обществу, самоотречения) со скотским началом. Как ни странно, нечто подобное утверждает и ветхозаветная традиция. Там человек лепится из комка грязи, а потом начинается сражение между этой грязной плотью и оживившей ее божественной душой. Причем победа души оказывается настолько сомнительной, что бог разочаровывается в своих творениях и производит потоп. Такой миф есть и у древних вавилонян, и у древних евреев, и у древних египтян. Возможно, нечто подобное ожидает и нас. Но найдется ли в наших рядах праведный Ной или Гильгамеш, который устоит против ядерного или экологического потопа? Неведомо.

О неизменяемости во времени сущности человека свидетельствуют история, литература, искусство. Типы людей, человеческие характеры, описанные на протяжении многих веков, природа продолжает рождать и сегодня. Сколько вокруг мы видим современных терситов и несторов, дон-кихотов и фигаро, шейлоков и макбетов, собакевичей и обломовых, человек в футляре и с распахнутыми настезь душами, людей кристально чистых и отпетых негодяев. Все разнообразие характеров, представленных нам всемирной литературой, и сегодня расфасовано в живущем на Земле человечестве.

Большинство существовавших в истории общественных, религиозных, философских систем имело свой свод нравственных требований, справедливость которых не оспаривал ни один здравомыслящий человек. Общие для всех таких «моральных кодексов» пункты и составляют тот минимальный идеал, который называют «общечеловеческой моралью». В древнеегипетской «Книге мертвых» сорок два судьи допрашивают усопшего — не сотворил ли он зла, не позволял ли себе сквернословия и лжи, не сделал ли кого-нибудь несчастным, не принуждал ли людей работать сверх сил, не употреблял ли фальшивых весов и т. д. Но, пожалуй, из этого рода «директивных документов» самым четким и афористичным являются десять ветхозаветных заповедей. Не случайно главные из заповедей до сих пор у всех на слуху — «не сотвори себе кумира», «почитай отца твоего и мать твою», «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «не лжесвидетельствуй» и, наконец, — «не желай жены ближнего твоего, дома его, вола его, осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего».

Так вот, если допустить, как это по простоте душевной мнит о себе большинство, что за последние два-три тысячелетия человек качественно изменился, стал действительно «новым», ветхозаветные заповеди окажутся лишь музейными реликвиями, не имеющими практического смысла.

Однако невероятно, но факт: эта седая древность для современного человека остается «актуальной и злободневной». Разница лишь в том, что в библейские времена человек ездил на осле, лошади, верблюде, а сейчас пересел на автомобиль, самолет, космический корабль. Но по образу мышления и нравам человек конца XX века

остался так же ветхозаветен, как и окружавшие Моисея «жестоковыйные» древние евреи. И при этом «новый» человек имеет гораздо более опасные «игрушки» и живет в неизмеримо более быстром темпе. В таком противоречии заключена страшная угроза жизни на Земле.

Попробуем-ка примерить некоторые из ветхозаветных заповедей к «новому» человеку и посмотрим, насколько он «перерос» их. Давайте конкретно, по пунктам проверим, как выполняются древние «директивы».

**Не убий (не убивай).** Увы, от каменного века и до века атомного люди постоянно убивают друг друга.

В начале суперпрогрессивного XX столетия сатирик Саша Черный сложил «Песню Войны»:

Прошло семь тысяч пестрых лет.  
Пускай прошло. Ха-ха!  
Еще жирнее мой обед,  
Кровавая уха...

С тех сравнительно недавних пор прогресс двигался вперед семимильными шагами. По разнообразию и изощренности способов умерщвления себе подобных человеческая фантазия и изобретательность оказались поистине неиссякаемы. Здесь — и организованные массовые истребления одних народов другими, и «механизированные» разбои, творимые бандами уголовников, и «приватные» убийства с использованием новейших достижений научно-технической революции.

Исайя, мечтатель VIII века до нашей эры, предсказывал: «И перекуют мечи свои на орала, и копыя свои — на серпы, не поднимет народ меча, и не будут более учиться воевать». Предсказание не сбылось до сих пор.

Смерть ныне поставлена на промышленную, фабрично-заводскую основу. К разработке средств массового уничтожения привлечен весь цвет научной элиты. Дело дошло до последней черты.

Усиливается также «личная инициатива» в данном вопросе. Убивают по всякому поводу и просто без повода, в состоянии алкогольно-наркотического опьянения и в здравом рассудке. Напрашивается вывод, что библейскую заповедь «не убивай» род человеческий никогда не собирался выполнять.

Вероятно, зверь в человеке всегда только дремлет. Разбудить его и разъярить не стоит большого труда, укротить гораздо труднее. Приведу близкий к нам исторический пример. В царских тюрьмах начала века, когда Россия еще была «тюрьмой народов», сидело всего около 100 тысяч заключенных. В те времена вдоль границы Российской империи не было ни одного километра колючей проволоки. На неоднократные предложения графа С. Ю. Витте создать пограничные войска царь Николай Второй неизменно отвечал отказом. По-видимому, царское правительство не боялось, что народ разбежится по другим странам.

В сталинские времена порчу пустили в самые корни и гены. Посредством искусственно нагнетаемого страха перед выдуманными врагами сталинцы исказили сознание целого народа, навязали ему тупиковый образ мышления, выбили из-под него историческую глыбу, культурную и нравственную основу. Человек почувствовал себя сорняком на пустыре. К чему все это привело — теперь видно и зрячим, и слепым. В настоящее время у нас где-то около двух миллионов зков. Если сравнить с дореволюционным уровнем преступности (с учетом роста народонаселения), то сейчас в нашей стране должно бы быть не более 150 тысяч заключенных. Выходит, что качество человеческого материала резко ухудшилось. Как было легко и просто людей испортить — и как трудно и долго это нужно будет исправлять.

**Не кради.** Разумеется, нынешний человек вряд ли «возжелает осла ближнего и вола его». А вот «Жигули» угнать — это запросто. Впрочем, кто такой угонщик автомобилей рядом с матерым казнокрадом или «крестным отцом» мафии? Шкодливого мальчишка, не более.

XX век поставил воровство на серьезную деловую ногу. Создаются преступные синдикаты, тресты, фирмы. Грабят и крадут, применяя электронику и военную технику. Ну а массовая культура занимается скрытой пропагандой «романтического» ремесла грабителя и дает уроки «профессионального мастерства» этого рода.

В нашей стране особо модно воровство у государства. И на то есть объективные исторические причины.

Дореволюционная Россия была страной с многоукладной экономикой, где доминировал государственный сектор. Государству, или, как тогда выражались, «казне», принадлежало большинство земель, лесов, фабрик, заводов, рудников, соляных копей, железные дороги, почтовая и телеграфная связь и многое другое. Бесхозяйственность, казнокрадство и хищения материальных ценностей были обыденным явлением в государственном секторе. И никакие строгие законы не могли сдержать это зло.

Этот государственный, или, как тогда называли его — казенный, сектор царской

России и взял в 1929 году за образец товарищ Сталин для построения своей модели вульгарного социализма. Нынешняя командно-административная система, которую якобы изобрел Сталин, является родной дочерью казенно-бюрократической системы государственного устройства царской империи. Причем со всеми ее отрицательными качествами и гипертрофированной до абсурда форме. Один расцвет бюрократизма чего стоит! Если при царе бюрократический аппарат существовал только по линии государственного устройства, то при Сталине бюрократия начала бурно развиваться еще по трем линиям: партийной, профсоюзной и комсомольской. Сросшись с государством, этот бюрократический питон так зажал народ в своих объятиях, что у того затрещали кости.

Наши историки, экономисты, социологи и публицисты спорят о том, какой социализм построил Сталин. А ведь построил он вовсе не социализм, а государственный капитализм в классической форме. Основополагающий его признак — это государственная собственность на все, начиная от средств производства и до человеческих душ. В результате — полное отчуждение непосредственного производителя от средств производства и человека — от казенной, духовно кастрированной культуры. Социализм у нас существует только на приусадебных участках. Только там осуществляется лозунг: от каждого по способностям, каждому по труду. И воровства там почти нет.

Тотальное огосударвление привело к бесхозному характеру нашей экономики. Отсюда — невысокая производительность труда и, соответственно, низкие заработки большинства населения. Однако с таким «гулькиным» жизненным уровнем не всяк человек согласен был смириться. И дожидаться с моря погоды, когда наша косная государственная бюрократия соизволит один раз в два-три десятилетия пересмотреть тарифные ставки и повысит на несколько медяков оклады трудящимся. Жизнь-то проходит. У многих она так и прошла в коридорах ожиданий.

Но более ушлые и нетерпеливые поняли, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Уж коль честным трудом все равно ни черта не заработаешь, то всю свою предприимчивость, изворотливость и смекалку они направили в сторону всевозможного шахер-махера, жульничества, приписок и воровства. Отсюда подпольный бизнес, теневая экономика, черный рынок и прочее. Отсюда же — изобилие «несунов».

Не знаю, как кому, а мне трудно клеймить «несунов» позором. Трудяга, живущий рядом с преуспевающим дармоедом-чиновником и при этом получающий за свой труд копейки, чувствует себя обворованным. Кем? Чиновник как бы олицетворяет собой государство. Значит, трудяга пойдет воровать у государства, тащить мелочишку со своего завода, «грабить грабителя», не видя в том особого греха.

Французский социалист-анархист Ж.-П. Прудон объявил частную собственность кражей. Исходя из последующего исторического опыта и следуя за Прудоном, можно сказать, что бюрократическая собственность — это перманентная провокация к воровству. И из такого положения вещей воспоследовала ситуация, когда вором можно назвать чуть ли не каждого гражданина нашей страны. Много ли колхозников, никогда не «заимствовавших» с общего поля мешок картошки? Рабочих, не точивших на казенных станках «левые» изделия? Интеллигентов, не «увидивших» с работы пачки писчей бумаги? Ну а сытая наша бюрократия? Пусть не все чиновники запускали лапу в карман государства, но тот, кто получал жирный оклад и спецблага за «дело» усугубления развала страны — вот кто ворище из ворищ!

**Не прелюбодействуй.** По этому поводу приведем новозаветное определение качеств совершенной любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не превозносится, не гордится. — Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. — Не радуется неправде, а сорадуется истине. — Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит...» Если с такой меркой подойти к современному обществу, то окажется, что ныне почти никто никого не любит, каждый думает только о себе. Углубляется процесс взаимного отчуждения людей. Нет объединяющего начала, нет стержня любви.

Ну а то, что в быту называют любовью, — сплошные прелюбодеяния. Ведь когда любят мужчину или женщину преимущественно за физическую красоту, по сути дела влюблены лишь в плотские наслаждения от контакта с этим человеком.

Вся современная массовая культура пропитана культом секса. Под видом любви между мужчиной и женщиной обрисовываются примитивные психологические коллизии перед половым актом. Дескать, все равно скоро конец света, а жизнь быстротечна и бессмысленна, потому не зевайте, Джоны и Ваньки, Мэри и Машки, торопитесь насладиться прелюбодеяниями!

Проституция, порнография, публичные дома в современном мире — популярная разновидность бизнеса.

У нас открытая пропаганда секса выдается за одно из достижений перестройки. Дескать, это тоже «демократическая свобода», «право человека» и т. д. Ну а отечественная «сексуальная безграмотность» — лишь свидетельство нашего бескультурья.

Однако посмотрим, к чему реально толкают нас «сексуал-демократы», и насколько безобидна такая «свобода».

Нашими средствами массовой информации разрекламирована профессия «интер-девочки»: сверхвысокие доходы, сверхмодные туалеты, бриллианты и т. д. В результате анкетирование показало, что о профессии валютной шлюхи мечтают многие выпускницы средних школ. Так что «кадровый голод» в этом вопросе нам не грозит. Впрочем, это лишь штрих к очень серьезной картине.

Секс-пропаганда продолжает в человеке качество, которое интеллигенты именуют «сексуальной озабоченностью», а психоаналитики — эротизацией мышления. Вот как описывает этот феномен Лев Толстой, называя «эротизированного» по старинке блудником: «Быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию пьяницы, морфиниста, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек — блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника». К этому и тянут нас новоявленные пропагандисты сексуальной «демократической» свободы. По библейскому мнению, подобный индивидуум «не человек, но горше скота».

Очевидно, что в деле прелюбодеяния «новый» человек оказался куда изощренней ветхозаветного. И вот ведь странность — наши темные предки обходились в вопросах любви и деторождения без консультаций у сексологов и без порнофильмов, однако семьи их были крепче и счастливее, да и отношения родителей с детьми складывались несложно иначе. Впрочем, это уже относится к другой заповеди.

**Почитай отца твоего и мать твою.** Слово «предки» ныне приобрело иронически-уничижительный оттенок. «Порвалась связь времен». Некоторые взрослые детишки такое вытворяют со своими родителями (реже с отцом, чаще с матерью, поскольку она беззащитнее), что ни в древних, ни в средневековых книгах ничего подобного не найдешь.

Чего стоит одно такое широко распространенное явление, как сдача родителей в дома престарелых. Социологические обследования этих богаделен показывают, что у большинства стариков дети имеют хорошие жилищные условия, прилично зарабатывают и владеют легковыми автомобилями. А отца или мать отправили в дом престарелых лишь потому, что те не гармонируют с импортной мебелью и своим болезненным видом портят интерьер квартиры.

Многие стесняются родителей перед друзьями и знакомыми. Дескать, мешают веселиться и вести заумные разговоры, подрывают престиж.

Зато часть нынешней молодежи достигла значительных успехов по части «выдаивания» из старшего поколения денег и прочих житейских благ. Ну а как только папа с мамой «выдоены до дна», тут-то и кончается «почитание отца и матери».

**Не делай себе кумира...** Ох, уж с этими кумирами у человечества испокон веков прямо-таки беда. Без кумиров многие никак не могут жить. Творят их буквально из ничего и на пустом месте. Обычно это люди со стадным духом. А стадо, как известно, без пастуха обходиться не может. Эта категория двуногих перед своими кумирами испытывает восторг и благоговение, временами переходящие в экстаз.

Кумиры начинаются с золотого тельца, которым обещивают руки, шею, уши, ноздри и т. д., и кончаются фюрерами, вождями, кормчими и прочими земными божками, как концентрированным выражением человеческой ущербности.

Как золотые изделия на теле человека не прибавляют ему ни красоты, ни ума, ни здоровья, так и земные кумиры еще нигде не сделали свои народы счастливыми. Только горы трупов, моря крови и духовные пустыри оставляют они после себя.

Не углубляясь слишком далеко в историю, можно привести еще совсем свежие примеры Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна, Пол Пота. Если бы люди соблюдали заповедь «не делай себе кумира», то и вышеназванные лица не стали бы фюрерами, вождями, кормчими, а прожили бы свои жизни никому не известными, спокойно бы и скончались, не причинив своим народам никакого зла.

Правда, у большинства людей склонности к сотворению кумиров нет. Народ в массе своей здравомыслящ. Кумиров обычно делает меньшинство (фанатики и прохвосты), а потом демагогией, обманом и репрессиями навязывают их всему народу. При этом ловко используются внутренние трудности страны или создаются таковые искусственно. Во что все это обошлось народам — общеизвестно.

А ведь если хорошенько поразмыслить, то поймешь, что для психически нормального человека нет ничего желанней и дороже, чем внутренняя свобода. Свобода от всевозможных кумиров, фетишей, утопий и иллюзий. Только такой человек может вести полноценную жизнь.

У нашего Отечества такое богатое культурное и духовное наследие, что многие нам завидуют. Целое созвездие гениальных писателей, самобытных историков, великих философов. Бери только, читай, размышляй, интеллектуально и духовно обогащайся.



Так нет же, многие до сих пор поклоняются рябому Дьяволу, у которого и своего-то за душой ничего не было. Ведь все его идеи были попросту «коктейлем» из произведений Ленина и других теоретиков партии.

**Не лжесвидетельствуй...** Или по-простонародному: не брешы. Способность ко лжи — это величайший дефект человеческой природы. Ложь — занавес, за которым прячется зло. Наука еще не установила, на каком этапе эволюции у двуногих развилась эта способность (ведь у обезьян такого порока еще нет), и в каком участке головного мозга находится центр лжи.

Давайте-ка представим себе такую метаморфозу: однажды утром человечество просыпается и чувствует, что у него атрофировалось «брехало», все люди одновременно потеряли способность лгать. Весь мир за короткий срок преобразился бы. Упала бы ширма, за которой люди прячут свои непотребства и преступления. Все язвы и пороки, все гнойные струя открывшись бы для всеобщего обозрения.

Потеряв способность лгать, человек волей-неволей должен был бы нравственно перерождаться, так как никто не хочет публично показывать свой срам. А спрятать его стало бы невозможно.

Ложь бывает троякого происхождения. Одни люди врут ради собственной выгоды, другие — по принуждению, третьи брешут, как говорится в народе, ради спортивного интереса. Но хуже всего, когда для масс ложь из редкого эпизода превращается в форму существования. Когда вне лжи человек чувствует себя как бы уже и не от мира сего. Или, как говорит пословица: что ни дыхнет, то и сбрехнет.

Одно из величайших благ, дарованных нашему народу перестройкой, — снятие с марксистско-ленинской идеологии в сталинской ее интерпретации ореола некоей новой религии, статуса непогрешимости и обладания абсолютной истиной. Сталинизм перекрыл кислород всякому развитию и стал путеводным указателем на столбовой дороге в застой. Сейчас наша идеология переживает переходный период от «религиозности» к научности. Тем самым устраняется один из мощных источников сверху навязываемой лжи, доселе искажавшей сознание нашего народа, культивировавшей в нем всевозможные старые и новые мессианские бредни, выставляя советского человека в комическом виде перед остальным миром, как существо, закосневшее в своей фанатичности. Что и давало повод западным советологам приклеивать ему оскорбительный ярлык «гомо советикус».

В последнее время вслед за Западом о «гомо советикусе» заговорили и наши средства массовой информации. Ретивые отечественные публицисты даже наделили его свойством «однополюсного мышления». Ну а на мой скромный взгляд, полушария головного мозга тут совершенно ни при чем.

Кто-то из наших деятелей (то ли царь, то ли полководец — извините, позабыл) сказал, что солдат — это механизм, артикулом предусмотренный, и если ему с утра начать вносить, что он свинья, то к вечеру он захрюкает. Под солдатом мог пониматься вообще простой человек. Сталинско-сусловская тотальная пропаганда очень продуктивно поработала на этой ниве. Десятилетия тенденциозной, целенаправленной, однобокой, отупляющей демагогии сделали свое дело. Советский человек начал воспринимать окружающий мир только в черно-белом плоском изображении. Или, образно говоря, стал социальным дальтоном. Причем со временем выработался настолько устойчивый условный рефлекс, что вот уже пять лет идет перестройка, духовное раскрепощение человека, а кое-кто все томится ностальгией по Государственным Усам.

Однако с большинством народа случилось нечто иное. Пропагандой и репрессиями навязываемая официальная ложь сделала так называемого «нового» человека двуликим Янусом. В обществе появилась двойная мораль, произошло раздвоение личностей. На работе и в общественных местах люди говорили одно, а дома и в кругу друзей — зачастую нечто диаметрально противоположное. Первое шло из теплых кабинетов идеологов «от непорочного зачатия», второе выкристаллизовывалось из гущи живой жизни.

У нашего народа имеется особый счет к своим историкам. Потому что так называемые «белые пятна» истории скорее являются темными пятнами на их совести. Некоторые наши историки сейчас оправдываются: дескать, прежде был закрыт доступ в спецхраны. Но это слабое оправдание, а в устах придворных историков — откровенная ложь. Историкам, которые не имели доступа в спецхраны, можно было обойтись и без таковых. В 50-е и 60-е и даже до середины 70-х годов в букинистических магазинах было довольно много литературы, написанной и изданной по свежим следам двух революций и гражданской войны. Программы разных политических партий, стенограммы съездов, мемуары революционеров и контрреволюционеров, старые журналы... К тому же были живы многие свидетели тех бурных потрясений, и им было что порассказать. Словом, имелся богатейший фактический материал для написания подлинной истории страны, а не той «липы», которой нам засоряли головы в школах и вузах. Писали бы товарищи историки хоть бы и для себя, в стол — по крайней мере, к перестройке подошли бы не с пустыми руками.

В книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» древнегреческий историк Диоген Лаэртский рисует яркую картину развлечений античного мира. В то время женщины порой избирали в качестве «партнеров» домашнюю скотину, а мужчины предпочитали наслаждаться мальчиками. Вспомним также ветхозаветного Онана, от имени которого и произошло вошедшее в современный лексикон слово «онанизм». Все эти увлечения древних человечество, очевидно, хранило как зеницу ока и донесло до наших дней во всей первобытной красе и разнообразии. Только сейчас эти пороки получили ученые названия. И некоторые мужи науки пытаются «научно» доказать их безобидность или даже полезность. Например, у нас в стране долгое время «был в загоне» гомосексуализм. Ну а нынешние плюралисты сначала объявили «голубых» больными и призвали их пожалеть, а сейчас вообще требуют для них разрешения официально вступать в брак. Что ж, если это и болезнь, то весьма опасная. Особи такого рода принадлежат к «криминогенному типу», то есть проявляют особую склонность к совершению преступных деяний. «Болезнь» эта и заразна, причем ее носители активно стремятся к распространению заразы. Опытные «голубенькие» имеют в своем арсенале целый набор средств для приобщения подростков к прелестям однополного секса. Проповедуя данную «свободу», плюралисты забыли спросить: а хотим ли мы, чтобы наши сыновья стали такими же?

Впрочем, становится еще тошнее, когда видишь, как изощренные формы разврата переходят из сферы личной в общественную. А ведь в нашей стране онанизм и педерастия были «творчески» перенесены в экономику, политику, идеологию, государственное устройство, культуру. Канонизация идей и теорий, не проверенных жизнью и временем, не учитывающих фундаментальных свойств человеческой природы, привела к политическому мужеложеству, которое на протяжении десятилетий насаждалось у нас посредством террора. В самом деле, разве не злостный гомосексуализм — насильственное превращение сотен миллионов разумных мужчин в «колесики и винтики» бюрократической державы? Ну а чем не экономический онанизм — удовлетворять нужды народа не предоставлением хлеба насущного, одежды и крыши над головой, а громкими лозунгами и лживым самохвалством идеологов «счастливого Отечества» и «самого справедливого общественного строя»?

До 1929 года наша страна двигалась вперед в общем-то нормально, в соответствии с законами экономического и общественного развития. Затем волевым порядком все было поставлено с ног на голову.

Ленин неоднократно повторял капитальную мысль: политика является концентрированным выражением экономики. Его «скромный ученик» Коба со своей гоп-компанией перевернул все вверх тормашками — экономика стала концентрированным выражением политики. Хвост начал командовать головой. От этого уродливого хвоста и пошла политический и экономический онанизм и разврат, движущей силой которых стала командно-административная система.

Иначе чем еще можно объяснить такие удручающие результаты нашей деятельности за последние десятилетия?

Самая богатая плодородными землями из стран мира не может прокормить свое население и закупает значительную часть продовольствия за рубежом. Если не произойдут радикальные изменения в вопросах землепользования, то в стране «всерьез и надолго» наступит круглогодичный великий пост, а за ним явится царь-голод.

При подлинном, а не липовом хозяине земли те 200 миллионов гектаров пашни, которую ныне ковыряют наши колхозы и совхозы, способны обильно накормить миллиард человек. При нынешних же организационных структурах и производственных отношениях на селе эта земля не может в достатке обеспечить продовольствием 286 миллионов человек.

Далее. Наша страна извлекает из своих недр колоссальные объемы полезных ископаемых, и в то же время не может удовлетворить потребность населения в предметах ширпотреба. Значительную часть сырья промышленность превращает в отходы. Организация производства на бесчеловечных бюрократических началах привела страну к экономическому разврату. По подсчетам экономистов, за последние 50 лет бесхозяйственности мы растратили природные ресурсы на 100 лет, то есть ограбили три грядущих поколения: своих детей, внуков и правнуков.

О культуре. Мы один из талантливейших народов. Дореволюционная Россия подарила миру целую плеяду гениальных писателей, композиторов, художников, архитекторов, философов, историков. После гражданской войны изгнанные в эмиграцию, многие деятели отечественной культуры еще на протяжении трех-четырех десятилетий в отрыве от родной почвы продолжали обогащать мировую культуру. Сталинские же «инженеры человеческих душ» и сусловские «агрономы духовных пустырей» что подарили миру, кроме лагерного «баракко»?

А если что и выходило из страны прекрасного и правдивого, то выходило словно из-под глыб.

Массовая культура идет к нам с Запада, причем — худшие ее образцы, на за-

купку лучших у нас нет валюты. Фактически наша страна превращается в культурную периферию. Одним словом, мы вроде бы строили светлое будущее, а на поверку вырыли только котлован коммунизма, из которого не можем выбраться.

Есть в человеке нечто подсознательное, иррациональное и самозловредное, какая-то страсть к самоуничтожению. Склонность делать вред не только другим, но прежде всего самому себе, начиная с курения, пьянства, наркомании и кончая издержками научно-технического прогресса. Ведь в природе ни одно животное или насекомое не станет делать ничего себе во вред, хотя оно тоже плоть. И еще более плоть, чем человек. А вот человек делает. Понимает, что гибельно, а все же делает. Возможно, в людях притупился инстинкт самосохранения.

Вместо Светлого Будущего — Коммунизма, реально просматривается перспектива медленного апокалипсиса: разрушение окружающей среды, экологическое удушье и утопание в собственных фекалиях.

Экологическую петлю человечество набросило на свою шею еще в 1784 году, когда выдало Джеймсу Уатту патент на изобретение паровой машины. С переходом на машинное производство началось по нарастающей сжигание энергоносителей: древесины, угля, нефти, газа, сланцев и т. д. И весь так называемый научно-технический прогресс по сути дела зиждется на сжигании и выбросах продуктов сжигания в окружающую среду. В последние три десятилетия сжигание пытаются частично заменить расщеплением атома. Но оба этих пути для рода людского одинаково губительны, ибо не вписываются в природный круговорот.

И первой страной, которая придет к экологической катастрофе, может оказаться наша. Первый народ, который захлебнется в своих отходах и задохнется в выхлопных газах, будет советский народ. Разумеется, если не изменится паразитическая по отношению к природе психология ведомственной бюрократии и некоторой части простого люда. Если не будет поднят уровень экологического образования и сознания народа.

Наша техническая интеллигенция до сих пор мыслит категориями тургеневского Базарова, который сто лет тому назад изрек: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Вот и доработались базаровцы до того, что из 200 миллионов тонн мировых выбросов копоти и сажи в окружающую среду около 100 миллионов тонн ударно дает наша страна. То есть столько же, сколько выбрасывает весь остальной промышленный мир вместе взятый. Не вникая в подробности, оптом можно себе представить, в каком состоянии у нас воздух, водоемы, почва.

Долгое время злонамеренная пропаганда создавала у обывателя иллюзию, что в вопросе экологии (впрочем, как и во всем остальном) у нас все в порядке. Дескать, это «за бугром» в погоне за барышами хищные капиталисты довели дело до ручки. А у нас такого и быть не может никогда. И главным образом потому, что у нас власть Советская — власть чудесница, обладающая чудотворными свойствами. Аргумент убедительно убедительный.

И вот, бывало, сидит обыватель где-нибудь в Днепродзержинске, Коммунарске или Свердловске у себя дома и смотрит программу «Время». Диктор сообщает о тяжелейшей экологической обстановке в Рурском бассейне ФРГ. Одних токсичных компонентов в тамошнем воздухе в полтора раза больше нормы, других — в два, третьих — в три с половиной раза. Вот и думает себе наш обыватель: «Ах, как хорошо, что я родился и живу не в какой-нибудь там проклятой Западной Европе, а в нашей стране, где, слава богу, такого нет и быть не может никогда». И не ведает бедняга, что воздух, которым он дышит, в пять-семь-двенадцать раз больше нормы насыщен теми же вредными компонентами. Более того, он не подозревает, что вскоре умрет от рака легкого или еще от какой-нибудь болезни, не дожив и до пятидесяти.

Многие у нас легкомысленно относятся к вопросам защиты окружающей среды. Это в основном люди с пока еще здоровой требухой и с психологией упрямого мужика: «Пока гром не грянет — ни за что не перекрещусь!»

Сами ученые должны в корне пересмотреть свое отношение к науке. Давно уже прошло время малоохотного благоговения перед «святой» наукой, когда казалось, что она способна решить все проблемы человеческого бытия, сделать всех разумными и счастливыми. На деле у человечества проблем стало куда больше, чем прежде.

Невольно задумываешься над словами: «Мудрость мира сего есть безумие перед богом...» А если перевести это применительно к нынешним условиям, можно сказать так: наука в этом мире стала безумием перед природой...

Конечно, человеку наука кое-что дала: облегчила труд и быт, научилась излечивать многие болезни, снабдила взрослого обывателя массой всевозможных игрушек для заполнения досуга, дабы от безделья всякая дурь не лезла в голову. Но вот природе от науки пока что один только вред. До сих пор наука и ее детище — техника только паразитировали на теле природы, насиловали ее всякими способами, вплоть до угольных. И блатной лозунг: «Мы не можем ждаться милостей от природы, взять их у нее — наша задача» для многих ученых и сегодня является руководством к действию.

Ну а в заключение моих размышлений о человеке ветхозаветном и «новом» скажу, что для большинства современных людей весь смысл жизни выражен в знаменитом требовании плембса древнего Рима: «Хлеба и зрелищ!»

Все мечтатели, от апостола Павла до самозванных евангелистов XX века, несли человечеству благуя весть о грядущем наступлении Золотого Века и появлении в нем так называемого «нового» человека. По этому поводу даже летосчисление несколько раз пытались начать заново.

Некоторые товарищи огнем и мечом пытались сотворить «нового» человека по своему образу и подобию, но только изрядно помордовали свои народы, смертельно перегрызлись между собою и бесследно канули.

А «нового» человека почему-то до сих пор все нет и нет.

#### ОТ РЕДАКЦИИ:

Публикуя статью нашего харьковского корреспондента Ю. М. Юрченко, мы вовсе не отказываемся от права высказать собственное мнение по затронутой здесь действительно важнейшей проблеме. Автор статьи так и не дал ответа на заданный им самим вопрос: каким он видит Институт человека и чем он должен заниматься? Однако из контекста логически следует вывод: институт должен основательно поставить дело человековедения, бороться с ложным оптимизмом и т. п.

Пороки и язвы современности у всех на виду. А достоинства? Или их нет совсем, и мы переживаем самый беспросветный в истории период? Если не делать гигантских скачков от времен написания Ветхого Завета до атомного века, а спокойным взглядом окинуть историческую перспективу, во все времена мы увидим резкое расслоение любого общества на «элиту» и обслугу «элиты», господ и рабочих. Грань эта начала размываться сравнительно недавно.

Хотя из-за псевдокоммунистических начетчиков ныне сделалось «не модно» цитировать Ленина, вспомним все же ленинское положение: гармонически развит может быть лишь человек, обогативший себя всеми сокровищами мировой культуры. Ну а кто во времена более или менее отдаленные имел доступ к этой сокровищнице? Ветхозаветный или новозаветный раб? Средневековый крепостной мужик? Наконец, рабочий «потогонной» фабрики? Вынужденные оплачивать духовную жизнь и развлечения «верхов», придавленные трудом на пределе физических возможностей, неотвязной заботой о куске насущного хлеба, эти составляющие большинство человечества «низы» и помыслить не могли о какой бы то ни было духовности.

Надо все же отдать должное многократно и зачастую справедливо хулимым науке и технике. Они развязали человеку руки, раскрепостили его разум и душу. Никогда ранее «маленький» человек не имел таких возможностей для самовыражения. Впервые в истории интеллектуальные и духовные занятия, образование и культура стали массовыми. Только в нашу эпоху стала казаться реальной возможность проявления свободы воли не только для «избранных», но и для каждого. И лишь теперь вопрос: «Что есть человек?» — может быть обращен буквально к каждому. Не обращать внимания на народ — один из самых страшных пороков былых времен.

Среди рассказов американского фантаста Роберта Шекли есть притча о Строителе планет. Этот лукавый Строитель, старец явно ветхозаветной наружности, подсовывает своим подопечным яркую игрушку — науку, и делает это затем, дабы они не занимались главным — самопознанием и самосовершенствованием. Что ж, вероятно (правда, благодаря достижениям этой самой «игрушечной» науки), человечество подходит наконец к черте, когда можно и должно вплотную заняться главным.

Нависшие над нами дамокловы мечи ядерной и экологической катастроф — это, несомненно, категорическое требование, предъявленное человечеству его судьбой: опаматоваться и измениться к лучшему! Иначе бессмысленны все наши социальные, интеллектуальные, духовные планы. Но, возможно, именно в кипящем котле нашего бурного столетия выплавляется тот «новый» человек, вероятность появления которого столь категорически отрицает Ю. М. Юрченко.

Впрочем, люди, приближающиеся к идеалу «нового», то есть разумного и доброго, человека существовали во все времена. Беда лишь в том, что не они играли определяющую роль в жизни государств и обществ.

Что же все-таки это за существо — человек? Властолюбивое, нечистоплотное животное, загадившее планету и стремительно рвущееся к самоуничтожению? Или, как мы привыкли думать, — лучшее и благороднейшее творение природы? Нам кажется, что каждая человеческая душа вмещает в себя всю «координатную ось» нравственности, от плюс-бесконечности до минус-бесконечности, от заоблачных вершин духовности до бездны морального падения. В какую сторону качнется маятник души? Как помочь ему избрать для себя доброе начало? Вот это — вопрос вопросов. Поиском ответа на него и должен, на наш взгляд, заняться будущий Институт человека.



## Александр Феськов

\* \* \*  
Я бежал от рутинного,  
Километры считал,  
Моим вечным противником  
Была нищета.

И судья был, и правила:  
Принял старт, так дерись!  
Дней-барьеров наставила  
Чертисколько мне жизнь.

Так бежали мы, сигая,  
Сутки оба кляня,  
Из медведя стал Фигаро,  
Тренированный, я.

\* \* \*

Сейчас мы нежно объяснимся,  
Что не моя ты, я — не твой,  
И, будто два неловких сфинкса,  
Застынем к прошлому спиной.

А может быть, без объяснений,  
Услышу я — гуд бай! Ол райт...  
Ты — молодец, но, не Есенин,  
Я, к сожалению, — не Райх.

Переменный успех никак  
Поделить нас не мог,—  
Была лучшая техника  
В силе нищенских ног

Спазмы жали мне голени,  
И я слышал сквозь дрожь:  
«Эй, соперничек голеный!  
Что же ты отстаешь?»

И, когда стали синие  
Губы,— выручил бог:  
Я собрал все усилия  
И предпринял рывок.

И ты уйдешь, зарей румянясь,  
Искать хранителя избы,  
Четырехмесячный романец,  
Как киноленту позабыв.

И я среди других кварталов  
Забуду тоже в сонме дней,  
Как ты безумно целовала  
Отца несбывшихся детей.

## Юрию Власову

Уверенность пришла неожиданно,  
Не с пола и не с потолка,  
Толкать слова трудней, чем штангу  
Многопудовую толкать.

Железо легче было тискать  
И выше вскидывать, чем нос,  
А вот духовные записки  
Врастают намертво в помост.

Толпа кричит — она не дура,  
Глазам своим благодаря:

«Рывок последний! Дядя Юра!  
И... слава лит. богатыря».

Еще попытка — ломит спину,  
Еще одна — инфаркт в груди,—  
Эй, выше носа ложь не вскинуть!  
Эй, Слабакевич, уходи!

Машина знаний «провалилась»—  
Три издевательских хлопка...  
Ложь наверху, а справедливость  
Штурмует уровень пупка.

## Загон

Как много верных и неверных  
Учителей, учений — тьма  
На перспективной школо-ферме  
По разведению умя.

Понять систему эту силюсь:  
Указки, порции, мелки?  
Где все жуют научный силос,  
Идущий в черепо-лотки.

На поколение молодое  
Дивлюсь — они еще творят?!  
И ждут, кому уставший дояр  
Подключит к глотке аппарат?

Привесы знаний. Поголовье.  
Белков и юмора лимит  
Плюс послушание коровье,  
Где вместо «му — у»,  
Речевка — «мы — ы — ы».

## Гипердума

Мини там, мини здесь,  
Хватит ли сухожилий?  
Бастион министерств,  
Баррикады служивых.

Мило там, мило здесь  
Принимает любого  
База для министерств —  
Инкубатор любовниц.

Мимо там, мимо здесь:  
Мукам выход летальный,

Круговой интерес  
Не тебе, пролетарий.

Моно там, моно здесь,  
Где же партия правды?  
Антидумчик, не лезы!  
Кремль с Лубянкою рядом.

«Мани» там, «мани» здесь,  
Остальным миниплата,—  
Верь, мужик, и надейся  
На возможно-когда-то...

## Дорога к храму

Все куда-то лезут,  
Все куда-то прут,  
Кино-сексликбезы  
Ныне там и тут.

Мода — как ни странно,—  
Кто ты ей?— Никто,  
По дороге к Сраму  
Очередь авто.

Божий раб, косей тут  
Перископом глаз:  
Видеокассеты —  
Твой иконостас.

Есть ли путь окольный?  
Нет — постой, ходок!  
Вместо колокольни  
Шибанутый рок.

Духом инвалидным  
Вряд ли будешь сыт,  
Вот тебе молитва,  
Русский блудный сын.

Все мы шли упрямо  
И пришли — о, йес,  
К золотому Храму,  
Что на букву «эс».

## Прощание с барьерным бегом

Устал от псевдосправедливых первенств,  
От псевдонужных миру матчей, встреч,  
И в тренере и в спорте разуверюсь,  
Я перестал свое здоровье жечь.

«Прощайте, судьи и стартер-загонщик,  
Дай бог, чтоб вам еще сытней жилось!  
Я покидаю эту свору гончих  
И их борьбу за брошенную кость.

Не надо больше мне спортивных маек,  
На тренировках гнуть хребет в дугу

И от судьбы бежать, не понимая,  
Что далеко я все ж не убегу.

Хмельной бокал со славой я не допил,  
Ковер из лент спортивных не доткал,—  
На дне бокала оказался допинг,  
Поэтому я сделал полглотка.

Дела иные сердце отозвали,  
Я гармоничен мышечно вполне,—  
Пустая драка с ветром ради званий  
Через барьеры чести — не по мне!

## О, спорт, ты — мир...

Бросают на шею телексы  
Хорошим, а не плохим,  
И вот, уж голами телится  
На поле чужом Блохин.

Зарплата в одно касание  
Летит Комитету в рот,  
А тело души Дасаева —  
Сов.цербер у кап.ворот.

Меняет футбол устои, лишь  
Игра не блестит давно:  
За каждый удачный проигрыш  
Валюту суют Шавло.

Валяйте, мол, в ноги карты вам, —  
Молитесь за наш прокат!  
А Бубка и Гарри с Карповым  
В запасе идут пока.

До черт-те каких нулей цена  
Закрутит «двойной тулуп»,  
Когда бы, к примеру, Ельцина  
Купил бы другой спортклуб.

А что? Ведь в сосново-пихтовом  
Уменьшится тьма проблем, —  
Продай Глазунова с Рихтером  
Хотя б за вагон иен.

Полуумные, полусытые,  
Как и надо любой толпе,  
Мы живем в Политобщежитии,  
Где один коридор — КП.

Не надеясь на счастье большее,  
А про меньшее, черт, не сглазь...  
Мы повязаны все вахтершею  
По кликухе «Родная власть».

Эй, буфетчики, чем вы кормите  
Эти камеры братства? Сплошь —  
От изжоги вон в каждой комнате  
Начался мозговой падеж.

Где же Родина, мама с папою?  
Уж не там ли — в конторе виз?  
В общежитии все бесплатное,  
Кроме малости самой — жизнь.

Голубей когда ели с вызовом,  
Невдомек было — про семгу,  
Вот за это я с телевизором  
Обродимиться не смогу.

Нынче утром туманы жидкие  
С неразбавленным молоком, —  
Я люблю тебя, Общежитие,  
Лишь за то, что мне снится дом.

## Спрут

Кино оплачено. Успех, престиж.  
Микеле Плачидо, чего грустишь?

Дела в провинции? Не та любовь?  
Слабо полиции? — Да-да, слабо...

Так что ж не весел ты — лимит вина?  
Семья ли рэкетом обложена?

Микеле, что с тобой? В окошко глянь —  
Твоею поступью шагает Гдяян.

Ох, этот труд овцы — служить волкам:  
Совьето-спрутовцы сильней пока.

Все одурачены — твой прототип,  
Микеле Плачидо, не смог пройти.

Скандал, не далее. Что делать, сэр?  
Да-да, Италия — не СССР...



Галина Козловская

## Восточный полдень Анны Ахматовой

«О память сердца, ты сильней  
Рассудка памяти печальной»

Батюшков

Память сердца — милость, дарованная нам, когда над любовью и дружбой не властно время. Мы сами не причастны к тайной жизни наших воспоминаний и не можем объяснить, почему одно живет, а другое исчезает. И все же есть встречи, дружба и любовь, когда кажется, что помнишь все.

Так вдруг захотелось рассказать хоть немного, чтобы и другие прикоснулись к чуду явления, каким была Анна Андреевна Ахматова. Рассказать о ее днях и мыслях, с которыми она жила и которые осветили и нашу жизнь в общении с нею.

Существо это странного нрава,  
Он не ждет, чтоб подагра и слава  
Впопыхах усадила его  
В юбилейные пышные кресла.  
А несет по цветущему вереску,  
По пустыням свое торжество.

О поэте.  
(Поэма без героя)  
Ахматова

### АХМАТОВА, УВИДЕННАЯ ВПЕРВЫЕ

Всходя по изношенным ступеням старого дома, я подумала: «Неужели сейчас увижу ее, ту, что написала: «И дикой свежестью и силой мне счастье веяло в лицо». Когда Женя<sup>1</sup> постучала в дверь, на которой краской было выведено «касса» над окошком, я подумала, что подруга ошиблась. Но из-за двери послышался голос, низкий и слегка глуховатый, голос Анны Андреевны Ахматовой — живой, неповторимый голос.

Я впервые увидела ее сидящей на табуретке, освещенную светом тусклой лампочки, зябко кутающуюся в старую негреющую шубку. В первые минуты я напряженно сердцем вбирала все предметы ее облика, ее осанку, сдержанные движения рук, тихие интонации ее голоса.

Сразу поразили одновременно гордость и сиротство, и сановное какое-то веление исходило от нее: «Не смей жалеть». Не внутренняя сила духовной несломленности, непокоренности была так же очевидна, как и полное ее безучастие к своей бедности и к неустройству своего личного существования. Она вся еще была в муках блокады, с теми, кто там погибать остался. И казалось, что она все еще хранит в себе стужу ленинградских дней и ночей, и что она не оттает никогда.

<sup>1</sup> Евгения Владимировна Пастернак.



Всю жизнь ее стихи были любимы, душа всегда знала их бесценность, и вот теперь она — передо мной, живая, спасенная, в холодной камере, в далекой тыловой стороне. И почему-то сразу отошли все клише ее изображений — блистательные и прекрасные. Возникла вот такая, которую суждено полюбить на всю жизнь.

Лишь потом я оглядела конуру, в которой ей пришлось первое время жить. В ней помещалась железная кровать с грубым солдатским одеялом, единственная табуретка, маленькая нетопленная печка-буржуйка. На ней — помятый железный чайник и одинокая кружка на выступе окошка «кассы». Кажется, был еще ящик, на чем она могла есть. В камерке было холодно, тусклая лампочка лишь усиливала тоскливость одинокого угла, его нетопленность и случайность. Я вспомнила, что это «касса», загнанная на задворки черного хода большого старого дома, где до войны помещалось Управление по делам искусств. Здесь, в прежних отделах и приемных, поселили эвакуированных писателей, и Анна Андреевна досталась «касса».

Было что-то глумливо-ироничное, но совершенно единое с гофманианой ее жизни и судьбы, что ей, самой безденежной из всех людей, суждено было жить в помещении, где до войны шестелесте купюры и выдавались большие суммы авторам куда менее знаменитым.

Я почти ничего не помню из того, о чем она говорила в тот первый вечер с Женей и со мной. Но запомнила навсегда, как, прощаясь, она протянула руку и сказала: «Вы будете приходить ко мне?» И дрогнувшим сердцем я приняла этот первый дар Ахматовой.

Когда в первый раз шли к Ахматовой, Женя рассказала, что спасению Анны Андреевны мы обязаны неустанным хлопотам Ольги Берггольц. Она добилась, чтобы Ахматову вывезли на Большую землю. Сама Берггольц осталась в осажденном Ленинграде, и голос ее, ее стихи мужества и надежды, звучали в каждой квартире, когда репродуктор стал единственной связью с жизнью и с погибающим, стынущим миром.

Женя — Евгения Владимировна Пастернак, художница, первая жена Бориса Леонидовича — была моим другом юности. Я любила ее за талант и душевную верность. Это Женя в свое время подарила мне Пастернака. Всякая встреча с ним, его творениями сделались событиями жизни.

И вот, приведя к заветному порогу, Женя совершила свой второй великий дар. Она подарила мне Ахматову. Мне ли забыть!

## ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

В первый раз Анна Андреевна переступила порог нашего дома на Хорошхинской в новогодний вечер, чтобы вместе со мной и моим мужем Алексеем Федоровичем Козловским встретить свой первый в Ташкенте Новый год. Снимая с нее шубку, Алексей Федорович воскликнул: «Так вот вы какая!» Вероятно, в его веселом молодом голосе было что-то, что заставило ее улыбнуться, и, разведя руками, она в тон ему шуточно ответила: «Да, вот такая. Какая есть».

Алексей Федорович с первого вечера всегда при встрече и прощании целовал ей обе руки. Он один из всех не ощутил ни оторопи, ни смущения, которые испытывали перед Ахматовой все. С первой же минуты не было напряженности и преодоления того, что возникает, когда человек приходит в дом впервые.

В тот вечер глаза ее были синие. Еще не седые волосы, а цвета соли с перцем, обрамляли патрицианскую голову мягко и легко. Вся ее фигура в светло-сером костюме выглядела необычайно изящно, стройно, почти воздушно. Она направилась к топившейся печке, повернулась к ней спиной и стала греть руки. И, очерченная белизной печи, окутанная мягким теплом, она стояла в своей вечно женственной прелести и красоте. Она оттаяла после того первого вечера в «кассе», и к ней вернулись ее юмор, блеск радостного собеседничества и прославленная ахматовская улыбка.

Через некоторое время она спросила: «Хотите, почитаю стихи?» И прочла отрывок из Пролога к «Поэме без героя».

Трудно передать то впечатление и что случилось с нами. Но знаю наверное, что с того вечера мы влюбились в «Поэму» и ее автора на всю жизнь.

Она, наверное, почувствовала это и с того дня стала приходить к нам через день, два, редко через три. Она приходила к нам, чтобы получить тот отклик, который нужен был и ей, — живой, горячий, постоянный.

Судьбе было угодно сделать нас свидетелями рождения удивительного произведения искусства, и мы про себя называли его «наша поэма». Поэма росла, развивалась, как дерево, радуя новыми побегами. Вместе с ними рос и удивительный контрапункт ее эпиграфов. Их обилие захватывало дух, и их переключка с внутренней сутью поэмы была необыкновенно богатой и глубокой. Об одних эпиграфах можно было бы написать целое исследование.

Мне жаль, что в окончательном варианте Анна Андреевна изъела огромное количество удивительных по красоте стихов. Мне всегда казалось, что герой поэмы — это Время, властвующее над памятью. Под какие своды и под какие подземные воды не унесит поэма память о прошлом — и как поразительно выплывает она к настоящему, к своему городу в оцеплении блокады:

А ты, не ставший моей могилой,  
Ты, крамольный, опальный, милый,  
Побледнел, помертвел, затих.  
Разлучение наше мнимо:  
Я с тобою не разлучима,  
Тень моя на стенах твоих,  
Отраженье мое в каналах,  
Звук шагов в эрмитажных залах,

Где со мною мой друг бродил,  
И на старом Волковом Поле,  
Где могу я рыдать на воле  
Над безмолвием братских могил.

Не мне судить, выиграла ли Анна Андреевна битву с большой формой. Но есть ли еще пример в русской литературе, когда поэт был бы так целеустремлен, так одержим своим творением — целых двадцать четыре года, с 1940 по 1964?

## УЛИЦА ЖУКОВСКОГО, 54. ПРОВОЖАНИЯ

Постепенно жизнь и быт Ахматовой как-то наладились. Писательская братия, жившая с ней в одном доме, как могла, о ней заботилась. Она не голодала. Нужно отдать справедливость, в те трудные дни войны республика делала все возможное и очень помогала эвакуированным, которые каждый день прибывали и прибывали.

Затем, когда уехала Елена Сергеевна Булгакова, занимаемую ею комнату передали Анне Андреевне. Это был дом на Жуковского, № 54, где также жили писатели Уткин, Погодин, Луговской и другие.

И вот тут начались долгие провожания Анны Андреевны домой на улицу Жуковского, и разговоры под ночным азиатским небом были наполнены особым, не домашним, а иным очарованием — тихим, глубоким, ласково доверительным. Мой муж водил гулять Ахматову и днем, и чаще всего в старый город. Во время этих прогулок она узнала историю его ссылки, его характер и необычность. Был он человеком блистательных дарований и яркой индивидуальности. В музыке, в своих композициях он был поэтом оркестра, оригинальным мастером звуковой живописи. А в оперном творчестве Козловского все отмечали силу и своеобразие музыкальной драматургии. Музыкальная память и слух его были легендарными. Эта память распространялась на поэзию и прозу, которые он мог читать страницами наизусть.

Как пришла к нему уникальная эрудиция поэтического наследия разных народов и в разные века, не знаю. Его слух улавливал малейшие погрешности стиха, а вкус предъявлял высокие требования. Слабые поэты боялись его суда, настоящие — ценили.

Дала ему природа еще один великолепный дар — удивительное, спонтанное чувство юмора, которое было спасением в трудные порой периоды жизни, которое и спасло его веселый, солнечный характер от отчаяния и пессимизма.

Многое открылось Ахматовой во время этих прогулок. Я знаю, как глубоко трогала Ахматову его судьба, одиночество большого музыканта, насильственно вырванного из родной почвы и музыкальной культуры своего народа и среды. Но знаю также и то, как она была тронута силой, свежестью и страстью, с какой он превратил свое изгнание в поэтическую радость. Любовь Козловского к Востоку стала почти единственным источником его творчества.

Вот каким человеком был новый друг Ахматовой, которого она ценила и нежность к которому сохранила до конца своих дней...

## ШЕХЕРЕЗАДА

Во время совместных прогулок мой муж водил Анну Андреевну по старому городу, который знал и любил. Приводил на базарную площадь, где кричали верблюды и ревели ослы, пока их хозяева торговали кошмами и коврами, сеном и зерном. Показывал ей дутариста, игравшего на инкрустированном инструменте редкой красоты. В отделении сидел на земле старик в войлочной шапочке, который вдумчиво гадал на бобах, разложенных на тряпице. Однажды он привел Ахматову туда, где проходили перепелиные бои. Но в тот день состязания не состоялись, так как хозяин перепела-чемпиона получил повестку в военкомат. Потом он ушел на фронт и не вернулся. Водил ее по узким переулкам, показывал узбекские дворики, о которых художник Александр Николаевич Волков в своих стихах писал: «И за каждым дувалом неожиданный рай».

Привел он как-то Ахматову и в тот «рай», где нами были прожиты три года нашей ссылки. Два дома, два сада с черешнями и персиками, которые то цвели, то плодоносили, серебристая благоуханная жидка, огромный тополь и урючина, закрывавшая половину сада.

Тут было все: и виноградная лоза, и розовый куст, и арык, бегущий вдоль дорожки, где кудрявится душистая мята. Все чисто, полито, подметено. Как всегда, гостей встретили две девочки со множеством косичек. Под их радостные крики закипел самовар и появился дастархан — угощенья — изюм и сушеный урюк. Все было по-прежнему. Все солнечно, все приветливо, и добрая тень в жаркий день, и добрые руки приветствий.

Вечером Алексей Федорович показывал Ахматовой свои фотоснимки того времени, когда мы жили в Игарчи, на улице Седельщиков.

Анна Андреевна узнала и мангал в углу дворика, и тополь, и меня, стоящую с кушином поодаль. Через три дня она принесла мне листок со стихами. Подарила и поцеловала. На листочке написано — Галине Герус<sup>1</sup>.

Заснуть огорченной,  
Проснуться влюбленной,  
Увидеть, как красен мак.  
Какая-то сила

<sup>1</sup> Я долго носила свою девичью фамилию — Герус.

Сегодня входила  
В твоё святилище, мрак!  
Мангалочный дворик,  
Как дым твой горек,  
И как твой тополь высок...  
Шехерезада  
Идет из сада...  
Так вот ты какой, Восток!

За глаза Анна Андреевна иногда меня называла «моя Шехерезада», а мужа — «Козликом», как звали его друзья. Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывала: «Она (Ахматова — Г. К.) не раз говорила: «Наш Козлик — существо божественного происхождения».

Проигрывая Алексею Федоровичу в шахматы, Надежда Яковлевна кричала тридцатитрехлетнему противнику: «У, проклятый старик!» С Надеждой Яковлевной Алексей Федорович дружил, много шутил, но гулять не водил. Стихи Осипа Эмильевича читались чаще всего мне, и я знала Надю мягкой, грустной, со спрятанными иголками ежика, какими она чаще всего оцетинивалась ко внешнему миру.

## ПОРТРЕТЫ АХМАТОВОЙ

Красота Ахматовой — вечная радость художников! Сколько их писали ее портреты! Во всех возрастах Ахматова была прекрасна. И даже в старости, отяжелев, она приобрела какую-то новую, величавую статуарность.

Каждый художник видел и запечатлевал Ахматову по-своему. На полотнах поэт предстает во всем многообразии своих обликов, в разных освещениях, все в новых гранях характера и личности. Иконография ее огромна, и если девятнадцатый век дал самую большую иконографию поэта лорда Байрона, огромное количество портретов Ференца (Франца) Листа, то у нас, в России, стране великих прозаиков и поэтов, ни одному из них не посчастливилось иметь столько живописных портретов, как Анне Ахматовой, — великому поэту нашего времени.

Каждый, с кого писали портреты, знает то особое чувство, которое возникает между моделью и художником. Это очень тонкое чувство, отличное от всех других видов человеческого общения. Ахматова передала это так:

Там комната, похожая на клетку,  
Под самой крышей в грязном, шумном доме,  
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом  
И жаловался весело, и грустно  
О радости не бывшей говорил.  
Как в зеркало, глядела я тревожно  
На серый холст, и с каждой неделей  
Все горше и страннее было сходство  
Мое с моим изображеньем новым.  
Теперь не знаю, где художник милый,  
С которым я из голубой мансарды  
Через окно на крышу выходила  
И по карнизу шла над смертной бездной,  
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —  
Но чувствую, что Музы наши дружны  
Беспечной и пленительною дружбой,  
Как девушки, не знавшие любви.

(Из эпических мотивов)

Много писалось портретов Ахматовой. Здесь и портрет ленинградской художницы Делавос Кардовской, и работа Амедео Модильяни, и Петрова-Водкина, и общеизвестные полотна Альтмана, Тырысы, Тышлера и других мастеров. Много и великолепных фотографий, но ни на одной из них не запечатлено самое удивительное выражение ее лица, которое появлялось только тогда, когда упоминалось два имени. То были имена поэта Иннокентия Анненского и Михаила Булгакова. Сколько у нее было более близких друзей, сколько людей она любила, но лишь эти двое были единственными, воспоминания о ком придавали ее лицу чудесное, нежное, слегка отрешенное выражение. Мне почему-то казалось, что в основе лежало особое чувство преклонения, которым она больше никого, кроме Анненского и Булгакова, не почтила.

У нее были маленькие, необыкновенно красивые руки, чей характерный жест слегка намечал на своем портрете Модильяни. Глаза ее были то синими, то серыми, иногда голубыми с фиалковым оттенком, как у ребенка после сна.

Голос был низким, и часто, когда Ахматова начинала читать стихи, она не соразмеряла высоту, брала слишком низко и задыхалась к концу, уставала.

## ЯРОСТЬ ПОЭТА

Довольно скоро после своего приезда в Ташкент Анна Андреевна обросла роем женщин, которых Алексей Федорович прозвал Ахматиссами. Часть из них, меньшая, состояла преимущественно из молодых девушек, искренне и по-настоящему любивших ее поэзию, и они с робким обожанием смотрели на «живую» Ахматову.

Вторую часть представляли снобистические втируши. Они под любым предлогом хотели быть «около» Ахматовой.

Третьи, чаще всего глупые и сентиментальные женщины, считали, что Ахматова — единственная достойная их исповедальня, где они могут излить свои чувства и горести любовных неудач.

Эти были на редкость бестактны и надоедливы.

Однажды мы застали Анну Андреевну в ярости. С красными пятнами на щеках, она ходила по комнате, держа какое-то письмо и восклицала: «Нет, это что такое! Что это такое? Я вас спрашиваю!» — и сунула мне в руки пространное послание. По своей бесстыдной доверительности оно превосходило все нормы примитивного приличия. Авторша с потрясающей въедливостью вторгалась в интимную жизнь Анны Андреевны и отождествляла ее со своей, так сказать, на равных. Вся бабья дурь, пошлость и наглость были выложены сполна, и я вполне понял гнев Ахматовой.

Вдруг она яростно сказала: «Это все равно что написать Бабановой: «Говорят, что вы живете с дрессировщиком собак, это ничего, я сама живу с сутенером». Неожиданно раздался громкий хохот Алексея Федоровича, аплодисменты и его крик: «Браво, Анна Андреевна, так их, так их!» Ахматова застыла и вдруг громко рассмеялась вместе с нами.

— Ах, если бы вы знали, как я люблю Ахматову и как ненавижу Ахматисс,— сказал он ей в тот вечер.

Когда Ахматова приходила уставшая и невеселая, он спрашивал ее: «Что, опять Ахматиссы?» — а она, бывало, только махнет рукой.

И это при ее охлаждающей замкнутости и недоступности с незнакомыми людьми всех возрастов. Недаром многих охватывали смущение и оторопь немoty. Больше всего Ахматова ненавидела фамильярность и амикошонство. Недопущенные в ее мир мемуаристы теперь берут реванш за прежний запрет и фамильярничают с тем, к чему они при жизни Ахматовой не были причастны.

## ВОЙНА. ДОБРО И ЗЛО

Война. Эвакуация. Тыл. Жизнь, разъединившая Россию надвое — на сражающихся и на спасаемых и спасающихся. Эта жизнь совершалась в какой-то гофманиане небывалых бед и страданий. Она объединяла осиротелых, потерянных людей в условиях голода, холода, неустroенности и вечного страха за выживание. При этом — страх за близких там, в ужасах войны. Боль ежедневно сжимала сердца, казалось, что в мире остались только муки. И тут произошло поразительное обнажение человеческой сущности. Одни остались людьми с добротой и состраданием, ничего не утратив из своей нравственной сущности. Другие, чаще всего принадлежавшие к элитарным слоям интеллигенции, которых считали гордостью, совестью и честью нашего общества, вдруг теряли все. Для них существовали только они сами, только их собственные, их утробное существование. Они рвали все и у всех.

Как-то я с грустью заговорила об этом с Анной Андреевной, и она с той же грустью сказала: «Да, есть люди, у которых вместе с подошвой и душа отвалилась».

Случилось мне однажды увидеть у Анны Андреевны влажные глаза.

Ксения Георгиевна Держинская, прекрасная певица Большого театра и лучшая дева Феврония в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», была в жизни такой же светлой и душевно все вокруг озаряющей. Однажды на трамвайной остановке она увидела стоявшего на костылях кашляющего молодого солдата. Он был слеп. Держинская помогла ему подняться на площадку второго вагона. Со свойственной ей добротой и ласковой участливостью она заговорила с ним. В отчаянии юноша сказал, что ослеп навеки, что жизнь его кончена. Артистка спросила его, не пытался ли кто вернуть ему зрение. «Только Филатов бы мог, но он для меня недоступен», — горько сказал молодой человек.

Ксения Георгиевна велела больному прийти к ней через день, чтобы отвести к своему другу Владимиру Петровичу Филатову. <sup>1</sup> Он положил ослепшего солдата в свою клинику и вернул юноше зрение.

Когда я рассказала об этом Анне Андреевне, она, закрывая ставшие влажными глаза, несколько раз выдохнула:

— Ах, как хорошо, ах, как хорошо!

Как трудно описать дружбу. Она состоит из такого множества прелестных примет, но все они эфемерны и летучи, как сама жизнь. Казалось бы, не удержат их, как воду в горсти,— но они плывут и превращаются в бесценный слиток чистой пробы.

Как мне кажется, две радости лежат в основе истинной дружбы — радость доверчивости и радость узнавания. Доверчивость приоткрывает душу как дар, а узнавание, становясь все глубже и дороже, длится, пока жива дружба. Мне бы не хотелось, чтобы мои воспоминания создали впечатление, что мы только и делали, что говорили об искусстве. Мы жили в войну, жизнь становилась все трудней для нас, не приспособленных к борьбе с невзгодами все усиливающегося голода и бытового неустroйства.

С первых же дней эвакуации из разных городов к нам в дом хлынуло множество друзей, подчас почти незнакомых. Мне иногда казалось, что у нас перебивали все люди, которых мы знали в жизни. Всех надо было встречать, поить, кормить, устраивать на ночлег, искать квартиру, хлопотать о прописке. В наш адрес шли письма из разных городов от друзей, тех, кто уехал и не

<sup>1</sup> Владимир Петрович Филатов был эвакуирован со своими сотрудниками из Одессы в Ташкент, где великий окулист сделал много доброго.

знал, где будет их пристанище. Люди страшились потерять друг друга. Мы с радостью делали все, что могли, чтобы помочь им всем.

Но через четыре месяца у нас не осталось ни денег, ни запасов, ни спасательных «закрытых распределителей». И мы медленно и неуклонно шли к дистрофии.

Алексей Федорович тогда нигде не служил, и существовали только на те деньги, которые он зарабатывал музыкой. Но деньги не имели никакой цены, и прожить на них было невозможно. Мы принадлежали к тем, о ком не заботились. Мы хорошо понимали, как и почему во время эвакуации, в пути, на остановках, в очередях, где выдавалась еда, Дмитрий Дмитриевич Шостакович бывал легко отпихиваем более ретивыми коллегами все дальше и дальше от заветного прилавка и, бывало, возвращался ни с чем.

Потом, когда мы приблизились к очень критическому положению, о нас, наконец, позаботились, я узнала, что некий прохиндей Клычев оформил на имя мужа пропуск в распределитель и три года пользовался им, в то время как сам композитор Козловский терял сознание от слабости и недоедания.

Голод был, прошел и забылся. Но есть два дня, которые я не могу вспоминать без душевного волнения.

Как-то мы ушли из дома, забыв закрыть окна. Когда вернулись, то увидели на подоконнике плитку шоколада. Это прихитрила Анна Андреевна, положила и ушла. Это она — блокадница, это она, знавшая голодные видения, принесла шоколад и, верно, радовалась, что не застала нас дома.

Второй случай был такой. До войны пришла как-то раз к нам молодая женщина. Она пришла показать Алексею Федоровичу свои эквиритмические переводы нескольких арий из оперы «Лейли и Меджнун» Райнгольда Морицовича Глиера.

Сделаны они были профессионально, но ретивые переводчики решили отбить для себя заработок и начали всячески травить и третировать тихую застенчивую женщину. Алексей Федорович просмотрел ее работу, кое-что посоветовал, написал в издательство письмо, и Глиер был издан в ее переводах.

Прошло около трех лет. Война была в разгаре, и мы вступили в самую трудную полосу нашей жизни. Чтобы выжить, надо было что-то продавать из вещей, как делали многие, на Алайском базаре. Это было очень трудно, мучительно и стоило большого напряжения. И вот стою я на базаре и держу в руках любимое свое платье. Покупателей не было, а дома жили надеждой, что я хоть что-то принесу.

Вдруг какая-то женщина взяла в руки платье, но, взглянув на меня, она растерянно воскликнула: «Как? это вы?! Боже мой, боже мой! Неужели так плохо?!» — вскрикнула она и быстро заговорила:

— Милая, идите домой. Вот, возьмите, сколько у меня сейчас с собой, остальное я принесу вам домой вечером.

Вероятно, я была очень бледна, потому-то она так настойчиво торопила меня домой.

Пришла она в сумерки, и за ней какой-то паренек внес в дом огромный мешок, полный всякой снеди и продуктов. Гася наше изумление, она торопливо объяснила, что ее муж директор какого-то крупного завода под Ташкентом, что они получают отличные пайки и чтоб мы, бога ради, не смущались.

Настала моя очередь глотать непрошенные слезы, а она смотрела на меня почти виновато своими добрыми газельными глазами.

Она ушла, просидев весь вечер с нами, ушла, и мы никогда больше ее не видели.

## О ПИСАТЕЛЯХ

В своих суждениях о писателях Анна Андреевна не была чужда некоторого максимализма и непостоянства. Так, когда ей дали впервые прочитать «Прощай оружие» Хемингуэя и спросили, что она думает о писателе, она сказала: «Просто обыкновенный гений». Говорят, годы спустя она невзлюбила Хемингуэя и отказывала ему в достоинствах. Хотя этому противоречит множество эпиграфов, которые она брала у писателя.

Она была удивительно пристрастна к Толстому за «Анну Каренину». Ахматова упрямо не могла простить его внутреннего осуждения Карениной. И ни эпиграф к роману, и никакие доказательства не могли ее переубедить. Она считала, что в глубине души Толстой был врагом женщины, ушедшей от мужа. Она говорила: «Да, он, конечно, гениален, но...»

Не любила Ахматова и Чехова. Она говорила: «Была великолепная жизнь, как прекрасна всякая жизнь, дарованная, чтобы ее прожить. А Чехов словно закутывает все в серый камень. Все у него скучно, и люди — серые, и носятся со своей скукой и тоской неизвестно почему. И живут, не зная жизни».

В противоположность Цветаевой, она не любила Брюсова. Разнося его в пух и прах, Анна Андреевна была и забавна, и неистощима:

«Скажите, разве это поэт, который говорит себе: «Сегодня я должен написать два сонета, три триолета и один мадригал. Завтра мне надо написать балладу, романс и три подражания древним»? Это «надо» и «должен» обыгрывались ею очень смешно. Ее не трогали ни эрудиция, ни ум Брюсова. Она предпочитала образованность иного склада, например, Вячеслава Иванова.

В противоположность Толстому, Ахматова с какой-то петербургской страстью любила Достоевского. Его Петербург и гоголевский зыбкий петербургский мир были словно ее почвой, на которой Ахматова воздвигла свой Петербург, полный ветром, облаками, деревьями и величавой пленительной красотой.

К Гоголю она часто возвращалась и видела в нем обладателя самого фантастического, самого фантазмагорического взгляда на жизнь и людей, когда-либо бывшего в России.

О Блоке говорила редко. Он был для нее беспорной очевидностью. Но существовало еще

что-то неуловимое, скрытое в ее отношении к Блоку. Однажды я оказалась свидетельницей сцены, когда Ахматова, как говорится, взорвалась. Одна ее посетительница поведала, что в лекции, которую она только что прослушала в университете, лекторша рассказала о романе Ахматовой и Блока. «Боже! — почти закричала Ахматова. — Когда кончится эта чушь и вздор! Никогда не было никакого романа, ничего похожего на него!»

Посетительница пролепетала: «А как же стихи?»

«А поэтам свойственно писать стихи», — с убийственной иронией ответила Анна Андреевна.

И вдруг, какое-то время спустя, Ахматова неожиданно сказала: «У него была красная шея римского легионера».

Одна из великих ее привязанностей — Осип Мандельштам. Она была беззаветно ему предана. Любила и высоко ценила его стихи, любила его веселый и остроумный нрав и дружбу его ценила, как счастливым дар судьбы. Ахматова вспоминала о нем как о самом блистательном, самом верном, самом беззащитном человеке, горьком и трагическом поэте нашего времени.

Не было и у Осипа Мандельштама большего друга, чем Анна Андреевна, и он это знал.

К Пастернаку было особое отношение, очень дружественное, с оттенком порою, я бы сказала, восхищенного изумления. Ахматову неизменно радовали стихи Пастернака. Они всегда были с нею. И если жизнь сложилась так, что встречи их не были так часты, как с Мандельштамом, то бывали все же времена и периоды московской жизни, когда Борис Леонидович заходил к ней почти каждое утро.

Не забуду лица Анны Андреевны, когда она получила письмо Бориса Леонидовича, где говорилось о том, что он только что прочитал «Поэму без героя» и как взволновала его поэма. Это было удивительное пастернаковское письмо, полное хвалы и восхищения и Ахматова читала его растроганная, гордая и счастливая.

Помнится, при нас Анне Андреевне принесли телеграмму от М. Лозинского: «Сегодня кончил «Рай». Она просветлела, затем грустно сказала: «Вот какой блистательный переводчик, на радость людям, а ведь был поэт, писавший хорошие стихи. Поэтам опасно становиться переводчиками, они что-то в них пожирают». И вдруг: «Вот и Пастернак стишков много переводит, и мне жаль».

Великая культура и высшие духовные богатства присущи ей как дыханье, речь или походка. Духовность и культура пришли к ней путями, ведомыми только гениям, в противоположность усидчивому и долговому накоплению знаний просто образованных людей. Это и составляло пленительную и ошеломляющую красоту ее личности.

Трех кумиров пронесла Ахматова через жизнь, отдавая им жар поэтического восхищения и вдохновенного изумления. Данте, Шекспир и Пушкин. Данте она читала в подлиннике, каждый раз черпая из него музыку и мудрость глубины.

Шекспира Ахматова читала по-английски, и весь его огромный мир был ясен ей и ведом до последней строчки. Темные места его архаизмов прочитывались ею легко и без задержки, без помощи лингвистов-англичан. Это редкостное чутье и понимание всегда поражали. Анна Андреевна в сфере «своего» Шекспира была ослепительна. Однако английское произношение ее было неважным и часто непонятым на мой слух. Ей же нравился мой английский язык, и она довольно часто просила читать ей Шекспира вслух. Мы очень любили перечитывать начало пятого акта «Венецианского купца» с удивительными стихами Лоренцо и Джессики: «В такую ночь печальная Дидона с веткой ивы стояла на пустынном берегу». Я часто думала, не эти ли строки Шекспира заворожили Ахматову, так как образ Дидоны не раз встречается в ее стихах. Хотя «Энеида» была всегда под рукой. Ахматова довольно равнодушно выслушивала мои рассказы о шести великих Гамлетах, виденных мною на английской сцене.

Анна Андреевна сказала о женском поэтическом творчестве, что за всю жизнь она встретила только двух абсолютно подлинных поэтов — Марину Цветаеву и Ксению Некрасову. (Кстати, она не признавала слова «поэтесса». Всегда говорила: «поэт».) Бесспорность Цветаевой была очевидна, но появления Некрасовой многих поставило в тупик.

Некрасову, трудную и непохожую на других, Ахматова очень ценила, верила в нее и многое ей прощала. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрически агрессивную, Некрасову легко было высмеять и оттолкнуть. Но Анна Андреевна прощала Ксении все: выходки, грубость и непонимание — следствие элементарной невоспитанности. За все этим Ахматова видела ее внутренний поэтический мир. Дар Некрасовой Анна Андреевна воспринимала как причудливое дерево, выросшее в загадочном лесу. Да и сама Некрасова была словно дитя, вышедшее из этого леса, мало что знавшее о людях и еще меньше о себе самой.

Подобно Вилье де Лилль Адану, Ксения любила создавать себе родословные. Но если француз придерживался одной версии (потомок королей Южной Франции), то Некрасова свои версии забывала. Однажды она сказала моему мужу, что она дочь Григория Распутина. Наивная самозванка и не подозревала, что настоящая дочь Распутина была известной укротительницей львов и долго и с успехом выступала в цирках Европы и Америки.

Как-то к нам пришел флорист Эйхенгольц. Среди разговора Алексей Федорович спросил его, не страшно ли ему было взяться за перевод Иродиады после Тургенева? Ученый спокойно и невозмутимо ответил, что у Тургенева перевод свободный и неточный, а его точный.

Через день пришла Ахматова, и как-то само собой вспомнился разговор с ученым-флористом. К моему удивлению и огорчению, высказывания Анны Андреевны о Тургеневе носили тот же самый оттенок снисходительности, полууважительности, которые свойственны именно русским, как современникам, так и многим потомкам. Кроме поколения, возведшего Тургенева в кумиры еще до «Отцов и детей», сколько русских литераторов и мемуаристов с удовольствием щипали его за икры. Начиная от пожизненной неприязни Льва Толстого до женского шипения Панаевой. Все они искали изъяны в характере и поведении Тургенева.

Я высказала Анне Андреевне свои огорчения и сказала: всю жизнь удивляюсь тому, что ни один литературовед не написал исследование — Тургенев глазами русских и великих деятелей европейской культуры. Ведь каким неоспоримым авторитетом, непрерываемым мэтром, высокой личностью был наш Тургенев для Флобера, Гонкуров и всех французских писателей младшего

поколения. Почти нет современника на Западе, который, встретившись с Тургеневым, не оставил бы записей, полных удивления и восклицаний.

Как благодарно писал о нем Генри Джеймс, признавая плодотворность влияния Тургенева на свое творчество. Всех не перечислить. Но это несходство отношений к Тургеневу — там — и тут, у своих соотечественников, всегда поражает!

Анна Андреевна не рассердилась на мою запальчивость и смеясь сказала:

— Ну вот вы и напишите эту книгу.

Но где мне, литературоведу, без доступа к материалам было подумать о таком начинании.

Разговор о Тургеневе сам собой перешел на Виардо. Заговорили о порабощении страстью, о разных формах неравенства в любви, о ее слепоте, порой роковой.

Легендарно постыдная жадность Виардо к деньгам всегда отвращала, и я излила всю свою неприязнь к ней. Чтобы смягчить мое ожесточение, Алексей Федорович сказал:

— А знаете вы, что у Виардо был прелестный композиторский дар? Сейчас вам покажу.

И, сев за рояль, он спел романс на стихи Пушкина на русском языке. Действительно, очаровательный романс. Алексей Федорович обратил наше внимание на естественность и свободу, на безупречность русской речи. Лукаво добавив, что сама Виардо была очень талантлива, у нее были сверх того два небесталантливых редактора — литературный Тургенев, музыкальный Франц Лист.

Анна Андреевна тут же заинтересованно спросила Алексея Федоровича, откуда ему известен этот романс (к стыду своему не помню уже сейчас, какое именно стихотворение Пушкина это было).

И Алексей Федорович рассказал, как в детстве к ним в дом приходила и дружила с его братьями известная камерная певица Мусатова-Кульженко. Братья много ей аккомпанировали, даже на концертах. Она была известна, как превосходная исполнительница Клода Дебюсси.

Мусатова-Кульженко долго жила в Париже. Дебюсси очень ценил ее и не раз аккомпанировал ей свои произведения на сольных концертах певицы. Не знаю точно от кого, но Мусатова-Кульженко, будучи вхожа во многие русские дома, где-то услышала этот романс Виардо. Она переписала его и часто пела. Алексей Федорович сказал, что он даже помнит формат переписанных листов.

Как-то разговор зашел о Дебюсси. Анна Андреевна сказала: «А я была с ним знакома». Едва Ахматова заговорила о Дебюсси — одном из самых любимых композиторов Козловского, и он стал ее расспрашивать, разговору помешал стук в дверь: мужу принесли повестку в военкомат, и Дебюсси был забыт.

Много лет спустя, в Москве, при встрече с Анной Ахматовой произошел волнительный для Алексея Федорович случай. На вопрос Анны Андреевны, чем он занимается в последнее время, Алексей Федорович ответил:

— Недавно дирижировал симфонию Франка и Дебюсси — «Послеполуденный отдых фавна, Празднества, Облака» и собираюсь играть «Море».

И тут Ахматова рассказала, как однажды во время банкета, который давал знаменитый дирижер Кусевицкий в честь французского композитора Дебюсси, рядом с Анной Андреевной весь вечер сидел Дебюсси. В конце он подарил Ахматовой музыку своего балета — «Мученичество Святого Себастьяна», сделав на партитуре дарственную подпись. Постановка этого балета в 1913 году в Париже прошла не без скандала. Себастьян танцевала Ида Рубинштейн, а архиепископ Парижский метал громы и молнии, в проповедях своим прихожанам он взывал не смотреть на кощунство гнусного безбожника Д'Аннунцио.

И вдруг Анна Андреевна, повернувшись к Алексею Федоровичу, сказала:

— Я вам подарю партитуру Дебюсси.

И, улыбаясь, подошла к телефону, набрала номер своей ленинградской квартиры и, указав Ирине Пуниной, где лежат ноты, велела немедленно выслать их в Москву Ардовым. Козловский был счастлив! Но как же опечалились они оба, когда на следующий день из Ленинграда ответили, что ноты не нашлись.

Просто там Ахматову послушали, не захотели отдать уникального дара.

## АХМАТОВА И МУЗЫКА

Если говорить о музыкальных пристрастиях Анны Андреевны, надо в первую очередь отметить ее особую склонность к полифонистам XVII и XVIII веков. Она любила Вивальди, но больше всего Баха. Алексей Федорович рассказал ей однажды, как на основе текстов кантат Баха ученые и музыканты Швейцер и Болеслав Яворский обнаружили общность символов в инструментальных произведениях Баха. Анна Андреевна живо увлеклась этим и часто просила играть и объяснять ей, что означает каждый из этих символов.

У Моцарта из того, что она знала, она больше всего любила «Реквием» и часто просила играть ей массонскую траурную музыку.

Всегда узнавала музыку «Дон Жуана».

Я должна отметить, что к опере как к жанру она, по-моему, была довольно равнодушна. Из русских опер она по-настоящему знала и любила «Хованщину» и «Пиковую даму». Зато кляла Модеста Чайковского за ужасающе плохие стихи. И все повторяла: как мог Чайковский писать такую гениальную музыку на такие бездарные слова!

Ахматова нередко удивлялась незыскательности многих композиторов к художественным достоинствам стихов, на которые писали музыку. «Что Тютчев, что Ратгауз,— все равно!» — говорила она.

Лучшим русским романсом она считала «Для берегов отчизны дальней» Бородина. Находила прекрасным «Пророка» Римского-Корсакова и «Сирень» Рахманинова. «Многое уйдет, а «Сирень» останется», — говорила она.

Ей нравилась музыка Стравинского, и она ужасно возмутилась, когда Алексей Федорович рассказал об отзыве Скрябина на «Петрушку»: «Это совершенное выражение хамства».

Ее предпочтение балету перед другими театральными жанрами было несомненным. С юности она дружила с блистательными балеринами Мариинского театра. Атмосфера балетных подмостков была окутана особой поэтической аурой.

Много лет она оплакивала утонувшую в Неве Лидию Иванову, поражавшую всех силой драматической экспрессии, легендарным прыжком и пластическим совершенством. Ахматова многое оставила в Ленинграде, но привезла в Ташкент фотографию Лидии Ивановой.

Участвовала Ахматова и в чествовании балерины Тамары Карсавиной в подвале «Бродячей собаки» и написала ей стихи.

Но вершиной преклонения Анны Андреевны, по-моему, была балерина Татьяна Вечеслова, о чем свидетельствует стихотворение Ахматовой, написанное ею на обороте портрета:

Дымное исчадье полнолуния,  
Белый мрамор в сумраке аллей,  
Роковая девочка-плясунья,  
Лучшая из всех камней.  
От таких и погибали люди,  
За такой Чингиз послал посла,  
И такая на кровавом блюде  
Голову Крестителя несла.

## КАК ВОЗНИКАЛИ СТИХИ

«Художник не посвящен в  
загадку своего мышления»

Оноре де Бальзак

Постоянное общение с Ахматовой приблизило меня к тайне возникновения ее стихов. И хотя тайна всегда оставалась тайной — но были видны и приметы жизни, которые по чудесным законам поэзии вписывались, входили в стихи. Было удивительно наблюдать, как реалии жизни преображались в ее поэзии.

Иногда было достаточно одного слова, впечатления, неожиданной случайности — и совершалось магическое преображение. Она сама рассказывала об этом:

Когда б вы знали, из какого сора  
Растут стихи, не ведая стыда,  
Как желтый одуванчик у забора,  
Как лопухи и лебеда.  
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,  
Таинственная плесень на стене...  
И стих уже звучит, задорен, нежен,  
На радость вам и мне.

Нам с Алексеем Федоровичем случалось быть свидетелями, как реалии жизни входили в ее стихи, и это узнавание было восхитительным.

Так, в ахматовские стихи вошел день на улице Седельщиков — с заветным садом и изображением женщины с кувшином («Заснуть огорченной...»)

Когда Анна Андреевна приходила к нам, она обычно садилась на одно и то же место, и свет с необыкновенной четкостью отбрасывал ее профиль на белую стену. Однажды Алексей Федорович обвел этот профиль сначала карандашом, а потом углем. Потом мы часто шутили, рассказывая Анне Андреевне, как по ночам профиль живет своей особой жизнью.

И вот в стихотворении, которое начинается словами «А в книгах я последнюю страницу всегда любила больше всех других», шло повествование:

...И только в двух домах  
В том городе (название неясно)  
Остался профиль (кем-то обведенный  
На белоснежной извести стены),  
Не женский, не мужской, но полный тайны.  
И, говорят, когда лучи луны —  
Зеленой, низкой, среднеазиатской —  
По этим стенам в полночь пробегают,  
В особенности в новогодний вечер,  
То слышится какой-то легкий звук,  
Причем одни его считают плачем,  
Другие разбирают в нем слова.  
Но это чудо всем поднадоело,  
Приезжих мало, местные привыкли.  
И, говорят, в одном из тех домов  
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

(Ташкент, 1943)

Когда известь постепенно поглотила ставший неясным профиль Ахматовой, уже потом, после ее отъезда, я завесила это место куском старинной парчи. При встрече в Ленинграде я рассказала



Анне Андреевне об этом, и она воскликнула: «Боже! Такая роскошь — и всего лишь для бедной тени».

Нет больше белой стены, нет и дома (разрушенного землетрясением), нет больше двух веселых участников игры, а стихотворение — осталось.

Есть в этом стихотворении одна строчка: «И даже вечность поседела», как сказано в одной прекрасной книге. Никто из нас не мог вспомнить, откуда и что это за книга. Наконец, спросили Ахматову, и она сказала, что это из «Тома Сойера», когда Гек и Том, сидя на мызе старого валлийца, невольно подслушали зловещие намерения индейца Джо. При этом прибавила, что Гумилев эти две книги называл «Илиадой» и «Одиссеей» детства. И вспомнилось при этом утверждение Хемингуэя, что девяносто страниц плавания по Миссисипи — лучшие страницы прозы в американской литературе.

Однажды в жаркий летний день мы пришли на Жуковского, 54. Анна Андреевна лежала прикрытая простыней, из-под которой выглядывала маленькая, очень красивая ножка. Алексей Федорович невольно воскликнул: «Ах, какая ножка!» Через некоторое время появилось стихотворение:

Кто знает, что такое слава!  
Какой ценой купил он право,  
Возможность или благодать  
Над всем так мудро и лукаво  
Шутить, таинственно молчать  
И ногу ножкой называть?..

Был один случай удивительной памяти из реалии жизни, сохраненный поэтом.

Алексей Федорович рассказал мне подробности одного провоза — как они шли, в руках у Ахматовой были моих гвоздики, Алексей Федорович называл созвездия, мерцавшие над головой, журчала вода в арыках — особый звук тогдашнего города, — и из репродукторов несся голос Халимы, певшей древнюю песню. Анна Андреевна жаловалась на тоску, на войну, на сиротство вдали от любимого Ленинграда.

Через несколько лет муж прочел в ахматовском сборнике стихотворение «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума». Поразительная, скрупулезная подробность описания той давней ночи, т. е. внешний мир — и внезапная лирическая нежность конца — удивительна.

## КАК ПЛАЧУТ СТАТУИ

В один из наших приездов в Ленинград Алексей Федорович целый день бродил по кладбищу Александрово-Невской лавры. Накануне выпал снежок, а днем потеплело, и снег стал таять.

Когда муж подошел к памятнику Чайковского, то увидел, как снег медленно тает на бровях и ресницах статуи и капли тихо стекают по щекам, будто Петр Ильич плачет, горестно глядя на светлый день.

Придя вечером к Анне Андреевне, он взволнованно рассказал, как поразило его плачущее надгробье. Очевидно, образ этот вошел в дрогнувшее сердце поэта и годы спустя вылился в гениальные стихи ее «Реквиема».

## МУЖЕСТВО

Вспомнилось, как в холодный зимний день, к вечеру, пришла Анна Андреевна и почти повелительно сказала: «Садитесь, я хочу прочитать вам то, что написала вчера».

И прочитала стихотворение «Мужество». Все слова наши были бы неуместны, мы молчали, понимая, что в русскую поэзию вошло великое стихотворение. Написанное в дни величайшего напряжения сил народа, оно сказало все о мужестве и о гордости, как не сказал никто другой.

Она все поняла сердцем и не только простила нашу немому, но радовалась ей, все прочитав в наших лицах. Придя в себя, Алексей Федорович торжественно поцеловал Ахматовой обе руки, спросил: «Что бы вы сегодня хотели?»

«Давайте побудем вместе с Шопеном», — сказала она.

И он играл долго и хорошо, почти как в концерте, играл больше всего этюды. День рождения «Мужества» мы отпраздновали с самой высокой славянской душой, с вершиной когда-либо выраженной в музыке пронзительной, всеохватной любви к своей земле и народу. Шопен за всех все сказал.

Как часто бывало в войну, погас свет, а Козлик все играл. На душе было торжественно, и мы гордились и любили ее, эту сильную женщину и ее благословенный дар.

## СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ЖУКОВСКОГО, 54

В главном доме на Жуковского жили писатели Уткин, Луговской, Погодин и другие. В глубине двора стояло строение, к которому с торцевой стороны примыкала лестница, ведущая наверх, на так называемую балахану. Там была большая комната, выходившая окнами во двор.

В противоположность «кассе» — много света и пространства. Свое новоселье Анна Андреевна отметила стихотворением «Хозяйка», оно всегда дается в цикле «Новоселье».

В этой горнице колдунья  
До меня жила одна:  
Тень ее еще видна  
Накануне новолунья.  
Тень ее еще стоит  
У высокого порога,  
И уклончиво и строго  
На меня она глядит.  
Я сама не из таких,  
Кто чужим подвластен чарам,  
Я сама... Но, впрочем, даром  
Тайн не выдаю своих.

Посвящено оно Елене Сергеевне Булгаковой (жившей до Анны Андреевны в этой комнате).

Для меня эта балахана на Жуковского навсегда связана со строчками: «Как в трапезной скамейка, стол, окно с огромною серебряною луною». Стихотворение в первом варианте было несколько иным.

Тогда оно звучало так:

Как в трапезной — скамейка, стол, окно  
С огромною серебряною луною.  
Мы кофе пьем и черное вино,  
И музыкаю бредим вчетвером.  
И зацветает ветка за стеною.  
И в этом сладость острая была,  
Неповторимая, быть может, сладость  
Бессмертных роз, сухого винограда,  
Нам Родина пристанище дала.

Те четверо, на кого глядела огромная луна, были: Анна Андреевна, Надежда Яковлевна Мандельштам, мой муж и я.

## ПЕНИЦИЛЛИН

Недалеко от Жуковского, 54, напротив, в переулке, был особняк ученого Громова, где в эвакуации жила Надежда Алексеевна Пешкова, вдова сына Горького, Максима.

Горький прозвал ее Тимошей, и многие позабыли ее имя и отчество. У нее, в доме Громова, иногда бывала Анна Андреевна, которая называла Надежду Алексеевну самой роковой женщиной нашего времени. В Тимоше самой по себе не было ничего рокового. Очень привлекательная, милая женщина, она многим нравилась. Роковым было другое. Роком Надежды Алексеевны стала зловещая фигура Ягоды, всемогущего предшественника Ежова и Берии. Недреманное око влюбленного ревнивца следило за каждым шагом Тимоши.

Каждый человек, который приближался к Надежде Алексеевне и мог ей понравиться, исчезал бесследно и навсегда.

Однажды в присутствии Ахматовой зашел разговор о чудесах только что вошедшего в употребление пенициллина. И Тимоша горестно воскликнула: «Подумать только, если бы тогда был пенициллин, Максима можно было бы спасти, и он был бы жив!»

Тогда Анна Андреевна сказала: «А как же в газетах писали, что его погубили враги народа?» Вдова вспыхнула, растерялась и быстро перевела разговор на другую тему. Она забыла, что Ягода эту смерть сделал предлогом для очередной волны политических репрессий.

## СУДЬБА ОДНОЙ КНИГИ

Однажды Анна Андреевна рассказала, что накануне в одном доме Алексей Николаевич Толстой напомнил забавный случай с книгой. Во время первой мировой войны 1914 года молодой Толстой подарил свою раннюю книжку Ахматовой и Гумилеву с дарственной надписью им обоим.

Во время революции, при переездах Анна Андреевна книжку потеряла. Много лет спустя Алексей Николаевич Толстой, роясь в букинистическом магазине, неожиданно нашел эту книгу. Он купил ее и снова подарил Ахматовой.

Потом я узнала, что по возвращении в Ленинград после блокады Ахматова не обнаружила ее в оставленной квартире.

Кто знает, не объявится ли снова эта книжка в руках библиофила, или ей было суждено согреть недолгим теплом чью-то остывающую жизнь.

Однажды Алексей Федорович спросил Ахматову: «А как дела со славой?» «О,— ответила Анна Андреевна,— тут план перевыполнен.— И грустно добавила: — Но она влечет за собой зависть и клевету. Мне их досталось с избытком».

Ахматова получала много писем, просто от читателей и письма с фронта. Помню, как однажды она прочитала поразительное письмо от командира воинской части. Через полчаса должен был начаться бой, а он писал ей слова любви, благодарности за радость общения с ее стихами, за то мужество, которое она ему придавала. Кончалось письмо словами: «Анна Андреевна, благословите нас, дорогая».

Это таким читателям и друзьям посвящены немеркнущие строки Ахматовой:

Наш век на земле быстротечен  
И тесен назначенный круг,  
А он неизменен и вечен —  
Поэта неведомый друг.

## МУЗЫКА И ЖИЗНЬ

Несмотря на очень тяжелое время войны, в доме нашем шла интенсивная творческая жизнь. Писалась музыка, ставилась наша опера «Улугбек». Люди шли к нам во множестве, самые разные. Шли те, кто ничего не уступал и не отступил от своей духовной сущности. И даже гофманиана нашей порой фантастической жизни не принижала, не уничтожала нас, а лишь усиливала и обостряла наше чувство времени, что тоже дар, который надо хранить.

Вот в эти времена привела к нам Анна Андреевна Фаину Георгиевну Раневскую. Привела послушать только что написанную Алексеем Федоровичем музыку к Прологу «Поэмы без героя». Алексей Федорович много раз обсуждал с Ахматовой порядок и отбор стихов. Получил ее благословение, и когда закончил, то Анна Андреевна написала своей рукой на первой странице нот строки начала Пролога.

Я пела Ахматовой романсы «А я росла в узорной тишине» и «Царско-сельскую статую», положенные на музыку Алексеем Федоровичем. На первых страницах нот написаны оба эти стихотворения рукой Ахматовой. Она приняла и полюбила музыку Алексея Федоровича, и когда приходила к нам, не раз просила меня петь эти романсы.

Сначала я волновалась, боялась петь Ахматовой ее же стихи. Но она всегда была очень ласкова ко мне и добра, и постепенно я поборолла свою робость, и даже присутствие Раневской меня не смущало.

Кстати, о робости. С людьми, знакомящимися с Анной Андреевной, случалось почти всегда одно и то же. В первые минуты и люди почтенного возраста, и молодые, знаменитые и не знаменитые, робели, лишаясь обычной непринужденности. И пока Ахматова молчала, ожидая, что скажет пришедший, молчание бывало даже мучительным. На моих глазах только Алексей Федорович не сробел. Потом как-то об этом зашел разговор, и Ахматова сказала (помню почти дословно): «Да, вот почти всегда так, но это случается только с теми, кто слышал мое имя. Когда же я еду, скажем, в поезде, и никто меня не знает, все чувствуют себя со мной легко, свободно. Бабы потчуют меня пирожками и рассказывают, сколько у них детей и чем они болеют. Мужчины запросто рассказывают анекдоты и всякие истории из своей жизни. И никто никого не стесняется, и никто не робеет».

В результате многие, кто дальше первого знакомства не пошел, говорили, что Ахматова надменна и неприступно горда. Мне же кажется, что это был защитный плащ Ахматовой, которая совершенно не терпела фамильярности и амиошонства. Она хорошо знала, как легко и часто люди склонны навязываться при первой же встрече, любопытствовать, выспрашивать и т. д.

Вот, вероятно, почему ею ставился заслон, как самозащита.

К сожалению, теперь этот заслон исчез и многие фамильярничают, вторгаются в личную жизнь Анны Ахматовой. Они так и не постигли ее поистине удивительную доброту, ее редкую и мудрую снисходительность к человеческим слабостям (но не подлостям). Как она бывала прекрасна в доверчивом человеческом общении, когда ее ум, блеск, обаяние изливались пленительно свободно и легко.

Как хорошо слушала она музыку!

Она каждый раз просила Алексея Федоровича играть ту или иную вещь, что он при своей редкой памяти делал легко и просто.

И когда появилась Раневская, музыки не убавилось, прибавилось смеха, словно и дома стало в три раза больше людей.

«С Вашего позволения  
Я родила двойню».

(Жирофле-Жирофля)

Этой фразой упивалась вся театральная Москва, когда Фаина Георгиевна Раневская играла в оперетте Жирофле-Жирофля в Камерном театре в постановке Таирова.

Огненно-рыжая, громоглазная, ослепительно гротескная, она играла и словно увлекала всех в неудержимый вихрь смеха.

Фаина Георгиевна — не только поразительная многогранная актриса, она была также удивительным человеческим явлением. Ее ум, оригинальный, очень индивидуальный, был единым в общем строе спонтанных страстей и оценок.

Все в ней было ярко, насыщенно, эмоционально, непосредственно — своеобразнейший характер. Она всегда была озорница, и никто не мог предугадать, что воспоследует через минуту. Юмор ее бил фонтаном непредсказуемого великолепия.

Мы очень ею увлекались как актрисой и совсем юными бегали в Камерный театр, когда она там играла. Спектакль «Жирофле-Жирофля» был украшением театральных сезонов тех дней.

Только один раз я видела Раневскую, утратившую чувство юмора. Тогда она пришла ко мне и грустно сказала, что у них с подругой, у которой ребенок, совершенно нет денег, а ребенку нужно купить молока. Она знала: мы спасались тем, что я вынуждена была продавать все, что могла, из своих вещей на знаменитом в Ташкенте Алайском базаре. Там образовался своеобразный клуб, где эвакуированные из разных городов женщины — актрисы, музыкантши, жены писателей — продавали свои вещи, так как пайков не хватало.

Многие знали друг друга, но и незнакомые здоровались. Часто, стоя по щиколотку в грязи, можно было услышать трогательнейшие восклицания: «А помните, как дирижировал Штидри?! А какой замечательный был скрипач Куленкамф! А Бабанову помните!..»

«Если вы собираетесь завтра на базар, можно я, милочка, пойду вместе с вами, чтобы не так страшно одной?» — попросила Раневская. (Кстати, я заметила, что по имени-отчеству она называла только Анну Андреевну, остальных же «мой дорогой», «моя дорогая», «милочка».)

На следующий день она пришла, держа перекинутого через руку довольно облезлого белого пса, из-под которого стыдливо выглядывало два розовых лифчика. И мы отправились на торговую голгофу. Торговля была в разгаре. Мы встали скромно в углу. Фаина Георгиевна явно страдала и почему-то упрямо прятала своего пса. Не успела я ее похвалить, как сзади на нее и на мои плечи легли руки милиционера. И он повел нас в милицию.

Всю дорогу я уговаривала милиционера отпустить Раневскую, втолковывая ему, что это знаменитая актриса, что ей нужны деньги, чтобы накормить ребенка. Ничего не действовало. А в это время весь Советский Союз повторял ее знаменитую (ее придуманную) фразу: «Муля, не нервируй меня!» из фильма «Подкидыш».

Мальчишки сразу признали в ней Мулю, как ее стали звать в народе, и за нами все росла и росла их толпа, которая радостно орала: «Мулю в милицию повели! Мулю в милицию повели!» Вот тут-то Раневской изменило чувство юмора. Она шагала бледная, молчаливая, с застывшим лицом.

Не знаю, что вдруг подействовало на милиционера, быть может, вопли мальчишек, но, так и не дойдя до участка, он нас отпустил, сказав: «Больше там не стойте».

В тот день мы больше не торговали. Раневская непривычно молчала и пила чашку за чашкой кияток. Чаю у меня не было.

Через несколько дней я пришла к Ахматовой и застала там Раневскую.

«А знаете, милочка, у меня была еще одна встреча с милиционером».

Я ахнула и с испугом посмотрела на нее.

«Вчера в двенадцать часов ночи я перешла совершенно пустую площадь. Вдруг слышу: свисток. Я иду, снова свисток. Оборачиваюсь, оказывается, милиционер свистит мне. Я подошла. Он взял под козырек и сказал: «Молодец, правильно перешел».

Она по-доброму добавила: «Молоденький такой был, верно, впервые дежурил. Радовался».

С Фаиной Георгиевной всегда сразу было легко. И хотя ее ум бывал насмешливым, от нее неизменно шли токи доброжелательности. Редкостная доброта характера выражалась у нее, как все,— активно и хорошо.

За всю мою жизнь я встретила только двух чистых без примесей «бессребренников».

Это были Владимир Яхонтов и Фаина Георгиевна Раневская.

Яхонтов — бессребренник от беспечности, от внутреннего изыщества и действительного равнодушия к деньгам и вещам. Зарабатывая много денег, он сам часто бывал на безденежь. Приходя домой, он выкладывал кучу денег и тут же забывал, сколько их было. А друзья-приятели часто брали, кто сколько находил нужным, некоторые просто злоупотребляли этим. Яхонтов любил цветы, часто дарил их. Не жалел он денег и на причуды.

Помню, как однажды зимой он послал сопернику огромную корзину редкой, деликатесной снеди и громадный куст белой сирени с запиской — «Завтрак кавалера де Гриз».<sup>1</sup>

Возвращаясь из гастрольной поездки в Польшу, он легко вскочил в вагон, держа в руках портфель. На изумленный вопрос администратора: «Где же ваш багаж?», он протянул свой портфель: «Вот»,— и открыл портфель. Там лежала чистая рубашка, бутылка коньяка и пачка открыток — пошлостей. Яхонтов одно время коллекционировал открытки общечеловеческой безвкусицы, глупости и пошлости. Администратор ахнул и пошел в другое купе помогать втискивать лопавшиеся от вещей чемоданы других членов бригады. Не совсем уверен, но мне что-то помнится, что именно Яхонтов окрестил эту поездку «Коверкотовым походом».

## «ЯВЛЕНИЕ ЛУНЫ»

Он все-таки настал, день ее отъезда, о котором не хотелось думать.

Мы с Алексеем Федоровичем долго тосковали в сразу наступившей пустоте.

Но Ахматова пришла к нам, таинственно и чудесно, пришла на Новый год, словно чуя нашу

<sup>1</sup> Де Гриз — герой романа Манон Леско.

тоску. За четверть часа до Нового года я обнаружила на полу в прихожей белый листок. Это была открытка со стихами:

## ЯВЛЕНИЕ ЛУНЫ

Из перламутра и агата,  
Из задымленного стекла,  
Так неожиданно покато  
И так торжественно плыла,  
Как будто «Лунная соната»  
Нам сразу путь пересекла.

«Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам много радости. Эти стихи ташкентские, хотя и написаны в Ленинграде. Посылаю их на их родину.

Жду вестей.

Не забывайте вашу Ахматову».

Позднее «Явление луны», датированное 15 декабря 1944 года, вошло в цикл ее ташкентских стихов и публикуется оно с посвящением «А.К.» — Алексею Козловскому. Цикл называется «Луна в зените».

В последующие годы она не раз поздравляла нас с Новым годом, но это первое поздравление, почти мистически-телепатическое, навсегда осталось особым.

Она всегда откликалась. Однажды в ответ на телеграмму с извинениями, что долго не писала, так как мне было худо, я получила почтовую открытку.

Она помечена 2 августа (без года).

«Милая Галина Лонгиновна!

Ваша телеграмма встревожила меня.

Хочется думать, что сейчас Вы уже вышли из тоскливого состояния.

Я с неизменной нежностью вспоминаю Вас и Вашу доброту ко мне. Еще одно стихотворение является следствием этих слов. Книга моя в производстве, оно в ней последнее по времени. Не грустите, дорогая моя. Если бы знали, как меня тянет в Ташкент. Целую Вас крепко. Ва-ша Ахматова».

Что это было за стихотворение, о котором писала Анна Андреевна, я так по сей день и не знаю.

## ВСТРЕЧИ В ЛЕНИНГРАДЕ

Первая встреча с Ахматовой в Ленинграде в 1946 году осталась незабываемой.

Город жил странной жизнью. Он был отдан в руки женщин и девочек, которые чинили, вставляли рамы, штукатурили, лечили город. Верхолазы золотили купол Исакия, но вблизи Адмиралтейства все еще зияла рана, прямо в висок, бюста Лермонтова.

Мы пришли к Ахматовой в Фонтанный дом, где родилась и жила ее Поэма.

Это был старинный Шереметьевский дворец с дивной чугунной оградой. Слева, над дворцовой аркой, была надпись на латыни, означавшая: «Бог охраняет все».

Чтобы пройти к Ахматовой, надо было пересечь вестибюль учреждения, связанного, помнится, с Северным морским путем, и выйти в сад. В саду росли мощные клены, по преданию, самые старые в городе. Один из них тянул ветки прямо в окно Ахматовой и воспел ею.

Поднявшись на площадку стоявшего во дворе здания, мы увидели перед дверью квартиры Ахматовой куст великолепной белой сирени.

Анна Андреевна открыла дверь, обняла нас и, глянув на сирень, воскликнула: «Боже мой, опять цветы!»

В квартире стояло великое множество прекрасных тюльпанов. Ахматова рассказала, что почти каждый день незнакомые люди ставят цветы перед дверью. Иногда с краткими записками. В то время Ахматова была в ореоле славы и любви.

В ленинградской газете, в первый день приезда, мы прочитали статью «В гостях у поэта» с ее портретом. Ахматова получала тогда письма от множества людей, выражавших поэту свою любовь и признательность. После долгих лет искусственного замалчивания Ахматову слишком полюбили. А это было «недопустимо».

Но тогда никто не мог предвидеть, что через два месяца грянет страшная беда. Но он настал, этот постыдный день, когда все газеты печатали ждановское постановление об Ахматовой и Зощенко. Лживое, оскорбительное. Мы в это время были в Ленинграде, но увидеть Ахматову нам не пришлось. Она лежала за закрытой дверью. Лежала неподвижно, глядя в потолок, безмолвная, словно лишившись речи. Не знакомые Ахматовой люди стали теперь вместо цветов посылать ей еще не отмененные продуктовые карточки, которые она неукоснительно сдавала в домоуправление.

А вокруг продолжался шабаш. Лютовало душевное палачество. В разных городах республик непременно обнаруживали черных, неугодных «овец», которых обвиняли, стращали и прибавляли к позорному столбу. Писатели винулись и винули других, разбивались сердца, и все жили в страхе, со тщательно скрываемым отчаянием. Оскорбленный и оплеванный Зощенко на краю психической и физической гибели писал Сталину, что он не может жить с клеймом «подонка», с которым его пустили жить на свете.

Многие годы мы с мужем встречались с Ахматовой в Москве и Ленинграде. Время ничего не меняло. После каждой разлуки, при каждой встрече казалось, что расстались только вчера. Больше всего любили встречаться с Анной Андреевной в Фонтанном доме, где все говорило о ней, и где словно бы излучало флюиды ее творчества.

Это там, в Фонтанном доме, Анна Андреевна подарила нам два незабываемых вечера. Ахматова-пушкинист еще раньше прислала нам рукопись своей исследовательской работы о Пушкине, изданную Академией наук СССР в 1950 году.

В первый вечер она рассказала, что на днях получила из Франции письмо от французского писателя и исследователя — Труайя. Он занимался Пушкиным и спешил сообщить Ахматовой результат своих последних открытий. Он получил, наконец, доступ к личному архиву барона Геккерна, в Голландии. В его переписке, когда он должен был на время уехать из Петербурга, Труайя нашел два письма к нему от Жоржа Дантеса. Труайя переписал их для Ахматовой. Их содержание меня так поразило, что я запомнила их почти дословно. В первом Дантес писал: «Милый друг! Я очень несчастен. Я влюблен! Влюблен, как никогда. Она самая красивая женщина в Петербурге. Вы вероятно догадываетесь, кто она. Но я вижу с ней редко, только на балах и на людях, и у меня нет возможности рассказать ей о своей страсти».

Некоторое время спустя Дантес пишет, ликуя. Он сообщает «милому другу», что наконец объяснился в любви предмету своей страсти, и она ему ответила, что он так же любим ею.

Там было много восклицаний и, кажется, что-то о ревности мужа. Но в последнем не уверена — за точность остального ручаюсь.

Анна Андреевна никогда не плыла в фарватере модных ныне восхищений Натальей Николаевной.

Эти два письма Дантеса не вызывают никого сомнения в том, что он писал «милому другу» правду.

Второе сообщение Анны Андреевны было еще более ошеломительным. Она рассказала, что во время войны наши войска должны были взять замок мужа Александрины Фризенгофа. Пушкинист Цявловский запросил у нашего правительства разрешение опечатать библиотеку замка, так как предполагалось, что там могут быть ценные материалы, связанные с Пушкиным.

Как известно, Александрина Гончарова, которую многие биографы возвели в ранг вернейшего друга Пушкина, близкого по духу и пониманию, — потом, после смерти поэта, вышла замуж за барона Фризенгофа.

Цявловский разрешение получил, но каково же было разочарование: в замке не оказалось ни одного портрета, ни одного письма, ни одного воспоминания или просто упоминания о Пушкине, словно бы его никогда и не было. Нашли лишь дневник Александрины, в котором была все та же пустота. И только одна-единственная запись: «Сегодня прелестный день. Глядя в окно, вижу, как Натали (направляющаяся на воды и заехавшая к нам) гуляет по аллее. Она не одна. Повидаться с ней приехал Жорж Дантес, и сейчас они вдвоем гуляют и вспоминают, вероятно, о былом».

Вот и все — но запись эта страшна.

Наталия Николаевна не только не содрогнулась от ужаса при мысли о встрече с убийцей отца своих детей и своего мужа, но возжелала ее. А «верный друг» Александрина раскрывалась в этой записи во всей обнаженности Гончаровского бессердечия — единая с пагубой, отнявшей у России Пушкина...

Как-то мы приехали в Ленинград, когда Анна Андреевна только что окончила свое исследование о Лермонтове.

В первый же вечер она подробно и увлеченно рассказывала нам о своих открытиях. Передаю без комментариев ее повествование.

Начала она с того, что тщательно изучила дуэльный кодекс. Оказалось, что жесткие условия дуэли применялись только в одном-единственном случае — а именно, в случае оскорбления чести женщины. Это и повело мысль Ахматовой, и она стала изучать все обстоятельства, связанные с семьей Мартынова и отношений к ней Лермонтова.

Лермонтов часто бывал у Мартыновых и от нечего делать слегка волочил за сестрой. Сестра Мартынова любила своего брата и, когда тот уехал на Кавказ, вела дневник, записывая все, что происходило в семье, и все события своей девичьей жизни.

Когда Лермонтов, в свою очередь, должен был ехать на Кавказ, отец Мартынова передал ему пакет, сказав, что сестра посылает брату дневник.

Прибыв на место назначения, Лермонтов передал Мартынову от его отца 500 рублей и сообщил, что был еще пакет, но при переправе через горную реку выюк, где хранился пакет и вещи Лермонтова, отвязался и унесен потоком.

Мартынов письмом поблагодарил отца за деньги и посетовал на неудачу с дневником. На это отец ему ответил, что Лермонтов не знал, что в пакете были деньги. Получилась конфузная ситуация — деньги, о которых Лермонтов не ведал, он отдал, а дневник оставил себе.

Вероятно, в девичьем дневнике были признания, не предназначенные для чужих глаз и, по-видимому, для Лермонтова в особенности.

Зная насмешливый нрав Лермонтова и то, как он изводил Мартынова (о чем свидетельствуют многие), можно предположить, что среди прочих колкостей и насмешек он мог позволить себе какую-нибудь издевку над тем, что узнал из дневника. Нечто такое, что было нестерпимо для брата и оскорбительно для сестры.

Это и послужило, по-видимому, подлинным поводом для дуэли, а вся ссора в доме Верзилиных была камуфляжем для прикрытия нестерпимых для Мартынова обстоятельств.

Гений — не только гений, он человек, и в нем живут побуждения, обусловленные характером. Характеру могут быть свойственны и неприглядные черты. Если начать вспоминать, не будет конца примерам. Можно вспомнить жестокость Байрона с женщинами, бахвальство и снобизм Балзака. Да и вообще, в каждом найдется нечто, о чем нам, любящим потомкам, не стоит вспоминать.

Но в случае с Лермонтовым характер стал Роком.

Только вдуматься, как странно он погиб.

Здесь, в причине дуэли, я думаю, не было ничего великого, ничего потрясающего сердца — ни иступленной любви, ни голгофы распятия светом, вконец растерзавшей душу Пушкина. Просто — шутка над дураком, каким Лермонтов считал Мартынова. Но в этой шутке, по-видимому, было что-то столь оскорбительное, что по закону чести того времени смыть эту обиду могла только дуэль. Скажу, может быть, нечто крамольное, но Лермонтов, случись дуэлянтам поместиться ролями, поступил бы так же.

Остается только вечно горевать о темных прекрасных глазах Лермонтова, так вдохновенно, так зорко видевших на вершинах поэзии, столько много и горько оценивших в обществе, в котором он жил. Как случилось, что не смог он побороть в себе недоброго желания, не понял, что и глупого человека нельзя обижать? Какой для него самого роковой смысл приобретает его бессмертная строка — «Погиб поэт, невольник чести»!

Я часто думала, знает ли Ираклий Андронников об этих исследованиях Ахматовой? И конечно же, о них не могла не знать лермонтовед Эмма Гернштейн, близкий и верный друг Анны Андреевны. Я не знаю, откликнулись ли они на эту работу Ахматовой.

Быть может, их отпугнуло то, что исследования Ахматовой не ложатся на канонический образ поэта. Вероятно, ее точка зрения может быть оспорена, но, как бы там ни было, от условий дуэльного кодекса нельзя отмахнуться. Ахматова с честностью непредубежденного исследователя не испугалась повернуть ключ, и шаг за шагом прочла трагедию Лермонтова. Вторую великую трагедию русской поэзии.

Этот вечер на всю жизнь остался в памяти, лермонтовские исследования Ахматовой могут быть интересны не только мне.

В этот вечер вместе с нами, также впервые, слушала Ахматову приехавшая из Москвы Фаина Георгиевна Раневская. Когда Анна Андреевна закончила свой рассказ о фатальном роке Лермонтова, все были подавлены, грустны и молчаливы.

И вдруг раздался голос Раневской.

— А вот в наше время все было б так:

«Вы говорили за мою сестру, что она...? Нехорошо получается... Дайте прикурить. Такие слова девушке надо прямо в глаза говорить. Придется вынести вопрос на президиум».

Фаина Раневская была верна себе, и эта шутка потом кочевала по разным домам.

## МОСКОВСКИЙ ДОМ

Был у Ахматовой и другой дом — теплый, полный сердечной любви и радостной дружбы — дом Ардовых в Москве. Анна Андреевна любила семью Ардовых, и они любили ее. Это были удивительно красивые люди, веселые, открытые, легкие. И, конечно, трудно себе представить семью, где бы Ахматова чувствовала себя непринужденной.

Была в этой квартире маленькая комнатка — келья, как мы ее называли. В ней помещались кровать и один-единственный стул. Это и была личная обитель Ахматовой, ее укрытое гнездо. Когда я приходила одна, Анна Андреевна чаще всего увлекала меня в эту келью, где мы наговаривались вдвоём.

Если же приходили вдвоем с мужем, то она нас принимала (как и всех обычно) в большой комнате с диваном и большим круглым столом. Анна Андреевна усаживалась всегда на диван и часто, когда никого больше не было, забиралась в уголок, поджав под себя ноги. Вообще она любила складываться, сохраняя во всех возрастах природную гибкость, прославленную в юности.

Хозяин дома — Виктор Ефимович Ардов — писатель, знакомый читателям своими веселыми сатирическими рассказами, приветливый шутник и балагур, легко и просто входил в разговор. Я часто любовалась фотографией какого-то арабского поэта, висевшей на стене. Ардов явно гордился своим сходством с портретом и не без основания, ибо араб в своей национальной аббе был ослепительно красив. Виктор Ефимович исчезал и возвращался с тихим званом бутылкой, чтобы снова исчезнуть в недрах дома. Там что-то колдовал и затем мило и радушно поил всех горячим саперави, очень вкусным. Здесь случались радостные встречи с Раневской. Она, как всегда, наполняла дом вихревым весельем. В один из таких вечеров Фаина Георгиевна вспомнила вдруг, как мы втроем, засидевшись в фонтанном доме, ушли от Ахматовой в три часа ночи. Главные ворота оказались закрытыми. Раневская сказала, что есть второй выход на Литейный. Мы пошли на задворки и тут же заблудились напрочь. Всюду высились штабеля дров и мусорные ящики. Они стояли почти в шахматном порядке, темные и огромные на белом снегу. Мы проваливались в снег, а штабеля все наступали, мусорные ящики не кончались. И тут Раневская начала озоровать. Она вдруг завопила на весь двор: «Православные, помогите, погибаем!» Алексей Федорович, не любивший привлекать внимание, умолял ее перестать, но куда там! Раневскую понесло, и она с упоением разыгрывала пьесу Бэкетта, лицедействуя перед разверстыми зевами мусорных ящиков.

Наконец, часа через полтора, мы, измученные, все в снегу выбрались из ловушки заднего двора, и моносспектакль Раневской окончился.

Как-то Нина Антоновна, хозяйка дома (актриса и режиссер, такая же прелестная, как и все вокруг) показала недавно написанный ее сыном Алексеем Баталовым портрет Анны Андреевны. Портрет был очень удачен и чрезвычайно всем понравился. Экспансивная Фаина Георгиевна объявила, что он лучше последнего сарьяновского портрета Ахматовой. «Подумайте, портрет лирического поэта, и со всеми пуговицами!» — негодовала она.

Как-то заговорили о чтецах. Мы очень любили Яхонтова и рассказали, как он однажды замечательно прочитал у нас «Невский проспект».

Анна Андреевна сказала, что бог дал Яхонтову дивный голос и талант, но что, сотрудничая с Еликонидой Поповой, он совершил ошибку... «Весь антураж Поповой — режиссера Яхонтова

претенциозен и дурного вкуса», — говорила Анна Андреевна. Поэтому-то больше любила просто чтение Шварца и Журавлева.

За всю жизнь Анна Андреевна была со мной только раз сурова и строга. Мы пришли к Ардовым, когда там уже были Раневская и еще один писатель.

Алексей Федорович рассказал, что получил госзаказ написание оперы о Пушкине, а мне предложили написать либретто. Почти все присутствующие были люди театральные и отнеслись к новости шумно и одобрительно. Взглянув на Анну Андреевну, я окаменела. Лицо ее было гневно, а речь полна возмущения. Когда мы уходили, она подошла ко мне и тихо сказала:

— Завтра приходите в пять, одна.

По дороге домой Раневская, обычно благоговейно слушавшая Анну Андреевну, вдруг разошлась и советовала не слухаться Ахматову, обязательно писать либретто.

Когда я пришла в назначенное время, Ахматова сидела на диване, важная и строгая, с томиком Пушкина в руках.

— Сядьте и слушайте, — сказала она и прочитала мне критику Пушкина на пьесу Виктора Гюго «Кромвель». В ней Пушкин осуждает дерзость Гюго, осмелившегося оскорбить великую тень. «А вы хотите заставить Пушкина петь. Этого нельзя, нельзя», — повторяла она.

Сложные чувства металась в моей душе. В самой глубинной глубине я была согласна с Анной Андреевной. Но чувство драматурга захлестывало и было сильней. Помню только, что я дала ей клятву, что ничем не оскорблю Великую тень. Она постепенно смягчилась и советовала воспользоваться опытом Булгакова — Пушкин только что был, Пушкин только что вышел. Я сказала, что в опере это невозможно. И рассказала Ахматовой, что этот замечательный прием был впервые введен в русскую драматургию посредственным автором, отпрыском царствующего дома Романовых, который печатался под псевдонимом К. Р. Он написал драму «Царь Иудейский», где в стихах цензура пересказаны страсти Христа, начиная со входа в Иерусалим, на страстной неделе. Условия цензуры не позволяли вывести Христа на сцену, и К. Р. обошел этот запрет, создав прием недавнего присутствия. Кажется, пьеса была поставлена в придворном театре, и Глазунов написал к ней очень хорошую музыку — единственное, что от этой затеи осталось в искусстве.

Постепенно Анна Андреевна теплела, вновь стала ласковой и доброй, на прощание обняла и поцеловала меня.

Судьба этого начинания в какой-то мере поучительна. Полтора года я ничем кроме Пушкина не занималась и, как мне кажется, никак не нарушила обещания, данного Ахматовой. Но вот настал день, когда в Ташкент приехал чиновник из Министерства культуры СССР и захотел познакомиться с моим либретто. Когда я прочла либретто, он сказал, что все очень хорошо, но совершенно обязательно «отразить близость Пушкина к народу». «Напишите еще сцену, — сказал он директивно, — где Пушкин в красной рубашке пляшет вприсядку на ярмарке, среди народа». Вероятно, чиновник прочел в моих глазах нечто такое, что заставило его ретироваться.

Я закрыла рукопись, чтобы никогда больше не возвращаться к ней.

При встрече в Ленинграде в это же время рассказала Ахматовой, прибавив, что во время работы меня все время тревожила подсудно мысль — а что, если Пушкина будет петь глупый человек?! Ахматова улыбнулась и сказала:

— Я пощадила вас тогда, но и я подумала именно об этом.

Так что все обошлось к лучшему.

В последний раз я видела Анну Андреевну не у Ардовых. Там кто-то родился.

Встреча случилась вскоре после ее возвращения из Италии, где в Сицилии она получала литературную премию Таормино. Она рассказывала о поездке, но как-то без обычного оживления, и показалась мне уставшей. Не помню, была ли у нее книга стихов, переведенных на итальянский язык, но хорошо помню, что она поставила пластинку с записью своих стихов в исполнении какой-то знаменитой итальянской актрисы. Звучали они непривычно, странно на русский слух.

Я, как всегда, стала уговаривать Анну Андреевну приехать к нам в Ташкент погостить. Она с грустью покачала головой: теперь это совершенно невозможно. Сердечные приступы, знакомые по Ташкенту, усилились, самолеты запрещены категорически, и она призналась, что даже переезд из Ленинграда в Москву ей труден, почему-то стала бояться поездов.

Но Ахматова, как всегда с пристрастием, расспрашивала о нашем саде, о прудике и деревьях.

Пришлось еще раз нарисовать ей планировку дома и усадьбы. В финском домике на Авиационном она у нас никогда не бывала, но ей нравилось, что вся ограда из жасминов.

Вдруг Анна Андреевна положила свою руку на мою и сказала:

— Вот и Шехерезада моя поседела. Хотя все такая же, — поспешила она меня утешить. И мы, грустно улыбаясь, глядели друг на друга тем взглядом, который ведом только женщинам, когда они знают, что тень времени легла на их лица.

Читала она мне и стихи, и низкий голос звучал с какой-то новой интонацией утомления. А я про себя думала: «И всегда-то царственна, одна такая на земле».

Когда я уже уходила, она вдруг остановила меня. Порывшись в бумагах на столике, около машинки, Ахматова вынула три машинописных листка, подписала их и протянула мне.

Это были «Вот она, плодоносная осень», «Говорит Дидона» (сюжет-эпигра) и «Последняя роза» («Мне с Морозовой класть поклоны, с падчерицей Ирода плясать»). Именно эти стихи она читала мне в тот вечер, последний наш вечер.

Но нам было суждено услышать еще раз ее голос. 15 октября 1965 года мужу моему исполнилось 60 лет. Гости уже ушли, и вдруг раздался телефонный звонок. Это А. Найман прилетел из Москвы по поручению Анны Андреевны. Он принес нам от Ахматовой бесценный дар — только что вышедшую книгу «Бег времени». На ней была надпись — «Далеким друзьям, храня им вечную верность». 15 октября 1965 г. Ахматова. Москва».

В книгу была вложена записка, такая характерная для Анны Андреевны. Вот она:

«Дорогие мои!

Вот Вам что-то вроде моей книги. В ней есть и период, который мы прошли вместе, есть и спутница моя — поэма. Вообще же многого не хватает.



Записку передаст вам мой соавтор по переводу Леопарди, молодой поэт, драматург Анатолий Найман. Помогите ему советом в ташкентских делах.

Всегда помню и люблю.

Ахматова.

15 октября 1965 г.

Москва».

Но не пришлось давать советы посланцу Ахматовой. Толя Найман заболел, и надо было его лечить.

Улетел он через неделю, все еще с высокой температурой. Мы взяли с него слово, что по приезду Ардовы позвонят и сообщат о его самочувствии.

Действительно, в срок из Москвы раздался звонок. Нам сообщили, что Найман долетел и все благополучно. И вдруг милый женский голос сказал:

— А сейчас с вами будет говорить Анна Андреевна.

Ах, какой это был радостный, прежний, бодрый, полный жизни голос Анны Андреевны. У нас в доме в двух разных комнатах стояли телефоны, и мы вдвоем разговаривали с ней. Это был незабываемый разговор, полный счастливых восклицаний и торопливых объяснений в любви. Мы благодарили ее за книгу, а она отвечала:

— Вас люблю, а книгу не люблю (ей не нравился отбор стихотворений).— Собираюсь в Париж,— сообщила она.— Пишу прозу, смешно, не правда ли?! Там и о вас будет.— И вдруг наш разговор перекрыл голос птицы. Это пришел в дом наш журавль Гоги и громко закричал. Анна Андреевна, услышав журавля, обрадовалась и все повторяла: какой он, должно быть, милый. А наш египетский красавец, словно зная, что речь идет о нем, распахнув крылья, кланялся и, танцуя, выплетал балетные арабески.

Мы все это рассказывали Анне Андреевне, и она смеялась так весело и по-молодому хорошо. Быстро, торопясь, она говорила еще и еще. Но вот там, далеко, опустилась трубка и перестал звучать ее голос, и, как оказалось, для нас голос Ахматовой умолк навсегда.

Не верилось, когда она была,  
Не верилось, когда ее не стало.

Е. Евтушенко

Анна Андреевна умерла 5-го марта 1965 года. А 26 апреля было знаменитое ташкентское землетрясение.

Город спал. Я помню, как тело, а не сознание, ощутило грозный гул, великое содрогание и словно грохот обрушившегося мира, и долгий нечеловеческий крик. Оказалось — это кричала я. А вблизи неистовые взмахи птичьих крыльев, точно ангел смерти ворвался во тьму.

Через какое-то время в соседнем доме зажегся огонь, и я осознала, что есть еще в мире свет. Когда нашла выключатель, увидела наполовину заваленную кирпичами дверь и обезумевшую птицу, всю в крови. Журавль метался, бился о мебель, лишившись голоса.

Выбравшись наконец на улицу, я увидела фантастическое зрелище — люди полуодетые, совсем раздетые, в наброшенных простынях с ужасом глядели в сторону, где росло огромное алое зарево, и чей-то истерический голос кричал:

— Не глядите туда! Это атомная бомба!

И вдруг завывли сирены пожарных машин. За ними с таким же жутким воем летели машины скорой помощи. Последним заговорило радио.

Но стихии словно не хотели уступать подземному разгулу. Стало очень холодно. Люди спали в садах и на улицах, укутавшись зимними вещами. На следующие сутки среди бела дня стало темно, как глубокой ночью. Поднялся ветер, перешедший в ураган. Бешеной силой ветра срезало верхушки тополей и несло их через всю нашу усадьбу, заваливая вход в дом. Валяло электрические столбы, рвались провода. Срывало крыши и рушило вконец поврежденные дома. А затем полил дождь, беспощадный сплошной стеной.

Начались электрические замыкания, и люди, лишившиеся крова или спавшие в аварийных жилищах, метались в этом аду.

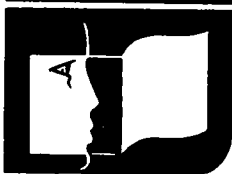
Я должна была через десять дней уехать в Ленинград, а муж мой трое суток, изнемогая от волнения, дежурил на переговорном пункте в Репино.

Телефонистки жалели его, линии были загружены до предела. Только тот, кто это пережил, поймет, что значит услышать родной голос из преисподней.

И все это время, когда город трясло по несколько раз в сутки,— цветы знать ничего не хотели о бесчинствах земли. Никогда, ни потом, ни прежде, не было такого буйного цветения роз. Они цвели на земле, на перекладинах беседок, цепляясь порой за руины полуобрушившихся домов.

Я нарезала в саду великое множество роз, чтобы отвезти в Комарово Анне Андреевне. Цветы с трудом внесли в самолет. Уезжала я ранним утром, когда город еще спал. Он поразил меня — улицы были подметены, хотя порой зияли комнаты и этажи то без стен, то без потолков. И розы, розы. Мы объезжали кварталы, где люди спали в палатках, прямо на улицах. И все время одно за другим звучали неотступно ахматовские стихи, в трагическом несоответствии с тем, что видели глаза:

Он прочен, мой азийский дом,  
И беспокоиться не надо...  
Еще приду. Цвети, ограда,  
Будь полон, чистый воедем.



## ОЖИВИТЬ ИСТОРИЮ

**Х. Тухтабаев. Золотая голова мстителя.**  
Роман. Ташкент, «Еш гвардия», 1989.

Интерес к истории сейчас и всеобщий, и ослабевающий. Он обусловлен туманностью перспективы, отсутствием внятного и конкретного ответа на вопрос: «Куда идти?» — и, как следствие, настойчивым поиском истоков и аналогов нынешней ситуации. Вот и Х. Тухтабаев обращается к кризисным событиям истории Узбекистана — народным волнениям, эхом прокатившимся по окраинам империи вслед за русской революцией 1905—1907 гг.

Следуя традиции советской исторической прозы, автор выстраивает свою версию минувшего так, чтобы читатели среднего и старшего школьного возраста (а именно им адресована книга) оказались не только «очевидцами» событий, но и сделали свой выбор, отдав свое сердечное расположение персонажам, имеющим наибольшие права именоваться положительными героями.

В романе это прежде всего Намаз Пиримкулов — главный герой описываемых событий. Он и силен физически, а «палваны-силачи всегда пользовались любовью и уважением. Он и беден — батрак, что давно уже стало синонимом бескорыстия. Он и умен, смекалист, умеет читать и писать, что для сироты-бедняка того времени совершенно невероятно, но авторитет еще больше возвышает. Ко всему прочему он еще и говорит по-русски, что в те времена заметно расширяло круг общения человека и его кругозор. Все эти качества и способности вполне логично выдвинули Намаза-мстителя в лидеры, в вожаки.

А раз есть предводитель, который осознает цели, перспективы борьбы и находит средства для их осуществления, значит, возникают и последователи, которые, не обладая качествами Намаза каждый в отдельности, сливаются в массу исполнителей его воли.

Что бы ни говорил Намаз, ему никогда никто не возражал. Беспрекословные и молчаливые джигиты его отряда готовы везде и всюду следовать за ним. Объединенные жаждой мести,

они не тратят времени на разговоры о смысле и задачах своей борьбы. А если что и происходит не по-намазовски, то и тут порядок наводится далеко не демократическими методами. Показательны в этом отношении две ссоры Намаза со своим будущим убийцей Арсланкулом, которые разрешились одинаково: Намаз просто отстегал непокорного джигита плетью.

Конечно, помыслы Намаза чисты, цели благородны, но «разговаривать» как с друзьями, так и с врагами он умеет только с позиции силы. И мне кажется, Х. Тухтабаев верно подметил один из парадоксов массовой психологии: когда конфликт достигает максимальной остроты, то толпа, захлебываясь эмоциями, идет не за теми, кто умнее, а за теми, кто сильнее и попроще. Но, с другой стороны, автор и сам оказывается в роли «человека из толпы» когда, обрисовывая персонажи не главные, выхватывает, выделяет только одну-две доминирующие черты их характеров и отсекает все то, что как-то не вписывается в заданную тему. Видимо поэтому почти каждый персонаж можно охарактеризовать буквально двумя-тремя словами.

Вот, например, верховный казий Шадыхан-Тура. Это человек, который служит одному богу — деньгам, и именно этим объясняется все его поступки. Казий прекрасно понимает справедливость жалоб жителей Джаркишлака на Хамдамбая. Более, того, Шадыхан-Тура горит жаждой мести, так как Хамдамбай принародно оскорбил и его. Целый день он, вне себя от негодования, посылает проклятья преступнику и готов, до последнего выполняя свой долг верховного казая, покарать его по всей строгости законов шарията. Но стоило Шадыхану-Туре заполучить от Хамдамбая мешочек с деньгами, как его взгляды тотчас же переменялись. И, прославляя бекскую щедрость своего обидчика, верховный казий совсем не беспокоится о том, что бедным истцам из Джаркишлака придется теперь совсем туго. «Ничтожный раб всегда бессилен перед его (аллаха) неукротимым роком», — пересчитывая деньги, мельком успокаивает он себя. На жадность верховного казая, словно бусинки на нить, нанизываются все его слова и поступки. По такому же принципу Х. Тухтабаев создает образы Хамдамбая и его сына Заманбека, Арсланкула и Кенджа-кара, Сергея-Табиба, Михаила Морозова.

Жанр историко-приключенческого романа как раз и оказывается наиболее подходящей формой, позволяющей в замысловатых перипетиях сюжета показать динамичный процесс борьбы

людей, всеми средствами отстаивающих свои взгляды, но не меняющих их. В реальной жизни и истории бывает и так (сегодня мы все более убеждаемся в этом), что люди изменяют свои жизненные позиции либо под напором обстоятельств, либо путем мучительного «прозревания».

Конечно, исследование подспудного, скрытого до времени за семью печатями нравственного потенциала человека — это «сфера деятельности» много жанра литературы — романа психологического. И думается, историко-приключенческий роман, заманивший хитроумно расставленными сетями фабульных построений неискушенное читательское внимание, лишь выиграл бы от авторских размышлений, его искреннего восхищения не только людьми, гибнущими за идею, но и теми, кто не ладится героями, но своими скромными незаметными делами не позволяют человеку перестать быть Человеком.

**Р. МАХМУДХАДЖАЕВ.**

## БЕЗ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Сергей Брынских. «Махалля». Ташкент, издательство им. Гафура Гуляма, 1988. «Индивидуалы и кооператоры» Ташкент, «Узбекистан», 1989.

Мы живем в крикливое время. Оглушает информационный бум, где само слово «бум» звучит, как удар в барабан. Страницы газет и журналов оцетинились восклицательными знаками, словно солдаты на полях гражданской войны — штыками. И пусть классический образ врага империалиста сменился благостным ликом добренького богатенького дяди Сэма, поиск врагов продолжается, более того, становится все интенсивнее. Современный синоним «врага народа» — «враг перестройки». А там еще: фашисты и совбуры, партократы и мигранты... Соотечественники, граждане одной великой страны смотрят друг на друга наливающимися кровью глазами. Следствием подобного положения дел может быть только одно: разруха.

Страсти туманят голову, застилают горизонт. Забыто очевидное: наш лексикон не должен исчерпываться железными «да» и «нет»; жизнь это отнюдь не черно-белое фото; прежде чем судить, необходимо понять... Потому-то робкую надежду на восстановление нормальной атмосферы споров и решений вселяют лишь столь редко слышимые в общем хоре трезвые рассудительные голоса. «Остановиться, оглянуться», разобраться, а потом уж действовать — в этом тоне выдержаны две крупные публицистические работы Сергея Брынских, книги «Махалля» и «Индивидуалы и кооператоры».

В обоих случаях писатель касается так называемых болевых точек. «Махалля» — это о национальном вопросе, «Индивидуалы и кооператоры» — о частном секторе в экономике. Однако нигде на страницах этих вдумчивых исследований автор не поддается на восклицательные провокации. Он начинает со скромных вопросительных знаков, а в конце найденных им в серьезных поисках ответов ставит тихую точку.

Предисловие автора к «Махалле» так и озаглавлено — «Непростой вопрос».

Сергей Брынских — писатель старшего поколения. За ним (и за него) весомый жизненный опыт, откуда и черпается авторский подход, конструктивная недоверчивость и неприязнь к однозначным ярлыкам. Автор приходит к читателю со своими мыслями либо «изнутри» проблемы, либо — проникнув предварительно в ее глубины.

Вот — «Махалля». И мы узнаем, что автор сам из махалли, этого, казалось бы, чисто узбекского социального формирования. Такому свидетелю веришь и вместе с ним охотно отторгаешь этикетки как «перезжитка феодализма», так и «хранителя плодотворных народных традиций». Начинаешь просто понимать, что такое махалля, как в ней живут люди, что в ней хорошо, а что — плохо. Между прочим, как ни странно (и вне зависимости от воли автора), за «узбекскостью» махалли проступает явное сходство со старорусской деревенской общиной.

Дружба народов? Можно сказать, что С. Брынских и сам «из дружбы народов». Без пафоса, без долговязого слова «интернационализм», на простых житейских примерах писатель показывает, как рождалась и чем утверждалась эта дружба. Человечность, помощь соседу — по-узбекски «хашаром» (то же по-русски «всем миром»)... Была дружба, да и есть, вот только погнулась малость под напором — былых директивных указаний и нынешней демагогии. Но, читая простенькие историйки из жизни махалли, видишь фальшь постулатов некоторых прибалтийских ученых, пытающихся подменить понятие «дружба народов» термином «взаимная терпимость наций». (Этак и страну превратим в «дом взаимной терпимости»?) Впрочем, С. Брынских видит и другое: как с детства начинает возводиться между людьми языковой барьер, как патриархальность порою грубо вмешивается в жизнь молодежи...

Документальность не мешает «Махалле» быть книгой поэтичной, душевной. Недаром одна из глав так и называется: «Махалля и душа человеческая». Вот о душе-то наша публицистика частенько забывает.

Казалось бы, сама тема, избранная С. Брынских для другой его книги, «Индивидуалы и кооператоры», предполагает некоторую сухость изложения, приоритетное внимание к вопросам производственным, экономическим, финансовым. Не тут-то было: в книжке этой экономика вовсе не заслоняет человеческих лиц. Со свойственной ему дотошностью писатель «вкапывался» в проблему, а это означало для него десятки встреч и разговоров: на улице и на базаре, на сиденье такси и в официальных кабинетах... Вот и присутствует в книге любопытнейшая картинная галерея, которая тем интереснее, что все персонажи здесь списаны с натуры. Для автора очевидно: экономику делают люди, вовсе не укладывающиеся в какие бы то ни было шаблонные представления. По поводу подобных расхожих штампов то и дело раздается иронический авторский смехок: вот вам живой человек, попробуйте-ка засунуть его в вашу схему. И выясняется, например, что далеко не всякий чиновник — тупица и бюрократ, со «власть имущими» есть о чем посоветоваться, есть чему у некоторых из них и поучиться. Ну а на соседних страницах другая сторона медали — блестяще раскрытый в рассказе бывшего человека» механизм вымогания взятки. Попадаются жулики и «наверху», и «внизу», и среди управленцев, и среди кооператоров, присматривать за ними

должен Закон, и хорошо бы было, если бы Закон этот работал. Но честных людей с жуликами в одну кучу валить зачем?

Вот так, щедро рассыпая вопросительные знаки и скупясь на восклицательные, рисуя попутно портреты и натюрморты, следует автор по пути постижения сущности кооперативного движения. Получается картина многокрасочная и — неоднозначная. Но становится ясно, и что за люди эти новые «нэпманы», и что в новом нашем «нэпе» хорошо, и с чем надо бороться.

С выводами, к которым приходит Сергей Брынских в обеих книжках, кое-кто, конечно, не согласится. Но спорить с такой публицистикой можно только по существу, только без восклицательных знаков.

Изданы две интересные и полезные литературные работы, выполненные одним и тем же уверенным пером. Удивляет лишь исходство внешнего облика этих книг. Строгое издательство «Узбекистана» сочло возможным на обложке «Индивидуалов и кооператоров» поместить роскошный рог изобилия, из которого сыплется все на свете — от шашлыка до легковой автомашины. Такую книжку хочется приобрести, хочется поскорее раскрыть. А вот «художественное» издательство им. Гафура Гуляма упаковало «Махаллю» в подобие «застойного» плаката, где кулич соседствует с беспросветной серостью. И жаль, что проводы рассудительной и доброй «Махалли» «по уму» оказываются поначалу омрачены встречей «по одежке». Это обидно еще и потому, что именно «Махалле» суждена долгая жизнь, ну а «Индивидуалы и кооператоры» уже начинают потихоньку отставать от быстротекущего времени. Это (увы!) участь даже самой лучшей оперативной публицистики.

**Т. БОРОДАЕВА.**

винку, это в Узбекистане, где земля родит дважды, а то и трижды в год. Конечно, если к ней относятся с любовью.

Значит, не туда летел «наш паровоз». И читателю вместе с героями романа предстоит преодолеть расстояние в четыре пальца между правдой и ложью, чтобы понять — куда он летел на самом деле?

А героев в романе много — это практически все жители кишлака Ногайкурган и те, кого судьба привела в этот кишлак. Мы выслушиваем их коллективный рассказ о более чем полувековом отрезке жизни — с 1933 года до наших дней. Коллективный — потому что повествование переходит от одного к другому, — и во всех этих голосах звучит боль.

Трагична судьба героев У. Хашимова. История не пощадила никого из них. Каждый по-своему несчастен, каждый несет в себе какое-то горе. Даже главный негодяй — Умар-закунник (от искаженного «закон»), для которого у писателя не нашлось и мазка светлой краски, и тот, в общем-то, заслуживает сострадания.

Не знаю, умышленно или нет, но в романе практически ничего не сказано о периоде коллективизации в Ногайкуране. Представляется мне — коснись Уткур Хашимов коллективизации и рассыпался бы у него образ «идеального героя» Аксакала. Ибо кто, как не он — старый большевик и первый председатель колхоза, — раскулачивал «хорошего хозяина Надырходжу», а может быть, и других «хороших хозяев»? Кто знает, какие нравственные нормы пришлось ему преступить и какой след на душе у него остался от этого? Жаль, что осязатая «фигура умолчания» обеднила по-человечески привлекательный образ Аксакала.

А образ его имеет принципиальное значение для романа, ибо олицетворяет силы Добра в извечном противостоянии со Злом, которое умело представляет упоминавшийся уже Умар-закунник — второй председатель колхоза «Красный дехканин». И эта замена председателей — не случайна. Она знаменует собой смену представителей Добра (романтиков революции), творивших зло либо неосознанно, либо с верой в высшую справедливость светлого будущего, служителями Зла, творящими его с явным осознанием собственного интереса.

Начался этот процесс для жителей кишлака с ареста учителя, которого привез в Ногайкурган Аксакал. Пункты обвинения: «Вел уроки не по программе. Хвалит Навои. Детей, оказывается, заставлял учить наизусть стихи царя Бабура... И еще школу начал строить без разрешения...» Как красноречив список этих «преступлений», которые в п р и н ц и п е могли рассматриваться как преступления! И служить официальным основанием для ареста.

Но подлинная причина ареста учителя — месть. Когда-то, живя в Самарканде, учитель разоблачил следователя, покрывавшего грабителей, совершивших крупное хищение на железнодорожной станции. Однако следователь, уволившись «по собственному желанию», сумел укрыться где-то в Ферганской долине, а затем — вроде бы неожиданно, а по сути — закономерно, объявился в качестве прокурора района, в который входил и Ногайкурган. Так номенклатура лепила кадры по образу и потребности своей, а кадры вершили власть по интересам своим.

Аксакала как покровителя «чуждого элемента», «врага народа» сместили с поста председателя. Он сам как правоверный большевик помог

## МЕЖДУ ЛОЖЬЮ И ПРАВДОЙ

Уткур Хашимов. Войти и выйти... Роман.  
[Перевод с узбекского Эрвина Умерова].  
Москва, «Советский писатель», 1989.

«Говорят, расстояние между ложью и правдой всего в четыре пальца», — имея в виду расстояние между глазом и ухом, начинает свой роман Уткур Хашимов. Верь не тому, что провозглашается, а тому, что происходит на самом деле... Но как это трудно! Какой мудростью и прозорливостью надо обладать, чтобы разглядеть ложь в словах, которые дарят надежду. Особенно, если эта надежда на справедливую и сытую жизнь для всех. О, как она ослепительна — эта надежда на всеобщее счастье! Как она торопит, подгоняет нас, заставляя слепо пробегать мимо сегодняшнего горя:

«— Папа! Смотрите, толстая тетя уснула на земле!

— ...Это она распухла от голода. Не смотри туда. Не смотри, Робияджан. Идем быстрее. Скоро поезд. Он доставит нас в Ташкент...»

Именно так: «Наш паровоз вперед летит, в Коммуне остановка...» А на шестнадцатом году Советской власти люди на улицах умирают от голода. И это не в России, где голод не в дико-

осуществить указание райкома — своим авторитетом заставил колхозников проголосовать за нового председателя. И тем самым совершил преступление, хотя и непредумышленное, против своего народа. Потому что слепая бездумная дисциплина, «тактические соображения», допускающие возможность нарушения нравственности (общечеловеческой, а не классовой) — это преступление. Что Аксакал! И самое образованное в мире правительство большевиков, закаленные в политических и военных боях «твердые ленинцы» допустили к власти профессионального рецидивиста Кобу. Что ж, Коба воздал им сторицей — лишил не только жизни, но и чести в глазах миллионов. А Аксакал в течение тех десятилетий, пока правил Коба, наблюдал, как упивается собственной властью над людьми Умар-закунник, как разгуливает его камча (плеть) по спинам и лицам колхозников, как обеспечивает он жену воюющего на фронте односельчанина, как нещадно и нагло эксплуатирует детей — кирпич за кирпичом ворует из стен дома, именуемого жизнью, разрушая его. Пока, наконец, уже в конце войны Умар-закунник не избивает до полусмерти кустами колючки мальчишку, потребовавшего справедливой оплаты за труд. Тут уж чаша терпения и народа и Аксакала переполнилась — благо, появился новый секретарь райкома — фронтовик, — и происходит «обратная смена» председателей. Аксакал занимает свое законное место, единогласно избранный народом. О, этот многотерпеливый, всепрощающий народ! В том числе и себя прощающий...

Справедливость восторжествовала? Только внешне. Жив и активен Умар-закунник, «закун» для которого — та же камча, позволяющая выбивать из беззащитных то, что нужно ему. Он продолжает разрушать Жизнь и жизни тех, с кем соприкасается. Спустя десятилетия стена жизни, разрушенная им, убивает, падая, юную Мунаввар — возлюбленную Музаффара, ломает судьбу и самого Музаффара. Впрочем, в этой истории вина ложится вновь на двоих. Второй — тот же Аксакал. Происходит непоправимое, самоубийство. Рушится маленький мир, погребая под обломками мечты и надежды молодых, рушатся старые стены и халтурные новостройки большо-

го мира: в момент смерти Мунаввар происходит ташкентское землетрясение 1966 года...

Кто виноват в этом крушении миров? Умар-закунник? Но за ним стояла породившая его система. К сожалению, породившая не только его, но и темноту и невежество студентов-медиков Музаффара и Мунаввар. И это во второй половине XX века, после полувека существования «реального социализма»! Вот где надо преодолеть расстояние в четыре пальца, чтобы понять, что на самом деле сооружен был «муравьиный лжесоциализм» — одна из форм бюрократической олигархии. Который отнюдь не рухнул в результате землетрясения...

Музаффар стал строителем, пытаюсь строить так, чтобы дома выдерживали подземные толчки. Но вот как это расценивает духовный потомок Умара-закунника, некто Шавкат Кудратович по произвищу Кобра: «Вы — безответственный, недалекий человек! Вам наплевать на важные государственные интересы!.. Вы сознательно противопоставляете себя целям и задачам нашего управления!..» Это уже голос КЛАС-СА, осознающего свою силу и право, класса, который, присосавшись к государственной собственности, перекачал в свою мощную десятку миллиардов рублей, привел страну к экономическому, экологическому, политическому и моральному кризису, который и сейчас крепко держит свою хозяйскую лапу на горле нашей Истории, эксплуатируя многотерпеливость и всепрощение народа, не позволяя ему разогнуть натруженную рабскую спину и преодолеть это мизерное расстояние в четыре пальца между правдой и ложью.

А на то, чтобы пройти этот краткий путь, нам отпущено не менее краткое время. Как сказал мудрец: «Не успел войти в одну дверь, как тотчас выхожу в другую». Кто-то, преодолевая это расстояние, творит добро, кто-то достраивает дом, именуемый жизнью, кто-то разворовывает кирпичи из стен этого дома. Но все эти дела остаются у второй двери, и по ним оценивается прожитая жизнь. Войти и выйти, и остаться человеком в памяти людей — вот гуманистическая идея романа Уткура Хашимова, который, несомненно, будет интересен и узбекскому, и всеобщему читателю.

**В. ВАСИЛЬЕВ.**

Вильям Александров

## ТРИ ВСТРЕЧИ

В нынешние беспокойные, бурливые времена, когда трудно удивить кого-то смелой публикацией, а половодье гласности, выйдя из берегов, готово, кажется, затопить все вокруг, я все чаще возвращаюсь мыслью к Александру Трифоновичу Твардовскому, в последний период его редакторства в «Новом мире». Может быть, потому, что именно сейчас так не хватает его спокойного мужества и мудрости. А, может, и потому, что редакторская смелость тогда и сейчас вещи разные, просто несопоставимые.

Хорошо сказано: легко бросаться на амбразуру, зная, что за ней нет пулемета.

Так вот, каждая новомировская публикация тех лет — это был бросок на амбразуру с пулеметом. И пулемет немедленно открывал прицельный огонь.

Деятельность Твардовского в качестве главного редактора «Нового мира» — это беспрецедентный гражданский подвиг большого поэта и гражданина, который создал уникальный по тем временам журнал, можно сказать, единственный в своем роде бастион демократической и гуманистической мысли, в течение нескольких лет сражавшийся, по существу, один на один с отторгавшей его Системой.

Сейчас много пишут об этом периоде «Нового мира», открывается многое из того, о чем тогда можно было лишь догадываться. И тем не менее нынешним людям, особенно молодежи, привыкшим уже к свободным дискуссиям, ведущимся на страницах журналов и газет, трудно представить обстановку, царившую тогда, в конце 60-х годов, в общественной жизни, в литературных кругах. Для того, чтобы в полной мере оценить подвиг Твардовского — редактора, нужно хорошо представить себе это.

Судьбе угодно было подарить мне две встречи с Александром Трифоновичем именно в этот — самый трудный для него — период, в 1966 и в 1969 годах. О них я и хочу рассказать.

Между 1963—1965 годами я написал повесть «Улица детства». Повесть трагическую и вместе с тем романтическую — о страшных событиях 37-го года, увиденных глазами десятилетнего мальчика, чья семья (отец, мать, бабушка, дядя) оказалась сметенной чудовищным вихрем репрессий. Герой повести, Славка, остается совсем один, он тоже на грани гибели, но его передают с рук на руки разные люди, обогревают своим теплом, возвращают веру в жизнь.

Это была моя судьба, все пережитое, выстраданное. Видимо, поэтому повесть выплеснулась на одном дыхании.

Ее прочел Валентин Овечкин, живший тогда в Ташкенте, и сказал, что пошлет Твардовскому в «Новый мир», но при условии, что я кое-что доработаю. Я, конечно, согласился. Еще почти год я шлифовал повесть, добивался максимальной выверенности интонации (ведь все идет от лица ребенка!). Повесть, разумеется, улучшилась, но время для нее явно ухудшилось. К 1966 году все более явно стали проступать признаки замораживания оттепели, о трагических событиях 30-х годов почти исчезли всякие упоминания.

Тем не менее в начале 1966 года В. В. Овечкин послал повесть Твардовскому, рекомендовал ее к печати как член редколлегии «Нового мира». Ответа долго не было, и летом, где-то в июне, я поехал в Москву с письмом, адресованным Твардовскому.

Шел я в редакцию «Нового мира» и очень волновался — не за судьбу повести; я уже понимал, что дело почти безнадежное. Волновался от сознания, что сейчас, возможно, увижу Твардовского. С самой юности я благоговел перед автором «Теркина» и «За далью — даль». Каким он окажется в жизни? Смогу ли я свободно разговаривать с ним, сказать все, что хотелось бы? Или буду скован от сознания, что передо мной Твардовский?

Помню первое впечатление, когда я обогнул кинотеатр «Россия», вошел в Путинковский переулок, с трудом отыскал малозаметную дверь, рядом с которой была вывеска «Нового мира». Узкие, короткие коридоры, маленькие комнатки... Из буфета доносятся запахи кухни... Полное впечатление домашности, никакой парадности, официальности. Даже как-то неловко стало...

— К Твардовскому? На второй этаж!

Я поднялся по лестнице, вошел в приемную. Пожилая секретарша за машинкой. У стены два-три человека сидят, ждут, видимо. Я отдал секретарше письмо, сам тоже сел у стены. Приготовился ждать долго. Но все произошло неожиданно быстро. Открылась дверь, на которой было написано «Главный редактор», и в приемную неторопливым хозяйским шагом вышел широкоплечий грузноватый человек с чуть отекившим лицом. Из-под нависших бровей смотрели внимательные, цепкие глаза. Он окинул взглядом комнату и сделал два шага в мою сторону. В руке он держал развернутое письмо.

— Это вы из Ташкента? — говорил он не вопросительно, а утвердительно.—Пойдемте.

Он пропустил меня вперед, усадил сбоку от своего огромного заваленного папками стола, сам сел за этот стол, вполоборота ко мне, стал дочитывать письмо. Потом отложил письмо, разладил ладонью.

— Ну, как там Овечкин, расскажите? — обратился он ко мне.

И тут произошло чудо. Я вдруг почувствовал себя совершенно свободно, куда-то исчезло все мое напряжение, он расспрашивал, я рассказывал, и чувствовал себя так, будто встречался с ним много раз, будто мы знаем друг друга много лет.

Я часто думаю об этом феномене, ищу объяснение, и не нахожу другого, как то, что человек по-настоящему великий излучает волны добра, они не принижают, а возвышают тебя, поднимают до его уровня, в отличие от надутой посредственности, которая, наоборот, подавляет.

Твардовский разговаривал со мной как с равным, вот, видимо, в чем все дело! Расспрашивал о землетрясении, о последствиях, о том, как живет Овечкину материально.

Я сказал, что «не очень», ведь его в те годы почти не печатали.

— Вот ведь человек! — проговорил Твардовский с досадой и поднял над столом свои большие ладони, — Сколько прошу его слать мне официальные отзывы на произведения, которые мы посылаем ему в верстку, чтоб я мог за эти отзывы платить. Так нет же! Шлет мне только частные письма, и в них высказывает свое мнение, не хочет меня связывать! Я вынужден брать ножницы, вырезать из его писем отдельные куски, наклеивать их на чистый лист бумаги, сверху печатать на машинке «О повести или романе такого-то» и передавать в таком виде в бухгалтерию для оплаты, чтобы хоть как-то поддержать его!

Часто вспоминаю этот эпизод, столь ярко характеризующий двух замечательных людей, их дружбу, их товарищество, их заботу друг о друге! Вспоминаю, как пример подлинного писательского и человеческого содружества, основанного на глубоком уважении друг к другу; вспоминаю, к сожалению, и тогда, когда вижу мелкую завистливость, грызну, злобность, а если объединение, то чаще всего лишь для одной цели — чтобы свалить кого-то!

И еще, и еще раз утверждаюсь в мысли, что человек злобный, всю жизнь выскивающий врагов, сводящий с ними счеты, ничего настоящего в литературе не создаст, даже если Господь наградил его талантом. Потому что злоба, ненависть не может быть питательной средой таланта, она иссушает, убивает его...

И вот еще что запомнилось. Он стал меня расспрашивать, как я отношусь к той или иной публикации «Нового мира». Спросил, например, об отношении к Катаеву (недолго перед тем были опубликованы «Трава забвения» и «Святой колодец»). Сначала я даже растерялся, — ну что ему мое мнение! Потом понял: он все время сверял редакционное и свое личное отношение с тем, как воспринимается та или иная публикация разными читателями, особенно на периферии.

Я сказал, что прочел Катаева с удовольствием, хотя не в таком уж восторге, как некоторые.

— Ну вот! — сказал он удовлетворенно.— Я тоже не в таком уж восторге. Но

людям нравится, печатать-то надо было. Это ж все-таки Катаев! — И добавил шутливо: — Так что проведите там работу с товарищем Овечкиным.

Я понял, что Валентин Владимирович «не принимал» Катаева.

И еще он спросил меня, как я отношусь к новой рубрике «Без комментариев», которую они недавно ввели. Под этой рубрикой, в самом конце журнала, «Новый мир» сделал несколько перепечаток стихов из других журналов, стихов настолько плохих по форме и безобразных по содержанию, что при перепечатке без всяких комментариев под этой рубрикой на страницах «Нового мира» моментально высвечивалась их художественная беспомощность и смысловая реакционность. Помню, что несколько таких стихотворений они перепечатали из тогдашнего кочетовского «Октября». И то, что на страницах тогдашнего «Октября» выглядело вполне нормально, на страницах «Нового мира», под рубрикой «Без комментариев», приобретало карикатурный, пародийный смысл. Эффект был убийственный.

Я сказал, что, по-моему, это очень здорово.

— Ну вот видите! — снова удовлетворенно произнес он. — А кое-кто считает, что мы только увеличиваем тираж для всякой дряни. Не знаю, правда, дадут ли нам эту рубрику продолжить... Задевает очень!

Он оказался прав. Задевала рубрика, видимо, настолько, что вскоре пришлось ее прекратить.

О моей повести Александр Трифонович говорил с участием, но при этом с горечью сказал:

— К сожалению, мы сейчас менее, чем кто-либо, можем эту повесть напечатать.

Я это понимал. Тема была «закрыта». Странно звучит это сейчас, но тогда было обыденным фактом. Кто-то решил наверху, что хватит, мол, касаться литературе такой-то темы. И все! Даже такой человек, как Твардовский, уже ничего не мог сделать...

Но тут же Александр Трифонович стал думать, кто бы эту повесть мог сейчас напечатать. Назвал совершенно неожиданный для меня журнал и, видя мое удивление, пояснил:

— Да, да, по противоположности!

Я сказал, что туда не пойду.

— Тогда придется ждать! — проговорил он сокрушенно, и в то же время убежденность какая-то слышалась в его голосе.

Прозвучало это как пророчество. Ждать мне пришлось 22 года! Лишь в декабре 87-го года повесть впервые увидела свет.

И еще одна встреча произошла у меня с Твардовским, спустя три года после первой. К тому времени вышла в свет моя книга «Чужие — близкие», по существу — продолжение «Улицы детства», которое я стал писать сразу же после того, как понял, что повести лежать долго. Тот же герой — Славка, но несколько повзрослевший, на четыре года... Война, Узбекистан, глубокий тыл, завод, подростки... Тоже моя судьба. И тоже писал зашем. Роман вышел в 1968 году, а в номере шестом «Нового мира» за 1969 год была напечатана очень добрая рецензия на него.

Пришел я в редакцию «Нового мира» чтобы подарить Твардовскому книгу, а его на месте нет, когда появится, никто не знает. Вижу, настроение у всех невеселое, даже подавленное. Значит, опять какие-то неприятности, я знал, что у «Нового мира» их хватало. Зашел к Кондратовичу, заместителю Твардовского, хотел узнать у него что-нибудь, а заодно и передать книгу, если не дождусь. Сажу у него, разговариваю. В это время открывается дверь, входит Твардовский, осунувшийся, мрачный, как туча. Лицо прямо-таки черное.

— Ну что, — проговорил он, подходя к столу своего заместителя, — собираться будем?

Я понял, что речь идет о планерке или собрании каком-то, и еще понял, что попал не в лучшую минуту. Хотел уйти, но Кондратович удержал меня.

— Александр Трифонович, это Александров, из Ташкента. Помните, Овечкин повесть его присылал. Мы рецензию только что дали на его книгу.

Твардовский поднял на меня припухшие глаза, взгляделся, кивнул, и лицо его, кажется, просветлело.

— Да... — проговорил он задумчиво, как бы в ответ на какие-то свои мысли. — Правильно...

Не совсем ясно, к чему это относилось, но он повторил: — Правильно!

— Александр Трифонович, — сказал я, — примите, пожалуйста, от меня эту книгу. — Я взял со стола Кондратовича экземпляр, надписанный Твардовскому. — Очень рад, что могу вручить вам лично.

Он бережно принял книгу, раскрыл, прочитал надпись.

— Спасибо, — сказал он как-то многозначительно и чуть печально. — А мне вот, к сожалению, нечем вас отдарить.



И такая грусть прозвучала в его словах, что я удивился.

Только сейчас, спустя много лет, из публикаций тогдашних сотрудников «Нового мира» я понял, что происходило тогда вокруг журнала и в какой момент я попал.

Тучи все больше сгущались над головой Твардовского, каждый номер журнала, каждая публикация вызывали все большее раздражение в верхах — напоминали о том, о чем хотели как можно быстрее забыть. Снять Твардовского не решались, но делалось все, чтобы вынудить его подать заявление об уходе с поста главного редактора. Без согласования с ним было принято решение о замене части редколлегии. Как стало известно из последних публикаций, именно в тот самый, шестой номер 1969 года была сдана поэма Твардовского «По праву памяти», но журнал вышел без нее — разрешение на публикацию получено не было.

Вот такой это был момент, такая была обстановка, и только теперь я хорошо представляю, что творилось тогда в его душе! И та неожиданная грусть, которая прозвучала в этой его фразе: «А мне вот нечем вас отдарить!» — теперь мне особенно понятна.

Но тогда... Я мог лишь смутно догадываться о чем-то. А главное, передо мной был Твардовский, он хотел что-то мне надписать... Как обидно, что ни одной его книги нет под рукой... И тут меня словно осенило. Я достал из портфеля только приобретенный шестой номер журнала с рецензией, подал его Твардовскому.

— Ну что ж... — сказал он. — Ну что ж...

И в его голосе прозвучало даже некое удовлетворение. Он раскрыл журнал на том месте, где была напечатана рецензия на мою книгу.

— Ручка есть? — спросил он.

Я подал ему свою ручку, он наклонился к столу, сделал несколько движений моей ручкой... Надо же! Она не писала!

— Позо-о-ор! — произнес он шутиливо-уничтожающе своим глубоким вибрирующим голосом. И в то же время как бы разрядилась напряженность обстановки, мы все трое одновременно улыбнулись.

— Пойдемте! — сказал мне Твардовский и повел к себе. Он сел за свой стол, взял свою ручку и начертил мне прямо на рецензии, наискосок, слова, которые до сих пор греют мне душу. Он написал: «Вильяму Александрову с пожеланием занять место на страницах «Н. М.» по более непосредственному поводу. А. Твардовский».

Значит, он помнил о моей повести и верил, что она будет когда-нибудь напечатана!

Многие годы эти слова поддерживали меня, вселяли надежду. И если я не пал духом, не замкнулся в себе, а продолжал работать с какой-то иступленностью, то это во многом благодаря надписи Твардовского.

И еще раз хочу преклониться перед силой духа этого человека, который в тяжелейшую минуту своей жизни мог найти слова, чтобы поддержать другого, вселить в него надежду, веру в себя.

Он еще долго не отпускал меня, расспрашивал о Ташкенте, о семье недавно умершего Овечкина, о его жене, о детях, спрашивал, чем можно им помочь, сокрушался, что не мог приехать. Потом стал расспрашивать меня, как воспринимаются на местах последние публикации «Нового мира». Я сказал, что журнал идет нарасхват, его передают из рук в руки, хотя в официальных кругах проявляют недовольство.

— Да... — сказал он с мрачной иронией, — начальство обижается!

Я думаю, он понимал силу своего таланта, понимал, что мог бы сделать как поэт за эти годы, не взвалил он на себя такой тяжеленный воз, каким было в ту пору его редакторство. И все же он предпочел оставаться на своем посту до самого конца, предпочел, потому что понимал: никто другой этого сделать не сможет. Ведь не случайная была эта его фраза: «Если не я, то кто?!»

...Помню, уходил я тогда из «Нового мира» окрыленный. Ну как же, сам Твардовский сделал мне такую надпись! А между тем, дни его в журнале были сочтены. Через полгода он вынужден был уйти из журнала, а еще через год ушел из жизни. Видимо, все это было для него слишком взаимосвязано.

\* \* \*

И все же я считаю, что еще одна встреча состоялась у меня с Александром Трифоновичем. Это когда в марте 87-го года я открыл второй номер журнала «Знамя» и прочел горькие, суровые, полные боли и святой искренности слова Твардовского в увидевшей, наконец, свет поэме «По праву памяти», те самые слова, которые должны были прозвучать 18 лет назад в том самом номере журнала, что он мне надписал!

Я словно бы снова услышал его голос, чуть глуховатый, с хрипотцой, неповторимый голос Твардовского, который еще тогда, 18 лет назад, произносил пророческие слова:

Давно отцами стали дети,  
Но за всеобщего отца  
Мы оказались все в ответе,  
И длится суд десятилетний,  
И не видать еще конца...



Николай Мойкин

## КОРОЛЕВСТВО В ОКЕАНЕ

Если на земле и существует рай, он находится именно на этих зеленых островах, похожих на сад. Так отзывались о Тонга голландцы, которые первыми из европейцев посетили в XVII веке этот удивительный архипелаг в юго-западной части Тихого океана. Само слово «тонга» на одном из полинезийских языков означает «сад» или «юг».

Английский мореплаватель Джеймс Кук, побывавший на архипелаге в 1777 году, обратил внимание на мягкий нрав местных жителей, на полное отсутствие у них «каких-либо признаков враждебности». Он назвал острова «Дружественными». А плававший с ним судовой врач Дэвид Сэмвел записал в дневнике, что многие девушки на Тонга «сложены настолько изящно, что могут оспаривать пальму первенства в состязании по красоте с любимыми женщинами под солнцем».

Независимое государство Тонга, а точнее Королевство Тонга, расположено на ста пятидесяти вулканических и коралловых островах общей площадью около семисот квадратных километров. Из них лишь тридцать пять обитаемы. На самом большом, Тонгатапу, находится столица островного «сада» — порт Нукуалофа, куда и зашел наш круизный лайнер «Александр Пушкин»...

Когда мы отправились пешком от причала в город, на повороте дороги нам повстречался улыбающийся смуглолицый старичок в белом мундирчике, сплошь увешанном разноцветными значками. «Добро пожаловать на нашу дружественную землю, дорогие гости!» — сказал он по-английски и добавил, что представляет туристическое бюро Нукуалофы. Затем старик раскрыл сумочку-редикюль и стал вынимать из нее и дарить нам ракушки, приговаривая: «От гостей нашей столицы мы принимаем любые пожертвования — кто сколько может».

Вообще-то порта в европейском понимании этого слова тонганская столица не имеет. В Нукуалофе есть просто большой причал, способный принимать крупные и мелкие суда, но каких-то специальных зданий, складов и прочих портовых сооружений здесь нет. Да и сам город, в основном одноэтажный, со своими скромными масштабами и неброской архитектурой скорее похож на наш районный центр, чем на столицу королевства, пусть и очень древнего и единственного во всей Океании.

Раскинувшаяся на обширной прибрежной равнине, Нукуалофа поражает обилием зелени и отсутствием уличной суеты. Недаром само слово «нукуалофа» переводится как «тихая обитель любви».

Зеленые, тенистые улицы и маленькие площади тонганской столицы пустынно в любое время дня. Редко по ним проскочит машина, пройдут несколько человек, протаят от одного двора к другому хрюкающая свинья или перебежит дорогу полусонная, отощавшая собака. Крик петуха звучит здесь так же призывно и весело, как и в любой другой стране мира.

Прямо во дворах тонганцы разводят костры и готовят пищу. Зажаренный на вертеле поросенок — одно из традиционных блюд на островах. Это кушанье является также своеобразным символом местного гостеприимства. Именно поросенка выставляет прежде всего на стол тонганский хозяин, когда к нему в дом заходят

гости... Дым от костров поднимается вверх, обволакивает пальмы, и издали, со стороны моря, кажется, будто над Нукуалофой плывет туман.

В отличие от многих других столиц, в Нукуалофе отсутствует скопление помпезных учреждений и ведомств. Главная достопримечательность города — трехэтажный королевский дворец с белыми стенами и красноверхими башенками. Он также не поражает роскошью или витиеватостью архитектурного стиля. Неподалику от него мы наткнулись на крохотное здание министерства финансов Тонга, непритязательную резиденцию премьер-министра страны, скромные строения главпочтамта, авиакомпании «Полинезиан эйрлайнз», христианской церкви и банка.

На островах Тонга, заселенных полинезийцами со второго тысячелетия до новой эры, уже более десяти веков правит одна из самых древних монархий планеты. Нынешний тонганский король Тауфа'Ахау Тупоу IV занимает трон своих предков с 1967 года. При нем и была провозглашена независимость островов от британской короны. Это произошло 4 июня 1970 года. Пять лет спустя Тонга установила дипломатические отношения с Советским Союзом.

В управлении государством тонганскому королю помогает так называемый Личный совет и Законодательная ассамблея, состоящая из двадцати пяти человек. Во главе правительства стоит брат монарха — принц Фатафехи Туипелехаке. Он занимает объединенный пост министра сельского хозяйства, по морским делам, лесоводства и рыболовства. В родственных или семейных связях с королем ходятя и другие правительственные чины.

На Тонга есть своя армия, полиция и королевская гвардия. Политических партий и профсоюзов нет. Печать состоит из одной еженедельной газеты и двух журналов, издающихся раз в несколько месяцев.

Главное богатство королевства посреди океана — земля. Сельское хозяйство составляет основу национальной экономики. Хотя по закону каждый тонганский гражданин по достижении шестнадцатилетнего возраста вправе рассчитывать на участок земли в восемь акров, более двух третей жителей архипелага остаются на сегодняшний день безземельными. Все лучшие наделы принадлежат королевской семье и дворянской знати.

Выращиваемые на островах бананы, копра и кокосовая пальма являются главными источниками экспортных поступлений. Традиционно разводятся свиньи, домашняя птица, крупный рогатый скот. Есть лесопильные заводы и предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. В последние годы на Тонга интенсивно развиваются туризм (ежегодно острова посещают до сорока тысяч иностранцев) и рыболовство, тоже дающие валюту. К ним примыкает и такая скромная отрасль национальной экономики, как выпуск марок. Марки в королевстве издают по случаю любых мировых событий. В 1982 году, например, поступления от их продажи составили триста тысяч паанг, или восемь процентов государственных доходов.

Население Тонга в 1989 году немногим превышало сто тысяч человек. 98 процентов жителей — тонганцы, остальные — англичане, австралийцы и выходцы из соседних островов Полинезии.

...Примерно на середине четырехкилометрового пути между портом и королевским дворцом можно ознакомиться с еще одной достопримечательностью города — местным базаром. Базар в Нукуалофе не имеет ни лавок, ни навесов. Торговцы, главным образом женщины и дети, располагаются прямо на зеленой траве, в тени нескольких деревьев, и с улыбкой предлагают вам ракушки, бусы, деревянные маски, фигурки богов мира, войны и любви. Некоторые коммерсанты сами же являются и мастерами. Они создают свои изделия тут же, на лужайке, так что после прогулки по базару вы уносите с собой не только купленную вещь, но и впечатления от труда бедного островитянина.

Одного из торговцев, с которым я разговаривался, звали Фалеоне Ваи. На вид ему было лет 60. Оказалось, что он уже 33 года служит в королевской гвардии, охраняющей дворец главы тонганского государства. По закону, счастливчик, попадающий в гвардию, должен служить королю пожизненно. Закон Королевства Тонга не воспрещает гвардейцам также заниматься коммерцией. Поэтому Фалеоне в свободное от дворцовых обязанностей время любит приезжать на базар, чтобы поторговать божками любви и мира.

Фалеоне доверительно сообщил, что в дворцовой гвардии служат сто человек, что военно-морской флот королевства состоит из пяти катеров, а вся тонганская армия насчитывает до пятисот штыков.

По словам Фалеоне Ваи, на Тауфу'Ахау Тупоу IV «очень обиделась Америка» за то, что он позволил заходить в Нукуалофу советским судам. «Однако наш король, как и все тонганцы, — сказал мой собеседник, — настроен дружелюбно ко всем странам. Мы не боимся дружить с любым народом, если и он к нам питает дружеские чувства».

Под конец нашей беседы королевский гвардеец Фалеоне Ваи признался также,

что ему очень понравились мои солнцезащитные очки, и он попросил меня при-  
слать такие же ему, когда я вернусь в Москву...

В тот же день, вечером, как только на Нукуалофу опустился темно-синий  
в звездный горошек полог ночи, «Александр Пушкин» взял курс на Вавау.

К этой группе из пятидесяти крохотных островов, тоже принадлежащих Коро-  
левству Тонга, мы подошли уже на следующее утро. Когда наш лайнер, свернув  
с сияющей «проезжей части» открытого моря, начал углубляться в узкую, извили-  
стую акваторию миниархипелага, нас сразу со всех сторон обступили причудливые  
зеленые островки. Некоторые из них были совсем букашечных размеров, причем  
их россыпь оказалась настолько плотной, а лазурно-зеленая вода за бортом  
настолько спокойной, гладкой, что казалось, мы вошли не в океанскую бухту,  
а в пресное озеро, затерявшееся в каком-нибудь глухом углу Мещёры.

Мы попали в настоящий зеленый рай, в Амазонию среди океана. Из-за мелко-  
водья «Пушкин» не смог подойти близко к причалу, и мы добрались до Неиафу,  
административного центра пятидесяти островов, на мотоботах.

Неиафу — колыбель туземной старины, незыблемых традиций Океании. Одеж-  
да бедных, но всегда улыбающихся островитян, их образ жизни и мышления, убо-  
гие пальмовые хижины и примитивные деревянные сувениры — все в этом городке  
остается сегодня таким же, каким было двести с лишним лет назад, во времена  
Кука. О приходе сюда современной цивилизации свидетельствуют лишь асфальти-  
рованные дороги, автомобили, рестораны, пара церквушек да небольшая строи-  
тельная площадка на территории порта.

Асфальт в Неиафу начинается прямо от моря. Шоссе проходит мимо городско-  
го базара (представляющего собой уменьшенный вариант нукуалофского), на кото-  
ром, как в музее под открытым небом, выставлены разнообразные изделия местных  
мастеров-самоучек, пересекает центр городка и выводит вас на побережье.

В любом месте автодороги можно свернуть влево или вправо и беспрепятствен-  
но углубиться в зеленую паутину проулков и дворов, не разделенных никакими  
заборами или перегородками. Некоторые дома стоят на сваях, под ними прячутся  
от жгучего солнца куры, поросята и полуголые дети. Дома в Неиафу построены  
хаотично, без всякой планировки, в стенах многих из них зияют дыры. Местные  
жители утверждают, что, поскольку змей здесь нет, дыры в жилищах не страшны.

На одном из прибрежных холмов нам показали местный колледж, названный  
«Друзья южных областей Тихого океана». Его двухэтажное здание имеет в середи-  
не просторный зал — нечто вроде общей аудитории, а на боковых террасах вокруг  
зала разместились маленькие аудитории-классы.

Около входа в колледж толпились стайкой девочки-подростки, были и совсем  
маленькие дети. Один из них, мальчик лет шести, протянул руку и тихим голосом  
попросил дать ему «что-нибудь на чай».

Но местные жители не только бедны, улыбчивы и дружелюбны. Они талантли-  
вы. В одном из кафетериев на окраине Неиафу мы услышали необычные тягучие,  
будто зависающие в воздухе звуки. Это были полинезийские мелодии. Их авторами  
и исполнителями оказались местные музыканты из ансамбля «Фунгай Вавау джаз  
бэнд». На базаре наше внимание привлекли оригинальные красочные корзины  
и маски — тоже произведения одаренных местных мастеров.

Один из членов экипажа нашего теплохода купил на базаре панцирь огромной  
черепахи. Женщину, продававшую панцирь, звали Алиси Ате Нау.

Я спросил Алиси, знает ли она что-нибудь о Советском Союзе, России. «О да,  
конечно,— ответила женщина.— Россия — это большой город... в Австралии».

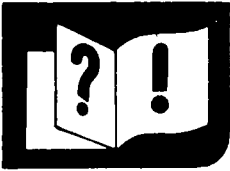
Надо заметить, что для многих жителей Океании самыми известными странами  
за пределами их родины являются близлежащие Австралия и Новая Зеландия.  
Стоявшая рядом с Алиси восемнадцатилетняя девушка по имени Вика ничего  
не могла сказать о нашей столице. «Москва? А где этот город? В Америке?»—спро-  
сила она меня в ответ на мой вопрос.

Среди шести или семи обитателей Неиафу, с которыми я разговаривал, лишь  
один ответил правильно на мои несложные вопросы о нашей стране. Это был рабо-  
чий пирса Уильям, помогавший нам высаживаться из мотоботов. Во время беседы  
он попросил у нас закурить. Затянувшись советской сигаретой, Уильям произнес:  
«Мне нравятся русские моряки. Они просты, не жадны и всегда веселы».

Близ порта Неиафу я познакомился также с девушкой, которую звали Кофе.  
Она оказалась гражданкой Соединенных Штатов Америки, а в Тонга приехала  
поработать сестрой милосердия. Ее престарелые и вконец обедневшие родители  
несколько лет назад эмигрировали из королевства посреди океана в США.

— Где вам больше нравится — в Штатах или на Вавау?— спросил я смуглую  
девятнадцатилетнюю Кофе.

— На Вавау. Ведь я родилась здесь, а дороже родины, какой бы она ни была,  
нет ничего на свете, — ответила девушка.



## ЕЩЕ О ДОКТОРЕ Д. А. ВВЕДЕНСКОМ



Д. А. Введенский — солдат Русского легиона  
Франция. 1918 год.

Прошло больше двух лет со времени опубликования в журнале «Звезда Востока» нашего документального очерка «Доктор Введенский» (№ 2, 1988 г.), в котором описан жизненный путь нашего земляка — человека необычной и сложной судьбы — солдата, врача и ученого, участника двух мировых войн, награжденного высшими советскими, французскими и российскими орденами, дважды вошедшего победителем в поверженную Германию: с Запада в 1918 году и с Востока — в 1945 году.

Появление романа маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского «Солдаты России», посвя-

щенного героическим подвигам и судьбе солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции в первую мировую войну, побудило вновь вспомнить нашего земляка Д. А. Введенского.

Главный герой романа Иван Гринько в начале января 1918 года стал солдатом Русского легиона, который входил в состав 1-й Марокканской дивизии, где в пулеметной роте от впервые познакомился и подружился с солдатом Виктором Дмитриевским. Весь трудный путь Русского легиона они прошли вместе в одном пулеметном расчете.

При знакомстве с книгой мы обратили внимание на следующие строки: «Унылую жизнь русских солдат в Плере нарушил пришедший, наконец, приказ о награждении Виктора Дмитриевского орденом Почетного Легиона. Приказу не удивились, так как его ожидали. Но самое интересное было другое: Дмитриевский производился в подполковники медицинской службы. Вот это была новость! Начальство своевременно беспокоилось и приготовило Дмитриевскому офицерскую форму. Он назначался старшим батальонным врачом».

Сходная ситуация сложилась и у Д. А. Введенского. В ветхом, пожелтевшем от времени «Послужном списке старшего врача 1 Русского легиона Дмитрия Алексеевича Введенского» есть такая запись: «Вследствие распоряжения Французского Военного Министерства от 12 февраля 1919 года за № 1091 СЛ/П возвращено прежнее звание доктора в чине коллежского ассесора и назначается старшим врачом легиона». За этой записью следует: «В бытность ефрейтором в пулеметной роте в составе Русского легиона за боевые подвиги Французским Военным Министерством награжден орденом Почетного Легиона (21 марта 1919 года)».

Два одинаковых по содержанию и по времени издания приказа о награждении орденом Почетного Легиона и восстановлении врачебного звания героя романа Виктора Дмитриевского и реально существовавшего Дмитрия Алексеевича Введенского. Что это — случайное совпадение? Или Дмитриевский и есть прообраз Д. А. Введенского? К сожалению, автору романа задать этот вопрос уже нельзя. Попробуем разобраться сами. Проследим жизнь Виктора Дмитриевского от первого появления его в романе до последних страниц и сравним с ратным путем Д. А. Введенского за этот же отрезок времени (1918—19 гг.).

Первые Дмитриевский появляется на страницах романа в третьей части, когда он, солдат-пулеметчик Русского легиона, входившего в состав 1-й Марокканской дивизии, отбивает

ожесточенные и многочисленные атаки немцев под Суассеном 27 мая 1918 года.

А что делал Д. А. Введенский в это время? Вернемся к приведенному выше «послужному списку»: «Ефрейтор пулеметной роты участвовал в боях под Суассеном с 28 по 31 мая, а также в июне-июле 1918 года».

Более подробно об этом эпизоде из «французской эпопеи» Д. А. Введенского поведала его дочь Наталья Дмитриевна: «На вопрос, за какие заслуги он был награжден орденом Почетного Легиона, отец рассказал, что в битве под Суассеном он вместе со своим пулеметным расчетом длительное время сдерживал непрерывные атаки немцев на стратегически важную господствующую в этом районе высоту и дал возможность командованию подтянуть резервы и перейти в успешное контрнаступление».

Все сходится — и по факту и по времени действия.

По отдельным отрывочным описаниям можно представить себе некоторые черты внешности и примерный возраст Дмитриевского. Автор пишет: «Рядом шагает Виктор Дмитриевский и тоже думает свою думу. Он старше Ванюши, и думки у него, вероятно, иные». Главному герою романа «Солдаты России» Ивану Гринько в ту пору было 20 лет, а Д. А. Введенскому в 1918 году исполнился 31 год.

Метко схвачен образ Виктора Дмитриевского в момент отражения очередной ожесточенной атаки немцев: «Тот был очень бледен, и на его лице ярче, чем обычно, выделяются черные усы и борода». На фотографии Д. А. Введенского, где он запечатлен в форме солдата Русского легиона, отчетливо видны усы и борода.

Несколько раз в романе подчеркивается, что Дмитриевский довольно свободно говорил по-немецки и привлекался к допросу пленных.

Владел ли немецким языком Дмитрий Алексеевич? В личном деле профессора Д. А. Введенского, хранящемся в архиве Минздрава УзССР, ответа на этот вопрос мы не нашли. Но помогло «Жизнеописание семьи Введенских» (машинпись), составленное младшим братом Д. А. Введенского Алексеем Алексеевичем Введенским: «Гимназию Дмитрий оканчивает в 1905 году, в разгар революции и в период острого революционного движения в Томске. Революционные настроения проникают и в среду гимназической молодежи Томска, и брат примыкает к левому крылу социал-демократической партии «эсеров». Это обстоятельство, по-видимому, явилось одним из препятствий для поступления его в Томский, а позже в Московский университеты. Отец отправляет Дмитрия для получения высшего образования в Германию, и он становится студентом Берлинского университета».

Возвращается Д. А. Введенский из Германии в Россию в 1910 году и через год оканчивает медицинский факультет Московского университета.

Естественно, что Д. А. Введенский отлично владел немецким языком.

Как Виктор Дмитриевский в романе, так и Д. А. Введенский в реальности из Пьера через Марсель возвращаются в 1919 году на родину, во Владивосток. Покидают Францию они в одно и то же время: Дмитриевский — в середине августа, Введенский — 10 августа.

До последнего времени оставалось для нас непонятным приведенное выше распоряжение французского военного министерства о возвращении Д. А. Введенскому прежнего звания до-

ктора. Смушала формулировка: «Возвращается звание». Если звание возвращают, то его раньше отбирали? Когда и за что?

Ответ на эти вопросы найден в романе Р. Я. Малиновского. Он содержится в следующей цитате: «... среди нас есть человек, который боролся за интересы солдат, и боролся так, что вызвал к себе немилость начальства и был в итоге разжалован в рядовые, лишился офицерского звания. Это Виктор Дмитриевский».

Мы полагаем, что приведенных сопоставлений вполне достаточно, чтобы сделать вывод, что в образе Виктора Дмитриевского в романе Р. Я. Малиновского «Солдаты России» увековечен реально существовавший солдат и врач Русского легиона 1-й Марокканской дивизии Дмитрий Алексеевич Введенский — в дальнейшем один из основателей Ташкентского медицинского института, заведующий урологической клиникой института, профессор, заслуженный деятель науки УзССР, подполковник Советской Армии в Великой Отечественной войне.

\* \* \*

У многих читателей может возникнуть вопрос, что это за Русский легион, да еще в составе Марокканской дивизии?

После революции в России многие солдаты Русского экспедиционного корпуса, посланного в первую мировую войну во Францию на помощь союзникам, требовали возвращения на родину. Революционные волнения русских солдат были жестоко подавлены, а корпус расформирован. Зачинщиков арестовали, а остальные вернулись в рабочие батальоны в Северную Африку. Немногие согласились выехать в Россию через Архангельск, оккупированный англичанами, на территорию, контролируемую в то время белогвардейцами. У оставшихся солдат и офицеров не было другого выхода, как «добровольно» вступить в специально сформированный Русский легион, который вошел в состав 1-й Марокканской дивизии и прошел с почти непрерывными кровопролитными боями от реки Соммы во Франции до берегов Рейна в Германии. Русский легион в ожесточенных кровопролитных боях остановил наступление немцев на Париж.

В период с 26 апреля по 16 сентября 1918 года Марокканская дивизия потеряла на поле брани 3 тысячи офицеров и 14 тысяч солдат.

Правительство Французской республики высоко оценило ратный подвиг сынов России. В «Послужной список» Д. А. Введенского внесен приказ главнокомандующего французской армией генерала Петена от 30 сентября 1918 года № 20410 о награждении Русского легиона Французским Военным Крестом с пальмой за то, что «он показал редкую храбрость в течение боев на Сомме от 26 по 30 апреля 1918 года, способствуя своим героическим упорством остановке движения противника на Амьен. Принял не менее блестящее участие в боях перед Суассеном 29—30 мая, показал самопожертвование, беспощадно борясь за сохранение завоеванного пространства, беря многочисленных пленных и военную добычу».

По многочисленным братским могилам на французской земле можно проследить весь нелегкий путь Русского легиона, воины которого еще раз прославили русское оружие вдали от родины.

С. ВАРШАВСКИЙ, И. ЗМОЙРО.

# Марьям

12, 2007



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Каф ха йа айн сад (2). Воспоминание о милости Господа твоего рабу его Закарии<sup>1</sup>.

2 (3). Вот воззвал он к Господу своему зовом тайным<sup>3</sup>.

3 (4). Сказал он: «Господи! У меня ослабели мои кости, и голова запылала сединой, а я не был в воззваниях к Тебе, Господи, несчастным.

5. (5). И я боюсь близких после меня, а жена моя бесплодна; дай же мне от Тебя наследника!

6 (6). Он наследует мне и наследует роду Йа'куба, и сделай его, Господи, удобным<sup>4</sup>».

7 (7). «О Закарийа, Мы радуем тебя вестью про мальчика, имя которого Йахйа!

8. Мы не делали ему раньше одноименного».

9 (8). Он сказал: «Господи, как будет у меня мальчик: и жена моя бесплодна, и дошел я в старости до предела?»

10 (9). Сказал Он: «Так сказал твой Господь: «Это для Меня — легко. Я ведь сотворил тебя раньше, а был ты ничем»».

11 (10). Он сказал: «Господи! Дай мне знамение!» Сказал Он: «Знамение для тебя в том, что ты не будешь говорить с людьми три ночи, будучи здоровым».

12 (11). И вышел он к своему народу из алтаря<sup>4</sup> и внушил им: «Возносите хвалу утром и вечером».

13 (12). «О Йахйа, держись писания<sup>5</sup> сильно!» И даровали Мы ему мудрость, когда он был мальчиком,

14 (13). и милосердие от Нас, и чистоту. И был он богобоязненным (14). и благим к своим родителям, и не был он тираном, послушником.

15 (15). Мир ему в день, когда он родился, и в день, когда умрет, и в день, когда будет воскрешен живым!

16 (16). И вспомни в писании Марьям<sup>6</sup>. Вот она удалилась от своей семьи в место восточное

17 (17). и устроила себе пред ними завесу. Мы отправили к ней Нашего духа<sup>7</sup>, и принял он пред ней обличие совершенного человека.

18 (18). Она сказала: «Я ищу защиты от тебя у Милосердного, если ты богобоязнен».

19 (19). Он сказал: «Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого».

20 (20). Она сказала: «Как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек, и не была я распутницей».

21 (21). Он сказал: «Так сказал твой Господь: «Это для Меня — легко. И сделаем Мы его знамением для людей и Нашим милосердием». Дело это решено».

- 22 (22). И понесла она его<sup>8</sup> и удалилась с ним в далекое место.
- 23 (23). И привели ее муки<sup>9</sup> к стволу пальмы. Сказала она: «О если бы я умерла раньше этого и была забытою, забвенною!»
- 24 (24). И воззвал Он<sup>10</sup> к ней из-под нее: «Не печалься: Господь твой сделал под тобой ручей.
- 25 (25). И потряси над собой ствол пальмы, она уронит к тебе свежие, спелые.
- 26 (26). Ешь, и пей, и прохладя глаза! А если ты увидишь кого из людей,
27. то скажи: «Я дала Милостивому обет поста и не буду говорить сегодня с человеком»».
- 28 (27). Она пришла с ним к своему народу, неся его, Они сказали: «О Марйам, ты совершила дело неслыханное!
- 29 (28). О сестра Харуна<sup>11</sup>, не был отец твой дурным человеком, и мать твоя не была распутницей».
- 30 (29). А она указала на него. Они сказали: «Как мы можем говорить с тем, кто ребенок в колыбели?»
- 31 (30). Он сказал: «Я — раб Аллаха, Он дал мне писание и сделал меня пророком<sup>12</sup>.
- 32 (31). И сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне молитву и милостыню, пока я живу,
- 33 (32). и благость к моей родительнице и не сделал меня тираном, несчастным.
- 34 (33). И мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым!»
- 35 (34). Это — Иса, сын Марйам, по слову истины<sup>13</sup>, в котором они сомневаются.
- 36 (35). Не подобает Аллаху брать Себе детей, хвала Ему! Когда Он решит какое-нибудь дело, то лишь скажет ему: «Будь!» — и оно бывает<sup>14</sup>.
- 37 (36). И поистине, Аллах — мой Господь и ваш Господь: поклоняйтесь же Ему, это — прямой путь!
- 38 (37). И разногласят партии среди них. И горе тем, которые неверны, от зрелища великого дня!
- 39 (38). Как они услышат и увидят в тот день, что придут к Нам! Но обидчики сегодня в явном заблуждении.
- 40 (39). Сообщите им о дне скорби. Вот дело решено, а они в небрежности, они не веруют.
- 41 (40). Поистине, Мы наследуем землю и тех, кто на ней, и к Нам они вернуться.
- 42 (41). И вспомни в книге Ибрахима: поистине, он был праведником, пророком<sup>15</sup>.
- 43 (42). Вот сказал он своему отцу: «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не избавляет тебя ни от чего?
- 44 (43). Отец мой, у меня явилось такое знание, которое не достигло тебя; следуй же за мной, я поведу тебя верным путем!
- 45 (44). Отец мой, не поклоняйся сатане: сатана ведь ослушник Милосердному!
- 46 (45). Отец мой, я боюсь, что тебя коснется наказание от Милосердного и ты будешь близким сатаны!»
- 47 (46). Он сказал: «Разве ты отказываешься от наших богов, о Ибрахим? Если ты не удержишься, я непременно побью тебя камнями. Удались же от меня на некое время!»
- 48 (47). Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить прощения для тебя у моего Господа: ведь Он ко мне милостив.
- 49 (48). Я отделюсь от вас и от того, что вы призываете помимо Аллаха. Я призываю своего Господа, может быть, я не буду в призывании своего Господа несчастным».
- 50 (49). И когда он отделился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака и Йа'куба, и всех сделали Мы пророками.
- 51 (50). И Мы даровали им от Нашей милости и сделали язык истины для них высоким.
- 52 (51). И вспомни в книге Мусу: поистине, он был искренним и был посланником, пророком<sup>16</sup>.
- 53 (52). И воззвали Мы к нему с правой стороны гор<sup>17</sup> и приблизили его для тайной беседы.
- 54 (53). И даровали Мы ему от Нашего милосердия брата его Харуна как пророка.
- 55 (54). И вспомни в книге Исма'ила: поистине, он был правдив в обещанном и был посланником, пророком.
- 56 (55). Он приказывал своей семье молитву и милостыню и был у Господа своего угодным.
- 57 (56). И вспомни в книге Идриса<sup>18</sup>: поистине, он был праведником, пророком.
- 58 (57). И вознесли Мы его на высокое место.
- 59 (58). Это — те, кому даровал Аллах милость, из пророков из потомства Адама и из тех, кого Мы носили вместе с Нухом, и из потомства Ибрахима и Исра'ила, и из



тех, кого Мы вели прямым путем, и кого Мы избрали. Когда им читаются знамения Милосердного, они падают ниц, поклоняясь и плача.

60 (59). И последовали за ними потомки, которые погубили молитву и пошли за страстями, и встретят они погибель.

61 (60). Кроме тех, кто раскаялся и уверовал и творил доброе, — эти войдут в рай и не будут обижены ни в чем, —

62 (61). в сады вечности, которые обещал Милосердный Своим рабам втайне; поистине, Его обещание совершается!

63 (62). Не слышат они там пустословия, а только: «Мир!» Для них там — удел и утром и вечером.

64 (63). Это — сад, который дадим Мы в наследие тем из наших рабов, кто богобоязнен.

65 (64). Нисходим мы только по повелению Господа твоего; Ему принадлежит то, что пред нами и что позади нас и что между этим. Господь твой не забывчив!

66 (65). Господь небес и земли и того, что между ними. Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему! Разве ты знаешь ему соименного?

67 (66). И говорит человек: «Разве, когда я умру, я буду изведен живым?»

68 (67). Разве не вспомнит человек, что Мы сотворили его раньше, а был он ничем?

69 (68). И Господом твоим клянусь, Мы соберем их и диаволов, потом Мы соберем их кругом геенны на коленях.

70 (69). Потом Мы извлечем из каждой партии, кто из них был сильнеешим слушником против Милосердного.

71 (70). Потом — ведь Мы лучше знаем про тех, кому больше надлежит там гореть.

72 (71). Нет среди вас того, кто бы в нее не вошел; для твоего Господа это — решенное постановление.

73 (72). Потом Мы спасем тех, которые были богобоязненны, и оставим обидчиков там на коленях.

74 (73). А когда читаются им Наши знамения ясно изложенными, те, которые не веруют, говорят верующим: «Какая из двух партий лучше по своему положению, прекраснее по составу?»

75 (74). А сколько Мы погубили до них поколений, которые были прекраснее и по устройству и по виду!

76 (75). Скажи: «Кто находится в заблуждении, пусть Милосердный продлит ему предел»<sup>19</sup>.

77. И когда они увидят то, что им было обещано, либо наказание, либо час, то узнают они, кто хуже по месту и слабее войском.

78 (76). А тем, которые шли по прямому пути, Аллах умножит водительство.

79. А пребывающие благие деяния — у Господа твоего еще лучше по награде, лучше по воздаянию.

80 (77). Видел ли ты того, кто не веровал в Наши знамения и говорил: «Конечно, мне будет даровано и богатство и потомство!»

81 (78). Разве он узнал про сокровенное или взял с Милосердного договор?

82 (79). Так нет! Мы запишем то, что он говорит, и протянем ему наказание усиленно!

83 (80). Мы унаследуем от него то, что он говорит, и придет он к Нам одиноким.

84 (81). И устроили они себе помимо Аллаха других богов, чтобы они были славой для них.

85 (82). Так нет! Отвергнут они их поклонение и окажутся для них противниками.

86 (83). Разве ты не видел, что Мы послали диаволов против неверных, чтобы они их усиленно подстрекали?

87 (84). Поэтому не торопись против них; Мы считаем для них счетом.

88 (85). В тот день, когда Мы соберем богобоязненных к Милосердному чтимым посольством

89 (86). и погоним грешников в геенну, как стадо на водопой,

90 (87). не получат они заступничества, кроме тех, кто взял с Милосердного договор.

91 (88). И говорят они: «Взял Себе Милосердный сына». (89). Вы совершили вещь гнусную<sup>20</sup>.

92 (90). Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, и горы пасть прахом

93 (91). оттого, что они приписали Милосердному сына. (92). Не подобает Милосердному брать Себе сына.

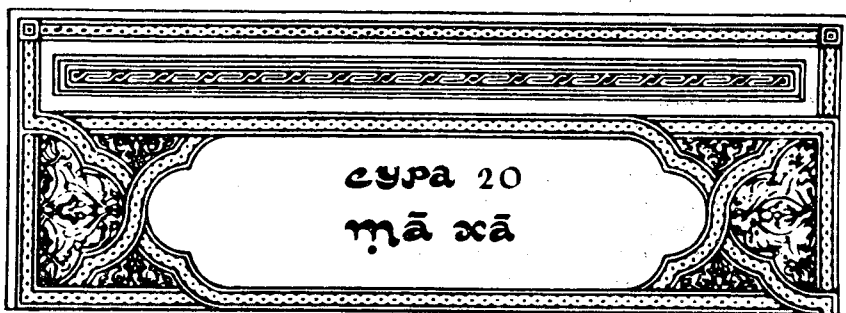
94 (93). Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к Милосердному только как раб; (94). Он перечислил их и сосчитал счетом.

95 (95). И все они придут к Нему в день воскресения поодиночке.

96 (96). Поистине, те, кто уверовал и творил добрые дела, — им Милосердный дарует любовь.

97 (97). Мы облегчили его для твоего языка<sup>21</sup>, чтобы ты мог радовать им богобоязненных и предостерегать им людей упрямых.

98 (98). А сколько Мы погубили до них поколений, — разве чуешь ты хоть одного из тех и слышишь от них шорох?



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

- 1 (1). Та ха. (2). Не ниспослали Мы тебе Коран, чтобы ты был несчастен<sup>2</sup>,  
2 (3). а только как напоминание для того, кто боязлив,  
3 (4). ниспосланием от того, кто создал землю и небеса вышние.  
4 (5). Милосердный — Он утвердился на троне.  
5 (6). Ему принадлежит то, что в небесах, и что на земле, и что между ними, и что под землей.  
6 (7). И если ты будешь говорить громко, то ведь Он знает и тайну и более скрытое.  
7 (8). Бог! — нет божества, кроме Него, у Него — прекрасные имена<sup>3</sup>.  
8 (9). Дошел ли до тебя рассказ о Мусе?<sup>4</sup>  
9 (10). Вот увидел он огонь и сказал своей семье: «Останьтесь, я почуюл огонь.  
10. Может быть, я вернусь к вам с факелом оттуда или найду у огня верный путь».  
11 (11). А когда он подошел к нему, было возглашено: «О Муса!  
12 (12). Воистину, Я — твой Господь,ними же свои сандалии! Ты ведь в долине священной Тува<sup>5</sup>.  
13 (13). И Я избрал тебя; прислушайся же к тому, что тебе возвещается.  
14 (14). Воистину, Я — Бог, нет божества, кроме Меня! Поклоняйся же Мне и совершай молитву в Мое воспоминание!  
15 (15). Поистине, час приходит; Я готов его открыть,  
16. чтобы всякая душа получила воздаяние за то, о чем старается!  
17 (16). Пусть не отвлекает тебя от нее тот, кто не верует в нее и кто последовал за своей страстью, чтобы тебе не погибнуть.  
18 (17). Что это у тебя в правой руке, Муса?»<sup>6</sup>  
19 (18). Он сказал: «Это — посох мой; я опираюсь на него, сбиваю им для стад моих листья. Есть для меня в нем и другая польза».  
20 (19). Он сказал: «Брось его, о Муса!»  
21 (20). И бросил он его. И вот — это змея, которая ползет.  
22 (21). Он сказал: «Возьми ее и не бойся; Мы вернем ее в прежний вид.  
23 (22). Прижми свою руку к боку: она выйдет белой без всякого вреда, как другое знамение,  
24 (23). чтобы показать тебе среди наших знамений величайшее.  
25 (24). Иди к Фир'ауну, он ведь возмутился».  
26 (25). Он сказал: «Господи, расширь мне грудь,  
27 (26). и облегчи мне дело,  
28 (27). и развяжи узел в моем языке:<sup>7</sup>  
29 (28). пусть они поймут мою речь.  
30 (29). И дай мне помощника из моей семьи,  
31 (30). Харуна, моего брата.  
32 (31). Подкрепи им мою мощь  
33 (32). и сделай его участником в моем деле,  
34 (33). чтобы мы прославляли Тебя много (34). и поминали Тебя много:  
35 (35). ведь Ты по отношению к нам зорок»<sup>8</sup>  
36 (36). Сказал он: «Уже даровано просимое тобой, Муса,  
37 (37). и другой раз Мы оказали тебе милость.  
38 (38). Вот внушили Мы твоей матери то, что внушается:  
39 (39). «Брось его в ковчег и брось его в море, и пусть море выкинет его на берег; возьмет его враг Мой и враг его». Я устремил на тебя Мою любовь,  
40. чтобы ты был выращен на Моих глазах.  
41 (40). Вот идет твоя сестра и говорит: «Не указать ли вам на того, кто о нем

позаботится?» И Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы глаз ее усладился, и она не печалилась. И убил ты душу, и спасли Мы тебя от заботы и испытали испытанием.

42. И оставался ты годы среди обитателей Мадйана<sup>9</sup>, а потом пришел по сроку, о Мусал!

43 (41). И Я взял тебя для Себя.

44 (42). Иди ты и брат твой с Моими знаменами и не будьте слабы в поминании Меня.

45 (43). Идите к Фир'ауну, ведь он возмутился,

46 (44). и скажите ему слово мягкое, может быть, он опаматывается или убоится».

47 (45). Сказали они: «Господи наш! Мы ведь боимся, что он обидит нас или возмутится».

48 (46). Он сказал: «Не бойтесь, Я с вами, слушаю и вижу.

49 (47). Идите же к нему и скажите: «Мы — посланники Господа твоего. Отправь с нами сынов Исра'ила и не наказывай их. Мы пришли к тебе со знамением твоего Господа, и мир тому, кто последовал за водительством.

50 (48). Нам ведь уже открыто, что наказание — для тех, кто считал ложью и отворотился».

51 (49). Он сказал: «Кто же ваш господь, Муса?»<sup>10</sup>

52 (50). Он сказал: «Господь наш тот, кто дал каждой вещи ее строй, а потом вел по пути».

53 (51). Он сказал: «А каково же с первыми поколениями?»

54 (52). Он сказал: «Знание про них у Господа моего в книге, не заблуждается Господь мой и не забывает»<sup>11</sup>.

55 (53). Он, который сделал для вас землю равниной, и провел для вас в ней дороги, и низвел с неба воду, и вывели Мы благодаря ей пары разных растений.

56 (54). Ешьте и пасите ваши стада; поистине, в этом — знамение для обладающих разумом!

57 (55). Из нее Мы вас сотворили и в нее вас вернем и из нее вас изведем другой раз.

58 (56). И показали Мы ему все Наши знамения, но он счел ложью и отвернулся.

59 (57). Сказал он: «Разве ты пришел к нам, чтобы вывести нас из нашей земли своим колдовством, Муса?»

60 (58). Мы, конечно, покажем тебе подобное же колдовство; назначь же для нас и себя условный срок, не нарушим его мы и ты, — место посредине».

61 (59). Он сказал: «Срок для вас — день украшения, и чтобы собраны были люди поздним утром».

62 (60). И отвернулся Фир'аун и собрал свои козни, а потом пришел.

63 (61). Сказал им Муса: «Горе вам, не измышляйте на Аллаха лжи,

64. а то Он поразит вас наказанием». Безуспешен тот, кто измышляет ложь!

65 (62). И обсуждали они между собой свое дело и втайне совещались.

66 (63). Они сказали: «Конечно, это — два волшебника: они хотят вывести вас из вашей земли своим колдовством и погубить ваш примерный путь.

67 (64). Объедините же ваши козни, придите в ряд. Счастлив будет сегодня, кто одержит верх!

68 (65). Они сказали: «О Муса, либо ты бросишь, либо мы будем первыми, кто бросает?»

69 (66). Он сказал: «Нет, бросайте! И вот, — их веревки и посохи, показалось ему, от колдовства их движутся.

70 (67). И почувствовал Муса в душе страх.

71 (68). Сказали Мы: «Не бойся, ведь ты выше!»

72 (69). Брось, что у тебя в правой руке, пожрет оно то, что они создали; ведь они создали ухищрение волшебника, и не будет иметь счастья волшебник, куда бы ни пришел».

73 (70). И повергнуты были волшебники ниц; сказали они: «Мы уверовали в Господа Харуна и Мусы!»

74 (71). Сказал он: «Неужели вы уверовали в Него раньше, чем я дозволил вам; он, конечно, ваш старший, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест, распну вас на стволах пальм, узнаете вы тогда, кто из нас сильнее наказанием и более длителен»<sup>12</sup>.

75 (72). Они сказали: «Мы не предпочтем тебя пришедшим к нам ясным знамениям и тому, кто сотворил нас. Решай же то, что ты решаешь; ты можешь решить только эту ближайшую жизнь. (73). Мы ведь уверовали в нашего Господа, чтобы Он простил нам наши прегрешения и колдовство, к которому ты нас вынудил, а Аллах — лучше и более вечен!»

76 (74). Ведь тот, кто приходит к своему Господу грешником, — для него геенна, в которой он не умирает и не живет.

77 (75). А кто приходит к Нему верующим, совершив благое, для тех высшие ступени —

78 (76). сады Эдема, из-под которых текут реки, — для вечного пребывания там. Таково воздаяние тех, кто очистился!<sup>13</sup>

79 (77). Мы внушили Мусе: «Выйди ночью с Моими рабами и проложи им дорогу по морю сушей.

80. Не бойся погони и не страшись!»

81 (78). И преследовал их Фир'аун с войсками, и покрыло их в море, то, что открыло. (79). И сбил Фир'аун свой народ с пути и не повел их прямо.

82 (80). «О сыны Исра'ила, Мы спасли вас от вашего врага и назначили вам встречу у правого ската горы и низвели на вас манну и перепелов<sup>14</sup>.

83 (81). Ешьте из благ, чем Мы вас наделяем, и не преступайте в этом пределов, иначе настигнет вас Мой гнев, а кого настигает Мой гнев, тот погиб.

84 (82). Я, поистине, прощающ по отношению к тем, кто покаяться, уверовал и творил доброе, а потом пошел по прямому пути.

85 (83). Что поторопило тебя от твоего народа, о Муса?»

86 (84). Он сказал: «Они там по моим следам, а я поторопился к Тебе, Господь мой, чтобы Ты был доволен».

87 (85). Сказал Он: «Мы испытали твой народ после тебя, и их сбил с пути самирит»<sup>15</sup>

88 (86). И вернулся Муса к своему народу гневным, печальным.

89. Он сказал: «О народ мой! Разве не обещал вам Господь ваш прекрасного обещания; разве долгим для вас оказался завет, или вы пожелали, чтобы вас постиг гнев от вашего Господа, и вы нарушили обещание мне?»

90 (87). Они сказали: «Не нарушили мы обещания тебе своей властью; нам было приказано принести ноши из украшений народа, и мы их ввергли; также вверг и самирит»; (88). и вывел он им тельца телом с мычанием. И сказали (они): «Это — Бог ваш и Бог Мусы, но он забыл».

91(89). Разве они не видели, что он не возвращает им речи и не может сделать для них ни вредного, ни полезного.

92(90). И сказал им уже Харун еще раньше: «О народ мой! Вас только искушают этим, а ведь Господь ваш — Милосердный,— следуйте же за мной и повинуйтесь моему приказу!»<sup>16</sup>

93(91). Они сказали: «Мы не престанем чтить его, пока не вернется к нам Муса».

94(92). Он сказал: «О Харун! Что удержало тебя, когда ты увидел, что они сбились, (93). последовать за мной? Разве ты ослушался моего приказа?»

95(94). Он сказал: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и за голову, я боялся, что ты скажешь: «Ты вызвал разделение среди сынов Исра'ила и не соблюл моего слова»».

96(95). Он сказал: «А каков случай с тобой, самирит?» (96). Он сказал: «Я видел то, чего они не видели: я схватил горсть от следов посланника и бросил ее: так соблазнила меня душа».

97(97). Он сказал: «Уходи же, вот тебе в жизни придется говорить: «Не касайтесь!»— и будет у тебя назначенный срок, которого для тебя не нарушат. Посмотри на своего бога, которому ты поклонялся: мы его сожжем и развеем в море прахом.

98(98). Ваш бог — только Бог, кроме которого нет божества, Он объемлет всякую вещь своим знанием!»

99(99). Так рассказываем Мы тебе события предшествующие, и Мы доставили тебе от Нас напоминание!

100(100). Кто отвратился от него,— понесет в день воскресения ношу.

101(101). Вечно пребывая с ней,— и плохая будет у них в день воскресения ноша!

102(102). В тот день, когда подуют в трубу,<sup>17</sup> и Мы соберем тогда грешников голубоглазыми.<sup>18</sup>

103(103). Они будут перешептываться друг с другом: «Пробыли вы там только десять».

104(104). Мы лучше знаем, что они говорят; вот самый верный из них по своему пути говорит: «Пробыли вы только один день».

105(105). Они спрашивают тебя о горах; скажи: «Развеет их мой Господь прахом

106(106). и оставит их пустой долиной; (107). не увидишь ты там ни кривизны, ни высоты!»

107(108). В тот день пойдут они за призывающим,<sup>19</sup> в котором нет кривизны, и стихнут голоса пред Милостивым, и услышишь ты только шорох.

108(109). В тот день не поможет заступничество, кроме тех, кому позволит Милосердный и кому благоволит разрешить речь.

109(110). Знает Он то, что было до них и что будет после них, а они не объемлют этого знанием.

110(111). И поникли лица пред живым, сущим,— обманулся всякий, кто приносил несправедливость.

111(112). А кто творил благое и был верующим, тот не будет бояться ни обиды, ни утеснения.

112(113). И так Мы ниспослали Коран арабским и рассыпали в нем угрозы,—может быть, они побоятся, или возбудит это в них воспоминание!

113(114). Превыше всех Аллаха, царь истинный! Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено тебе его ниспослание, и говори: «Господи мой! Умножь мое знание».

114(115). Мы прежде уже заключили завет с Адамом, но он забыл, и не нашли Мы в нем стойкости.<sup>20</sup>

115(116). И вот Мы сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!»—и поклонились они, кроме Иблиса; тот отказался, (117). и Мы сказали: «О Адам! Ведь это — враг твой и твоей жены. Пусть же он не изведет вас из рая, да не окажешься ты несчастным!

116(118). Ведь тебе можно не голодать там, и не быть нагим,

117(119). и не жаждать там, и не страдать от зноя».

118(120). И нашептал ему сатана, он сказал: «О Адам, не указать ли тебе на древо вечности и власть непреходящую?»

119(121). И они оба поели от него, и обнаружилась пред ними их скверна, и стали они шивать для себя райские листья, и слушался Адам Господа своего и сбился с пути.

120(122). Потом избрал его Господь и простил его и повел прямым путем.

121(123). Он сказал: «Низвергнитесь из него вместе, врагами друг другу! А если придет к вам от Меня руководство —

122. то, кто последует за Моим руководством, тот не собьется и не будет несчастным!

123(124). А кто отвратится от воспоминания обо Мне, у того, поистине, будет тесная жизнь!

124. И в день воскресения соберем Мы его слепым».

125(125). Говорит он: «Господи, зачем Ты собрал меня слепым, а раньше я был зрячим?»

126(126). Скажет ему: «Так приходили к тебе Мои знамения, и ты забыл их — так и сегодня ты будешь забыт».

127(127). Так Мы воздаем тем, кто вышел за предел и не уверовал в знамения своего Господа, а, конечно, наказание будущей жизни сильнее и длительнее!

128(128). Разве не навело их на прямой путь то, сколько Мы погубили до них поколений, по жилищам которых они ходят: ведь в этом — знамения для обладателей рассудка!

129(129). И если бы не слово, которое раньше изошло от твоего Господа, то было бы это неизбежным,— а срок названный.

130(130). Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа до восхода солнца и до захода, и во времена ночи прославляй Его и среди дня, может быть, ты будешь доволен.<sup>21</sup>

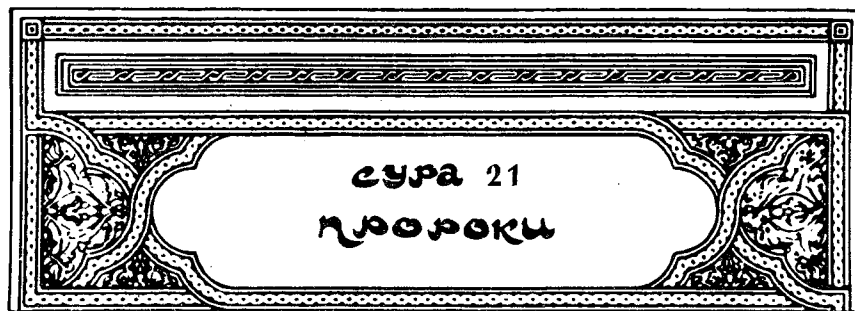
131(131). И не протирай своих глаз<sup>22</sup> на то, чем Мы наделили некоторые пары их — расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее!

132(132). Прикажи своей семье выполнять молитву и терпелив будь в ней. Мы не просим у тебя удела,<sup>23</sup> Мы пропитаем тебя, а конец — за богобоязненностью.

133(133). Они говорят: «Отчего бы не пришел он к нам с ясным знамением от своего Господа?» А разве не приходило к ним явное доказательство в первых свитках?

134(134). И если бы Мы погубили их наказанием до этого, они сказали бы: «Господи, отчего бы Тебе не послать к нам вестника, чтобы нам последовать за Твоими знамениями, раньше чем испытать унижение и позор?»

135(135). Скажи: «Каждый выжидает, выжидайте и вы, а потом вы узнаете, кто обладатель ровного пути и кто шел по прямой дороге!»



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Приблизился к людям расчет с ними, а они небрежны, отверщаются.

2 (2). Не приходит к ним никакое новое напоминание их Господа без того, чтобы они не прислушивались, а сами забавлялись

3 (3). с беспечными сердцами.<sup>2</sup> И тайно беседовали те, которые были несправедливы: «Разве это не человек, подобный вам? Неужели вы будете творить колдовство, когда вы видите?»

4 (4). Сказал он:<sup>3</sup> «Господь мой знает речи в небесах и на земле: Он — слышащий, знающий».

5 (5). Да, они сказали: «Пучки снов! Да, измыслил он его облыжно! Да, он поэт! Пусть же он придет к нам со знамением, как посылались первые!»

6 (6). Не уверовало до них ни одно селение, которое Мы погубили; неужели же уверуют они?

7 (7). И до тебя<sup>4</sup> Мы посылали только людей, которым внушали<sup>5</sup>; спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете!

8 (8). Мы не делали их телом, не вкушающими пищу, и не были они вечными.

9 (9). Потом оправдали Мы обещание им и спасли их и тех, кого желали, и погубили преступающих.

10 (10). Мы ниспослали вам писание, в котором — напоминание вам, — неужели вы не уразумеваете?

11 (11). Сколько сокрушили Мы селений, которые были неправедны, и воздвигли после них другие народы!

12 (12). А когда они почувствовали Нашу мощь, то вот — от нее убегают.

13 (13). Не убегайте и вернитесь к тому, что вам было дано в изобилии, к вашим жилищам, — может быть, вас спросят!

14 (14). Они сказали: «О, горе нам, мы воистину были неправедны!»

15 (15). И не прекращался этот их возглас, пока не обратили Мы их в сжатую ниву, недвижными.<sup>6</sup>

16 (16). Мы не создали небо и землю и то, что между ними, забавляясь.

17 (17). Если бы Мы желали найти забаву, Мы сделали бы ее от Себя, если бы Мы стали делать<sup>7</sup>.

18 (18). Да, Мы поражаем истиной ложь, и она ее раздробляет, и вот — та исчезает, и вам — горе от того, что вы приписываете.

19 (19). Ведь Ему принадлежат те, кто в небесах и на земле, и кто у Него — те не превозносятся, пренебрегая служением Ему, и не устают.<sup>8</sup>

20 (20). Они восхваляют ночью и днем неустанно, не ослабевая.

21 (21). Разве взяли они богов с земли, которые оживляют?

22 (22). Если бы были там боги, кроме Аллаха, то погибли бы они.<sup>9</sup> Хвала Аллаху, владыке трона, превыше Он того, что они Ему приписывают!

23 (23). Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят.

24 (24). Разве они взяли себе помимо Него других богов? Скажи: «Дайте ваши доказательства! Это — напоминание тем, кто со мной, и тем, кто до меня. Да, большинство их не знает истины, и они уклоняются».

25 (25). Мы не посылали посланника до тебя, не внушив ему,<sup>10</sup> что нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!

26 (26). Они сказали: «Взял Милосердный для Себя ребенка». Хвала Ему! Да, это — рабы почтенные.<sup>11</sup>

27 (27). Не опережают они Его в слове, и по повелению Его они действуют.

28 (28). Знает Он, что было до них и что будет после них, и они не заступаются,

29. кроме как за того, к кому Он благоволит, и они от страха пред Ним трепещут.

30 (29). А кто скажет из них: «Я — бог помимо Него», — тому Мы воздадим гонимой. Так Мы вознаграждаем неправедных!

31 (30). Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были соединены, а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они не уверуют?

32 (31). И Мы устроили на земле прочно стоящие,<sup>12</sup> чтобы она не колебалась с ними. И устроили там расщелины дорогами, — может быть, они пойдут правым путем!

33 (32). И Мы устроили небо крышей охраняемой, а они от знамений его отвращаются.

34 (33). Он — тот, который создал ночь и день, и солнце и месяц. Все по своду плавают.

35 (34). Мы не устраивали до тебя никакому человеку бессмертия. Неужели, если ты умрешь, они будут бессмертны?

36 (35). Всякая душа вкушает смерть; Мы испытываем вас злом и добром для искушения, и к Нам вы будете возвращены.

37 (36). А когда видят тебя те, которые не веруют, они обращаются к тебе с на-

смешкой:<sup>13</sup> «Этот ли поминает ваших богов?» А упоминание Милосердного сами они отвергают.

38 (37). Создан человек из поспешности! Я вам покажу Мои знамения; не торопите же Меня!<sup>14</sup>

39 (38). И говорят они: «Когда же это обещание, если вы говорите правду?»

40 (39). Если бы знали те, которые не веруют, момент, когда они не отвратят огня от своих лиц, как и от спин, и не будет им помощи!

41 (40). Да, придет он к ним внезапно и смутит их, и не смогут они отвратить его, и не будет им дано отсрочки!

42 (41). Издевались уже над посланниками, бывшими до тебя, и постигло тех, которые смеялись над ними, то, над чем они издевались.

43 (42). Скажи: «Кто сохранит вас ночью и днем от Милосердного?» Да, они уклоняются от поминания своего Господа!

44 (43). Разве у них есть боги, которые защитят их от Нас? Не могут они помочь самим себе и не будут от Нас избавлены.

45 (44). Да, Мы дали пользоваться благами жизни этим и их отцам, так что затянулся для них жизненный предел. Разве они не видят, что Мы приходим к земле, сокращая ее по краям.<sup>15</sup> Так они ли победители?

46 (45). Скажи: «Я только увещаю вас откровением», — и не слышат зова глухие, когда их увещают.

47 (46). А если постигнет их дуновение наказания Господа твоего, они скажут: «О, горе нам, мы были только неправедны!»

48 (47). И устроим Мы весы верные для дня воскресения. Не будет обижена душа ни в чем; хотя было бы это весом горчичного зерна, Мы принесем и его. Достаточны Мы как счетчики!

49 (48). Мы даровали Мусе и Харуну различение,<sup>16</sup> и свет, и напоминание для богобоязненных,

50 (49). которые боятся Господа своего втайне, и они трепещут (страшного) часа.

51 (50). Это — напоминание благословенное,<sup>17</sup> которое Мы ниспослали. Разве вы его отрицаете?

52 (51). Даровали Мы раньше Ибрахиму его прямой путь, и Мы его знали.

53 (52). Вот сказал он своему отцу и своему народу: «Что это за изображения, которым вы поклоняетесь?»

54 (53). Они сказали: «Мы нашли, что наши отцы им служили».

55 (54). Сказал он: «Были вы и ваши отцы в явном заблуждении».

56 (55). Сказали они: «Неужели ты пришел с истиной, или ты из числа забавляющихся?»

57 (56). Он сказал: «Да, господь ваш — Господь небес и земли, тот, который их сотворил, и я — из числа свидетельствующих об этом».

58 (57). И клянусь Аллахом, я устрою хитрость против ваших идолов, после того, как вы обратитесь, удаляясь от них!»

59 (58). И превратил он их в куски, кроме главного из них, — может быть, они обратятся к нему.

60 (59). Они сказали: «Кто сделал это с нашими богами? Он, поистине, неправедный!»

61 (60). Они сказали: «Мы слышали юношу, который поминал их, которого называют Ибрахим».

62 (61). Они сказали: «Приведите же его пред глаза людей, — может быть, они засвидетельствуют».

63 (62). Они сказали: «Ты ли сделал это с нашими богами, о Ибрахим?»

64 (63). Он сказал: «Нет, он сделал это, старший из них этот, спросите же их, если они говорят».

65 (64). И они обратились к самим себе и сказали: «Ведь вы сами неправедны».

66 (65). Потом они перевернулись ояты на свои головы: «Ты ведь знаешь, что эти не говорят».

67 (66). Он сказал: «Неужели же вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, что ни в чем не помогает вам и не вредит. (67). Тыфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха! Разве вы не поразмыслите?»

68 (68). Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы действуете!»

69 (69). Мы сказали: «О огонь, будь прохладой и миром для Ибрахима!»

70 (70). И пожелали они против него хитрости, а Мы сделали их потерпевшими великий убыток.

71 (71). И Мы спасли его и Лута в землю, которую благословили для миров.

72 (72). И даровали ему Исхака и Йа'куба, как подарок, и всех сделали праведными.

73 (73). И сделали их предводителями, которые ведут по Нашему повелению, и внушили им делать добрые дела, выполнять молитву и приносить очищение, и были они Нам поклоняющимися.

74 (74). И Луту Мы даровали мудрость и знание и спасли его из селения, которое творило мерзости: ведь они были людьми зла, распутными!

75 (75). И Мы ввели его в Нашу милость: ведь он из праведных!

76 (76). ...Нуха, когда он воззвал раньше, и Мы ответили ему и спасли его и его семью от великого горя.

77 (77). И защитили его от людей, которые считали ложью Наши знамения: ведь они были людьми зла, и Мы потопили их всех.

78 (78). И Дау'да и Сулаймана, когда они судили о ниве, которую повредил скот людей, и Мы присутствовали при их суде.<sup>18</sup>

79 (79). И Мы вразумили Сулаймана об этом. И всем Мы даровали мудрость и знание, и подчинили Дау'ду горы, чтобы они прославляли, и птиц, — и так Мы сделали.<sup>19</sup>

80 (80). И научили Мы его делать кольчугу для вас, чтобы она защищала вас от вашей ярости.<sup>20</sup> А разве вы благодарны?

81 (81). А Сулайману — ветер, когда он, дуя, устремляется по его повелению в землю, которую Мы благословили,<sup>21</sup> и Мы знали про все.

82 (82). ... А из сатан — тех, которые ныряют для него и делают деяния, кроме этого, и Мы их охраняли.

83 (83). ...И Аййуба,<sup>22</sup> когда он воззвал к своему Господу: «Постигла меня беда, а Ты — милосерднейший из милосердных!»

84 (84). И Мы ответили ему, и отстранили бывшую у него беду, и даровали ему его семью и подобных им с ними, по милости от Нас и для напоминания поклоняющимся.

85 (85). И Исма'ила, и Идриса, и Зу-л-кифла. ...Все — из терпеливых.<sup>23</sup>

86 (86). И Мы их ввели в Нашу милость: ведь они (были) из числа праведных.

87 (87). И того, что с рыбой,<sup>24</sup> когда он ушел в гнев и думал, что Мы не справимся с ним. И воззвал он во мраке: «Нет божества, кроме Тебя, хвала Тебе, поистине, я был неправедным!»

88 (88). И Мы ответили ему и спасли его от горести, и так Мы спасаем верующих.

89 (89). ...И Закарию... Вот он воззвал к своему Господу: «Господи, не оставляй меня одиноким, Ты ведь лучший из наследующих!»

90 (90). И Мы ответили ему, и даровали ему Йахйу, и сделали пригодной для него его жену; поистине, они устремлялись к благим делам и призывали Нас с надеждой и трепетом, и были они пред Нами смиренными!<sup>25</sup>

91 (91). И ту, которая сохранила свою скромность...<sup>26</sup> И Мы вдунули в нее от Нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для миров.

92 (92). Поистине, этот ваш народ — народ единый, и Я — Господь ваш, поклоняйтесь же Мне!

93 (93). А они разделили свое дело среди них;<sup>27</sup> все к Нам вернутся!

94 (94). И если же кто творил добрые дела, будучи верующим, — не будет непризнания его старанию, и Мы для него запишем.

95 (95). И запрет — над селением, которое Мы погубили, чтобы они не вернулись.

96 (96). Пока не будут открыты Йаджудж и Маджудж, и они устремятся с каждой возвышенности.<sup>28</sup>

97 (97). И приблизилось обещание истинное, и вот закатились взоры тех, которые не верили. «О, горе нам, мы были в небрежении об этом! Да, мы были неправедны!»

98 (98). Поистине, вы и то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, это — дрова для геенны, вы в нее войдете!

99 (99). Если бы эти были богами, они бы не вошли туда, а все в ней пребывают вечно.

100 (100). Для них там — стенание, и они там не услышат.<sup>29</sup>

101 (101). Поистине, те к которым раньше направилось от Нас лучшее, — те будут от нее удалены.

102 (102). Они не услышат даже и шороха ее, и они будут среди того, что пожелали их души, пребывать вечно.

103 (103). Не опечалит их великий страх, и встретят их ангелы: «Это — ваш день, который вам был обещан!»

104 (104). В тот день, когда Мы скрутим небо, как писец свертывает свитки;<sup>30</sup> как Мы создали первое творение, так Мы его повторим по обещанию от Нас. Поистине, Мы действуем!

105 (105). И написали Мы уже в Псалтыри<sup>31</sup> после напоминания, что землю наследуют рабы Мои праведные.

106 (106). Поистине, в этом — весть для людей поклоняющихся!

107 (107). Мы послали тебя только как милость для миров.

108 (108). Скажи: «Открыто мне, что бог ваш — Бог единый; стали ли вы покорными?»

109 (109). А если они отвернутся, то скажи: «Я возвещаю вам ровно,<sup>32</sup> и я не знаю, близко или далеко то, что вам обещано.



- 110 (110). Он, поистине, знает явную речь и знает то, что вы скрываете.  
 111 (111). Я не знаю, может быть это — испытание для вас и доля во времени.  
 112 (112). Скажи:<sup>33</sup> «Господи, рассуди по истине! Господь наш — милосердный, у Него надо искать помощи против того, что вы приписываете!»

## КОММЕНТАРИИ

### СУРА 19

1. Хронологически сура относится к середине II мекканского периода, т. е. примерно к 617—618 гг. В ней впервые более обстоятельно изложены христианские легенды о Захарии (Захарии), Йах'йе (Иоанне Предтече), Марьям (Марии, Исе, Иисусе Христе). Аяты 36—41 являются вставкой и относятся к III мекканскому периоду. Поскольку после 2-й хиджры в Эфиопию (615 год) значительная часть последователей Мухаммада продолжала еще жить в обществе эфиопских христиан, в этой суре дается довольно обстоятельное разъяснение христианских легенд для мусульман, продолжающих жить в нелегких условиях бедности мекканских многобожников.

2. Захария — в Евангелии Захария, священник из левитов; жена его Елизавета была бесплодна (Евангелие от Луки, гл. 1).

3. По Евангелию Захария отправился в Иерусалим и воззвал к богу, прося у него сына-наследника.

4. В арабском тексте — «ал-михраб», что в традиции ислама означает выступание человека со стороны киблы, т. е. направление обращения лица во время совершения намаза. Здесь это слово переведено как «алтарь».

5. По мнению исследователей, а также известных толкователей Корана, арабское слово означает тору.

6. С аята 16 начинается повествование о Марьям.

7. В тексте «грухуна» — «наш дух» в толкованиях объясняется как ангел, а в следующих аятах как Джабраил (Гавриил). Евангельская параллель — дух святой.

8. Перевод «И понесла она его» не вполне четкий, ибо арабское «фахамалтаху» по контексту — «И забеременела она им».

9. В переводе слово «муки» имеет общее значение, по контексту же «ал-махазу» — означает родовые схватки, муки родов.

10. Здесь к ней воззвал архангел Джабраил, успокаивая ее после родов, поэтому написание слова «Он» с заглавной буквы неправильно, ибо наводит читателя на мысль, будто воззвал к ней бог.

11. «Сестра Харуна» в толкованиях объясняется как «соплеменница» или как «женщина из рода Харуна», поскольку Харун (брат Моисея Арон) жил задолго до того.

12. В аятах 31—34 переданы слова Исы, произнесенные им в колыбели в ответ на сомнения членов общины Марьям.

13. Иса — «слово истины» (по контексту точнее «истинное слово» — араб. «каул ал-хакк») — отголосок библейского представления «бог есть слово, бог есть истина».

14. Аяты 36—41 суть вставка, речь в которой идет об отсутствии детей у Аллаха и разногласиях между сектами.

15. Аяты 42—51 — повествование об Ибрахиме, Исхаке и Йа'кубе.

16. Аяты 52—54 — рассказ о Мусе и Харуне.

17. Речь идет о горе Синай.

18. Пророк Идрис. Западные исламоведы пытаются отождествлять его с Энохом или Эздрой. Несостоятельность такого предположения видна даже из того, что Эзра (Ездра) упоминается в Коране как Узайр. В толкованиях Корана предполагается, что пророк Идрис (жил до Нуха и наводнения) оставил людям знание счета, письма, шитья одежды и многих других ремесел.

19. «Милосердный продлит ему предел» — в смысле продлит ему срок, чтобы он до судного дня искупил свои грехи.

20. В Аятах 91—95 дается полемика с христианами относительно их догмата, трактующего Ису как сына Бога.

21. Речь идет о языке Мухаммада, т. е. арабском.

### СУРА 20

1. Европейские востоковеды отнесли эту суру к тому же времени, что и суру 19, т. е. к середине II мекканского периода. Однако это противоречит сведениям первоисточников, в которых принятие ислама будущим халифом Умаром ибн ал-Хаттабом связывается с чтением этой суры, которая будто оказала на него сильное воздействие. По тем же источникам, Умар принял ислам

или накануне, или после второй хиджры в Эфиопию, что относится к 615 году. Следовательно, будет более точным отнести эту суру к концу I мекканского периода.

Название суры состоит из двух букв — «Та», «ха», но они не расшифровываются, как и все другие «усеченные буквы» (хуруф ал-мукатта'а), стоящие в начале двадцати восьми сур.

2. Этот аят переведен не точно. Более точно по контексту: «Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты оказался в затруднении».

3. Под «прекрасными именами» подразумеваются качества (сифат) Аллаха, которых богословы насчитывают 99 — «вечный» («самад»), «милостивый» («рахман»), «милосердный» («рахим»), «живой» («хайй»), «кроткий» («халим») и т. д.

4. В аятах 8—99 дается наиболее обстоятельное повествование о Мусе.

5. Рассказы об огне и долине Тува, изложенные в аятах 9—12, имеют параллель: Исход, гл. 3.

6. В аятах 18—24 речь идет о двух чудесах, которые показывает бог Мусе: посох превращается в змею, а черные руки Мусы становятся белыми.

7. Существует легенда о том, что Муса с трудом выговаривал слова, так как в детстве обжег язык.

8. По контексту более понятен перевод: «Поистине, ты хорошо видишь нас».

9. Мадьян — страна, где проповедовал пророк Шуайб. Мадьяниты часто упоминаются в Торе под именем «мадианитяне».

10. Начиная с аята 51 идет диалог фараона и Мусы, а далее — чудеса Мусы и волшебников фараона.

11. В конце аята 54 после слова «не забывает» закрывать кавычки не следовало бы, ибо ответ Мусы продолжается и в аятах 55—56.

12. Аята 74—75 — полемика между фараоном и его волшебниками.

13. Фраза «джаннату адн» здесь переводится как «сады Эдема», в то время как ранее давался более точный перевод — «сады вечности». Эдем (иногда Эден) — в легендах Торы представлен как земной рай, находящийся у истоков Тигра и Евфрата. В Коране же «адн» употребляется с арабской этимологией — как «место вечного пребывания». Упомянем также, что название города Адена происходит от этого же корня.

14. Здесь, видимо, речь идет о склонах Синайских гор, куда поднялись евреи, перешедшие Суэцкий пролив.

15. По содержанию этого аята, после ухода Мусы к горе Синай евреев заставил поклоняться быку некий «ас-самири» (И. Ю. Крачковский переводит «ас-самири» как «самирит» и дает разъяснение, что это самаритянин — злой дух Шамаэль). В толкованиях же Корана «ас-самири» есть тот, кто сделал идола быка из золота и заставил евреев поклоняться этому идолу. По легендам Торы, этого идола сделал брат Мусы Харун.

16. Здесь Харун предостерегает евреев от поклонения идолу быка.

17. Имя ангела Исрафила (христианский Серафим) не упомянуто в Коране, но в традиции принято считать, что он будет трубить в день суда.

18. Фразу «голубоглазые грешники» (в тексте «зурк») европейские востоковеды толковали как «глаза византийцев» или «глаза ослепленных». В толкованиях Корана это разъясняется в том смысле, что в судный день от тяжести наказания глаза у грешников становятся голубыми, а лица черными. Видимо, нет оснований на отождествление их с византийцами.

19. Под «призывающим» (в тексте «ад-да'ий») также подразумевается ангел Исрафил.

20. В аятах 114—126 — рассказ об Адаме.

21. Это обращение Аллаха к пророку Мухаммаду, чтобы он терпел гонения мекканских многобожников. Перечисленное здесь время «восхвалений» в толкованиях трактуется как «время пятикратной молитвы».

22. «И не простирай своих глаз» — это назидание Мухаммаду, чтобы он не соблазнялся обеспеченной и счастливой жизнью мекканских аристократов.

23. Фраза «Мы не просим у тебя удела» толкуется в том смысле, что все цари и владыки собирают дань со своих подданных, но Аллах в этом не нуждается.

## СУРА 21

1. По хронологии сура относится к последнему году II мекканского периода, прочитана после возвращения пророка Мухаммада из неудачной поездки на Таиф, в сложной обстановке деятельности в Мекке.

Сура представляет собой цельную проповедь о пророчестве, с упоминанием многих пророков — Мусы, Харуна, Ибрахима, Исхака, Йа'куба, Лута, Нуха, Дауда, Сулаймана, Айюба, Исмаила, Идриса, Зу-л-Кифля, Закарии, Йах'йи.

2. Смысл 2-го и начало 3-го аятов: новое напоминание от Господа приходит только в тех случаях, когда люди перестают слушаться и предаются беспечности.

3. Он — Мухаммад.

4. До тебя — до Мухаммада.

5. Глагол «вахий» переводится здесь буквально — «внушение», но по смыслу в Коране более точен перевод — «откровение».

6. «Сжатая нива» — следует понимать как скошенная трава, второе слово «хамидин» — «недвижными» переведено неточно. По смыслу же это означает «сожженными».

7. Последнюю фразу аята 17 точнее перевести — «если бы мы захотели это делать».

8. Фразу «и кто у Него» (ва ман индаху) — было бы точнее перевести как «и те, которые

рядом с Ним». В толкованиях здесь подразумеваются ангелы, которые и не стыдятся, и не устают поклоняться Ему (Аллаху).

9. Смысл первой фразы аята: если бы были боги кроме Аллаха, то погибли бы и земля, и небеса.

10. Здесь тоже «внушение» в смысле «откровения».

11. «Рабы почтенные» (ибадун мукрамуна) — это относится к тем, кого признают детьми Аллаха (христиане — Ису, иудеи — Узейра), в смысле — они не дети, а почтенные рабы Аллаха, то есть пророки.

12. Выражение «прочно стоящие» (раваси) в Коране означает горы.

13. Речь здесь о мекканских многобожниках, которые насмехались над проповедью Мухаммада.

14. Здесь речь идет о тех, кто торопил Мухаммада, чтобы он ускорил наступление последнего часа.

15. Здесь междометие «бал» употреблено скорее в смысле «возможно» или «может быть». Выражение «сокращая по краям» обычно толкуется как «сокращение земель неверных и расширение земель мусульман». Такое толкование было бы уместно, если бы этот аят относился к периоду поздней Медины. Но во времена чтения суры (в конце 619 года) мусульмане жили в Мекке в тяжелых условиях, и не могло быть речи о каком-либо сокращении земель неверных и расширении владений мусульман.

16. «Различение» (ал-фуркан) здесь в смысле различение добра и зла.

17. Это «напоминание благословенное» — Коран.

18. Здесь имеется в виду легенда о том, как рассудил Дауд тягбу крестьянина Илийи и владельца стада баранов Юханны (Иоанна), как затем более разумное решение предложил Сулайман.

19. В традиции ислама есть легенда, согласно которой, когда Дауд читал псалмы, горы и птицы слушали его и тоже пели, присоединившись к нему.

20. Легенда о мастерстве Дауда в кузнечном деле имеет историческую основу. Из исторических источников известно, что он наладил в царстве добычу руды, привлекал мастеров, чтобы делать оружие и воинское снаряжение.

21. По легенде Бог подчинил Сулайману ветер, и когда Сулайман хотел, ветер переносил его трон из Йемена в Шам — «в землю, которую Мы благословили», то есть в Сирию.

22. Пророк Аййуб — в Торе Иов — из малых пророков. По легендам Торе, очень богатый и богобоязненный Иов жил в земле Уц (исторически не устанавливается такое место). Сатана погубил его богатство и всю семью, а тело самого Иова покрылось гнойными язвами, затем бог прощает его, у него снова рождаются дети, и он живет счастливо до 140 лет. В традицию ислама эти легенды пришли в сокращенном варианте.

23. Пророки Исмаил и Идрис уже объяснены в комментариях к суре 19. Зу-л-Кифль (буквально: «обладатель доли») — пророк, который не имеет параллели в Торе (хотя востоковеды и пытались отождествить его с Иезекиием, малым пророком, который жил в плену в Вавилоне). В традиции ислама считается не решенным вопрос о том, кем является Зу-л-Кифль — пророком или просто праведным верующим. Подробная легенда о нем отсутствует.

24. «И того, что с рыбой» (Зу-н-нун) — здесь подразумевается пророк Юнус (в Торе — Иона), легенда о котором уже рассказана в предыдущих комментариях.

25. Легенда о Закарии и Йах'йе упомянута в комментариях суры 19.

26. «Та, которая сохранила свою скромность» — речь идет о Марьям.

27. «А они разделили свое дело среди них» — перевод не совсем точный. «Ва такатта'у амрахум байнахум» — «И они разделили дело между собой» — в традиции трактуется в том смысле, что бог дал людям одну религию, а они разделили ее, впадая в разногласие.

28. Иаджудж и Маджудж (в христианской традиции Гог и Магог) — легендарный народ. О них уже упоминалось в комментариях к суре 18. Здесь имеется ввиду тот момент, когда они, разрушив плотину Александра Македонского, нападут на мир людей, от которого их отгородили.

29. Т. е. они там (в аду) будут стенать, а сами не услышат ничего.

30. Перевод «как палец свертывает свиток» неточен. Более близкий к тексту перевод — «как свертываются писания в свитки».

31. Псалтырь (в тексте аз-зобур) — сборник псалмов, автором которого признается Дауд.

32. Перевод «Я возвещаю вам ровно» не передает точный смысл фразы. Более точно — «Я возвещаю всем вам одинаково».

33. «Скажи» — повеление Бога, обращенное к Мухаммаду.

Продолжение следует.



Артур Конан Дойл

## Комната ужасов

Гостиная в доме Мейсонов выглядела довольно странно. Половина комнаты была обставлена, можно сказать, роскошно: мягкие, удобные диваны, удобные низкие кресла, возбуждающие чувственность статуэтки, тяжелые занавеси, ниспадающие с металлических экранов ажурной резьбы, — все это являлось превосходным обрамлением для прелестной женщины, хозяйки этого дома. Было очевидно, что Мейсон, молодой, но уже богатый коммерсант, не жалел ни сил, ни средств для того, чтобы удовлетворить любое желание, любой каприз своей красавицы-жены. Это было естественно, так как и она пожертвовала многим ради него. Знаменитая французская танцовщица, героиня многих необычайно романтических приключений, она отказалась от жизни, полной блеска и удовольствий, чтобы разделить судьбу молодого американца, чей аскетический образ жизни резко отличался от ее собственного. Чтобы вознаградить ее за то, чего она лишилась, он старался дать ей все, что можно было купить за деньги. Возможно, некоторые считали дурным тоном то, что он это афиширует, но он был страстно влюблен в свою жену и даже в присутствии посторонних не скрывал свою всепоглощающую страсть.

И все-таки комната эта производила странное впечатление. На первый взгляд, она казалась ничем не примечательной, но постепенно можно было заметить одну странную особенность. В ней царил полная тишина. Дорогие пушистые ковры заглушали шаги. Борьба или даже падение тела были бы там не слышны. К тому же она была удивительно бесцветной, в каких-то расплывчатых тонах. Да и обставлена была в совершенно неопределенном стиле. Создавалось впечатление, что молодой банкир, щедро расточавший деньги на отделку этого будуара, этого очаровательного футляра для своей драгоценной собственности, не рассчитал свои возможности и оказался под угрозой разорения. Одна часть комнаты, выходящая окнами на шумную улицу, была роскошной, другая же — спартански простой, и больше отвечала вкусу аскета, чем набалованной красавицы. Возможно, именно поэтому Люсиль Мейсон проводила в этой комнате иногда два, иногда четыре часа в день, но жила здесь более полной, более напряженной жизнью, и сама в это время резко менялась и становилась, можно сказать, опасной женщиной.

Опасная женщина — это определение подходило лучше всего. Кто усомнился бы в этом, увидев ее грациозную фигуру, покоившуюся на огромной медвежьей шкуре, которая покрывала диван. Она лежала, опершись на руку изящным, но решительным подбородком, а глаза, большие и томные, восхитительные и безжалостные, смотрели с ужасающей твердостью. У нее было прекрасное лицо, детски-невинное, однако природа наложила на него какой-то неудовимый отпечаток, необъяснимое выражение, внушавшее мысль, что в глубине таятся злые силы. Случалось, что собаки пугливо убегали от нее, а маленькие дети начинали плакать, когда она пыталась их приласкать. Интуиция иногда бывает сильнее рассудка.

В это утро Люсиль была чем-то сильно взволнована. Она держала в руках

письмо, которое читала и перечитывала, грозно нахмурив красивые тонкие брови и злобно сжав прелестные губы. Внезапно она вздрогнула, и тень страха несколько смягчила хищное выражение ее лица. Люсиль приподнялась и стала напряженно прислушиваться, с опасением глядя на дверь. На миг улыбка облегчения появилась у нее на лице, потом ее сменило выражение ужаса, и она поспешно сунула письмо за корсаж. Едва она успела это сделать, как дверь распахнулась и в комнату быстро вошел молодой человек. Это был Арчи Мейсон, ее муж, человек, которого она раньше любила, ради которого пожертвовала своей славой и которого теперь считала единственным препятствием на пути к новому захватывающему приключению.

Американец, лет тридцати, атлетического сложения, был чисто выбрит и одет в костюм модного покроя, красиво обрисовывавший его безупречную фигуру. Он остановился на пороге, скрестив руки на груди и пристально глядя на жену, его красивое загорелое лицо казалось маской, только глаза были полны жизни. Она по-прежнему лежала, опершись на руку, и смотрела прямо ему в глаза. В этом безмолвном обмене взглядами было что-то жуткое. Каждый из них как бы мысленно задавал вопрос другому, понимая в то же время, что ответ на него может оказаться роковым. Его глаза, казалось, спрашивали: «Что ты наделала?» Ее же взгляд как будто вопрошал: «Что тебе известно?» Наконец, он подошел, сел возле нее и, осторожно взяв за подбородок, приблизил ее лицо к себе.

— Люсиль, — произнес он — ты решила меня отравить?

Люсиль в ужасе отпрянула, пытаясь что-то возразить. От чрезмерного волнения она не могла говорить, только судорожно сведенные руки и искаженные черты лица выдавали ее испуг и растерянность. Она попыталась встать, но он, крепко схватив ее за руку, повторил свой вопрос, страшное значение которого на этот раз усилилось.

— Почему ты решила меня отравить, Люсиль?

— Ты с ума сошел, Арчи! — крикнула она.

Но уже в следующий момент кровь застыла у нее в жилах. С полуоткрытым ртом и побледневшим от страха лицом она в растерянности следила, как он достал из кармана маленький флакончик и поднес к самому ее лицу.

— Вот это я нашел в твоей шкатулке с драгоценностями! — воскликнул он.

Дважды она тщетно пыталась заговорить. Наконец губы ее судорожно искривились, и она произнесла с усилием:

— Но я ведь не использовала его.

Теперь он снова опустил руку в карман, достал оттуда лист бумаги, развернул и показал ей.

— Это заключение доктора Ангуса. Оно подтверждает наличие двенадцати гран сурьмы. У меня есть еще свидетельство Дю Вала, аптекаря, который отпустил ее.

На ее лицо было страшно смотреть. Ей нечего было возразить. Она лежала неподвижно, глядя в одну точку с выражением полной беспомощности, как затравленный зверь, попавший в ловушку.

— Ну? — сказал он.

Ответа не последовало; она лишь сделала жест, выражавший отчаяние и мольбу.

— Почему же все-таки? — спросил он. — Скажи мне, почему?

Произнося эти слова, он заметил край письма у нее за корсажем и мгновенно выхватил его оттуда. Отчаянно вскрикнув, она сделала попытку отнять письмо, но, удерживая ее одной рукой, он успел его прочитать.

— Как! Кэмбел? — воскликнул он. — Неужели Кэмбел?!

Но к ней уже вернулись уверенность и самообладание. Скрывать больше было нечего. Лицо ее стало твердым и решительным, а глаза засверкали холодной злобой.

— Да, — сказала она, — это Кэмбел.

— Боже мой! Кто бы мог подумать!

Он встал и быстро заходил по комнате. Кэмбел, благороднейший из всех, кого он когда-либо знал, человек, жизнь которого была сплошным подвигом самоотречения, храбрости и всего того, что отличает человека избранного. И он тоже стал жертвой этой колдуньи и под ее влиянием совершил предательство — если не на деле, то в мыслях, по отношению к человеку, с которым не раз обменивался дружескими рукопожатиями. Это было невероятно. Но здесь, перед ним, было письмо, полное страсти, в котором Кэмбел умолял его жену бежать и разделить с ним скромную участь... Однако каждая строка этого письма говорила о том, что Кэмбелу не приходило в голову, что смерть Мейсона могла бы устранить все препятствия. Это дьявольское решение вопроса родилось в лукавом и глубоко испорченном уме, заключенном в такой безупречной оболочке.

Мейсон был человеком незаурядным — философом, мыслителем, он всегда относился к окружающим с большим доверием и симпатией. Сейчас душа его переполнилась горечью. В этот момент он способен был убить жену, Кэмбела и се-

бы со спокойствием человека, исполняющего свой долг. Но постепенно мысли его приняли более спокойное направление. Мог ли он обвинять Кэмбела? Он знал, как безгранично очарование этой женщины. Дело было не только в ее необыкновенно красивой внешности. Она обладала своеобразным даром овладевать сознанием человека, проникать в самые сокровенные тайники его души, глубоко скрытые от внешнего мира, она, казалось, была способна возбуждать в мужчине честолюбие и даже вдохновлять его на подвиги. Но во всем этом таился расчет, подсказанный ее коварным умом. Это были всего лишь ловко расставленные сети. Он вспомнил, как это произошло с ним самим. Тогда она была свободна, во всяком случае он так думал, и он имел возможность жениться на ней. Но если бы она не была свободна... Если бы она была замужем... И если бы при этом с такой же силой завладела его душой — разве могло бы что-нибудь остановить его тогда? Разве он отступил бы, не добившись того, чего так страстно желал? Он был вынужден признать, что при всей силе воли, свойственной ему, выходцу из Новой Англии, — не отступил бы. Почему же тогда он испытывает такое негодование по отношению к своему менее удачливому другу, попавшему точно в такое же положение? И у него появилось чувство сострадания к Кэмбелу.

А она? Вот она лежит здесь, на диване, как цветок, сломанный бурей, грезы ее рассеялись, злой замысел разгадан, а будущее кажется беспросветным. И несмотря на то, что она намеревалась его отравить, в душе он нашел для нее оправдание. Ему были известны многие обстоятельства ее жизни. Он знал, что она от рождения была испорченным, строптивым, своевольным ребенком, ее ум, красота и обаяние с легкостью разрушали все преграды на ее пути. Она ни в чем никогда не встречала препятствий. И теперь, когда такое препятствие возникло на ее пути, она страстно, с ожесточением старалась устранить его. Но если она решилась прибегнуть к такой крайней мере, не являлось ли это само по себе свидетельством, что он не тот человек, который мог бы всецело завладеть ее умом и сердцем? Он был слишком суровым и замкнутым для такой жизнерадостной и непостоянной натуры. Он — северянин, она — южанка, они испытывали некоторое время сильное влечение друг к другу согласно закону единства противоположностей, но постоянный союз между ними был, по-видимому, невозможен. Он должен был предвидеть это, он должен был это понять. Превосходство его ума возлагало на него ответственность за создавшееся положение. Он почувствовал к ней жалость, как к маленькому ребенку, попавшему в беду. Некоторое время Мейсон молча ходил по комнате, крепко стиснув зубы и сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Потом внезапным движением сел подле нее и взял ее холодную, безжизненную руку. Неожиданно перед ним встал вопрос: что это с его стороны — проявление благородства или слабости? Вопрос этот звучал у него в ушах, стоял перед глазами, ему казалось, что он вплотился к слова, которые может услышать весь мир.

Это была тяжелая борьба, но он вышел из нее с честью.

— Ты должна выбрать одного из нас, — сказал он. — Если действительно уверена — уверена, понимаешь? — что, выйдя замуж за Кэмбела, будешь счастлива, я не стану тебе мешать.

— Разводиться? — воскликнула она.

В руке он сжимал флакон с ядом.

— Можешь называть это как угодно.

Она поняла, и какое-то новое, странное выражение появилось у нее в глазах, когда она взглянула на него. Это был совершенно незнакомый ей человек. Твердый, практичный американец исчез. Ей вдруг представился герой и вместе с тем святой человек, сумевший подняться на недосягаемую высоту благородного бескорыстия. Она схватила его за руку, в которой он держал роковой флакон.

— Арчи! — воскликнула она. — Ты способен простить мне даже это?!

Он улыбнулся.

— Ты всего лишь капризное дитя!

Она протянула к нему руки, но в это время раздался стук в дверь и совершенно бесшумно, как все происходившее в этой комнате, вошла горничная. На подносе лежала визитная карточка. Люсиль Мейсон взглянула на нее.

— Капитан Кэмбел! Я не хочу его видеть.

Мейсон вскочил.

— Наоборот, он очень кстати. Сейчас же пригласите его.

Через несколько минут загорелый молодой офицер вошел в комнату. На лице его сияла улыбка, но когда дверь за ним закрылась и лица присутствующих приняли прежнее выражение, он остановился в нерешительности, переводя взгляд с одного на другого.

— Что случилось? — спросил он.

Мейсон шагнул вперед и положил ему руку на плечо.

— Я не питаю к вам вражды, — сказал он.

— За что?

— Мне все известно. Я может быть и сам поступил бы так же на вашем месте.

Кэмбел отступил и вопросительно взглянул на Люсиль. Она слегка пожала плечами и молча кивнула. Мейсон улыбнулся.

— Не думайте, что я собираюсь заманить вас в ловушку, чтобы вынудить признание. Мы только что обо всем откровенно поговорили. Знаете, Джек, в вас всегда была спортивная жилка. Вот флакон. Неважно, как он попал сюда. Если один из нас выпьет его содержимое — все сразу станет на свои места.

Он был как в бреду.

— Кто из нас, Люсиль?

Но в этой зловещей комнате действовал кто-то еще. Здесь находился некто четвертый, хотя те трое, поглощенные приближающейся развязкой своей жизненной драмы, не замечали его, не думали о нем. Нельзя было сказать точно, сколько времени он находился здесь и что ему удалось услышать. Он как бы притаился в дальнем углу комнаты у стены, в некотором отдалении от этой маленькой группы. Его безмолвная фигура была почти неподвижна, только скрюченная правая рука время от времени нервно подергивалась. Его скрывал квадратный ящик, искусно задрапированный ниспадавшей с него темной тканью. С напряженным вниманием следил он за развитием драмы, готовый в любой момент вмешаться. Но те трое не знали о нем. Погруженные в собственные переживания, они потеряли представление о существовании какой-либо высшей воли, силы, которая в любой момент может все изменить.

— Ну как, Джек? Согласны?

Офицер кивнул.

— Не надо! Ради бога, не надо! — воскликнула женщина.

Мейсон открыл флакон и, подойдя к столу, достал колоду карт. Карты и яд лежали рядом.

— Не будем возлагать на нее ответственность — сказал он. — Вот, Джек, три карты. Кто вынет старшую.

Офицер приблизился к столу. Он коснулся роковых карт. Женщина, склонившись на руку, не отрываясь смотрела прямо перед собой, как зачарованная.

В этот самый момент щелкнул затвор. Бледный, мрачный человек встал во весь рост.

Все трое вдруг осознали его присутствие и обратили к нему тревожные вопрошающие взгляды. Он смотрел на них холодно и неодобрительно, с видом хозяина положения.

— Ну как? — спросили они все вместе.

— Отвратительно, — проговорил он. — Завтра все придется делать заново. Весь ролик.

---

## Как это случилось

---

Она была пишущим медиумом. И вот что она написала:

...Некоторые события того вечера я помню более отчетливо, а остальные представляются смутно, как во сне. Наверно поэтому мне трудно рассказать все достаточно связно. Понятия не имею, например, что заставило меня отправиться в Лондон и почему я возвращался так поздно. Сейчас воспоминания как-то расплываются, и поездка это кажется мне похожей на многие другие. Но с того момента, как я вышел на маленькой пригородной станции, события принимают очень ясные очертания. Я переживаю все снова и снова в мельчайших подробностях.

Очень хорошо помню, как я шел по платформе и смотрел на ярко освещенный циферблат часов. Часы висели в дальнем конце и показывали половину двенадцатого. Шел и думал, удастся ли мне добраться домой до полуночи. Помню потом большой автомобиль, ослепительно сиявший яркими фарами и блестящим полированным металлом, который ожидал меня у входа. Это был мой новый тридцатисильный «Робур», только что приобретенный. Помню, я спросил своего шофера Перкинса, как машина идет, и он ответил, что превосходно.

— Испытаю сам, — сказал я, взобравшись на шоферское сиденье.

— Механизм здесь устроен по-другому, — сказал шофер. — Может быть, лучше я поведу, сэр?

— Нет, мне хочется попробовать, — ответил я. И мы тронулись по направлению к дому, который находился на расстоянии пяти миль.

В моем старом автомобиле для переключения передач имелись специальные отметки на стержне. В этой же машине для перевода на большую скорость нужно было передвигать рукоятку. Это было нетрудно усвоить, и мне показалось, что я овладел этим. Конечно, глупо было браться за освоение новой системы в темноте, но мы часто делаем глупости, хотя не всегда расплачиваемся за это сполна. Все шло прекрасно, пока я не доехал до Клейстол Хилла. Известно, что по этой возвышенности проходит дорога самая скверная во всей Англии — на протяжении полутора миль она покрыта выбоинами и имеет три необычайно крутых поворота. Ворота моего парка расположены у самого спуска с горы, вблизи главного лондонского шоссе.

С того момента, как мы добрались до крутого спуска, начались наши неприятности. Я ехал на предельной скорости и хотел перевести машину на свободный ход, но рычаг передачи заклинило, и мне пришлось оставить его в прежнем положении. Поскольку скорость была очень велика, я нажал на тормоза, но они не сработали. Я не придавал этому большого значения, но когда рычаг ручного тормоза, который я рванул на себя изо всех сил, без сопротивления проскочил до упора, меня прошиб холодный пот. К этому времени мы уже стремглав летели вниз по склону. Фары ярко светили, и мне удалось благополучно пройти первый поворот. Затем мы одолели и второй, хотя при этом чуть не угодили в кювет. Теперь оставалось около мили сравнительно гладкого пути, в конце которого был третий, самый крутой поворот, а за ним ворота в парк. Если мне удастся проскочить в них, все будет в порядке: к дому ведет подъем, который заставит машину остановиться.

Перкинс держался превосходно. Я хотел бы, чтобы об этом все знали. Он проявил хладнокровие и находчивость. Сначала я подумал было сделать крутой вираж, но он разгадал мое намерение и сказал:

— Не стоит этого делать, сэр. На таком ходу она перевернется и накроет нас.

Конечно, он был прав. Он дотянулся до зажигания и выключил его. Теперь машина пошла накатом, но все еще со страшной быстротой. Он ухватился за руль.

— Я буду держать покрепче, а вы попытайтесь выпрыгнуть, — сказал он. — Нам ли за что не справиться с этим поворотом. Прыгайте, сэр!

— Нет, — сказал я, — постараюсь удержать ее. А вы, если хотите, прыгайте.

— Я буду с вами, сэр, — ответил он.

Будь это моя старая машина, я бы попробовал дать задний ход, может быть, из этого что-либо и вышло бы. Может быть, каким-то образом включилась бы нужная передача, а это уже какой-то шанс. С этой же я не знал, что делать. Перкинс попытался перебраться на переднее сиденье, но при такой скорости это было невозможно. Колеса машины вертелись как вихрь, а тяжелый кузов трещал и скрипел. Фары светили ярко, и вся дорога была хорошо видна. Помню, я еще думал, какое страшное и одновременно чарующее зрелище мы представляли для каждого, кто увидел бы нас. Дорога была узкая, и, грохоча и сверкая, мы несли смерть любому встречному.

На третьем повороте машина наскочила на насыпь так, что одна ее сторона приподнялась фута на три над землей. Я был уверен, что мы перевернемся, но, побалансировав на двух колесах, машина помчалась дальше. Это был последний поворот. Теперь оставались только ворота. Мы уже видели их, но, как нарочно, они находились не прямо против нас, а ярдов на двадцать левее дороги. Может быть, мне удалось бы повернуть машину, но рулевое управление заклинило, вероятно, когда мы налетели на насыпь. Руль было никак не сдвинуть с места. Мы пулей вылетели с дороги. Налево я увидел открытые ворота. Вцепившись в руль изо всех сил, я безуспешно старался повернуть его; мы с Перкинсом навалились на него, но в следующий момент, на скорости пятьдесят миль в час, правое колесо ударилось о поддерживающий ворота столб. Раздался треск. Я почувствовал, что лечу по воздуху, лечу... лечу...

Придя в себя, я увидел, что лежу в зарослях кустарника под тенистым дубом, а возле меня — сиденье от машины. Рядом стоит человек. Сначала мне показалось, что это Перкинс, но, присмотревшись, я увидел, что это Стэнли, к которому, подружившись с ним несколько лет назад в колледже, я испытывал горячую и искреннюю привязанность. В его личности было нечто, всегда вызывающее во мне глубокую симпатию, и мне было приятно сознавать, что я внушал ему такое же чувство. Увидев его в первый момент, я несколько удивился, но, с другой стороны, я вос-



принимал все происходившее вокруг как должное, не пытаясь анализировать и испытывая при этом легкую слабость и головокружение.

— Вот это удар! — произнес я. — Боже мой, что за страшный удар!

Он кивнул головой, и, несмотря на сумерки, я различил, как он улыбнулся своей доброй, печальной улыбкой, которую я так хорошо знал.

Я не мог пошевелиться, и, по существу, у меня не было ни малейшего желания двигаться. При этом все чувства были чрезвычайно обострены. Я видел обломки автомобиля в свете движущихся фонарей и небольшую группу людей, слышал их приглушенные голоса. Там были управляющий имением, его жена и еще один-два человека. Они не обращали на меня внимания, а хлопотали вокруг машины. Затем я услышал, как кто-то вскрикнул от боли.

— Его придавило! Приподнимите его! — послышался чей-то голос.

— Ногу придавило, — произнес другой голос, и я узнал Перкинса. — А где хозяин? — спросил он.

— Здесь, — ответил я, но меня, казалось, не слышали.

Все столпились вокруг чего-то, лежащего неподалеку от машины.

Стэнли положил мне руку на плечо, и я почувствовал, что его прикосновение подействовало на меня удивительно успокаивающе. Несмотря на все происшедшее, у меня появилось легкое и радостное ощущение.

— Тебе не больно? — спросил он.

— Нисколько, — ответил я.

— Боли вообще не существует, — сказал он.

И тут внезапно во мне возникла поразившая меня мысль. Стэнли! Да ведь он умер от брюшного тифа во время Бурской войны в местечке Блюфонтэн!

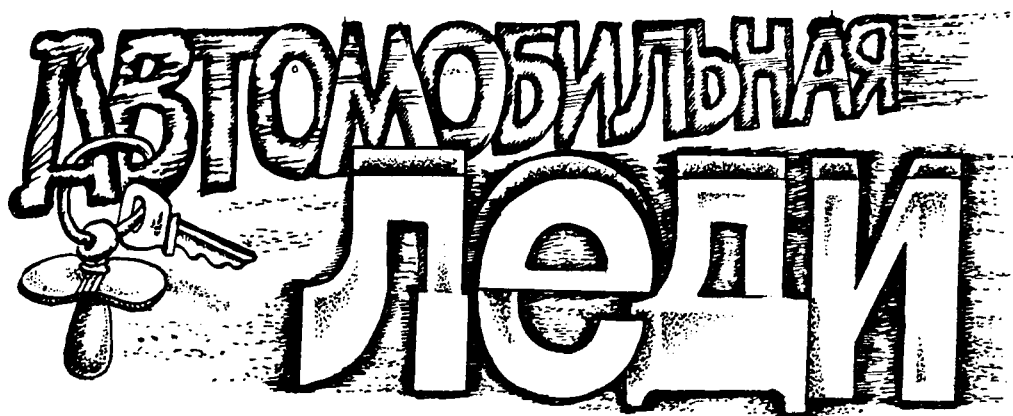
— Стэнли! — воскликнул я, причем слова застревали у меня в горле. — Стэнли, ты же умер!

Он посмотрел на меня с той же своей доброй, печальной улыбкой и ответил:

— И ты тоже!

Станислав Кулиш

# АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛЕДИ

The title 'АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛЕДИ' is rendered in a bold, hand-drawn, blocky font. The word 'АВТОМОБИЛЬНАЯ' is on the top line, and 'ЛЕДИ' is on the bottom line. To the left of the word 'ЛЕДИ', there is a detailed illustration of a key with a circular head and a handle, positioned as if it is about to be inserted into a lock.

ХРОНИКА ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ I

1

Сергей Сергеевич Потанин, сорокапятилетний, очень уверенный в себе мужчина, представительный, как говорят о таких; «ведущий инженер одного из СКБ», как пишут о таких, привычным движением запер машину, опустил ключ в карман брюк и перехватил из рук жены сумки. Он выглядел гораздо крупнее своей миловидной жены Тани. Она в это время еще раз взглянула на себя в зеркальце, поправила зеленое покрывальце у их трехмесячной Светы и вышла из салона вслед за мужем, тоже захлопнув на замок свою дверцу. Через стекло она еще раз помахала своему крошечному чуду и, взяв под руку мужа, пошла в магазин.

Одного взгляда на эту пару достаточно, чтобы сдаться вывод, что они счастливы.

Много ли сейчас на свете счастливых пар? Много ли людей, о которых можно смело сказать, что они счастливы? Люди озабочены, неприветливы, озлоблены, замкнуты в себе. Тяжелые настали времена. Жизнь дорожает, все труднее прожить, заботы съедают настроение людей. Беды страны теперь отражаются на каждом человеке в отдельности. Люди перестали общаться даже с ближайшими соседями, они не улыбаются на улице и дома. И если Потанины были счастливым исключением, то только в силу иронического характера мужа, который на жизнь смотрел философски: все пройдет, наладится и образуется. Перемелется — мука будет, любит он повторять. Но главная причина все же была в их Светке. Сошлись они с Таней совсем недавно. Он разошелся с женой, долго снимал угол, она вообще жила одна. Встретились, поженились, вскоре, по счастливому совпадению, подошла его очередь на квартиру, а тут родилась доченька, как подарок судьбы. Может быть, поэтому на общем фоне они

и бросались в глаза своим счастливым видом, который красит людей больше достатка и обеспеченности, особенно в эти трудные времена.

В универсаме на девятнадцатом квартале Чиланзара они бывают часто и всегда оставляют машину на обочине, где сегодня стоял в ряд еще десяток машин. Но раньше они оставляли машину пустую, а теперь там Света, которая в машине спит особенно крепко, за что отец в шутку и прозвал ее «автомобильной леди».

Купить что-нибудь в магазине в наше время не так-то просто, но сегодня в продаже была колбаса. А еще куры, которые Сергей прозвал «лагерными» за их истощенный, синий вид. Но сейчас люди хватают все, что выбросили в продажу.

Вот и они взяли колбасы, кур и направились к базарчику, который стихийно вырос вблизи магазина. Когда у человека нет времени поехать на Фархадский рынок, то здесь можно прихватить кое-что по мелочи, правда, по цене несколько выше, но с этим сейчас мало кто считается. Таня взяла два килограмма помидоров и пучок укропа. Покупки были сделаны, и они направились к машине.

— Не проснулась ли наша Светочка? — озабочилась Таня.

— Любишь ты ходить по базару, — шутливо упрекнул ее муж.

— О, я в молодости на Алайском по часу ходила! Пока все не перепробую, не уйду.

— А хоть что-нибудь покупала? Напробуешься — и домой?..

Если послушать, каким тоном они разговаривают между собой, то понять можно очень многое. Муж разговаривает с женой тоном снисходительным, каким говорят обычно с маленькой девочкой. Он ведь старше ее, опытнее ее и, главное, мудрее. Она же, впервые почувствовавшая надежную опору, полностью доверилась мужу. Гармония их отношений, может быть, иногда и нарушалась, но только по мелочам, потому что эти отношения устраивали их обоих. В таком настроении они и направились к своей машине.

И в начале даже не испугались, а удивились. Машины на месте не оказалось.

Сергей еще удивленно смотрел по сторонам. Бывало с ним такое, когда он забывал, где именно оставил машину. Но Таня своим материнским сердцем, а скорее инстинктом поняла, что случилась беда. Она охнула, выронила из рук сумку, выдохнула имя дочери и вяло опустилась на асфальт.

Теперь мешкать уже времени не оставалось. Жена сидит на асфальте, машины нет, а в машине их ребенок. Он кинулся ловить такси.

Но по закону подлости именно в это время свободных такси не оказалось, а те, что шли мимо, не останавливались, хотя и были пустые. Может быть, они ехали на обед.

Даже не страшное, а странное чувство испытал в эти минуты Сергей Сергеевич. Случилась беда. И никто не подумает кинуться на помощь, просто по-человечески спросить, что случилось. Равнодушные ко всему, посторонние, занятые только собой и своими заботами, шли мимо люди. Громадный город с огромным населением раскинулся вокруг двух раздавленных бедой людей. Даже если бы их убивали, наверное, никто бы не пришел на помощь.

Щеголеватый, поджарый, с иголки одетый, Сарвар Куртсеитов, покручивая ключом зажигания на пальце, променадно прошелся вдоль магазина. Он иронически кривил губы. Ему нужна бутылка самого хорошего коньяка, и он рассчитывал купить его в этом универсаме, но коньяка в продаже вообще не оказалось. Сегодня дают портвейн, и за ним такая давка, что даже смешно смотреть. В этой давке стоят опустившиеся мужчины и такие женщины, которые, кроме грусти и иронии, ничего не вызывают. И только сознание, что сам не такой, что стоишь выше этой жалкой толпы, придавало ему уверенность в себе, в своем сегодняшнем и завтрашнем дне.

Он никогда не задумывался, да и не хотел задумываться, почему эти презируемые им люди стали такими и что довело их до жизни такой. Он по натуре прагматик, деловой человек. Он умеет делать деньги и делает их. Всякие там проблемы его не касаются, с него хватит того, что он покорненько отсидел десять лет в школе и еще шесть в институте. Теперь он ж и в е т.

Деньги ведь можно делать по-всякому. Только дураки думают, что можно разбогатеть лишь на взятках или на спекуляции автомобилями. Есть, например (только например!), внешне незаметные, даже в чем-то непрестижные работы, но на них вполне можно стать состоятельным человеком. Ну, скажем, устроиться на автозаправочную станцию. Да-да, с дипломом инженера на АЗС, ведь это тоже техническая работа. И вовсе не для того, чтобы не доливать бензин в баки машин, это глупость. Но представим себе, что в городе перебои с бензином. Ну, всего на один день? Если нет, то и организовать же можно! И вот люди мечутся в поисках бензина. Ну нет, и все! Зачем его продавать жалким автолюбителям, которые ходят вокруг тебя с пустыми канистрами и жалобно заглядывают в глаза? За этим бензином приедут близкие и нужные тебе люди или пришлют посланца с запиской. Они кинут деньги не считая. Но зато когда

тебе самому что-то будет нужно, ты найдешь к этому человеку на равных, и он сделает для тебя все. И ты сам кинешь деньги не считая...

— Друг, выручи, — обратился к нему чем-то заведенный, нервный человек, — подбрось до милиции? Машину угнали... Там ребенок...

Ах чудак, чудак, нашел ты к кому обратиться! Тюфяк, у которого угнали машину, и сожаления-то недостойн. И неужели он не понимает сам, что вполне может статья, что кому-то нужна не его дохлая тачка, а именно ребенок! Ну, для чего ребенок, это вопрос совсем другой. Но не будешь же ты читать ему популярную лекцию на эту тему. Но если кому-то нужен именно ребенок, чтобы выпотрошить этого олуха, то вмешиваться и вовсе не резон. Можно нарваться на кого-то из своих. Но как объяснить этому мужику все тонкости жизни? В милицию? Вообще-то и милиция любит заправляться на халяву, так что и там Сарвар нашел бы нужных людей, но зачем?

— Что ты, приятель! Ты уж без меня. Свидетелем же затаскают!

Дружески сделав ручкой, Сарвар сел в свою машину и укатил. Потанин только автоматически запомнил его номер — В 1794 ТН — и снова вышел на проезжую часть ловить машину.

Но как ее поймать, если у тебя действительно беда? Никакой Красный Крест еще не придумал, как поступать в таком случае. Милосердие по принуждению смысла не имеет.

## 2

И все же через десять минут Потанины были в Чиланзарском РОВД. Их за рублевку подвез на «запорожце» инвалид. Машина у него с ручным управлением, а так вроде цел-целехонек.

Дежурный офицер с красной повязкой на рукаве что-то писал в журнал. Таня прислонилась к стене, уже от всего отрешенная, умершая от страха за дочь.

— Товарищ капитан! — почти крича, обратился Потанин к дежурному.

Капитан Досметов дописал фразу, полюбовался на свое произведение, поставил подпись, закрыл журнал, убрал его в сейф и спросил официальным тоном:

— Что случилось, гражданин? Да вы не кричите. Вот вам бумага, изложите все в письменном виде.

Потанин почувствовал, что попал в обстановку, где все идет законным путем и каждый твой шаг будет вязнуть в формальностях. Писать бумагу, когда ребенок твой в машине, а машину гонят неизвестно куда и неизвестно кто! Кричать? Биться головой о стенку? И сможет ли он сейчас вообще писать?

Капитан Досметов мучился желудком. Мало кто знает, что острый гастрит уже давно стал профессиональной болезнью оперативников. Обыватель ведь как судит о работе милиции? Бездельники, взяточники, шкурники. Но есть в милиции такие отделы, где чаще всего удается поесть хорошо один раз в сутки, да и то всухомятку. А человеческих бед за время своей работы в органах он столько повидал, что стал к ним... ну, не равнодушен, а как-то спокоен, что ли. Да и то сказать, человек ведь ко всему привыкает, а уж к чужому горю особенно. Поэтому он сейчас и протягивал посетителю чистый лист бумаги:

— Напишите заявление.

Но в это время зазвонил телефон, а Потанин возмутился:

— Какие бумажки?! Угнали машину, а в ней грудной ребенок!

Капитан глянул на посетителя и стал слушать, что ему говорят по телефону.

— Слушай, джаным, — услышал он в трубке голос Володи Салакаева, начальника угрозыска, — срочного ничего? Я посплю пару часов, пока начальства нет.

— Володя, тут ЧП. Угон машины. Пошлю к тебе?

— Может, ты их куда подальше пошлешь? Я сутки не спал, — посоветовал Салакаев. — Эти ротозеи бросают машины, а мы тут...

— Володя, в машине грудной ребенок, — пояснил капитан. Он-то знал, что Салакаев последние сутки действительно не спал.

— Грудной ребенок? Так чего же рукава жуешь? Мигом ко мне!

Досметов позвонил к себе отошедшего к жене Потанина:

— Быстро на третий этаж. Комната тридцать девять, к капитану Салакаеву. Вам повезло.

Потанин в иной обстановке и возмутился бы. Что значит повезло, когда ты обращаешься в органы охраны порядка? Но даже он, в таком состоянии, уразумел, что ни тревоги, ни сигнальной сирены не будет. Для него пропажа дочери — катастрофа, равная гибели всего сущего, а здесь это только один из случаев, каких бывает в сутки сотни. И если ему повезло, что какой-то капитан Салакаев оказался на месте, то это и надо считать везением.

Капитан Салакаев в эту ночь брал с группой захвата банду, но ведь мало ее взять, нужно немедленно, по горячим следам написать обстоятельный рапорт. И эта бумажная процедура заняла у утомленного, взвинченного пережитой опасностью человека еще три часа. Салакаев кипел от негодования, ведь нужно завести, наконец, компьютер. Но нет, говорят, лазерных принтеров... Вот и делают оперативника бюрократом: возьми банду (это твой долг), но еще, будь добр, напиши эти бумаги...

Однако благодаря этому он и не ушел утром домой отдыхать, а Потанину дежурный объяснил все просто — повезло. Может быть, и хорошо, что Потанин не знал, чему он обязан своим везением.

Таня шла за мужем на этаж обреченно, уже ни на что не надеясь. Она почему-то считала, что все кончено, девочка пропала навсегда, а эти хождения по кабинетам только затягивают мучения. Сергей, как мог, поддерживал ее, но слова уже не могли что-либо изменить, ведь он и сам не слишком верил в благополучный исход. Такие кражи легко не вскрываются. Он, как и все современные люди, знал, что детей крадут и чаще всего они исчезают для родителей навсегда. Когда вымогают выкуп, родители, по крайней мере, знают, что ребенок хотя бы жив. Но ведь нередко детей крадут по совсем другим причинам.

Они поднимались на третий этаж, раздавленные горем. Но шли, потому что в этом была их последняя надежда. Другого выхода у них просто не было.

### 3

То, что они увидели в тридцать девятой комнате, нисколько не прибавило им бодрости и уверенности. За письменным столом со стаканом чая в руке сидел простецкого вида русоволосый парень в летней распашонке, легких светлых брюках и сандалях. Правда, был он крепкого сложения, коренастый, а вот лицо казалось уж очень обычным. Какой-нибудь дружинник, с неприязнью подумал Потанин, поэтому спросил раздраженно:

— А где капитан Салакаев?

— Это я. Входите, — капитан отставил стакан с чаем, поднялся им навстречу и подал руку. — Владимир Васильевич. Садитесь.

Сергей удивленно, насколько это было возможно в его положении, осмотрелся. В кабинете почему-то стоят пудовая гиря и скат вагонетки весом килограммов под сто, явно вместо штанги.

— Неплохая визитная карточка для начальника уголовного розыска, — нашел он силы пошутить. — Писать заставите?

— Какое там писать! Рассказывайте, я слушаю, — капитан стал серьезным и совсем утратил свой мальчишеский вид. — Только кратко. Времени у нас нет.

Только вчера у Володи дома состоялся крутой разговор с женой. Люда категорически потребовала, чтобы он покинул милицию.

— На твой оклад, Володенька, скоро на одной картошке сидеть будем, — упрекнула его Люда. — Другие хоть вовремя домой приходят, а ты? Ты Ленку видишь пять минут в неделю, без тебя вырастет. Отца знать не будет!

Володя глотал завтрак и любовался женой.

— Ведь зовут же в кооператив! Пятьсот рэ дают. Ради чего мы еле концы с концами сводим? — не унималась Люда.

— Люда, по сегодняшним ценам, мы с тобой и на пять сотен не проживем, — попытался отшутиться Володя.

— Ну умоляю тебя, перейди в другой отдел! Да сядь ты хоть на паспорта, что ли? Ведь не всегда тебе будет обходиться, все равно когда-нибудь подловят. Я ведь за тебя боюсь, Володя. Вот однажды придут и скажут...

Это был неожиданный поворот. Об опасностях его работы в доме не говорили. Люда ведь раньше сама работала в райотделе, знает что к чему. Ну, опасно, ну, были случаи гибели оперативников, даже в эту ночь идти на банду будет непорочно, но именно сейчас, когда волна преступлений нарастает и надо же кому-то бороться с нею, Люда вдруг начала этот нелегкий разговор.

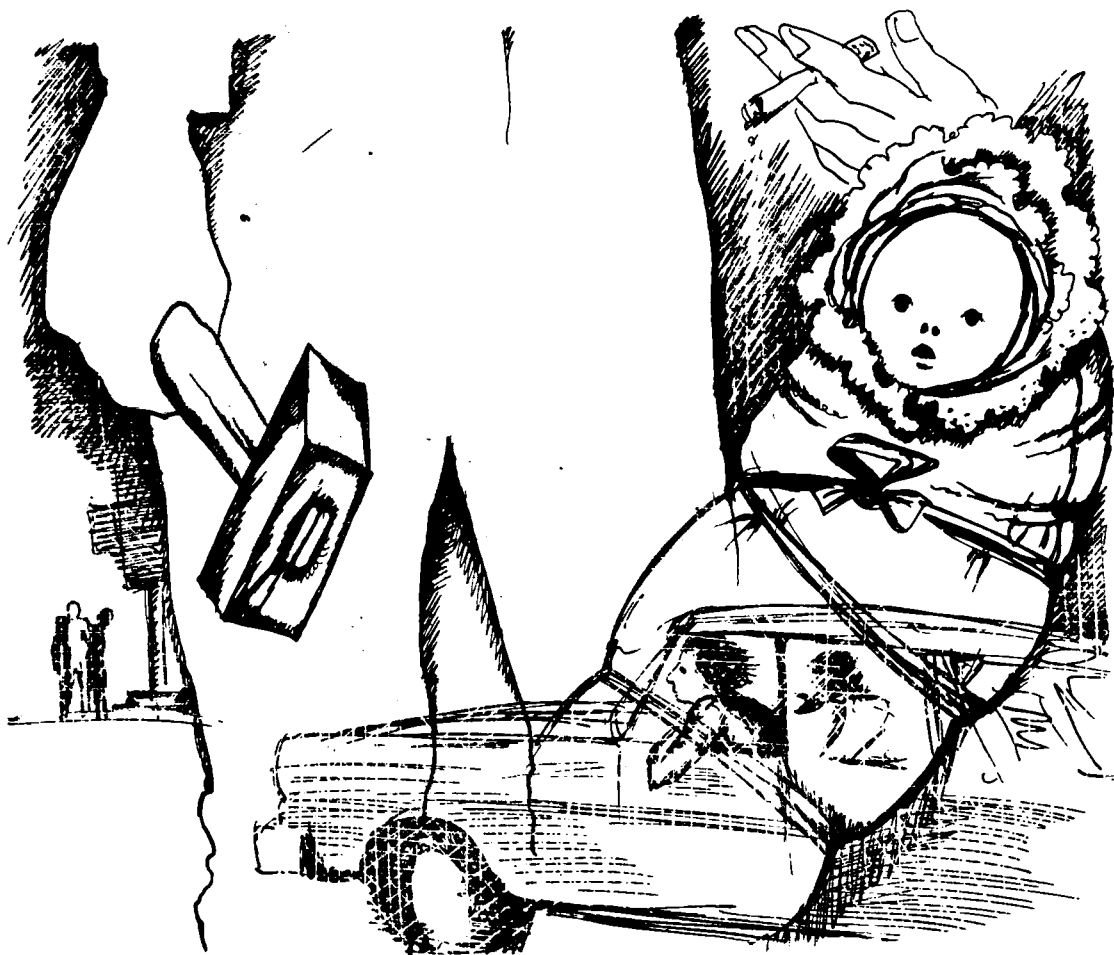
— Володя, стало очень опасно, — продолжала она. — Убивают ваших, потому что уже ничего не боятся. А вы даже права на самооборону не имеете. А если ты убьешь преступника, затаскают. Зачем нам это, Володя? Ленка вон растет, а вдруг без отца останется? Мне страшно становится, Володя. Раньше не боялась, а теперь боюсь.

Володя уже без иронии посмотрел в глаза жене:

— Видно, так и умру сыщиком. Куда мне теперь?

И так он это сказал, что Люда притихла.

Нелегко на душе после такого разговора, а в ночь после него он шел брать банду на массиве Кызыл Шарк. Они укрылись в незаселенной девятиэтажке. Массив новый,



Рисунки Л. Максимова

половина домов пустая, поди угадай, в какой квартире они отсиживаются, а бандиты матерые, вооруженные. Но за ними ограбление с жестоким убийством, брать нужно любой ценой. И вот Вася Белов в госпитале, утром сам отвозил. Зацепили-таки. И в самый бы раз прилечь и поспать, но, слушая Потанина, он уже нажал на кнопку звонка под крышкой стола — сигнал «готовиться» в комнату группы захвата.

А между делом капитан уже оценил эту семейную пару. Он, конечно, старше жены. Интеллигент, конечно, и впервые сталкивается с преступлением, поэтому так откровенно растерян. А жена, жена чем-то похожа на его Люду. Женщины этого возраста все в чем-то имеют сходство.

— Уже двадцать минут прошло, — взглянул на часы Потанин.

— Сергей Сергеевич, послушайте моего совета, отправьте жену домой, машину я дам, — посоветовал Салакаев. — А сами можете остаться. Так будет лучше.

Чтобы обнаружить угнанную машину, потребуется работа многих людей. И далеко не на каждый угон объявляется тревога, иначе патрульные машины будут постоянно в состоянии погони. Машин в городе крадут много, но этот случай особый, в машине грудной ребенок. Такое впервые случилось в практике капитана Салакаева. Поэтому он тотчас доложил о ЧП дежурному по городу. А майор Салиходжаев объявил тревогу по городу.

Капитан держал группу захвата наготове, но уже стало ясно, что дело затягивается. Стали поступать рапорта с постов ГАИ, что такая машина не проходила. И тогда капитан, отправив Потанина в соседнюю пустую комнату, чтобы не мешал своими тоскливыми глазами, поднял трубку телефона и сказал:

— Докладывает капитан Салакаев. Соедините с генералом.

Вряд ли он рискнул бы звонить напрямую заместителю министра внутренних дел, если бы не участие Салакаева в известной Хавастской операции, когда генерал сам возглавил эту акцию и запомнил по этой поре сообразительного капитана. На это и рассчитывал Салакаев.

— Мухтар Насырович, — без тени панибратства заговорил он, когда генерал поднял трубку. — У меня сложное дело, и нужна ваша санкция.

— Говори, капитан, — генерал был настроен благожелательно, и капитан это учел, — а ты все-таки мне не объяснил, откуда у тебя, чисто русского парня, такая фамилия. Помнишь, я все допытывался?

— Товарищ генерал, сейчас не до этого, — и Салакаев изложил коротко суть дела.

— Говори прямо, Владимир, чего ты от меня хочешь? — уже поостроже спросил генерал.

— Дайте мне в оперативное подчинение городское и областное ГАИ и выделите вертолет.

Генерал ответил только после внушительной паузы:

— Ты хоть понимаешь, о чем ты просишь?

Володя прекрасно понимал. Он отлично знал, как все эти подразделения не любят вмешательства в свои дела людей со стороны. Угро, как называют их для краткости, да еще районное, берет себе в оперативное подчинение ГАИ. Мало кто этого захочет. Но у капитана был убийственный довод:

— Товарищ генерал, в машине грудной ребенок.

Генерал долго говорил по другим телефонам, а трубка городского телефона лежала и лежала на столе. Володя слышал обрывки его переговоров и находился в попятном напряжении. В одну минуту все может рухнуть, его затея провалится, а со своей небольшой группой он не сможет повлиять на ход событий.

Только десять минут спустя он услышал голос генерала:

— Действуй, капитан. Но, смотри, не сорвись. Тебе этого не простят!

#### 4

Ирина Аркадьевна Полторацкая, маленькая, высохшая, начавшая седеть, не первый год живет на одних нервах. Нынче все учителя живут на нервах, и она уже сжилась с постоянным чувством тревоги настолько, что предчувствует беду за день до того, как она случится. Класс у нее действительно тяжелый, но сейчас у всех учителей тяжелые классы. Но у нее есть группа ребят, а в девятом классе, хочешь не хочешь, они уже парни, совершенно неуправляемая. Всюду есть ученики н е б л а г о п о л у ч н ы е, и этим никого не удивишь. Но ее группа всегда на грани срыва, и справиться с ними Ирина Аркадьевна уже не в состоянии. Это Алик Алферов, это Алеша Трухин, Олег Космынин и с ними вяжется Нуритдин Кабулов. А верховодит у них, конечно, Алик Алферов. И прозвище-то у него угрожающее — Алик-Клыч.

Еще в шестом классе Алик доставлял ей немало огорчений, были у него и приводы в милицию, и кражи, были жестокие избияния ребят из других классов, а что могла она сделать? Говоришь им хорошие, правильные слова, даже умоляешь, а они смотрят тебе в глаза и ухмыляются, словно им дано знать такое, что тебе, учителю, и на ум не придет, будто тебя за дуру несмышленную держат.

Она часто думала о природе лидерства в детских коллективах. На чем может держаться лидерство Алика-Клыча? Он и комплекцией мельче своих дружков, вертлявый, с черными курчавыми волосами и демоническим лицом. Лживый и трусливый мальчишка, он жесток в своих выходках, а его дружки восхищаются им, и он именно благодаря жестокости стал кумиром этих ребят. И чем изощреннее его выходки, тем привлекательнее он выглядит в их глазах.

Причем, несколько дней он может ходить смирным, сговорчивым, но потом его движения, жесты становятся все более порывистыми, непредсказуемыми, дергаными, и злая энергия накапливается в нем с каждым днем, пока не вырвется наружу. Ирина Аркадьевна в таких случаях говорит, что на Алика у ж е н а х о д и т. И сегодня у него как раз тот пик напряжения, за которым обязательно, неизбежно последует взрыв. И это будет не какая-то там элементарная грубость учителю, очередная двойка, к этому уже привыкли. Это обязательно будет что-то изощренное, жестокое. Именно в таком состоянии он становится неуправляемым.

Чёрта в ней, в этой психологии, да и в остальных премудростях педагогической науки, если ты чувствуешь, знаешь, просто убеждена, что Алик уже с о з р е л и очередная беда вот-вот грянет, а предупредить, остановить не можешь. Попробуй подойти и начать его в чем-то убеждать, он сделает честные глаза и удивится, да что вы, Ирина Аркадьевна?!

Сегодня с утра он в школе появился, как все. Но уже по тому, как он вошел своей взвинченной походкой, как он диковато и зло оглядывал вестибюль, по нервному подергиванию его плеч Ирина Аркадьевна поняла, что он г о т о в. Вполне возможно, что он еще и сам не знает, что отмочит, но его злая воля должна обязательно выплеснуться наружу. На первом уроке он еще сидел. Ирина Аркадьевна сама проверяла, но

вот уже на втором и третьем его в школе не было. Потом вдруг опять появился на следующих уроках, но вел себя ужасно, громко разговаривал, дерзил и совсем не занимался.

Ирина Аркадьевна тут же проверила, на месте ли Зоя Айшина из седьмого класса, его подружка. И Зоя тоже исчезала со второго и третьего уроков. Значит, опять были вместе, а чем это кончится, никто предсказать не может. Эта пара способна на все. Пронеси Бог, чтобы эта Зоя ребенка школе не принесла, но и без этого они могут натворить что угодно. Зоя-то ровесница Алику, но по глупости учителя ее оставляли на второй год, и только теперь поняли, что они наделали. Хорошо о ней сказал классный руководитель при подведении четвертных оценок: «А поведение ей надо записать «легкое», и это еще мягко сказано. Девочка испорчена навсвязь, и что с ней делать, ума не приложу».

Ирина Аркадьевна в который раз уже решается идти к директору школы. Они давние подруги, вместе работали в старой школе, вместе перешли сюда. Алевтина Ивановна, собственно, убедил подругу перейти на «новостройку», все же новое здание.

И исполненная тревоги и предчувствий, она открыла дверь кабинета директора школы.

В кабинете у директора сидел Вячеслав Семенович Кучеров, учитель литературы старших классов, мужчина прочный, всегда знающий, чего он хочет. Блестящий эрудит, великолепно знающий не предмет, а именно литературу во всех ее тонкостях, очень воспитанный и сдержанный человек, он одним своим присутствием одних приподнимал, а других заставлял ощущать свою неполноценность, за что его многие недолюбливали. Небольшого роста, но очень ладно скроенный, всегда аккуратно, с иголочки одетый, он не допускал себе вольности даже в выборе галстука. Немного седеющий на висках, он выглядел респектабельно, что крайне редко увидишь в современных учителях.

— Ира, ты послушай, что говорит этот человек!— встретила подругу Алевтина.— Ты только послушай!

Вячеслав Семенович встал и поздоровался. Он всегда вставал, когда входила женщина.

— Нет, ты представляешь! Он швырнул мне заявление об уходе!

Алевтина Ивановна, крупная, решительная женщина, выражается всегда резко, хотя по натуре она человек добрый и за школу переживает.

— Алевтина Ивановна,— поморщился Вячеслав Семенович,— я могу швырнуть перчатку за оскорбление, и только мужчине, равному себе. Заявление я подал. Как в старину подавали прошение на высочайшее имя.

Есть в Вячеславе Семеновиче что-то аристократическое, хотя Ирине Аркадьевне доподлинно известно, что корни его что ни на есть самые крестьянские, он интеллигент во втором поколении. Отец его получил образование и воспитание в подпольных кружках, после революции учился в школе партактива, а потом был расстрелян. Вячеслав Семенович из тех, кто сам сделал себя. Закончил два вуза, правда, ученую степень выбивать не захотел именно потому, что ее нужно было выбивать. Многие казалось странным в этом человеке, близко знающие его люди поговаривали, что он может и выпить, хотя пьяным его никто не видел. Вообще, о нем любил поговорить.

Впрочем, он сам давал повод судачить о себе. Этот человек закрыт наглухо для всех. О себе, о своей семье он никогда ничего не рассказывает, к себе в гости никого не приглашает, и даже никто толком не знает, где он живет, а это еще больше разжигает сплетни. Кто-то мельком видел его с женой и уверял, что она у него красавица, но вполне можно допустить, что видели его и не с женой. Вообще, он отлично подходил для домыслов и пересудов.

— Подал, подал,— возмущается Алевтина.— Так и говорите, что вас поманили высоким заработком. В вуз, наверное, уходите? Так бы и сказали.

— Алевтина Ивановна,— скучным голосом поясняет Вячеслав Семенович,— в вузе мне заплатят сто пять рэ, потому как не остепенен. За такую цену свои мозги даже на вес не продают, с голоду помрешь.

— Ну, значит в кооператив!— кипит Алевтина.

— Побойтесь бога, Алевтина Ивановна,— театрально развел руками Вячеслав Семенович,— какому кооперативу нужны Пушкин или Ахматова? Бог с вами.

— Тогда я вас не понимаю.

— И понимать нечего. Я не привык работать с глухонемыми. Хотя, нет, с ними работать, наверное, все-таки можно. Я бьюсь о глухую стену непонимания, неприятия, работаю без малейшей отдачи. Я выворачиваюсь наизнанку, а в их глазах пустота! В вашем классе, Ирина Аркадьевна, я спросил, какие они журналы знают. Не читают, я уж об этом и не мечтаю, а хотя бы знают. И ваш Алферов...

При упоминании имени Алферова Ирина Аркадьевна встревоженно заерзала рукой по столу, но пока смолчала.



— ...ваш Алферов тянет руку...

— Он любит высовываться, даже если не знает ни уха ни рыла,— не удержалась Ирина Аркадьевна.

— ... и говорит мне: «Литературную газету». Что я должен ему объяснять, девятикласснику? Что в самом названии уже стоит слово «газета» и, значит, это не журнал? Вы меня увольте, такого контингента я еще не видел, уважаемая Алевтина Ивановна. Это дремучий лес.

— Алевтина!— нашла паузу, чтобы вступить, Ирина Аркадьевна.— Умоляю тебя, переведи ты Алферова в другую школу! Он же не нашего микрорайона, я не могу уже с ним. Ты представь себе, каждый день в жутком напряжении: вот-вот что-нибудь отмочит. У меня от него постоянные головные боли. Это же какое-то исчадие!..

Что может она сказать о своих тревогах, о постоянном ожидании беды, о том ужасе, который постоянно висит над твоей головой?

— У тебя все, Ира?— ласково спросила Алевтина.

Она встала из-за стола, прошла по кабинету, снова села и сказала в упор:

— Ну так слушайте сюда, мои дорогие педагоги. Что такое Алферов, я не хуже вас знаю. Но даже его я вам не отдам,— она положила перед собой ладони так, словно что-то хотела придумать.— Вы что, спятили? У меня минимальная наполняемость в этом классе. Убери я сейчас хоть одного человека, и роню закроет класс, вы это знаете не хуже меня. Остальные должны будут искать другие школы. А учителя? У них и так нагрузки нет, а тут снимут целый класс. Нет, вы будто сегодня на свет родились, милые!

— Ну да,— согласился Вячеслав Семенович,— он-то школе нужен, хоть этот Клыч. Весь вопрос, нужна ли школа ему самому. Да вы напрасно волнуетесь, Ирина Аркадьевна, он уже по городу на автомобиле раскатывает, этакий преуспевающий джентльмен...

— На каком автомобиле?— только и спросила Ирина Аркадьевна, хватаясь за сердце.

Вячеслав Семенович, обычно такой предупредительный, ничего не заметил.

— Я не знаю, на каком, в марках не разбираюсь. Я шел сюда, в школу, как раз с мыслями о заявлении, а меня пугнули сигналом на переходе. Оборачиваюсь — и, пожалуйста, аттракцион. Летит на меня автомобиль, а за рулем ваш Алферов. Да что с вами, Ирина Аркадьевна?

— Вот оно. Я же чувствовала...

Дурные предчувствия, не в пример добрым намерениям, имеют обыкновение сбываться.

— Папаша, наверное, купил ему,— продолжал Вячеслав Семенович,— у таких обычно папаша деловые.

— Какой папаша! Какой вам папаша!— вскинулась наконец и Алевтина Ивановна.— У него нет отца и нет машины! Там одна нищета, Вячеслав Семенович!

— Вот оно,— беспомощно уронила голову Ирина Аркадьевна.— Началось.

Она медленно подняла руку к сердцу.

## 5

Что делать? Что в таких случаях делать?

Ирина Аркадьевна прекрасно знала, в какой бедности живет Алик Алферов, она ведь была у них дома. В педагогике это называется «посетить на дому». Она видела ту степень бедности, которая даже не осознает своей бедности. Убогая обстановка, голые стены, на которых наклеена полуобнаженная натура, это как вызов. Почти пусто, но чисто и светло, потому что даже занавесок на окнах нет. Откуда быть автомобилю у такой бедности? Тут едва сводят концы с концами, живут одним днем.

Ведь знала, знала Ирина Аркадьевна, чем живет Люба! Ходят к ней мужчины, приносят с собой выпивку и закуску, а вот на содержание никто ее не берет. Одноразовая женщина, кому она нужна с таким непутевым сыном? И хотелось бы Ирине Аркадьевне высказать Любе свое мнение о таком образе жизни, но что скажешь человеку, живущему на восемьдесят рублей зарплаты и двадцать рублей пособия на сына? Можно только сесть с нею рядом и поплакать над ее судьбой. А ведь кто-то определял такую нищенскую зарплату, сытый, глухой ко всему на свете, посчитавший, что нормальному человеку можно прожить на эти деньги. Недрогнувшей рукой подписав эти документы, он заранее обрекал Любу и подобных ей на такое оскорбительное, убогое существование. А ведь Люба даже не ужасалась своей жизни, с живучестью кошки она цеплялась за каждую возможность выжить, не пропасть и не утонуть, хотя поступалась и самолюбием, и честью. Но откуда у нищего и голодного человека самолюбие и честь?

И как можно осуждать ее за такую жизнь? Может, и хорошо, что она и не задумывается ни о чем, потому что задумайся — останется один путь — в петлю. И из-за сына

она даже скандалит, когда ей говорят, что у него злая душа. Со слезами на глазах доказывает, что он хороший, добрый и ласковый, что он не хуже других детей.

Сколько же их, таких вот жалких, опустившихся женщин, мыкается, едва сводит концы с концами, приспособляется, чтобы удержаться на поверхности! Женщина, женщина! Женщина без достоинства, без самолюбия, без уверенности в завтрашнем дне. Жалко, недостойно то общество, в котором такие женщины появляются и в котором оставлены один на один со своей бедностью...

Когда Вячеслав Семенович сказал об автомобиле, первым побуждением Ирины Аркадьевны было сейчас же ехать к Любе Алферовой на работу. Но Ирина Аркадьевна уже предвидела, что Люба встретит в штыки такое сообщение, будет убеждать всех, и более всего себя, что учитель просто ошибся или оговорил ее сына.

— Надо идти в милицию,— уже поднялась было Ирина Аркадьевна, но директор ее остановила.

— Ира, не горячись. Еще неизвестно, что за машина и кто был за рулем. А ты подумала, что скажут нам в районо? «Еще одно ЧП в 302-й школе!» И будут нас чесать на каждой конференции.

Вячеслав Семенович слушал директора все пристальнее.

— Ира, у тебя просто сдали нервы,— продолжала директор,— и шум раньше времени поднимать не советуя. Только на себя беду накличем, вот и все. Ну, даже если это и Алик? Пусть милиция там, ГАИ разбираются, и если это он, то нам сообщат.

При этих словах неожиданно для директора и для коллеги обычно флегматичный, оберегающий себя от лишних раздражителей Вячеслав Семенович решительно поднялся со стула:

— Я провожу вас в милицию, Ирина Аркадьевна. Пусть все мы сто раз ошибемся, но если случится беда, мы себе этого никогда не простим. Идемте, я не оставляю вас одну.

Алевтина Ивановна прикусила губу. Досадно, что такую реакцию со стороны Вячеслава Семеновича она просто не предвидела. Но даже очень запрограммированные люди порой непредсказуемы.

— Конечно, идите,— тряхнула головой директор.

Вячеслав Семенович Кучеров был непробиваемым скептиком, он принципиально ни во что не верил, никаким лозунгам, оставался «человеком в себе». Круг его интересов был раз навсегда очерчен: книги, жена, ну, еще телевизор, и этот мир был непроницаемым для всех посторонних. Таких людей называли черными котами. Они мудры, опасно умны, все видят и все знают, но никогда ни во что не вмешиваются. На его столе дома лежит толстенная рукопись работы, которая никогда не будет закончена. Никому не дано понять его мысли, они все остались при нем, этим он и был опасен для Алевтины Ивановны.

Получил образование он в офицерском училище, отсюда его определенные принципы и устои. Потом был Московский университет. Но его диплом выпускника философского факультета оказался никому не нужен, и он остался учителем. В армии его карьера не сложилась, потому что там не любят «шибко умных», а здесь — потому, что нигде философы в штатах не предусмотрены. Жену свою он обожал, прощал ее недалекость, примитивность ума, но ее чисто женские качества ценил выше женского ума, и это его устраивало. Любовь для него никогда не была пустым звуком. Внутренний мир его был непостижим, именно поэтому неожиданностью было его желание идти вместе с Ириной Аркадьевной в милицию. Он милиции не верил, но в силу своих принципов не мог оставить женщину в таких обстоятельствах. Он поступил так в полном соответствии со своими убеждениями и воспитанием. Но этого никто не понял, даже Ирина Аркадьевна.

До милиции было недалеко, но Вячеслав Семенович, не меняя холодного выражения лица, остановил такси: он не любил общественный транспорт. Вообще же снобизм Вячеслава Семеновича уже раздражал Ирину Аркадьевну: учителя на такси не ездят. И от возникшего отчуждения до отделения милиции они доехали молча.

Около милиции Вячеслав Семенович сказал:

— Если мы встретим казенного дурака, наше дело обречено. Ваши предостережения здесь могут просто не понять. Они же не лягут в рамки опроса свидетеля. Эмоции не факт, но все же попробуем!

Кучеров имел вполне сложившееся мнение о милиции и поэтому обращался к ее услугам только в самых крайних случаях. Мальчишкой ему пришлось бежать от милиции, когда скитался в поездах, оставшись в войну без матери. Потом, найдя мать, он так и сохранил в душе на долгие годы враждебное отношение к их синей форме. Одним словом, эти люди уважения у Вячеслава Семеновича не вызывали, и говорил он сейчас с дежурным с той долей отчуждения, которую считал единственно правильной в этой ситуации.

— У нас сложный случай, и нам нужен человек, который сможет внимательно выслушать и понять.

Капитан Досметов мог бы ответить, что здесь не место для бесед, но уже вымотанный суточным дежурством, коротко спросил:

— Что у вас, граждане?

— Наш ученик ехал за рулем автомобиля,— заспешила Ирина Аркадьевна.

— Мы думаем, что наш ученик ехал за рулем автомобиля по городу, а это не та семья, где есть автомобиль. Мы, учителя...— солидно дополнил ее Вячеслав Семенович.

Вряд ли капитан Досметов усмотрел связь между заявлением четы об угоне машины и приходом учителей, он просто констатировал:

— Угон?..

— Мы этого окончательно утверждать не можем...

Досметов поморщился про себя. Не нравятся ему такие люди. Много говорят, трещат, как бездна. И чтобы быстрее решить дело, он отправил их тоже к Салакаеву.

Через две минуты учителя уже сидели в его кабинете. Володя порадовался, что отправил Потанина в комнату группы захвата пить чай, а то бы он сейчас только мешал своим волнением. Капитан слушал предельно внимательно. Интуиция подсказывала, что «здесь что-то есть», и хотя ему не терпелось выехать на трассу, но он еще чего-то ждал, а главное, хотел понять, что его самого тревожит.

— Расскажите, откуда и куда вы направляетесь? И вообще все подробно. В каком направлении шла машина?

Манера говорить, думая при этом, сразу понравилась Салакаеву. И пока рассказывал Вячеслав Семенович, он между делом успел подумать, что при иных обстоятельствах хорошо бы посидеть с этим человеком за чаем да поговорить. Но гораздо интереснее оказалось другое: и время, и приметы машины, и направление ее движения совпадали с показаниями Потанина. Салакаев поблагодарил учителей и поспешил с ними распрощаться. В комнате группы захвата прозвенел сигнал «всем на выход». По телефону-рации он передал ГАИ приметы Алика Алферова и его спутницы Зои Айшиной и поднялся из-за стола.

— Сергей Сергеевич, вы можете ехать с нами!

Через двадцать минут два вертолета ГАИ уже патрулировали над городом для опознания «Москвича-412», белого цвета, госзнак С 50-85 ТН. За рулем должен быть мальчик пятнадцати лет, с ним девочка четырнадцати лет. Возможно, едет один. При обнаружении предписывалось задержать любыми средствами: в салоне может находиться грудной ребенок.

## 6

Света родилась в обстановке любви.

Она была поздним ребенком. Отцу уже идет пятый десяток, как там ни крути, да и маме уже тридцать с хвостиком. Многие родные и знакомые отговаривали Таню от поздних родов. Да и в женской консультации советовали не рисковать и освободиться от ребенка.

Дома обсуждали проблему недолго. Сергей сказал:

— Таня, они ничего не понимают. Мы же не больные. Я уверен, все будет хорошо.

Света появилась на свет и была вполне нормальным ребенком. Дом их теперь стал счастливым. Все наполнилось любовью, стало теплее. Сергей боготворил жену, Таня боготворила мужа, а оба они души не чаяли в маленькой девочке по имени Светлана.

Характер девочки, всегда настроенный на радость, на улыбку, мог сложиться только при гармоничных отношениях родителей. Она не знала, что такое испуг, окрик, и не ждала от окружающего мира зла. Она не знала даже такого жеста, как взмах рукой перед лицом, и поэтому только смеялась, когда Таня в шутку грозила ей. И, несмотря на сложности ухода за грудным ребенком, особых трудностей родителям она не доставляла.

Именно поэтому она не знала и не могла знать, что над нею уже совершенно насилие. Перед отъездом в магазин родители покормили Свету, и поэтому она спала безмятежно, как спят в ее возрасте все благополучные и здоровые дети. Она не проснулась от того, что машина тронулась. Может быть, проснись она в первые же минуты, все события пошли бы иным путем. Но она не проснулась, потому что была сыта, суха, ничего у нее не болело. И она еще ничего не знала о жизни.

Алик Клыч вырос злым и жестоким.

Отца он не знал вообще, но этим обстоятельством он как раз не очень тяготился. С беззаботной матерью ему было легко и удобно. А вот вопрос о национальности почему-то больно его задевал. Мать его, Любовь Алферова, была русской, и Алик писался русским, но все черты его лица выдавали в нем что-то кавказское. Всем почему-то казалось важным выпытать у Алика его происхождение. Он обижался, плакал, а когда подрос, то лез в драку.

Но и образ жизни матери стал приносить огорчения. Даже мальчишки во дворе знали, как она живет. Митька из десятого класса сказал даже Альке: «У меня четвертак есть, скажи матери, что вечером приду». Драться с Митькой дело дохлое, но обида сидит в душе.

У матери никогда не было мужа, зато гостей, или, как она называет, «друзья», в доме бывают почти каждый вечер. Некоторых Алик даже «папами» называл, но через некоторое время такой «папа» исчезал и, как правило, навсегда. При появлении нового «друга» соседки злословили: «Что, Алик, у мамы опять свадьба?» Но к этому времени он научился их посылать, и соседки ославили его как грубияна и хулигана.

И все равно такие гости в доме для Альки даже в радость. Каждый приносит с собой и пожрать, и выпить. Ну, выпивка для мамки с гостем, а вот порубать Алька момента не упускал. Иной раз за весь день хорошо если один пирожок в школе перепадет, а тут так нарубаешься, что еще и завтра с утра есть не хочется.

Но самое главное, каждый гость норовит выпроводить из дому Альку. Им-то деться некуда, комната одна, и суют ему трояк, а то и пятерку. Главное тут не промахнуться. Если тупой гость не соображает, Алька из дома ни за что не уйдет. Будет злиться мать, гость кусать губы и улыбаться, но Алька из дома не уйдет, пока мать не шепнет гостю, что Альку нужно «отправить в кино». Но и тут Алька держал свою линию. Если гость рубчик совал, то Алька капризничал и не уходил. А на три или пять рублей он уж знал, что ему делать. Он и шашлыка, и самсы поест, и лимонаду надуется, а в кинотеатре и мороженого возьмет. Он знает, что чем позже появится дома, тем лучше для них, и не спешил, сидел до последнего сеанса. Как только он возвращался, гость быстро сматывался, хмельная мать уроки с него не спрашивала, ну и ложился Алька спать, довольный жизнью.

Две страсти терзали Альку Клыча: он очень любил деньги, которые дают возможность жить привольно, и автомобили. Деньги он любил так, что при виде даже металлических гривенников у него загорались глаза и он хотел тут же ими завладеть. Добывал он деньги не только у гостей матери, но и в карманах одноклассников, одним словом, крал. Но поймать его не удавалось, а если кто из одноклассников начинал «тянуть» на него, то лез в драку.

С матерью говорить на эту тему не рисковали даже учителя, она сразу кидалась на защиту своего мальчика. Родила она Алика от бывшего одноклассника Карика Давидяна, с которым встретилась через два года после выпуска из школы на новогодней вечеринке. Карик в школе слыл умным и скромным мальчиком, но к моменту встречи с Любашей уже крупно играл в карты, колослся и отсидел полтора года, хотя обо всем этом Люба узнала позже. Узнав о будущем ребенке, Карик надолго исчез и на этот раз успел отсидеть еще шесть лет. Люба приняла его, но через три дня он вышел за сигаретами и исчез еще на три года. Алик и унаследовал от отца кавказскую внешность и страсть к дармовым деньгам.

К автомобилю, сам того особенно не заметив, пристрастил его дядя Сервер. Он летчик Аэрофлота, живет в Москве, но в Ташкенте у него квартира и даже «жигуль». Он всегда приезжает с чемоданами, держит их до утра, а утром с мамкой увозит. Люба догадывалась, что Сервер фарцует по-крупному, но молчала, а Алик его обожал. Денег он кидает больше, чем другие. Вот этот-то дядя и научил Альку водить машину. Зачем он это сделал, трудно сказать. Он в тот день приехал раньше обычного, мать была еще на работе, и дядя Сервер стал учить мальчишку заводить мотор, потом включать скорости, а вскоре Алька уже водил «жигуль» по дороге, внутри квартала. С той поры он даже во сне видел себя за рулем. Он рисовал в тетрадях автомобили, вырезал из журналов их снимки, знал все отечественные марки и зарубежные. Алька бредил собственным автомобилем, видел себя в шикарных лимузинах.

Толчком для угона машины стало появление у Олега Космынина автомобильной отмычки. Откуда она появилась, Алика не интересовало. Он выклячил ее за трояк. Она грела его душу грезами об автострадах и бешеных скоростях. Это был ключ к счастью, но еще не само счастье обладания скоростью и комфортом. Несколько дней Алик распался свое воображение, пока не решился.

В этот день он пришел в школу звинчанный. Он стремительно прошелся по эта-

жам, сам не зная, чего ищет и чего хочет. По видеолентам он хорошо усвоил, что в машине рядом с суперменом всегда сидит красotka. Без нее ездить в машине уже не интересно. И вообще, все потеряет свою прелесть без зрителей.

После первого урока он похвастал Лехе, Олегу и Нуришке, что сегодня будет «брат машину».

— Едете со мной?— спросил Алик дружкав. Он рассчитывал, что они с восторгом примут его предложение, но они под разными предлогами отказались.

— А посмотреть хотите?— кривлялся Алик.

Мальчишки согласились. И тогда Алик после второго урока позвал Зойку Айшину из седьмого класса. Зойка вообще должна учиться с ними в девятом, но ее оставляли на второй год дважды. Киношного в Зойке мало, но зато девочка она битая. И она с восторгом согласилась покататься вместе с Клычком.

Определенного плана у Алика не было. Больше часа он таскался по кварталам Чиланзара в поисках машины. На стоянках искать бесполезно, там охрана. Около универсама он оказался случайно, даже не думая, что тут можно чем-то поживиться. Но оказалось, что многие оставляют машины на обочине и бегут в универсам или на барчик.

Вообще «Москвич» не числился у Алика в престижных машинах, но «Жигули» почему-то пустыми не оставляли их владельцы, обязательно кто-то стоит около или сидит в салоне. Этот белый «Москвич» на сегодня его устраивал. Алик видел, как муж с женой заперли машину и подались к магазину. Весь вопрос, долго ли они там пробудут.

Леха, Олег и Нури по просьбе Алика отошли ко входу на случай, если хозяин скоро вернется. Они должны создать заминку в дверях.

Теперь дело за отмычкой. Откроет ли она дверцу? С первого раза машина не открылась. Стараясь сохранять безразличный вид бездельника, который стоит «просто так», он лихорадочно шарил в замке второй отмычкой. Замок щелкнул. Алик медленно приоткрыл дверцу и вынул из замка отмычку. Если она подошла к дверце, то должна подойти и к замку зажигания. В одно мгновение он оказался в салоне за рулем. Хозяин, как видно, не пуганый, тайного замка не ставил, противоугонного устройства тоже. Мотор заработал сразу, тихо и ровно. Теперь уже не скажешь в случае чего, что ты пошутил. Алик рванул изнутри ручку правой дверцы и заорал на Зойку:

— Падай, мочалка!

Зойку и в других случаях два раза не просят. Она тут же оказалась рядом, смотрит на Клычичика сияющими глазами. Машина медленно тронулась. Теперь даже если хозяин и увидит, то только хвост своей машины. Алик включил вторую, третью скорость, подавая газ, как учил его дядя Сервер.

— Гореть на этом будет наш Клычок, только так,— мрачно заключил Леха, глядя вслед дружку.— Рвем отсюда, кенты. Мы тут ни при чем.

Алик и Зойка переглядывались с победным видом.

На заднее сиденье они даже не оглянулись.

## 2

Выехать с Чиланзара на кольцевую дорогу просто, и путь этот Алик знал. Он проехал прямо через трамвайные пути и погнал машину мимо кладбища. Вообще-то опытные водители тут ездят редко, потому что хитрые гаишники устраивают здесь ловушки, но сегодня, в будний день, стояла только машина с медсестрой для проверки на алкоголь, так что на первом этапе Алику повезло.

Повернув влево, он подъехал к первому светофору. Впереди стоял большой самосвал, и Алик с непривычки чуть не врезался ему в хвост, но все же удержался, только заглох мотор. Он быстро завел его снова и теперь ждал зеленый свет.

Здесь его одолело сомнение, куда же теперь ехать. Вправо идет дорога на Самарканд, но там, на выезде из города, большой пост ГАИ. Увидят за рулем мальчишку, тут же застопорят. Если повернуть влево, въедешь снова в город, а там Алику делать нечего. Но Зойке о своих сомнениях ничего не сказал. Он еще был полон задора.

Поворот влево ему удался с трудом, и он поехал-таки в сторону города. Скоро будет кольцо и поворот на Сергели. Туда он и хотел сейчас проскочить. И хотя удалось ему это непросто, он проехал и первое кольцо, около АЗС, и второе, на Узгарыше, и помчал в сторону Сергели.

Эту дорогу он знал хорошо, по ней гости с автомобилями, и сам дядя Сервер, возили их с матерью несколько раз купаться. И, как помнил хитрющий Алик, тут почти не бывает ГАИ, а встречи с ними он сейчас боялся больше всего. Но и Сергели он проехал без задержки. Повернув вправо от сергелийского аэропорта, он с облегчением свернул на кольцевую дорогу.

Алик Клыч никогда долго не водил машину и не представлял себе, что с непривы-

чки могут так быстро заболеть и даже занеметь плечи и руки. Он проехал пока километров десять-пятнадцать, но спина у него уже занемела, а пальцы стало сводить судорогой. Да и машину вел неуверенно, виляя, и оказавшись на его пути дорожный милиционер, вмиг бы сообразил, кто ведет машину. Однако он постепенно освоился, машина пошла ровнее и тише, без рывков.

Зойка первое время сидела тихо и млела от восторга, но сейчас, когда они выехали на дорогу, довольно узкую и плотно обсаженную с обеих сторон тутовником, она впервые задумалась:

— А куда мы едем, Клычок?

— На Голубые озера!— восторженно выкрикнул Алик.— Не была? Классные места! Купаться там класс!

— А где это?— тараща глаза, спросила Зойка.

— Это около Янгиюля. Я сто раз там бывал.

Встречных машин тут одна-две за день, и Алик ехал, уже небрежно свесив локоть за стекло. Впереди простор, солнечный день и полная свобода.

За шумом мотора, за разговором, за гулом в голове от восторга владения машиной они не слышали, что на заднем сиденье кто-то уже почмокивает губами. Девочка повозилась, но еще не проснулась.

Алик вел машину все увереннее, а тут еще вспомнил, что прямо перед глазами, только руку протяни, на панели радиоприемник. Он повернул рычажок, и салон наполнился музыкой. Видимо, хозяин все время держал настройку на «Маяк».

И в это время сзади раздался плач. Первой его услышала Зойка, испуганно обернулась и тут же вскрикнула от страха:

— Алик! Там лежит ребенок!

### 3

То обстоятельство, что Алик Клыч повел машину к Голубым озерам, избавило его от проезда мимо стационарных постов ГАИ, поэтому-то и поступали капитану Салакаеву рапорты, что разыскиваемый автомобиль через эти посты не проходил. И это было правдой, хотя капитан знал, что дежурства на этих постах не такие уж надежные. То жара, то на обед уедут, а в это время сотня машин пройдет через пост. Но ведь и не военное же положение, хотя уже передана команда задерживать все «Москвичи» белого цвета.

С аэропорта Сергели медленно поднялись два вертолета ГАИ и разлетелись в разные стороны, один пошел на самаркандское направление, другой — на чимкентское. От вертолетов пока не поступало ничего. Да и рано еще ждать результатов.

Капитан в ожидании первых сводок сидел с карандашом в руке и рисовал на бумаге чертиков. Он не имел никаких исходных данных, только предположение, что за рулем сейчас сидит Алик Алферов по кличке Клыч. Капитан уже знал, что у него три привода, что парень он ненадежный и на все способен. Но ведь и это еще не факт, что гонит машину именно он. Капитан продумывал варианты. Магистралы он перекрыл, и это правильно, но угонщик может вполне затеряться в путанице городских улиц, это ведь смотря с какой целью угоняется машина. Если ее решили разобрать на части, то из города гнать не будут, поставят где-нибудь на задворках. А если угонщик решил «просто покататься», то постарается выехать на большие магистрали. Там бетон, скорость, весь вопрос, не ошибся ли ты, капитан Салакаев, сделал всю ставку на Алика Алферова. Да, хорошо, что его видел за рулем учитель, но машина неслась на скорости и учитель мог ошибиться. Правда, машина шла прямо по ходу, как ее оставил Потанин, что тоже немаловажно. Скорее всего, угонщик не станет разворачиваться возле универсама, он погонит прямо по движению. Но если угонщик вовсе не Алик, а матерый воругой? И здесь есть свои сложности. Матерого легче вычислить, угадать, предсказать его поведение. Подростки же непредсказуемы, импульсивны, они не выстраивают какой-то план, а просто хватают автомобиль и мчатся, а куда, зачем, не думают. Поэтому даже приблизительно план розыска строить невозможно. Подростка нужно подкараулить и поймать, а вот где — и не придумаешь.

Но сидеть дальше уже нет сил, и капитан дал команду на выезд. Группа едет на двух автомобилях, впереди оперативный «жигуль», за ним «Нива». В первой сам капитан, Потанин, Хамид Шарипов, самый хваткий из всей группы, и Василий Терентьев, силач, с которым даже капитан не всегда решается бороться. Оба они дремлют, берут силы.

Решили ехать в самаркандском направлении, и теперь подъехали к южному посту ГАИ, ведь все равно пока, куда ехать. И тут Салакаева озарила мысль. Он прямо с рации набрал номер телефона брата.

В райотделе милиции работали два брата Салакаевых, Владимир и Борис. Володя

уже капитан и возглавляет угрозыск, Боря, помоложе, старший лейтенант, работает в ОБХСС.

Борис сразу отозвался, к счастью, он оказался в кабинете.

— Боря, ты на месте? Машина у тебя есть?

— А что нужно, Володя? Где ты? Мне говорили, что ты на месте, а потом сообщили, что в поиске.

— Мы с ребятами на трассе, Боря. Угон машины. Боря, сделай для меня! Надо найти дружков Алика Алферова и уточнить, когда они видели его последний раз. И только потом пригласишь на восемнадцать часов его мать, Любовь Алферову. Она работает в Министерстве энергетики, по-моему. Только деликатней пригласи, такие дамочки очень обидчивые.

— А ты уверен, что к восемнадцати управишься?

— Боря, ребенка кормили последний раз полтора часа назад!

Довод показался Боре смехотворным, в их практике такого еще не было, но оспаривать он не стал. Боря Салакаев не то что любил, а прямо боготворил своего старшего брата, гордился его славой удачливого и отчаянного оперативника, поэтому просьба Володи для него закон.

302-я школа работала в одну смену, и поэтому двор был пуст, найти учеников и учителей теперь не просто, но на счастье Бори директор школы оказалась на месте. На спортплощадке несколько пацанов лениво гоняли мяч.

Алевтина Ивановна встретила Бориса непрязненно. От посещения школы работниками милиции хорошего не жди, хотя она понимала, что не милиция повинна в этих визитах, а ее ученики.

— Алевтина Ивановна,— просительно заговорил Борис,— без вашей помощи мы просто никуда. Вы же своих детей знаете как... как...

— Как облупленных?— нехорошим голосом подсказала Алевтина Ивановна.

— Ну зачем вы так! Как своих родных детей, я хотел сказать.

— Говорите, что вам нужно,— чуточку подобрела директор.

— Собрать сейчас всех близких дружков Алика Алферова.

— Вы думаете, я тут волшебница? Или вы думаете, что они по домам сидят? И на бассейне, и на речке, дорогой товарищ. Я не могу знать, где они сейчас.

— Ну, Алевтина Ивановна!

Она ухмыльнулась. Этот офицер милиции канючит совсем как ее охломоны, когда что-то натворят: «Ну, Алевтина Ивановна!» И хотя она и в самом деле не волшебница, через полчаса в ее кабинете стояли Леха и Нуритдин, Олег Космынин, конечно, дома, но на звонки он никогда не открывает, даже если придет сама директор школы.

— Ребята,— обратился младший Салакаев к Лехе и Нури,— когда вы последний раз видели Алика Алферова?

Нури сразу опустил голову и больше не поднимал, Леха преданно смотрел в глаза, щерил редкозубый рот и бессовестно врал. Это Борис понял сразу. Леха уверял, что Клыч на уроке был, а потом ушел. Может быть, он даже дома сидит. Он любит спать днем.

Борис уже видел, что ничего тут не добьется, и отпустил Леху во двор.

— Нури, а ты чего молчишь? Ты же видел Алика.

— Видел,— прошептал Нури,— а потом уже не видел.

В смолянистых глазах Нуритдина выступили слезы. Директор и офицер милиции понимающе переглянулись и тоже отпустили его во двор.

— Слушайте, старший лейтенант! Вы можете, наконец, мне прямо сказать, чего вы вдруг взялись за Алферова?— взорвалась наконец директор.

Борис очень кратко все рассказал.

— И вы говорите, что в машине грудной ребенок?— Она решительно встала из-за стола, и Борис только сейчас по-настоящему оценил ее достоинства.

Борис через окно видел, как директор, обняв ребят за плечи, ходит с ними по двору и что-то говорит им, а они смотрят в разные стороны и слабо вырываются. Борис с усмешкой подумал, что от такого директора не вырвешься.

Алевтина Ивановна вернулась довольно скоро, положила перед собой крупные руки, опустила над ними голову и глухо сказала:

— Ищите Алферова. Машину угнал он. Ребята видели.

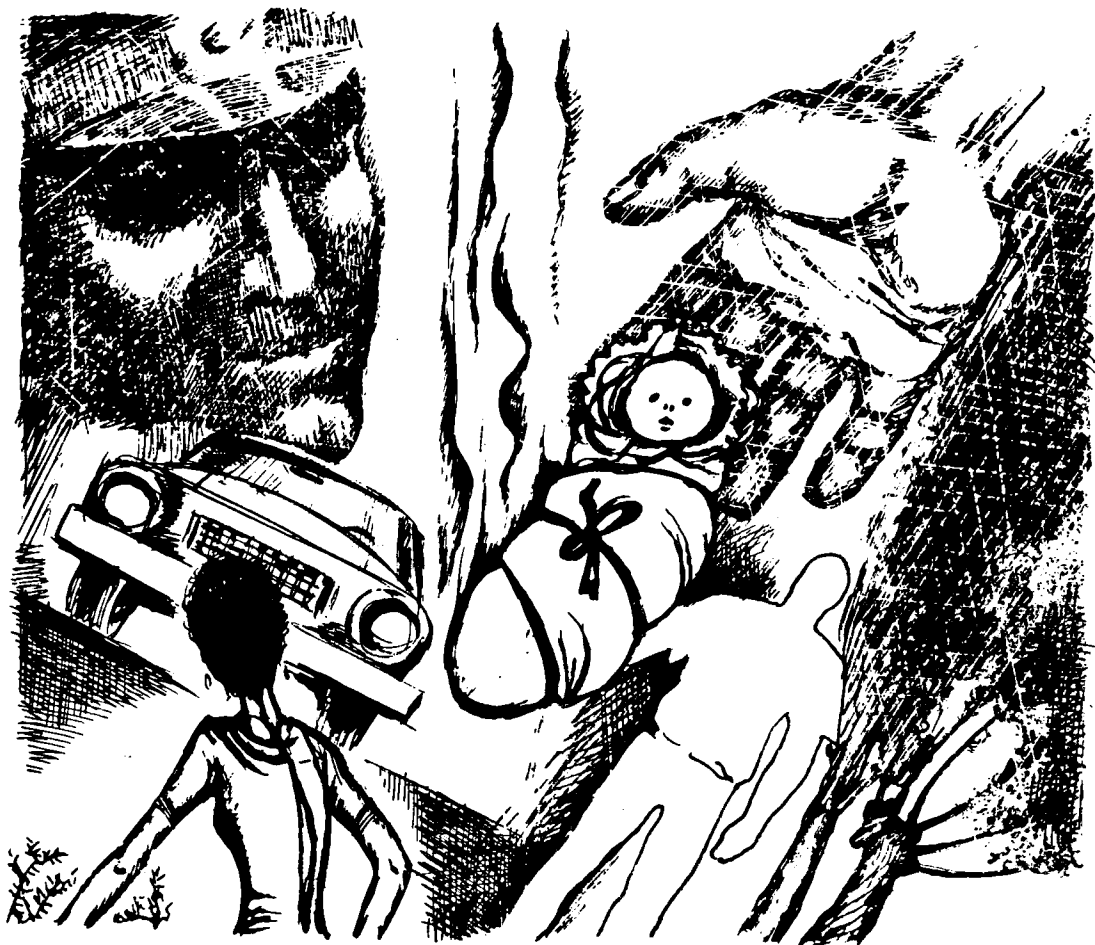
— Они признались?— даже вскочил со стула Борис.

— Они тебе признаются... По глазам вижу, что они все знают. А признаваться они никогда не признаются. Такое поколение... Нам, взрослым, они ни в чем не признаются, но доверяют. По их ромам вижу, знают. Ищите Алферова, старший лейтенант милиции. Чей же там ребенок?

Борис вышел во двор, прямо из машины связался с братом.

— Володя, ищи Алферова! Директор школы... Володя, вот гром-баба!.. Она говорит, это Алферов!

— Неужели раскололись? Обычно не признаются,— засомневался Володя.



— Да нет, но Алевтина Ивановна... Володя, это же царь-женщина!.. Она говорит, что видит их по рожам, они все знают. А вы где?

— Боря, мои дела пока плохи. Уже два часа, как угнали машину, а мы катаемся по БУТу<sup>1</sup>. Я боюсь за девочку. На магистралях его нет, Боря. Вся ГАИ на колесах, а Клыч как провалился. Боря, вытаскивай пока мамашу этого паршивца!

4

Алик отъехал еще с километр и только потом остановил машину. С кривой улыбкой на полных губах он вышел из машины:

— Ребенок? Бери этого щенка.

Зойка не сразу поняла, что он задумал, но сверток с ребенком взяла на руки и тоже вышла.

Ловко, по-хозяйски, Алик открыл чужой багажник и нашел тяжелый молоток.

— Ты чего это?— испугалась Зойка.

— Чего? Сейчас мы его по башке — и пицать больше не будет.— Алик со зловещей улыбкой поиграл молотком в руке.— Подставляй калган.

Зойка даже не осознала, чего требует от нее Алик, и отвернула одеяльце. Ребенок, уже заплаканный, поспешно улыбнулся Зойке. Зойка глянула на Алика и инстинктивно отпрянула от него:

— Нет!

— Ты чё? Давай голову!

— Нет, нет!!!

<sup>1</sup> БУТ — Большой Узбекский Тракт.



— Давай, говори! Зачем он нам? Орать еще тут будет.

Зойка, увидев перекошенное, бледное лицо Клыча, поняла, что он сейчас этим молотком вот так просто убьет ребенка и ничто его не остановит. Она испугалась и от испуга кинулась на хитрость.

— Клычок, не надо убивать. Ты послушай меня, Клычок...

— А зачем нам такой след?— Клыч уже надвигался на нее.

— Клычок, это же мокруха! За это вышка, Алик! Нам обоим вышка! Не надо мокрухи, Клычок, за угон, даже если застукают, три года дадут. Не больше. А за этого недоноска вышка, понимаешь? Клычок, не пачкай нас кровью, за это нас шлепнут, и все.

Она говорила, говорила, торопясь высказать все, и понимала, что в потоке ее слов спасение. Алик все же слушал ее, хотя еще не остыл.

— Ну и что? Так и будем его возить? Тюкну, и в речку,— настаивал Алик, но уже не так свирепо.

— Не надо, миленький Клычок, этого делать. Нас будут искать, пока не найдут, а там уже никто нас не спасет. Указ недавно был, за кражу детей — расстрел. Сама читала в газете, по телеку слушала...

— Ну и что с ним делать будем?

— Да прямо здесь, здесь оставим. На дороге прямо, вон там, под деревом... зато живого. Если что, ничего не видели, ничего не знаем.

— Машину-то искать будут,— Алик откровенно заколебался. При всем нахальном характере упоминание о «вышке» его значительно охладило. Он постепенно сдавался.— Ну и что ты с ним делать будешь? Вот течет канал, сунь его туда.

— Что ты, Клычок!— суетилась Зойка, лишь бы не обозлить Клыча.— Я его вот сюда, под кустик, и пусть себе лежит, какое нам дело. А про машину скажем, тут ее нашли. Правда же, Клычок?

Она уложила сверток с ребенком под куст тутовника и села в машину:

— Поехали на озеро.

Алик в досаде швырнул под ноги молоток, сел рядом с Зойкой, запустил мотор и включил скорость.

— Клычок, я есть хочу,— виновато протянула Зойка, искоса глянув на Алика.

Он промолчал, потому что и сам давно почувствовал голод, но кроме этой отмычки, он из дома утром ничего не взял.

Через пару километров показалась арка с надписью «Зона отдыха «Голубые озера». И Алик, не заезжая в зону, остановил машину у края дороги.

— Пошли купаться, Зойка.

На Голубых озерах в будние дни никого не бывает. Они покупались в ближнем к дороге озере, но и от этого настроения не прибавилось. Сказывались усталость и голод.

— Поехали,— как-то нехотя поднялся Алик,— одевайся.

Когда они дошли до машины, Зойка остановилась около задней дверцы:

— Знаешь, Алик, я дальше не поеду.

— Да ты что?— задохнулся Алик.— Что тут делать собираешься?

— Я к ребенку вернусь, Алик. Он один там...

— Ты что, сука!— заорал на нее Алик.— Заложить захотела?

И от отчаяния, от безысходности, которые он еще полностью не осознал, он изо всех сил ударил ее по лицу. Она упала около задних колес, и он, еще несколько раз ударив ее ногой, обутой в кроссовку, завел машину. Подумал, зло крутнул головой и включил с большим трудом заднюю скорость, чтобы колесами раздавить, расплющить эту дрянь. Ведь он машину брал, чтобы перед ней похвастаться, с ней покататься, а она, она...

Будь он чуть поопытней, раздавил бы ей голову, лежащую прямо у правого колеса. Но он не смог направить машину задним ходом как надо.

Теперь он ехал вдоль канала один. Впереди показалась развилка. Вправо уходила дорога на Янгиюль, влево — на Михайловку. И здесь машина заглохла.

## 5

Капитан Салакаев нервничал. Он поддерживал связь с Борисом, с центром ГАИ, с вертолетами, но ничего утешительного пока не поступало. На Потанина он боялся смотреть. Ребята сзади отдыхали, прикрыв глаза. Вторая машина плелась за ними.

Салакаев мучительно думал, прокручивал десятки вариантов, но никакого выхода не находил.

— Ребята, у кого харч с собой?— спросил он, не оборачиваясь.

Хатам молча подал из-за плеча термос с кофе и уже подсыхающий пирожок. Черный кофе с сахаром это то, что нужно.

— Глотните,— предложил Володя Потанину, но тот решительно помотал головой.

— Да не коньяк, не думайте, это кофе.

Потанин подумал и взял термос, сделал несколько глотков. Он и сам любил кофе, но такой крепкий не заваривал. От него, и правда, сил прибавилось.

По магистрали Алферов гнать не будет, подумал Володя, он же должен знать, что там ГАИ его сразу засечет. Он, конечно же, метнулся или в сторону Келеса, в Казахстан, или же к Чирчику. Пацан, видимо, знает окрестности и рисковать на магистрали не будет. Или в степь, или к Чирчику.

А Потанин терзался мыслями и о дочери, и о жене. Как она там, дома? Хорошо, если догадается позвонить и позвать бабушку, единственную свою родственницу. А так одна ведь и умереть от сердечного приступа может. О Свете он уже и думать боялся. Убита, выброшена в помойку, и им никогда не увидеть ее умильную мордашку.

— Обоим вертолетам,— передал в это время Володя,— оставить магистраль. Ищите по обе стороны, по боковым дорогам. Казахстан не исключаю, но больше вероятности пойма Чирчика. Район Сергели-Чиназ. Казахстан до Абая. Он еще не ушел далеко.

Остановив знаком обе машины, Володя тут же провел короткую летучку:

— Самат,— обратился к старшему на второй машине,— жми на Абай с выходом возле Чиназа. Не исключай и Арнасайскую дорогу. Я иду вдоль Чирчика. Связь через каждые десять минут. По машинам.

Вторая машина рванула влево от бетонки и скрылась за мостом. Володя запросил вертолет:

— Иду вдоль Чирчика, следуйте за мной.

— Сколько у вас бензина в баке?— обернулся капитан к Потанину.

Тот пожал плечами:

— Заправлялся дня три назад... Четверть бака, не больше.

— Далеко не уйдет.

Капитан теперь честил себя на чем свет стоит. Ну конечно же, надо было помнить, что машину угнал пацан, а пацан по городу щеголять на чужой машине не будет, побойтся. И по магистрали не будет гонять. Он будет скрываться на сельских дорогах. Такие есть и в Казахстане, и здесь, слева от бетонки. Как сразу не сообразил!

Теперь рация щелкала все чаще. Вышел на связь Борис:

— Володя, разыскал мамашу. Это такое добро, не дай бог. Орет на меня. Я ее к шести пригласил, а она уже пришла и орет на меня, что ее мальчика преследуем...

— Знакомо, не она первая такая. Жди.

Через пару минут снова рация. Теперь на связи генерал Салтанов.

— Капитан, район Голубых озер находится в оцеплении внутренних войск. Бежали двое заключенных и скрываются в том районе, будь внимательнее. Особо опасны.

Капитан ругнулся. Этого ему только сейчас не хватало!

Почему же не видно солдат из заслона? Обычно в таких случаях их кордоны на каждом шагу. Побегі случаются нередко, не зная об этом Салакаев не мог, его самого привлекали для перекрытия, когда сбегала целая группа. Двое, особо опасные... В районе Голубых озер. И если Алика Клыча занесло туда, ему конец. А что тогда с девочкой?

И снова рация, на этот раз вертолет.

— Капитан, иду на посадку. Горючка на исходе. Как поняли?

— Вас понял, связи конец.

И снова рация.

— Капитан! Иду на посадку со стороны Янгиюля, вижу вас. Капитан, в пяти километрах впереди от тебя белый автомобиль! Не могу рассмотреть марку. Маневр сделать не могу, керосину на одну зажигалку осталось. Около машины трое, капитан! Ухожу из зоны видимости. Спешите!

Вторая машина слушала все переговоры и вмешалась.

— Володя, разворачиваюсь,— раздался голос Самата,— иду от горбольницы Янгиюля. Добро?

— Давай, Самат!

— Иду за сто, включил сигналку.

Володя снова запросил вертолет:

— Вы точно троих видели? Должно быть двое или четверо!

— Трое, капитан. Раскрыты все четыре дверцы. Может, один в салоне. Посадка, конец связи.

Машина проскочила кишлак и неслась к развилке, названной вертолетчиками. Еще три, пять минут, и вот она, развилка.

Все выскочили из машины, но никакого белого автомобиля здесь не оказалось. Капитан огляделся, спрятал пистолет.

Заднее колесо прошло совсем рядом с лицом Зойки. Она закричала и зажмурилась, но грохот мотора удалился, и она открыла глаза. В крови и пыли она с трудом поднялась с асфальта, подошла к арыку и умылась. Стало немного легче.

И еще Алик парил ей мозги Штатами. Он был убежден, что обязательно туда уедет и ее возьмет с собой. Правда, еще щерился при этом: «Там женюсь на миллионерше, а тебя брошу». Уехали в Штаты, покатались на «мерседесах»... Ждут там таких, как Алик, как же. Этот debil сейчас бил ее, как падаль, задавить хотел. Ты же, как сопля, ходил следом и предлагал «дружить», а чего надо, так и не смог...

Она шла, спотыкалась, плакала, растирая кровь и слезы.

— Дебил, ребенка убить хотел. Убить... Ребенка, подонок...

Силы покидали Зойку, она снова спускалась к каналу, умывалась, охлаждала ноги в прохладных чирчикских струях, снова поднималась и шла. Всхлипывания постепенно стихали, просохли слезы. Она забыла, кто она и где она, шла как тень, ничего не видя перед собой, только бы добраться, доползти до того места, где оставили ребенка.

Зойка хорошо помнит то место. Вот здесь они стояли. Деревья растут только с одной стороны, с другой канал. Вот это самое дерево. Ошибиться она не могла.

Но свертка с ребенком под деревом не оказалось.

Зойка села под тутовник на то самое место, где лежал ребенок, расплакалась в голос, уткнувшись в ладони. Куда же делся сверток?..

...Пулат Закиров обедать приезжает часа в два и отдыхает не меньше двух часов. В самую жару он из дома не выезжает. И без того в шесть утра он уже на ногах. Поест в обед, поспит, постелив курпачу прямо в воротах своего двора. А чему тут удивляться? Только в воротах и найдешь хоть небольшой сквознячок. Хороша жизнь, когда и работаешь, и отдыхаешь в меру. Дом у Пулата большой, хозяйство крепкое. Детей у него... восемь, а девятого сейчас Мехринисо грудью кормит. Ничего, всех Пулат прокормит, колхозный механизатор.

Он не заметил, что проспал целый час, поднялся, попил остывающего чаю и завел свой «Беларусь». Мехри, ставшая очень толстой и ворчливой, что-то наказывала ему вслед, но он уехал. От его ворот до асфальта с полкилометра, но их приходится преодолевать по глубокой пыли, и он ведет трактор тихонько; но на выезде небольшой подъемчик, тут Пулат лихо газанул и выкатил на асфальт. Проехав метров пятьдесят, он увидел прямо на дороге новенький тяжелый молоток. Это определенно здесь горожане побывали, вечно они чего-нибудь теряют. А ему новый молоток в хозяйстве очень пригодится.

Пулат спрыгнул с трактора. Молоток лежал у края дороги. Видимо, баллон монтировали и забыли. Пулат нагнулся, потянулся за молотком и тут услышал детский писк. Рука так и застыла в воздухе. Неужели шайтан над ним шутки играет? Он взял молоток, но снова услышал детский крик.

Поводив по сторонам глазами, Пулат увидел прямо перед собой завернутого в покрывало ребенка.

— Йе?!— несказанно удивился Пулат.— Так они вместе с молотком и ребенка забыли?

Он нагнулся над ребенком и испугался. Ведь он хорошо знает, как должны выглядеть дети. Этот ребенок до того наплакался, что теперь хрипит, а на его губах появилась пена. Пулат схватил его в охапку и большими скачками побежал к своему дому.

— Мехри! Мехри!— кричал он еще издали.

— Ну чего ты орешь, непутевый?— заворчала жена, и в ее голосе послышался отдаленный гром.— Разве голову на пороге оставил?

— Ты смотри, смотри, что лежит на дороге!

Уж если Пулат понял, что с ребенком, то Мехри, мать девяти детей, и рассуждать не стала. Ловко сбросила насквозь мокрые пеленки, завернула в сухую и чистую тряпку, обтерла личико влажной тряпкой и достала грудь. Такой грудью, хихикнул про себя Пулат, троих накормить можно, но вслух этого сказать не решился.

— Девочка,— непривычно ласково сказала Мехри, прижала к себе ребенка и тут же напустилась на Пулата:— А ты? Девять штук, и все мальчишки! Хоть бы одну девочку родить!

Растерянный Пулат с улыбкой смотрел на свою Мехри. Что случилось с тоненькой, как лоза, нежной Мехри? А девочку и в самом деле неплохо бы в доме, одну на всю ораву сорванцов.

— Что же теперь будет?— спохватился Пулат.

— А что будет? Разве мы ее украли? Ты ее на дороге поднял. Значит, беда случи-

лась. Чего стоишь? Езжай в правление, пусть звонят в город, в милицию, они знают куда. Если родители живы, они умрут от горя!

Пуллат неловко потоптался, потом вспомнил про молоток, который все еще держал в руке, сунул его под крышу ворот и поплелся к трактору, который так и тарахтел на дороге. Вскоре он развернулся и погнался на центральную усадьбу. Над ним на малой высоте прошел вертолет с раскраской ГАИ. Пуллат только вздохнул ему вслед. В Сергели их аэропорт, это Пуллат знает. Летают вот люди, а он по земле на тракторе своем ползает.

...Зоя выплакалась, поднялась на ноги. Она настолько опустошена и обессилена, что побрела по дороге к городу. Она очень хотела направиться к усадьбе, куда вела пыльная дорога со следами трактора, но в пыль сунуться не решилась. Прошла еще с полкилометра, постучалась в калитку ворот, выходящих прямо к дороге, и попросила хлеба.

## 7

На этой развилке мотор заглох.

И словно по сигналу, из кустов, припавших к каналу, вышли двое мужиков. Один их вид говорил, что это за люди. Алик смотрел на них, онемев. Словно они из кустов заглушили ему мотор. Но и они сразу поняли, что за водитель перед ними. Этот лопух решил, видимо, на папиной машине покататься.

— Что, малый, искра в баллон ушла?— улыбнулась одна небритая физиономия.

— Я... не разбираюсь,— признался Алик, угомоня дрожь в коленях.

— А ну, дай помогу,— первый властно убрал с пути Алика, а второй тут же юркнул на заднее сиденье:

— Пошамать у тебя ничего нет?

— Сам еще с утра не ел,— посмелел Алик.

— Машина-то чья?— хитро прищурился первый, пытаясь завести мотор.— Бензонасос ты перегрел. А ну, помочи тряпку, мы его охладим да и поедем. Так чья машина?

— Да-а...— протянул многозначительно Алик.

— Лихой, однако, ты парень. Ну, садись рядом, я уж сам поведу. Видел, как ты петлял. Тоже мне водила...

Через пятнадцать минут они въехали в Михайловку. Оба озирались осторожно. На открытой веранде столовой обедали трое гаишников, неподалеку стояла их машина. Тот, что сидел за рулем, достал из-за пазухи пистолет. Алик похолодел. Но гаишники даже не посмотрели на этот «Москвич». Увидев на столе у них початую поллитровку, водитель хрипло засмеялся:

— Этим сейчас не до нас.

Он достал из кармана двадцать пять рублей и протянул их Алику:

— Иди и набери самсы, штук тридцать. И мы оголодали, да и ты есть хочешь, видно.

Алик набрал в большой бумажный пакет, купленный тут же, сорок штук самсы. Равнодушный пекарь, привыкший ко всему, сунул ему на сдачу мокрые бумажки. Алик прошел мимо стола с гаишниками, но они и головы к нему не повернули.

Алик быстро сел рядом с водителем:

— Порядок.

— Видели мы,— одобрил его водитель,— ну, теперь куда? Что впереди, малый?

— Сейчас мост через Чирчик будет.

— Охраняемый?

— Никто его никогда не охранял.

— Тогда держи хвост пистолетом!

Машина перелетела над рекой и неожиданно для Алика свернула влево, на каменистую неасфальтированную дорогу.

— А туда вам зачем?

— Поймешь,— только и ответил водитель.

...Обе оперативные машины сошлись на развилке. Машина здесь была, была. Всего несколько минут назад ее видел вертолет. Куда же она исчезла? Вот ее протекторы, вот следы кроссовок и двух пар ботинок. Или кирзовых сапог, не поймешь. Кто же это топтался около машины? И была ли с ними девушка? И ребенок?

— Идем на Михайловку,— распорядился капитан.

Двое гаишников еще обедали, когда их позвали.

Старший из них, Бахтияр, удивился, что их отрывают от такого обеда.

— Вы получили приказ проследить за белым «Москвичом»?— спросил его коренастый капитан.

Полное, без единой морщинки лицо расплылось в недоумении:

- Никакого приказа не было.
- Рация у вас работает?
- Рация работает, а приказа не было,— обиделся Бахтияр.
- Недавно белый «Москвич» не проходил?
- Нет, не проходил.

Салакаев подошел к тандыру, купил восемь штук самсы, по одной каждому в группе и на Потанина.

Повар сказал вполголоса:

— Только что прошел белый «Москвич». Эти,— показал он головой на пирующих,— его не заметили.

— Куда пошел «Москвич»?

— К мосту, к мосту, начальник. Недавно ушел.

Проскочили мост. Машину Самата капитан отправил вперед, а сам остался у въезда на мост.

... Водитель проехал еще километра два и загнал машину под развесистое дерево. Алик уже освоился в этой компании, да и они поняли, что пацан годится, хотя все ему говорить не следует.

— Зачем мы сюда?— спросил Алик.

— А вот самсу поесть да речной водичкой запить. Годится?

— Годится,— обрадовался Алик.

— Так чья же это машина? Папаши твоего?

Второй все время молчал, косился. Он был недовелен, что за ними вяжется пацан.

— Не моя,— успокоил Алик, уплетая первую самсу,— взял я ее.

— Ну, орел! То-то, смотрю, больно зелен хозяин машины. А сколько у тебя бензина в баке?

— Не знаю,— беспечно пожал плечами Алик.

— Пока мы будем тут купаться, парень,— ласково объяснил водитель,— ты возьмешь канистру и пойдешь купишь бензин, понял? А к вечерочку и тронемся. Тебе-то куда?

— Домой уже надо,— вспомнил Алик,— мать искать будет.

— Домой так домой— сразу же согласился водитель,— и домой завезем, а пока ешь.

Они и сами ели жадно, запивали водой из Чирчика.

— Тебе, малый, сходить надо к мосту,— поучал водитель,— под ним самосвалы моют. Видел, наверное? Дашь бабки, и тебе плеснут, деньги жалеть не нужно, лишь бы горючку добыть.

Алику дали канистру из багажника, снабдили деньгами, хотя сдачи у него от самсы еще много осталось, и он, жуя на ходу, поплелся к мосту.

— И что ты с этим сукиным сыном делать собираешься?— спросил второй.— Учти, мне он не нужен.

— Мне тоже. Вот заправимся, а потом тут камушком и придавим. — У водителя после обеда настроение заметно повысилось.

А Алик, жуя на ходу, плелся к мосту, хотя ему очень не хотелось. Над его головой низко прошел вертолет, делая разворот, но Алик и подумать не мог, что этот вертолет имеет к нему самое прямое отношение. Он вздохнул и достал еще одну самсу. Под мостом действительно моют самосвалы. Хоть умри, а бензин купить нужно.

Здесь Алик впервые подумал, что скоро кончится день, придет домой мать и первым делом хватится его, а он так далеко от дома и еще неизвестно, когда вернется.

Эти двое его не напугали, а пистолет захотелось подержать в руке. Вот вернется с бензином и попросит. Хоть раз в жизни подержать пистолет в руке.

## 8

Капитан Салакаев увидел подростка с канистрой и все понял. Ясно, что машина и сам угонщик здесь, но ребенок, ребенок.

Что с ним? Где он и жив ли вообще?

— Брать не будем. Пропустим,— приказал он группе. Ребята поняли своего капитана с полуслова. «Нива» тут же ушла вперед, развернулась в центре колхоза и вернулась к мосту, остановившись слева от «Жигулей». Ребята из машины не выходили.

Около «Жигулей» стоят четверо мужиков и рассеянно разговаривают. Алик, не обращая внимания на этих отдыхающих, которые, наверное, высматривают место, где бы им искупаться, шлепал мимо них, жуя самсу. Он все еще не был обеспокоен. Эти

двое в его машине ничего мужики, накормили его, а дальше видно будет. По крайней мере, сейчас ему ничто не грозит.

Но как только он ступил на мост, на него обрушился мужчина в светлом костюме, свалил его на землю и вцепился в горло:

— Где моя дочь, негодяй?

Алик хрипел, глаза его выкатились еще больше.

— Берите в машину, — распорядился расстроенный капитан.

Потанин расстроил его дальнейший план. Братъ мальчишку на мосту, который просматривается с обеих сторон издалека, было ошибочно. Если есть сообщники, а капитан в этом не сомневался, то они следят за Аликом, и как только увидят, что его схватили, скроются. Было бы важно увидеть, куда пацан направляется. Но дело свершилось, угонщик лежит в машине на полу, и план нужно менять на ходу. Капитан сел в машину и наклонился к Алику:

— Только быстро! Где машина и кто в ней? Где ребенок?

— Там машина, — захныкал Алик. — Никакого ребенка не видел. Чего вы?

— Кто в машине?

— Я не знаю. Сами сели. Я их не знаю, не знаю!

Над мостом завис вертолет, и капитан метнулся к рации.

— Капитан, выше вас по течению в кустах белый «Москвич», рядом двое мужчин. Берем?

— Вас понял, иду на задержание. Прикройте сверху.

— Есть, сделано.

... Беглецы, едва заметив вертолет, поняли, что с высоты высматривают их, знаки ГАИ на борту они рассмотрели сразу. Водитель вынул пистолет, а второй развернул фуфайку и достал автомат. Охрана лагеря прозвала оружие.

— Пробиваться будем? — спросил водитель.

— Тебе не знаю, а мне сдаваться нельзя, — зарядил автомат второй, — за мной дела еще с Афгана. Буду драться. Гляди, машина!

Прямо на них, не разбирая дороги, неслась «Нива» на предельной скорости. «Афганец» припал к земле и плеснул навстречу машине короткую очередь. Водитель с пистолетом лежал рядом, но пока не стрелял. Из машины в обе стороны, распахнув дверцы, высыпались оперативники и залегли. «Афганец» полоснул очередь по пустой машине.

— Зачем тебе это? — проорал водитель.

— Подожду! Забыл про вертолет?

— Лишь бы патронов хватило.

В рост на них оперативники не шли, а вертолет не садился, только повис в сторонке.

Капитан Салакаев, приложив ладонь ко рту, громко, но спокойно окликнул:

— Ваше дело дохлое, мужики! Сдаваться пора!

— Вот пришью пару твоих гадов, тогда посмотрю! — отозвался «афганец».

— Вертолет садится! — оглянулся водитель. «Афганец» выпустил очередь по вертолету, но поджечь не сумел.

— Крышка нам. Сдаваться надо, — опустил руки водитель.

«Афганец» прикинул патроны в магазине, потом посмотрел на пистолет в руке водителя. Есть еще маленький шанс. Он неожиданно взмахнул автоматом, оглушил водителя и, выхватив у него пистолет, кинулся бежать.

Это уже было безумной затеей: ребята из группы захвата бегают притче беглого зэка. Он попытался стрелять на ходу, но был схвачен, и через пять минут «Нива» с двумя беглецами направлялась к мосту. Вертолет вскоре тоже поднялся и взял курс на Сергели.

## 9

Салакаев отпустил в город «Ниву» и «Москвича», в которых увезли поодиночке обоих беглецов. Потанин без возражений отдал свою машину ребятам из группы захвата.

— Показывай, где ты ехал, — приказал капитан Алику, которого усадил сзади вместе с Хамидом. Потанин сел рядом с капитаном. Алик добросовестно показал развилку, где его прихватили беглецы.

— Показывай дальше, — сурово потребовал капитан.

Алик уже освоился и пытался запросто говорить с этими людьми.

— Вот здесь мы оставили ее, — показал он рукой, — вон под тем тутовником.

— Слушай, а где же твоя подруга? — вспомнил капитан.

Алик опустил голову. Салакаев уже понял этого парня. Он никогда не скажет

правды, будет до конца крутить и вилить. А капитану теперь искать двух человек: младенца и девицу.

Он обследовал место, указанное Аликом, но никаких следов пребывания здесь людей не обнаружил. Ведь если девочка тут лежала, то трава должна быть примята, от ног Алика и Зойки тоже должны остаться следы. Но ничего нет.

— Слушай, ты, орел!— раздраженно спросил капитан Алика.— А ты не темнишь? Точно здесь вы оставили девочку?

— Может, забыл я,— беспечно ответил Алик, уже освоившийся и в этой обстановке.— Я не помню.

Ох, как чешутся руки у капитана! Выпороть бы этого щенка паршивого, чтобы неделю сестра на стул не могла! А он, паршивец, еще улыбается и морочит голову.

Было решено идти вдоль дороги и искать следы девочки.

Капитан отвел Алика в сторонку, чтоб не слышал Потанин.

— Слушай, ангелочек! А не пришли ли вы девочку? Ты же тот еще гусь. А ну, раскалывайся!

— Да не убивали мы ее! Мы с ней тут поиграли, а потом она плакать стала, мы и уехали,— Алик даже раскраснелся от обиды.— Ну почему вы мне не верите? Зачем мне мокруха? За нее вышку дают...

— А ты битый, оказывается. Тогда, где девочка? Да, а где же твоя подружка? Зойка, кажется?...

В это время Хамид и Саша обследовали обочины дороги. Нехорошие мысли вызывал и канал, который шел вдоль всей этой дороги. Вполне может случиться, что придется обшарить весь канал. Но этого капитан Потанину сказать не решился.

Салакаев огляделся. Вдалеке виднелись усадьбы колхозников. Придется провести опрос местных жителей, хотя это дело хлопотное и редко дает результаты. Они подъехали к кишлаку, постучались в первые ворота. И там обнаружили спящую на супе Зойку. В доме оказалась одна старуха, все взрослые были в поле. Она и приютила девушку.

— Да вы не там искали,— заявила Зойка, выслушав Салакаева. — Идемте, я вам покажу, где я ее оставила...

Вечером, в двадцать два часа, когда уже начало темнеть, на третьем этаже райотдела собрались почти все, причастные к этому событию. На четыре часа позже, чем намечал вначале капитан.

Алик Алферов сидел в изоляторе в полуподвальном помещении и вызывающе орал молодежные песенки. Но это от страха перед неизбежным возмездием. Зойка Айшина ходила по коридору с Ириной Аркадьевной и тихим голосом рассказывала все подробности этого сумасшедшего дня. Она уже немного успокоилась, но стоило ей вспомнить, как Алик Клыч размахивал молотком над головой грудного ребенка, и ее плечи начинали зябко передергиваться.

Капитан Салакаев принял душ, переделся в летнюю офицерскую форму и смотрелся теперь солиднее и официальнее, чем обычно. Возвращаясь в свой кабинет, увидел Вячеслава Семеновича и остановился около него:

— Добрый вечер, Вячеслав Семенович! Я почему-то думал, что вы не придете. Ваши показания были важны для меня, хотя следователю они мало что дадут. Я же определил с вашей помощью первоначальное движение машины.

— Видите ли, Владимир Васильевич, я здесь со своей коллегой и нашей ученицей.

— Вячеслав Семенович, зайдите ко мне, если не трудно, через полчаса, у меня сидят дружки Клыча. Эти... Леха, Олег и Нури. Вам будет любопытно на них посмотреть,— пригласил капитан.

Кучеров молча склонил голову, благодаря за приглашение. Выразительно поджав губы, он наблюдал за происходящим в коридоре и в душе ругал себя за то, что ввязался в эту историю, Сидел бы сейчас дома у телевизора и наслаждался душевным комфортом. Но тут тоже для наблюдательного ума пищи хватает.

Стремительно вошла ярко раскрашенная женщина с несколькими развязными движениями. Он сразу понял, что это мать Алика Клыча. Настроена она воинственно, и ясно, что будет насмерть сражаться за своего сына и винить всех на свете. Кучеров, например, ее раньше не видел, он же не классный руководитель, но уже понял, что это за дамочка.

Потаниных и угадывать не нужно. Они приехали с ребенком на руках. Он, уже ввязавший себя в руки, холодно спокоен, очень внимателен к жене, пытается даже шутить, хотя это дается ему с трудом.

Один момент не ускользнул от внимания Кучерова. Татьяна Ивановна Потанина, увидев Любу Алферову, обменялась с ней такими взглядами, что Кучеров сразу понял: «Эге, да ведь эти две молодые женщины знакомы, и давно!» Кучеров продолжал наблюдать за ними. Ведь если бы Любовь Алферова была знакома со всей семьей,

она бы подошла к ним сразу, но она этого не сделала, значит, будет продолжение встречи.

Две матери, обе еще молодые, в чем-то изменились после обмена взглядами. Любовь Алферова, до этого момента напряженная, как взведенный курок, неожиданно торжествующе улыбнулась, распрямилась. Татьяна Потанина, наоборот, нахмурилась, улыбка сошла с ее лица, и Кучеров подумал, что мать Алика Клыча обязательно подойдет к жене Потанина и заговорит с нею. Но пока муж рядом, Алферова к Татьяне не подходила. Значит, выжидает момент, когда Татьяна останется одна.

Капитан выглянул из кабинета, увидел Потанина и пригласил его к себе:

— Сергей Сергеевич, вы к следователю? Зайдите ко мне на минутку.

Как только Потанин зашел в кабинет, Любовь Алферова оказалась рядом с Потаниной, как и предполагал Кучеров. Он равнодушно прикрыл глаза, делая вид, что не слышит разговора, хотя Любовь не очень умеряла свой голос. Впрочем, кажется, она и не очень старалась сохранить беседу в тайне, говорила нарочито громко в расчете на то, что их услышат все в коридоре. Но в коридоре милиции видели и слышали всякое, поэтому на этих двух женщин внимания никто не обращал.

— Ну что, Танюша,— подбоченилась Любовь.— Вижу, устроилась? Так вот тебе мое слово. Пусть твой муженек заберет заявление и закроет дело. Машину вам вернули, пигалица твоя цела, вот и мне сына спасать нужно. Учти, Танька, если твой бабай не заберет заявление, я ему все расскажу, пусть знает. Когда тебе поконторить нужно было, когда ключ от хаты был нужен, так ты ко мне: «Любочка, Любочка, сама понимаешь!» Так вот знай, все твои похождения разрисую, в картинках расскажу.

Но на лице Татьяны Потаниной, вопреки ожиданиям, появилась внимательная улыбка.

— Чего, чего улыбаешься? Думаешь, пожалею?

— Злая ты, Любка, не повезло тебе в жизни крепко. Так вот учти, мой муж все о моем прошлом знает. Чтоб никто меня за прошлое не травил, я сама ему все рассказала. Как знала, что найдется дрянь, которая шантажировать меня будет. Так что зря будешь стараться, Любочка, он тебя слушать не станет. Не веришь? Попробуй, он сейчас выйдет, подойди. Твой волчонок нашу крошку молотком хотел убить, бросил ее на дороге погибать, а теперь ты хочешь, чтобы все шито-крыто? А ты помнишь, когда мы были подругами, я тебе говорила, смотри, Люба, твой мальчишка врун, как ужонок хитрющий, подлый парень растет. Ты тогда обижалась на мои слова. Не старайся, Любаша. Зла я людям никогда не делала, даже когда непутево жила, а вот от тебя и сына твоего на километр злом тянет. Нелюди вы. Вон, вышел Сергей, начинай!

Сергей Сергеевич подошел к жене, взял из ее рук «автомобильную леди».

— Поехали домой, Таня. Сегодня следователю не понадобится.

Он даже внимания не обратил на Любовь Алферову, и уже на ходу сказал жене:

— Как я понял, это мать негодяя. Не нужно с ней общаться. Вообще.

Через три минуты они сели в «Москвич» и уехали. Кучеров специально подошел к окну и все это видел.

. . .

Раз в два-три месяца в колхозе имени Кирова к Файзиевым приезжают гости из города, привозят гостиницы детям. В этот день делается плов, беседуют, сидят подолгу. С Потаниными иногда приезжает Зоя Айшина. Она особенно льнет к Татьяне Ивановне, любит возиться с маленькой Светкой.

Никто не вспоминает об ужасах того дня. Только Таня иногда пошутит:

— Иди, иди, Светочка, к тете Мехри. Это же твоя вторая мама, ведь ты ее молоко сосала!

Толстое лицо Мехри тут же распыляется в улыбке. Но и тут она находит повод напустить на мужа:

— Десятым уже хожу! Неужели снова мальчишка будет?

Пулат виновато улыбается и, чтобы снять неловкость, протягивает гостю пиалу:

— Пейте, Сергей-ака!

Подолгу сидят эти две семьи. Потанины все время приглашают Файзиевых к себе в гости. Но хозяева только грустно улыбаются. Куда тронешься с такой оравой и на кого оставишь хозяйство?

Зло разъединяет людей. Но ведь добро сближает.

Всем бы помнить об этом.





К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

## ОДНАЖДЫ ИЗБРАННЫЙ ПУТЬ

В начале 70-х годов ряды художников книги Узбекистана пополнились молодыми талантами. В числе их был и Анатолий Бобров, чьи иллюстрации поныне украшают страницы издаваемой у нас литературы.

За годы работы А. Бобров оформил много книг — разных по содержанию, стилистике, принадлежности к культурной сокровищнице разных народов. Работая над книгой, А. Бобров в каждом случае прежде всего думает о создании единого облика книги, отвечающего всем требованиям искусства сегодняшнего дня. И одновременно им ставится другая важная цель — как можно убедительнее передать, донести до читателя свое личностное восприятие литературного произведения, свое отношение к нему.

В числе первых работ художника были «Индонезийские сказки и легенды» М. Р. Дайо, каракалпакский эпос «Сказание о Шахрияре», индийский эпос «Рамаяна», поэмы Х. Алимджана «Семург» и «Ойгуль и Бахтиер», книга стихов А. Мухтара «След руки».

В иллюстрациях к «Индонезийским сказкам и легендам» главным для А. Боброва стало соединение декоративности, национального колорита и яркой образной характеристики. Сочные по цвету иллюстрации включают характерные для искусства Индонезии рельефные маски. От драматизма ситуаций, жестов и поз, от напряженности цвета в иллюстрациях к этим сказкам А. Бобров, работая над каракалпакским эпосом «Шахрияр», сознательно шел к воплощению драматизма внутреннего состояния героев. Герои эпоса испытывают неожиданные удары судьбы: нужду и лишения, необузданную власть колдовских сил, злобу и коварство. Но, пройдя через беды, они сохраняют в себе самое дорогое — человечность, умение всем сердцем отзываться на добро.

Крупные полосные иллюстрации А. Боброва к разным книгам обычно исполнены в смешанной технике (гуашь, акварель, карандаш, перо), лишены прямолинейности в трактовке содержания произведений. Хотя главное действующее лицо каждой иллюстрации воспринимается сразу, однако в целом ее содержание прочитывается постепенно. От читателя требуется пристальное и внимательное вживание в изображение, рассчитанное на долгое рассматривание и сопереживание. Зачастую художник вводит в композиции мелкие детали, стихотворные или прозаические строки, которые не только дополняют содержание изображенного, но и несут немалую эмоциональную нагрузку.

В одних случаях А. Бобров видит свою задачу в достижении яркой образной характеристики и передаче национального колорита, в других — в выявлении героики событий, в третьих, что наиболее часто, — в необходимости приоткрыть внутренний мир героев. Отсюда пристальное внимание художника к позе, жесту, выражению лиц персонажей, цветовому контрасту.

Именно в таком плане подошел художник к решению образов великого индийского эпоса «Рамаяна». Вспоминая о работе над этой книгой, А. Бобров как-то сказал: «Прежде чем приступить к иллюстрированию, я познакомился с некоторыми изданиями «Рамаяны», в том числе и зарубежными. Обратил внимание, что художники, особенно зарубежные, события эпоса воспринимают и трактуют через призму декоративности, с налетом юмора, утрируя восточную миниатюру, одним словом — в чисто сказочном ключе. На мой взгляд, это не совсем верно. Уже сама завязка эпического сказания, непосредственно связанная с его созданием, дает толчок к мысли, что в «Рамаяне» больше драматического, даже трагического, чем сказочного».

Вот этим пониманием доминирующей ноты эпоса и определено содержание

иллюстраций. А. Боброва волнует отражение чувств персонажей через красоту и пластику человеческого тела. Отсюда и крупный формат иллюстраций, позволяющий показать героев в рост, в разном ракурсе.

Работая над юбилейным изданием поэм Х. Алимджана, художник старался сохранить в иллюстрациях присущий поэмам романтический стиль, вобравший в себя фантастику событий и реальность переживаний героев. Яркая броская суперобложка с изображением одного из главных героев поэмы «Семург», пастуха Буньяда, открывает книгу. И уже начиная с этого изображения читатель входит не только в мир вдохновенного поэтического слога, но и в мир, созданный фантазией и видением художника. Символичен цвет в иллюстрациях: нежные тона радуги — предвестницы добрых дел Семурга — сменяются грозными красными облаками в изображении сцены подавления шахом восстания («Ойгуль и Бахтиёр»), а небольшие цветные камни ожерелья в руках Ойгуль, оттенки ее одежды подчеркивают женственность героини и звучат контрастно введенным в сцену изображениям леопарда, дива, наводящим на мысли о хищности, коварстве и жестокости другой героини, Паризад.

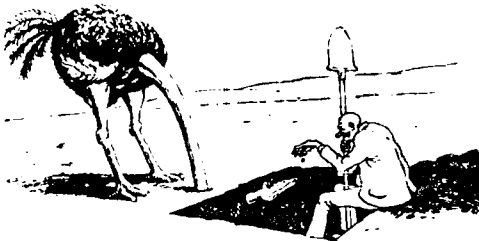
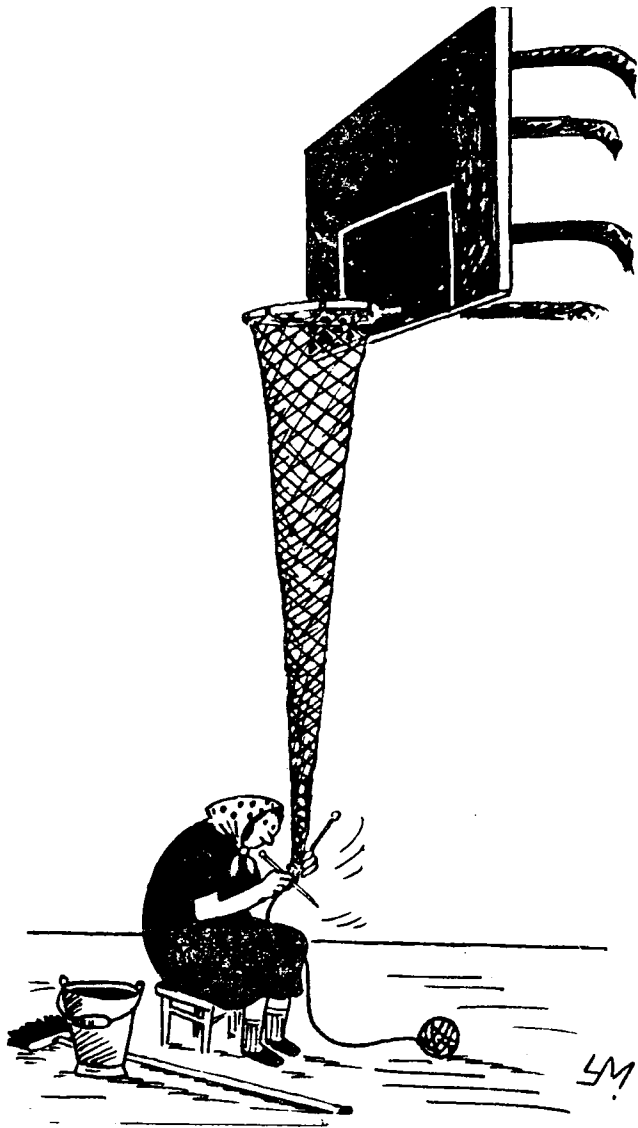
Казалось, столько художников уже обращалось к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, что найти свой путь решения очень трудно. А. Боброву удалось создать удивительно простые, добрые и милые образы двух стариков, проживших свою жизнь в мире и согласии. И старушка в его понимании вовсе не злыдня, как она предстает в иллюстрациях других художников. Не зря прожил с ней старик всю жизнь. Конечно, ей хочется быть богатой, знатной, но старик ей все же дороже всего, и не так уж она огорчена развязкой сказки.

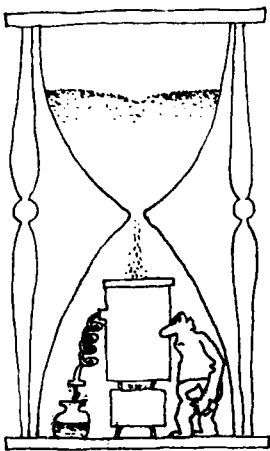
В иллюстрациях к произведениям современной литературы рисунок А. Боброва становится более свободным, штрих более беглым, хотя и здесь художник не забывает о правдивости формы. В таком ключе решены им иллюстрации к сборнику стихов «Голос века», романам Ч. Айтматова «И дольше века длится день» и «Плаха». Работа А. Боброва над оформлением и иллюстрациями к романам Ч. Айтматова, ставшая этапной в творческой судьбе художника, отмечена дипломами республиканского, межреспубликанского и всесоюзного конкурсов «Искусство книги», премией ВЦСПС.

Внимание к образному языку книжной иллюстрации и к книге в целом, ставшее главным направлением творческих исканий самого А. Боброва, лежит и в основе творчества руководимого им коллектива художественных редакторов издательства художественной литературы и искусства им. Г. Гуляма. Свой путь в искусстве они видят в поисках собственной творческой манеры, своего лица, одновременно с освоением художественных ценностей и национальных традиций, обогащением опытом всемирного искусства книги.

Н. ЗИГАНШИНА.







Рисунки И. Заирова, И. Чалмазова, В. Ненашева

# Содержание журнала «Звезда Востока» за 1990 год

Первая цифра означает номер журнала,  
вторая — страницу в нем.

## ПРОЗА

- Абдулова Д.** То счастливое лето. Визит. Рассказы. 11—70
- Березиков Е.** Вхождение в полтергейст. Этюды о непознанном. 8—39; 9—57.
- Боксер Б.** Жребий. Повесть. 6—17.
- Волков К.** Помощник Первого. Роман. 4—3; 5—19.
- Жильцова Е.** Краб в лабиринте. Рассказ. 3—81.
- Зиватулин Г.** Поездка к брату. Рассказ. 9—87.
- Зотов Г.** Скажи падишаху. Рассказ. 3—105.
- Исфандияр, Бутин Э.** Расплата. Роман. Книга вторая. 10—7; 11—3.
- Кабул Н.** Забытые берега. Роман-монолог. 7—3.
- Кагарлицкий М.** Больничный в сентябре. Рассказ. 11—58
- Каххар А.** Землетрясение. Рассказ. Перевод с узбекского Х. Исмайлова. 1—27.
- Кашапов А.** Нюрка. Рассказ. 3—70.
- Кям Б.** Когда рассеется туман. Рассказ. 9—103.
- Махно Н.** Вдова — не вдова... Рассказ. 4—105.
- Мухтар А.** Серебряная нить. Повесть. Перевод с узбекского И. Рогова. 2—28; 3—9.
- Насыров Э.** На пригорке, у края поля. Рассказ. Перевод с узбекского В. Морица. 4—93.
- Низаев П.** Диалог со станком. Рассказ. 4—84.
- Норматов Н.** Если человека ужалит змея... Повесть. Перевод с узбекского Г. Немирку. 9—23.
- Нуруллах Мухаммад Рауф.** Вечера в «белом домике». Рассказ. Перевод с узбекского Р. Азимовой. 11—84.
- Петрова А.** Тяжкий и сладкий груз долгов. Повесть. 1—42.
- Рогов И.** Горечь полыни. Записки. Часть вторая. 8—12.
- Сидоров В.** В лес по ягоды. Рассказ. 9—96.
- Сотников В.** Взятки. Рассказ. 11—98.
- Слащинин Ю.** Во веки веков. Роман. 12—24.
- Шорохов А.** Рот фронт. Рассказ. 5—102.
- Шпаковская Л.** Призраки. Рассказ. 2—84.
- Юсупова А.** Цветочница. Эссе. 1—103.

## ПОЭЗИЯ

- Абдуллаева В.** «Каким он должен быть, поэт?...». Судьба. «Конец пути. И нет тревог...». «Рояль, величье мира славящий...». «Спрашивают: сколько тебе лет?...». «Опять зима, опять, опять, утраты...». «Живи, покуда жив...». «Без слаботи ничтожна сила...». «Надеемся на

завтрашнее счастье...». «Чья дорога светла и проста...». «Виноват ли кто? Не знаю...». «Мы порой — для грубости мишень...». На селе. 1—23.

- Аймурзаев Д.** «В предутренней мгле...». Семь врагов. «Я слушал людей, переживших немало...». Перевод с каракалпакского А. Наумова. 5—18.
- Али М.** Разговор о поэзии с молодым дехканином из Боза. Первая любовь. Царь и поэт. Перевод с узбекского М. Кудимовой. 8—10.
- Амит Э.** Моему деду. 8—81.
- Баграмов В.** «Среди забот, веселья, лжи и брани...». «Скользнул во тьму. Куда, к кому?». «А во мне все живет эта память веков...». «Эти веки навечно стоят перед нами...». Почта. Постылая. «Луч звезды бредет рассветом неумытым...». Скоморохи. Актерам. Песня о поэте. Паденье Рима. «Хоть ради слез твоих и песни недопетой...». 4—68.
- Байкабулов Б.** Звезда Хорасана. Главы из романа в стихах. Перевод с узбекского Г. Регистана. 6—109.
- Бакирова Л.** «Осталось мало дней в календаре...». «Сад августа...». «Бог не выдал, не съела свинья...». «...И вот отходит августа корабль...». 3—56.
- Владимиров Г.** Из цикла «Рижские закаты». Рижские закаты. Морской прибор. Волшебство рижских вечеров. Двойники. Две чуждые стихии. Память, боль земная. Последний луч. Раздумья. О вечном. Сокровенное. Прощание с морем. 7—84.
- Галимова Г.** Брест — Брест. Опять. Ботанические мифы. Память. В пользу вегетарианства. Мир прекрасен. 3—53.
- Гафуров А.** Афоризмы. 7—121.
- Гольдберг Ю.** «Двадцать строчек напишу...». «Заспать и дрожь, и дождь не помнить, не желать...». «Я возвращаюсь к осени, в полет...». «Сторублевая плата — не деньги по нынешним ценам...». 3—67.
- Гребенюк М.** Современная трагедия. Тетрадь третья. 11—76.
- Григорьянц Е.** Корабль. «Прикоснись рукой или губами...». 5—100.
- Данько В.** Человечек в Длинной Шляпе. Фантастмагорическая поэма для детей взрослого возраста. 2—92.
- Джураев Д.** Тойлакская сюита. Люди и звезды. «Пойми премуудрость этих строк...». «А как же! И мы в мушкетеров играли...». Кому водить? 2—73.
- Ешмурзаева З.** «Не в город и не к другу в час

- беды...». «Литой закат. Поникшая трава...». 3—79.
- Итаев В.** «Сон тяжелый замучил меня...». «Осенний день — осколок рая...». «Я записал старинную легенду...». «Не спеши, голубая планета...». «Какой был сон!...». «Может, не у той звезды...». «Село. Осенний день...». «И демон спрашивал меня...». «Вразвалочку, спокойно...». 8—35.
- Когтев Ю.** Август. Встреча. «Память — не капризной моде дань...». «То ли парус в море, то ли птица...». Чингизу Айтматову. 1—39.
- Колесникова А.** Стихи для Людмилы. Черно-белым платьям Беллы Ахмадуллиной. Стрелочник жизни. Белле Ахмадуллиной. «Плачь обо мне, дождливая погода!...». Вечер. «Прости меня, прости — за мой талант!...». 3—49.
- Костыря В.** Воля — разговор с болью. 10—3.
- Красильников Н.** Вторая Сарыкульская. Баллада о глотке воды. Девичий мост. Поединок, или Как поэт ловил сома. «По паркету подойдешь босая...». Аэроплан над Бухарой (1924). Устюрт. Верблюд на Учсае. Воспоминания о старом городе. Кок-Коль. Чистильщик обуви. Индустриальный скворец. «Видно, стал я забывчивым слишком...». 5—121.
- Крюкова Е.** Отпуск. На перекрестке проспектов. Белые ангелы. 3—52.
- Мадалиев С.** Рубаи. 9—50.
- Мазурова О.** «Хаос...». Июль. «Я ничего не успеваю...». «Однажды я возьму и полечу!...». «Как холодно...». «Ах, Боже мой...». 9—18.
- Мамбет Б.** К моей музе. Жизнь моя... Крыжовник. Море. Ты улыбнулась... «В тоске стареет человек...». Перевод с крымскотатарского Н. Красильникова. 4—82.
- Маркина В.** Осень. Земля. Пушкин. «У придорожных жду берез...». 3—68.
- Маргарян М.** «Я пальцы свои, словно свечи, зажгу для тебя...». «Стоя в затылок друг к другу...». Я иду. Круги. Дознание. Перевод с армянского Г. Галимовой. 9—20.
- Молочников В.** К Родине. Перепалка пернатых. Собрание. Игра. Росток. 5—89.
- Новопрудский В.** Песнь песней. Подражание Хафизу. «Да здравствуют все минералы Урала...». «Бывает, мы от делать нечего...». «Погадай мне на гуще...». 4—91.
- Одиссонова Г.** В тридевятом царстве (сказочка). «Несвобода моя...». В балагане нашей жизни. Приемш. «На Машине Времени...». До и после полуночи. 7—88.
- Пашакулов А.** Враги народа. Реанимация. Памяти друга. Расставание. Посвящение. 4—115.
- Рахмон Ш.** Из ранних стихов. Хлопок. Колдунья. Касыда гранату. Ночь падения звезд. «Растущее, сильное дерево...». «Я видел...». Океан. Перевод с узбекского. А. Исмаили. 9—85.
- Резниковский Г.** Плач по дереву. Фотография А. И. Солженицына. Смута. Чертогон. Бессмертники. «Когда в величии спокойном...». Считалочка. «Напев уютный, однострунный...». 7—75.
- Сайяр.** Моя песня. Время. «Волосы под ивой Лейли распустила...». Деревья-фонтаны. Перевод с узбекского В. Топорова. 4—113.
- Санаев И.** Беспкойный мир. На производственную тему. Сон. «К наживе страсть...». Мгновение. Голуби. Перевод с узбекского
- Д. Кучеренко. «Подлец от добрых дел безжит...». «Чин получив, не мни...». «Ты властью в важных наделен делах?..». «Удачливым друзья несут дары...». «Что будет завтра, не узнал никто...». «Любовь к земным дарам присуща всем...». «Мудрец в борьбе стал счастливым и могуч...». «Говорят, что перекошен мир...». Перевод с узбекского Г. Резниковского. 1—3.
- Син-Угъл А.** Корни чинары. Откуда знать тебе?.. Свое гнездо. Народ. Перевод с татарского В. Парфентьева. 5—99.
- Субботин Е.** «В бескрайнем зале мироздания...». О давнем. «Конечно, каждый человек...». «И кричат нам деревья...». 4—89.
- Суюн А.** Влюбленный. Старый волк. «Я сердцу своему кричу...». Любовь. Перевод с узбекского Е. Субботина. 8—37.
- Тарбева С.** «Деревья, птицы, воды, облака...». «Есть у осени странное право...». «И день, и час, и миг настанет...». «Ну что ты ропщешь на судьбу...». Саратан. «Кто ты, сын мой?...». «Я выпадоу в кресло...». Бывают ночи круглые...». «Я поссорилась с Временем...». «Странный вечер!...». 12—108.
- Тихненко В.** «Соразмерна ширью речка Лета...». «Осень...». «Пойманный поймоу вечер...». «Греет шар земной бока...». «Сколько шума...». «Под рубашкою нет спины...». «Усохла речка...». 9—54.
- Угай Д.** Первый снег. Дорога и человек. Перевод с корейского В. Ляпунова. Солнечное затмение. Встреча весны. Перевод с корейского Н. Красильникова. 12—19.
- Уйгун.** «Дырявый камень» — «Тешик таш». Рождение музыки. Строки. У Лябихауза. «Полутемно в саду тенистом...». Дважды цветет урюк. Серебристые капли. Перевод с узбекского А. Наумова. 5—14.
- Файзиева С.** Аистиха. «Я помню лобастые горы...». В сае. «Ветры иву гнули...». Тревога. «Под тяжестью плодов согнулась яблоня...». «Черными ресницами шурша...». Алия. 3—77.
- Файнберг А.** Струна смороха. Поэма. 1—99.
- Фархади Р.** Спор о языке. «Измеришь чем и как найдешь...». Снег в Самарканде. «Читаю свои дневники...». У Черного Причала. Храм Будды. Сандаловый нож. Иудино дерево. Фергана. Июнь. 1989 г. «Когда бывает сердце влюблено...». Жизнь и судьба. «Кто я?..». 7—72.
- Федорова В.** «Пускай мой путь бывал не из прямых...». На базаре. Вовка. 3—76.
- Феськов А.** «Я бежал от рутинного...». «Сейчас мы нежно объяснимся...». Юрию Власову. Загон. Гипердума. Дорога к храму. Прощание с барьерным бегом. О, спорт, ты — мир... «Полуумные, полусытые...». Спрут. 12—121
- Ходжиева А.** Сорок первый. «...Если тысячу лет простоял — и чинар упадет...». «Нет, стихи не грибы, чтобы после дождя...». «Рыдая, ослепли твои родники...». «Шербета сладкого любви своей испив...» Перевод с узбекского З. Тумановой. 3—7.
- Шер А.** «Разгорается саратан...» «Как мысль деревьев...». Рауфу Парфи. Романтика. Генерал Отелло. Дух. Перевод с узбекского К. Усманова. 12—21.
- Юсупов И.** Четверостишия. Перевод с каракалпакского А. Наумова. 5—17.
- Якубов Ш.** Лук. «Ко мне сегодня степь щедрая...». «Дождь серый набросил чачван...». «Забудь, оставь...». «Караванчик, постой,

погоди...». «Не надо ничего взамен...». «Взгляну и навек запомню...». «Любовь ушла. И что еще осталось?..». «Без вести пропавшие...». 4—86.

## ПУБЛИЦИСТИКА

### *Перестройка: идеи и практика*

- Авликулов А. Барака. 5—91.  
Алябьева И. На переломе. Субъективные заметки. 10—115.  
Голованов А. «Эх ты, масса, масса...». К истории крестьянского вопроса в стране. 8—84; 9—3.  
Духовный В. Взгляд из «третьего мира». 3—3.  
Новиков Ю. Уроки истории. 6—3.  
Татур С. Наше время. 1—7.  
Ханазаров К. В поисках третьей опоры. 8—3.  
Юрченко Ю. О человеке ветхозаветном и новом. 12—112

### *Публицистика*

- Абдуллаев М. Отравленный рай. 11—53.  
Арал в перекрестке мнений.  
Шермухамедов П. Трудно жить без Арала... 2—3.  
Орешкин Д. Аральский кризис в зеркале гласности. 2—12.  
Черванев И. Отказ от стихийного — во имя разумного. 2—23.  
Ким Б. Ветры наших судеб. 2—104.  
Грани Аральской проблемы.  
Антонов В. Беды Арала — в чем они? 12—3.  
Жолдасов А. Экология... минус этнос? 12—9.  
Разаков Р. Что делать? 12—16  
Начало. Круглый стол редакции с представителями народного движения Узбекистана «Бирлик». 4—73.  
Орешкин Д. Чего мы не простим Америке, а Америка не простит нам? Заметки командированного. 8—106.  
Турин Н. Самостоятельна ли автономия? 1—120.  
Тютюник С. По нашу сторону границы. 3—58.  
Хасанов М. Альтернатива. Из истории Кокандской автономии. 7—105.

### *Русские подвижники в Средней Азии*

- Лукин Б. Еще одна замечательная жизнь. 9—112.  
Маруфова А. Привратник чуда. 5—140.  
Попов М. «Ак-паша — «белый генерал». Скобелев в Средней Азии. 3—111.  
Такташ Р. Нукусский Дон-Кихот. 5—138.

### *45 лет Великой Победы*

- Берлянд А. Сквозь годы. 5—7.  
Рахим И. Через три войны. 5—3.

### *Боевой путь туркестанцев*

- Иванов Г. Верность долгу. 2—76.

### *Неразгаданные тайны Востока*

- Березиков Е. Магический камень Тимура. 4—132.

Ершов А. Дорогой тысячелетий. 7—91; 8—120; 10—157.

### *Страницы прошлого*

- Мирза-Ахмедова П., Рашидова Д. Джадиды: кто они? 9—137.  
Сафаров Р. До последнего дыхания. 10—147.

### *Поиски. Гипотезы. Находки*

- Варшавский С., Змойро И. Еще о докторе Д. А. Введенском. 12—153.  
Иванченко Р. Это загадочное биополе... Перевод с украинского Л. Белова. 5—143.

### *Глобус*

- Кудиннов А. Японский феномен. 4—127.  
Лобода И. Тайны китайского лака. 3—128.  
Лобода И. Китайские сюжеты. 11—42.  
Мойкин Н. Королевство в океане. 12—150.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Аксенов К. «Когда нет в зеркале лица...». 11—127.  
Васильев В. «Каким судом судите...». 6—135.  
Вулис А. На подступах к политическому роману. 1—130. Поэтика «Мастера». Книга о книге. 10—130; 11—107.  
Иванов В. «Всяк сущий в ней язык...». 6—144.  
Исаев С. Стереотипы и Творчество... 8—128.  
Красильников Н. Тропы, годы, книги. 2—131.  
Левина Л. Концерт с диссонансами. 11—124  
Мурадов Ю. Девяти веков кумир. 5—132.  
Двойники Насреддина. 9—129.  
Нуриядинов Х. Профессия — власть. 11—125  
Сафаров Р. Моей всей жизни миг. 3—92.  
Усманов А. Циркуляция застоявшейся крови. 7—79.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Абдулова Д. В сюжетных лабиринтах. 3—103.  
Вернуть время из эмиграции. 9—135.  
Ахмедов Б., Юсупова Д. За дымкой веков. 10—139.  
Бахли С. Тайна черепахи. 6—153.  
Бородаева Т. Без восклицательных знаков. 12—143.  
Васильев В. Между ложью и правдой. 12—144.  
Вулис А. Судебный протокол, или Кардиограмма судеб. 3—99.  
Захарова Л. Песни камня и воды. 7—144.  
Необычность обыденности. 10—138.  
Исфандияр. Взросление. 5—134.  
Кудряшов А., Субботин Е. Два взгляда. 4—123.  
Ле Винь Куок. Чтобы гомо мог быть и сапиенс... 8—147.  
Мар А. В поисках героя. 7—147. Новые имена. 10—137.  
Махмудхаджаев Р. Оживить историю. 12—142.  
Меньшиков Г. Было ль то, не было ль... 3—101.  
Николаев Н. Жизнь без нравственного усилия. 5—135.  
Нуриядинов Х. История любви. 8—144.  
Подпоренко Ю. Поиски жанра и... правды. 6—151.



Садык. Жизнь творца, жизнь творчества. 3—97.  
Сумин В. Система запретных тайн. 4—125.  
От Арала до «бизнеса на «любви». 9—132.  
Томилина И. Танец чужих пальцев. 8—145.  
Туманова З. Приключения мысли. 7—145.  
«В мире ребяческих чудес...». 9—134.  
Федорова В. Путь мужества. 6—152.

#### К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХАМИДА АЛИМДЖАНА

Норматов М. Светлая юность моя... Отрывки из повести. Перевод с узбекского А. Силенкова. 9—119.  
Алимджан Х. Невеста в неволе. Не прощу. Стихи. Перевод с узбекского Н. Красильникова. 9—128.

#### К 80-ЛЕТИЮ МИРТЕМИРА

Атажар. Увидеть солнце... Фрагменты из романа-эссе. Перевод с узбекского Л. Музафаровой. 5—126.  
Миртемир. На речке. В отцовской кладовке. Стихи. Перевод с узбекского Л. Мезинова. 5—131.

#### К 80-ЛЕТИЮ КАМИЛЯ ЯШЕНА

Долгая дорога. 11—129

#### К 80-ЛЕТИЮ А. Т. ТВАРДОВСКОГО

Александров В. Три встречи. 12—146

#### К 460-ЛЕТИЮ «БАБУРНАМЕ»

Флора Энни Стилл. Венценосный скэталец. Отрывок из романа. Перевод с английского А. Атакузиева. 10—141.

#### ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

Верещагин В. От Оренбурга до Ташкента. Отрывки. 3—118.  
Козловская Г. Восточный полдень Анны Ахматовой. 12—124  
Красильников Н. Весны возвращаются. 8—139.  
Лукин Б. Свет из прошлого. 6—125.  
Неизвестный Лавренев. Публикация Б. Геронимуса. 2—113.  
Фитрат А. Рассказы индийского путешественника. 7—130.

#### ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ

Азимов С. Память и памятники. 6—101.  
Услышать и понять... 8—134.

#### ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Абдуганиев А. «Свои черные мысли...». «Вспомню эллинов древних...». «Этот век не терпит Христа...». «Густая ночь вселенную охватит...». 10—82.  
Верховский Я. «Я слушаю всю ночь...». «Крупные капли ворон...». 10—59.  
Глазко Г. Когда б мы знали... Рассказ. 10—60.  
Григорьева С. «Подбираю чужие слова...». «У свечи такое маленькое пламя...». «Тревожный миг чужих стихов...». «Я не люблю больших зеркал...». «Старинная веселая игра...». 10—86.  
Жильцова Е. Степные зори. Рассказ. 10—64.  
Каримова Р. «Пускай ты покинут и всеми забыт...». «Блаженства странного минуты...». 10—57.  
Кудряшов А. Ночь. Прибой. Ветер. Лес. 10—85.  
Леонова И. Дефицит. Будущее. 10—56.  
Лузан В. Обручальное кольцо. Бабочка. 10—87.  
Матренин В. «Земля французская — Париж...». «Одиноким никто не покинет...». «Три красивые гвоздики...». 10—82.  
Мухтарова Ю. «Если птица не может покинуть гнезда...». «Я ищущу голос Ваш...». «Ветер венчает у моря влюбленных...». «Человек». «Как часто встречаем...». 8—103.  
Назарова Л. «То был не ад...». 10—59.  
Никитенко Т. Молния. Рассказ. 10—69.  
Петин Д. Кинулись волосы со лба. Влюбленность. После ссоры. Взгляд. 10—55.  
Плеханов В. Душе Эдгара. «Занесенный ветром...». Самообладание. 10—58.  
Пташкин Е. Диалог с Ностальгией. «Тихо все...» 10—84.  
Салимов С. Глаза внука. Весна в степи. «В страхе мечутся, стонут ветки...». «Дед мой дремлет на арбе...». Перевод с узбекского К. Николаева. 10—85.  
Стуловский А. Остерегайся полнолуния! Повесть. 10—88.  
Федотова С. «Кубик-рубик в шесть цветов — это жизнь...». «Как неумело мы, люди, живем!..». «Планета-древо...». «Нет, смерть не спросит...». «В звуках времени город тонет...». Не люблю. Памяти папы. «Чей голос предвестит беду?...». 8—100.  
Шамаева Е. «Я как-то раз спросила...». 10—59.

#### КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Навои А. Рубай. Перевод с узбекского А. Наумова. 3—135.  
Фитрат А. Страшный суд. Перевод с таджикского Ш. Муталова. 11—132.

#### ПИСАТЕЛИ — ДЕТЯМ

Юлдашев С. Рассказы. 5—152.

#### ПИСАТЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА

Махфуз Н. Нераскрытое преступление. Рассказ. Перевод с арабского Г. Колесникова. 5—147.  
Морримура С. Сущий дьяволенок. Рассказ. Перевод В. Томилова. 2—134.

Лим Т. Море. Рассказ. Перевод с английского Н. Степановой. 11—150.

## ПИСАТЕЛИ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Габриэль Гарсиа Маркес. Тайны Съенано де ла Сьерпе. 7—124.

## КОРАН

Усманов М. Древний памятник литературы. 1—142.

Сура 1. Открывающая книгу. 1—145.

Сура 2. Корова. 1—145.

Комментарии. 1—159.

Сура 3. Семейство Имрана. 2—147.

Комментарии. 2—155.

Сура 4. Женщины. 3—138.

Комментарии. 3—146.

Сура 5. Трапеза. 4—138.

Комментарии. 4—144.

Сура 6. Скот. 5—158.

Комментарии. 5—165.

Сура 7. Преграды. 6—155.

Комментарии. 6—163.

Сура 8. Добыча. 7—149.

Сура 9. Покаяние. 7—152.

Комментарии. 7—158.

Сура 10. Йунус. 8—152.

Сура 11. Худ. 8—156.

Комментарии. 8—161.

Сура 12. Йусуф. 9—154.

Сура 13. Гром. 9—158.

Сура 14. Ибрахим. 9—160.

Комментарии. 9—162.

Сура 15. Ал-хиджр. 10—164.

Сура 16. Пчелы. 10—166.

Комментарии. 10—170.

Сура 17. Перенес ночью. 11—152.

Сура 18. Пещера. 11—156.

Комментарии. 11—160.

Сура 19. Марйам. 12—155.

Сура 20. Та ха. 12—158.

Сура 21. Пророки. 12—161.

Комментарии. 12—165.

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА

Артур Кован Дойл. Комната ужасов. Как это случилось. Рассказы. 12—168.

Васильев В. Наука как наука. Роман-утопия. 3—152; 4—147.

Головин Г. Оборотни. Повесть. 10—174; 11—162.

Джеймс П. Д. Неженское дело. Роман. Перевод с английского Ч. Толстяковой. 7—163; 8—165.

Довской В. Айси. Фантастическая повесть. 9—165.

Кристи А. Убийства по алфавиту. Перевод с английского Л. Крашенинниковой. 5—167; 6—166.

Кулиш С. Автомобильная леда. Хроника одного преступления. 12—174.

Уэстлейк Д. Горячий камушек. Роман. Перевод с английского А. Зильберглейта. 1—164; 2—158.

## РЕЗОНАНС

Атчабаров Б., Шарманов Т. Вода для региона. 4—117.

Даврон Х. Завоеватель не может быть героем. Перевод с узбекского З. Хасановой. 9—142.

## ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Костинская М. «Поэта жизнь продлят его стихи...». 8—148.

## САТИРА. ЮМОР

Боков Ф. Дефицит на мужчин. Юмористический рассказ. 3—150.

Улыбка художников. Рисунки Н. Сушенцова, А. Умярова, В. Уборевич-Боровского. 5—205.

Улыбка художников. Рисунки В. Уборевич-Боровского, А. Умярова, М. Кицкотая. 8—206.

Улыбка художников. Рисунки В. Уборевич-Боровского, Ш. Субханова, Р. Ахмедова. 9—206; 11—204; 12—199.

## К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Абдурахманова. Три портрета, три истока. 7—205.

Акилова К. Живой родник традиций. 4—206.

Ахмедова Н. На пороге зрелости. 11—202.

Глазкова Н. Многообразное единство. 9—204.

Зиганшина Н. Однажды избранный путь. 12—197.

Иванов И. Что там, за этой красотой. 2—129.

Пак В. Живопись бухарцев. 10—206.

Рахимов С. Красота и вечность рядом. 1—140.

Саидов Р. И красок буйство, и мыслей простота... 6—206.

Сосновская А. Верность себе. 3—206.

## НА ВКЛАДКАХ

Краски зимы. 1.

Натюрморты. 2.

Из работ Риммы Гаглоевой. 3.

Из работ Рахмона Шадыева. 4.

Из фондов Каракалпакского Государственного музея изобразительного искусства им. И. В. Савицкого. 5.

И красок буйство, и мыслей простота... 6.

Три портрета, три истока. 7.

Работы Евгения Березикова к роману «Вхождение в полтергейст». 8.

Многообразное единство. Живопись П. Мордавинцева. 9.

Живопись бухарцев. 10.

Живопись А. Икрамджанова. 11.

Графика А. Боброва. 12.

## О НАШИХ АВТОРАХ

1—208; 3—208; 4—208; 6—208; 7—207; 8—208; 9—207; 10—208; 11—207; 12—207.

Содержание журнала «Звезда Востока» за 1990 год. 12—202.

# Дорогие читатели!

Поздравляем Вас с Н о в ы м г о д о м ! Желаем крепкого здоровья и мужества в преодолении сложностей переходного периода от одной исторической эпохи к другой!

Пользуясь случаем, приносим свои извинения за пережитые Вами тревоги в период подписки. И для нас эти два осенних месяца были временем острых переживаний за судьбу журнала. Но сотни Ваших писем, Ваши бесконечные телефонные звонки с настойчивым требованием не лишать Вас «Звезды Востока» морально поддерживали нас. Спасибо Вам за верность и преданность журналу.

В эти дни коллектив «Звезды Востока» предпринял попытку стать независимым от официальных структур и зарегистрировать журнал как всесоюзное издание. Однако этой мечте не суждено было осуществиться. И это обстоятельство побудило нас учредить новый — независимый журнал «Восток». Нам выдано регистрационное свидетельство в Госкомпечати СССР. Конечно, выпустить «Восток» в первое плавание по бурному морю литературной конкуренции будет не просто. Но мы полны оптимизма и рассчитываем уже в апреле 1991 года причалить к желанному берегу — к Вашей книжной полке, дорогой читатель. С Вашей поддержкой, разумеется. Единственное, что нас тревожит: не поставим ли мы Вас в затруднительное положение — был один журнал, стало два, на какой из них ориентироваться?

Мы думаем, что у Вас будет время для выбора, подписка на «Восток» начнется в будущем году, а до того времени мы будем распространять его в розницу, в газетно-журнальных киосках страны.

Каким мы видим «Восток»? Во-первых, какую-то часть сложившихся традиций «Звезды Востока» перенесем в новый журнал, но расширив и обогатив их новыми мыслями. В понятие ВОСТОК мы вкладываем не столько географическое содержание, сколько философское. ВОСТОК — это интереснейшее сообщество народов, конгломерат культур, религий, философских учений; мы хотели бы исследовать глубинную суть мусульманства, буддизма, индуизма, конфуцианства. ВОСТОК — это психология и склад мышления, это традиции с многовековой историей. Исходя из этих задач, мы раздвигаем временные границы, раздвигаем географические границы наших творческих замыслов далеко за пределы Средней Азии, вплоть до Индии, Китая, Израиля, Японии. Мы хотели бы проследить долгий и трудный путь взаимопроникновения западной и восточной культур и внести свою посильную лепту в этот исторически обусловленный интеграционный процесс — ВОСТОК—ЗАПАД.

Особое место займет в журнале проблематика среднеазиатских республик, построение гармоничных межнациональных отношений, жизнь русских общин.

«Восток» введет своего читателя в таинственный, всегда притягательный мир приключений, фантастики, детектива. Предполагаем опубликовать (не в один год, конечно) все романы АГАТЫ КРИСТИ, произведения Ж. СИМЕНОНА, Д. ЧЕЙЗА, Д. ХЭММЕТА, Ч. ВИЛЬЯМСА, Э. ГАЙДНЕРА, Э. БЕЙЛИ, Д. КРИЗИ, Д. ФРЕНСИСА и других, всемирно известных мастеров этого жанра.

«Восток» будет публиковать лучшие произведения ведущих прозаиков, поэтов, публицистов Средней Азии, а также других регионов страны.

В первых номерах мы намерены начать печатать вторую по значимости после Корана священную книгу мусульман « ХАДИСЫ » — ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА МУХАММЕДА и его высказывания. Увидят свет так и не ставшие до сих пор достоянием широкой читательской аудитории знаменитые письма ЕЛЕНЬ РЕРИХ. Своими предсказаниями о будущем человечества поделится писатель-экстрасенс Евгений Березиков.

Лучшие свои публикации мы будем издавать отдельными книгами в качестве приложения к журналу.

Более подробный анонс читайте в следующих номерах «Звезды Востока». Ждем Ваших советов и предложений: с какими авторами Вы хотели бы встретиться на страницах «Востока», о чем хотели бы узнать.

Надеемся, что наши с Вами контакты еще более укрепятся.

Итак, скоро в Ваш дом постучится новый — НЕЗАВИСИМЫЙ литературно-художественный и публицистический журнал «ВОСТОК»...

## О НАШИХ АВТОРАХ

**СЛАЩИНИН** Юрий Иванович родился в г. Кувандык Оренбургской области в 1936 году. Свою журналистскую и литературную деятельность начал на Оренбургской студии телевидения. Работал в областной газете «Волжская коммуна» (г. Куйбышев), в республиканской газете «Правда Востока» был главным редактором областной газеты «Кашкадарьинская правда».

Перу Юрия Слащина принадлежат повести «День открытых дверей», «Трудные родители», «Сваха», «Свое поле», сборник рассказов «Серебряный колодец».

**УГАЙ** Дегук родился в 1920 году в селе Янмендон Ольгинского района Приморского края РСФСР.

Учился в Ташкентском институте ирригации и механизации сельского хозяйства. С 1944 года работал в ЦСУ.

Стихи начал писать в 50-е годы. Издал 10 книг, из них восемь — на русском языке.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Узбекской ССР».

**АБДУЛЛА** Шер (Абдулла Шеров) родился в 1943 году в селе Чиназ Чиназского района Ташкентской области.

Печатается с 1958 года. Участник V Всесоюзного совещания молодых писателей СССР в Москве. Автор поэтических сборников «Улыбка весны», «Песня», «Тень розы», «Тайны сердца», «Осеннее новолуние» и др.

А. Шер активно работает в качестве переводчика мировой и русской классики — произведения А. Пушкина, Г. Гейне, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Ахматовой, П. Антокольского, А. Твардовского, Н. Гильена и других поэтов.

**КУЛИШ** Станислав Лукич родился в селе Алексеевка Илекского района Оренбургской области в 1930 году. Закончил военное авиационное училище и литературный институт имени Горького. Работал преподавателем в аэроклубе, учителем в школе, сотрудником газеты «Комсомолец Узбекистана». Автор повестей «Поселок Альфа», «Конец Шайтан-Куприка», «Такие разные километры», «Иссык-Куль — горное море», «Рыжий месяц август», «Обыкновенное ЧП», романа «Время собирать камни». Член Союза писателей СССР.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства по адресу: 700000, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются отделения «Союзпечати» на местах.

Корректоры **З. Г. Байбазарова, К. Д. Викнянская**

---

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43; отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

---

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 1.10.90 г. Подписано к печати 31.10.90 г. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага тип № 2. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Усл. кр.-отт. 19,95. Уч.-изд.л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 212028. Заказ № 4136. Цена 1 рубль.

---

Ордена Трудового Красного Знамени  
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.  
Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.